М.І.КОСТОМАРОВ

2 ক

М.І.КОСТОМАРОВ

Твори

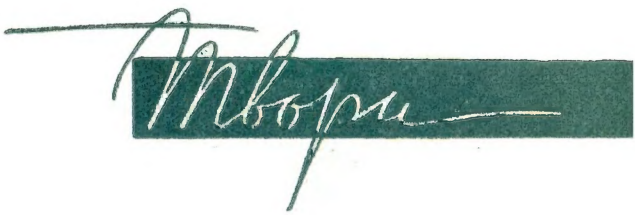
2

ক

М. І. КОСТОМАРОВ

ТВОРИ В ДВОХ ТОМАХ

М. І. КОСТОМАРОВ



ТОМ 2

видавництво
художньої
літератури
„Дніпро"

КИЇВ
1967

9/С/+РІ+8УІ
К72

Упорядкування і підготовка текстів

члена-кореспондента АН УРСР Є. С. ШАБЛІОВСЬКОГО
та кандидата філологічних наук В. С. БОРОДІНА

Примітки *В. С. БОРОДІНА*

ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА Ф-КА ім. ФРУНЗЕ

7—3—3
62—66

ПОВІСТІ

та оповідання

СЫН

Рассказ из времени XVII века

I

В 1671 году, в августе месяце, по дороге, составлявшей боковую ветвь большой дороги в Саранск, проезжали двое путешественников: один был лет двадцати семи; другому, по его черной с проседью бороде и морщинистому лицу, казалось под пятьдесят. Молодой был одет в суконную чугу вишневого цвета с короткими рукавами, достигающую до колен, и с нашивками голубой материи вдоль переднего разреза, на которых прикреплены были петли с пуговицами; пояс из полосатой материи белого, черного и алого цветов обхватывал его стан; за ним был заткнут кинжал в ножнах и пистолет; на левом боку пристегалась к поясу на серебряной цепочке сабля. Подол чуги окаймлен был широкою желтою полосою; из-под него выказывались штаны малинового стамеда, убранные в большие сапоги, которые были некогда зеленые, но от пыли порыжели. На голове у него была четвероугольная шапочка с раздутыми углами, красного сукна с околышком из собольего меха; фигура этой шапочки обличала малороссийское происхождение: такие шапки стали входить в употребление только после присоединения Малороссии, и то преимущественно между служилыми, перенимавшими этот покрой в стране, где бывали. За широким седлом, состоявшим из раскрашенной пестрыми узорами луки, желтого чепрака и зеленой подушки, был прикреплен такой высокий чемодан, что почти достигал до плеч всадника, и всадник мог облокачиваться на него как на спинку кресла; на внешней стороне были привязаны к нему овчиная шуба и бурка из верблюжьей шерсти; а между ними и всадником прикреплено к седлу ружье, положенное поперек. На правой стороне зацеплялся за луку седла мешок с сапогами и пороховницей,

в нем был другой мешок с сухарями и вяленой рыбой; на левой висела большая медная сулея, привязанная цепочкой к седлу. Так как тогда было время утреннее, то на молодце сверх чуги был накинут опашень темно-зеленого сукна с широкими желтыми нашивками и длинными рукавами, которых концы спускались ниже стремян. Когда солнце пригревало, он скидывал с себя эту верхнюю одежду и привязывал к чемодану. Сбруя его лошади была украшена множеством маленьких серебряных блях; подле ушей были на каждой стороне по два бубенчика, а под мордой висели два длинных сборных, расширяющихся к концу ремня, окованные серебряными бляхами по каждой сборке или чешуе. Звук бубенчиков на далекое пространство кругом разносился в утреннем воздухе.

Другой, ехавший позади молодого, был одет в кафтан синего сукна с зелеными нашивками, застегнутый большими медными пуговицами; за красным шерстяным поясом был у него заткнут огромный складной нож; на голове была остроконечная войлочная шапка; за плечами у него был привязан саадак со стрелами и лук. Позади него торчал чемодан, а на нем два больших узла; на правой стороне у стремян висел мешок, на левой — баклаг с водою; у стремян с обеих сторон было заткнуто по копью. Лошадь его была не так породиста, как у ехавшего впереди, сбруя с простыми медными бляхами.

Первый из наших путников был Осип Нехорошев, дворянский сын, возвращавшийся из похода в Малороссию, на родину; второй — его слуга; какое имя дано ему было при крещении, мало кто знал это, и все звали его Первуном или сокращенно Первушей. Тогда, как известно, оставался еще обычай давать, кроме крестного имени, другое, составленное на своем языке, и по этим именам людей чаще звали, чем по крестным.

Осип Капитонов был сын Капитона Михайлова Нехорошева, жившего в Саранском уезде, в селе Нехорошевке. Его отец, дед Осипа, Михайло, был сын боярский, испомещенный в карельской земле. После Столбовского договора, когда Московское государство должно было купить спокойствие ценою Водской пятины и Карелы — древних волостей Великого Новгорода,— многие из помещиков не захотели служить свейскому государю, покинули свои имения, прибыли в Москву и били челом

государю поместить их в Московском государстве. Михайло Нехорошев был в числе их.

Не так скоро дело делается, как сказка сказывается. Переселенцы оставались без поместьев целых семь лет, даром что везде были неисповедимые пространства пустых земель, и отвести земли можно было не только нескольким карельским помещикам, но такому же числу людей, сколько было тогда в Московском царстве; и тогда бы еще все отзывалось пустырем. Михайло Нехорошев был грамотнее против своих товарищей и потому писал за всех челобитные за челобитными, стараясь разжалобить правительство уверениями, что они и босы, и голодны, и холодны, и с женушками, и с детишками волочатся меж дворов и умирают голодною смертью. Но Поместный приказ привык к такого рода трогательным выражениям и не принимал всякое лыко в строку, а по обычной беспечности откладывал эти челобитные на предние годы; дворяне же хоть и описывали свой голод, а при каждой новой челобитной все-таки должны были являться с пирогами да оладьями к приказному люду, чтобы по крайней мере не смотрели на них волками. Наконец после многолетних проторей и убытков последовал указ от царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси — испоместить перешедших из-за свейского рубежа в украинных городах на саранской черте. Тогда сплошь от Волги до Дона и до Воронежа проводились валы и по ним строились города, острожки и засеки; хотели заселить пустые земли: возникали города Тамбов, Шацк и др., в их числе Саранск. Около этих городков являлись сельца, деревни, майданы между мордовских и чувашских селений, и последние исчезали с появлением русских: жители их убирались в леса, и хотя должны были все-таки признавать власть белого государя, но старались жить как можно подальше от пришельцев со своими кереметями, которым становилось небезопасно поблизости христианских церквей. Русские жители этого края, кроме помещиков и служилых в городах и слободах, построенных близ городов, были по селам отчасти гулящие люди, то есть не записанные в тягло от отцов дети, от дядей племянники, а отчасти беглые: им здесь было безопасно на срочные десять лет, после которых они могли оставаться свободными и не бояться сыска от вотчинников, старост и приказчиков. Помещики, которым разда-

вались земли, назвали к себе такой народ, а другие приводили с собой холопов и крестьян из верховых городов, т. е. из северных провинций. Эти возникшие селения стояли одно от другого верст на тридцать и на пятьдесят; все были приписаны к тому или другому городу и вместе с городом составляли уезды; воевода того города, куда приписывалось селение, держал суд и расправу над его жителями, высылал помещиков на службу, посылал служилых собирать с людей царские дани, выгонять народ на городовые работы и скликать их в город в осаду, когда слышал вести о приближении неприятеля.

Нехорошева произвели в дворяне. В чем заключалось различие между дворянином и сыном боярским, этого, кажется, еще не порешила археология наша; но, во всяком случае, дворяне получали больше жалованья, назначались на лучшие места к службе, и вообще их считали за «лучших людей», по выражению того времени. Нехорошев получил «пятьсот четей в поле и в дву потомуж» и, кроме того, копен двести пятьдесят сена, да леса совместно с другими поверстно. По воеводской разверстке, рядом с Нехорошевым дали жеребьи его сверстникам, пришедшим с ним из Карелы: Жарскому, Худому, Черепанову, Лукоперову, Пауку. Земляки выбрали себе усадьбы на реке Иссе один близ другого, дали обещание создать церковь и начали тотчас строить себе дома. Немедленно стали набираться к ним разные охотники селиться. Один за другим являлись бездомные бобыли и захребетники, в лаптях, дырявых шапках, в зипунах с заплатами, с заплечным мешком, где было по две рубахи, праздничный зипун да сухари. Один и тот же тулуп служил и летней и зимней верхней одеждой; разница была та, что зимой его носили шерстью к телу, а летом вверх. В воеводской памяти было сказано, чтоб принимать только по проезжим памятям и по отпускным, а не беглых; но распоряжение это во всей силе оставалось на бумаге, на деле же правительственный порядок исполнялся только тем, что помещик спрашивал приводимого, откуда он. В таком случае ответ был почти ложный. Если б захребетник и не знал за собой греха, и тогда бы не сказал правды: так уж было принято. Коль скоро человека допрашивали с видом власти и закона о его житье-бытье, надобно было лгать. Одни отдавались в крестьяне, другие в холопы, третьи в бобыли. Холоп

жил в дворе; только немногих выселяли в так называемые людские дворы; во всяком случае они делали то, что им прикажут, и не были обязаны ничем заранее определенным: крестьянин получал жеребий земли и отправлял за него повинность; а бобыль исстари не брал жеребья, потому что не в силах был с ним справиться, и жил у помещика на особых условиях, которые уже тогда заменялись произволом владельца.

Селение, основанное Нехорошевым с товарищами, разрасталось; лет через пять владельцы исполнили свой обет и построили церковь. И великая радость была всем прихожанам, когда ее освящал саранский протопоп. Нехорошев был между всеми важнейшее лицо, и оттого село назвалось само собою Нехорошевкою, или Нехорошевым, хотя другие помещики упрямились. «Почему ж не Худовка?» — говорили Худые. «Почему не Черепановка?» — ворчали Черепановы. Церковь освящена была во имя Покрова богородицы, в память того, что в этот день прибыли в первый раз на место помещики. Нехорошев, чтоб избегнуть зависти, сам предложил назвать село Покровским; но имя Нехорошева усвоилось ему более, и даже писцы записали в писцовых книгах: «Село Покровское, Нехорошевка тож».

Проживши на новоселье лет пятнадцать, Михайло Нехорошев преставился и был погребен в созданной им с товарищами церкви. Он оставил троих сыновей: Петра, Капитона и Ивана. Имение не разделилось: братья жили вместе, и Петр заступил место главы семьи. Последние годы царствования Михаила Федоровича и первые Алексея Михайловича протекли мирно, и помещики, не тревожимые службою, спокойно занимались хозяйством в своих поместьях; только изредка посылали их к астраханским степям, прослышав о замыслах ногайских мурз; случалось тоже раза три ходить усмирять мордву, которая вздумала было не платить меду и воску. Старые оружия, привезенные Михайлом из Карельской земли, лежали в кладовой и покрылись бы ржавчиною, если б Петр не чистил их и не выносил ради забав, которые учреждал с соседями, чтобы не разучиться воинскому делу. В летние праздники, созвавши соседей и собравши слуг, он затевал стрельбу из ружьев и луков в цель, назначал за то награды, поил и дарил слуг, которые показывали ловкость; тогда и в запуски бегали, и боролись,

и рубились на саблях. Петр очень любил охоту, держал большую псарню и часто осенью и зимой выезжал с соседями и с толпою крестьян и людей сражаться с волками и медведями, которых тогда было много в том крае. Были у него и соколы; он выезжал с ними на ставки за село, иногда же, когда ему приходила охота, то занимался рыбною ловлею. Он был чрезвычайно гостеприимен, и каждое воскресенье все соседи помещики считали обыкновением ездить к нему обедать. Такие обеды шли часа по четыре; а после обеда гости, нагруженные вином и медами, отправлялись с ним за двор на воинственные забавы. В большие праздники устраивал он «гостьбу толстотрапезну», как говорилось тогда; такой пир длился до ночи. Покончив яства, гости должны были пить разные заздравные чаши, а «умельцы» потешали честную беседу громкими песнями. Хозяин со всеми жил в ладах и умел погашать всякое возникающее несогласие; одного слова его довольно было, чтобы помирить поссорившихся. «Кто своему брату недруг, тот не ходи ко мне»,— говорил он и тотчас сводил врагов вместе и давал им пить из серебряной чаши, на которой было вычеканено мудрое изречение о кратковременности жития сего и о пользе любви и согласия. Читать он сам не умел и не занимался ничем церковным, однако знал напамять несколько выражений из св. писания, относящихся к союзу между ближними и ко вражде с иноверными языками. Живой, деятельный, веселый характер не склонял его к хозяйственным занятиям. Меньшой брат Иван, нрава тихого и флегматического, предался всею душою земледелию и с весны до осени проводил дни в поле с рабочими. Средний, Капитон, имел наклонность более всего к торговым занятиям; чрезвычайно способный, он не прочь был и от забав старшего брата, хорошо читал и писал; одаренный чудной памятью, умел поговорить из св. писания; покупал разные сборники, где записывались повести об Александре Македонском, слова святых и разные иноземные диковинки. Но более всего Капитон любил выгодно продать и купить; сметливый, расторопный, он ездил по ярмаркам и продавал произведения своего хозяйства, шерсть, лен, хлеб, мед и привозил домой сукна, материи, вина и сласти; на нем лежало все письменное управление хозяйства.

Оба первые брата женились, Иван все откладывал и говорил, что успеет. У Петра не было детей даже

и после десяти лет брачного союза, к крайней его досаде, потому что его добрая натура любила детей; зато, когда у Капитона родился сын Осип, Петр привязался к нему как к своему собственному детищу. Он сам учил его ходить, делал для него деревянных лошадок, и когда племяннику было шесть лет, смастерил ему лук и так выучил стрелять, что маленький Осип попадал в воробья на лету.

— Учись, Оська, стрелять из лука,— говорил он,— стрельба из лука всему воинскому делу голова; будешь хорошо стрелой попадать, и пулей попадешь.

Так безмятежно жилось в селе Нехорошевке. Но вот на западе русской границы поднялась страшная гроза, втянувшая и мирную Московию в продолжительную брань. Богдан Хмельницкий со всем войском запорожским принес подданство восточному государю, и Великий земский собор всей Русской земли 1 октября 1653 года приговорил объявить польскому государю Яну-Казимиру за его неправды и за неправильные написания царского титула войну, и во все стороны из Разряда полетели гонцы с приказом воеводам собирать помещиков, дворян и детей боярских, новокрещенов, мурз татарских и всяких служилых людей и высылать их в Севск и Смоленск. По сельским торжкам бирючи кликали клич и сзывали их на пересмотр в города.

Тревожно и тяжело загремел этот клич в ушах отвыкших от войны помещиков. Иные спешили не в город, куда их звали, а куда-нибудь далеко, чтоб спрятаться и ускользнуть от службы. Не так принял царский приказ Петр Нехорошев. Он давно уже скучал бездействием; однообразная охота не удовлетворяла его; ему хотелось дать настоящую пробу своему уменью стрелять в цель и рубиться; его жажда деятельности давно искала простора. Петр с веселым лицом отправился в Саранск. Капитон сначала было призадумался, но вскоре утешился, узнав, что его оставляют на месте. Ивана также не тронули: оба брата служили с одного жеребья с Петром, и на этот раз не трогали тех, которые не имели собственных, отдельных жеребьев. Капитон чрезвычайно был втайне доволен тем, что не будет с ним брата; хотя Петр почти не вмешивался в хозяйство, но иногда принимал тон старейшины и показывал, что ему не хочется, чтоб это забывали братья. Теперь Капитон был полный глава.

Петр созвал всех соседей и всех крестьян своего села от мала до велика и задал им такую прощальную попойку, что одного меду выпита была целая бочка; каждому он сам подносил чашу и с каждым целовался; не только весь двор, но и все околодворье было уставлено столами и досками, на которые ставили яства и напитки. Зато на другой день, когда он выезжал в путь, народ не пошел на работы; все столпились провожать его. Только разлука с Осипом несколько навела на него тоску. Он очень любил его и не без слез в последний раз прижал его молодые щечки к своей обросшей жесткими волосами щеке. Он выбрал с собой трех слуг, отличных стрелков; за ним в лубочной кибитке четвертый повез его имущество. Сам Петр поехал верхом на породистом аргамаке, которого ему купил брат Капитон в Астрахани, славной тогда лошадьми во всем русском мире.

Не даром прошли его военные забавы. Вскоре он отличился на Дрожиполе; после того под Уманью привел к воеводе пленного польского пана, которого разбил с товарищами на подъезде, когда Хмельницкий шел ко Львову; под Гродеком его ранили по голове саблею: он пролежал месяца четыре; уже отчаивались в его выздоровлении, но сильная натура взяла верх, и Петр встал с огромным сабельным рубцом через все лицо и не думал об отставке. Когда наконец поляки, пораженные со всех сторон, обманули царя Алексея обещанием возвести его на престол и устроили Виленский мир, Петр был переведен в Лифляндию. Там он отличался против шведов, отмщая им за землю своих предков, но при штурме Риги ядро ударило его в левую ногу: ему отрезали ее по колено. Тогда только Петру пришлось расстаться навеки с боевою жизнью, и он, приделав себе ключку, воротился в далекое свое поместье уже не на бодром аргамаке, потерявшем жизнь за отечество где-то в Украине, а в кибитке, сопровождаемый верными слугами. Из Поместного приказа велено было обратить из его поместья земли двести четей в вотчину.

Но не так-то радостно стало ему, когда он вступил на порог отцовского дома. Жены его уже не было в живых. Брат Иван погиб напрасною смертью, как говорилось: зашел спор о меже с соседом Жарским; воевода приказал развести их; приехал из Саранска сын боярский со служилыми, собрал всех односельцев, пригласив соседей,

которых ближе не было, как верст за сорок, призвали попа; понесли по меже икону; поп должен был сказать правду по священству, а мирские люди по евангельской непорочной заповеди ей-ей: как были мéжи земель Нехорошевских и Жарских. Вдруг шествие наткнулось на посеянную рожь. «Здесь была межа,— говорили старики,— Жарские запахали ее». Крестьяне Жарского стали кричать, чтоб по хлебам не шли; а нехорошевцы говорили, что им дела нет, что тут хлеб; посеян он не по закону; они пойдут... Слово за слово, дали рукам волю, принялись потом за дубье. Иван бросился в середину, и кто-то неосторожно хватил его в висок — тут Иван Нехорошев и душу богу отдал. Воевода послал сделать сыск, но никак не могли найти виновного, и дело кончилось тем, что крестьяне Жарского заплатили «веру за голову». Когда Петр приехал домой, то застал в доме одну жену Капитонову полною хозяйкою. Вскоре приехал из ярмарки Капитон. Петр по-прежнему не вмешивался в его хозяйство и весь посвятил себя племяннику, которого еще более полюбил, увидевши уже не ребенком, но здоровым юношей. Изрубленный воин любил сидеть на крыльце и смотреть, как Осип стрелял в цель да примерно рубился с слугами; часто устраивал он охоту и приказывал везти себя туда; когда делали облаву, запряженные в тележку или в сани лошади скакали во весь опор вслед за верховыми, и Петр, посвистывая и прикрикивая, ободрял ловцов. Зимою, посадив подле себя Осипа и созвавши гостей всякого звания без разбора, Петр рассказывал о своей боевой жизни и с удовольствием поглядывал на племянника, когда замечал на лице его охоту испытать самому то же. Капитон редко бывал дома, все ездил по торговым делам. Имение их увеличилось, потому что Капитон получил особый жеребей; свою всю вотчину Петр заранее отдал Осипу. Но вдруг разнеслись лихие вести: Шереметев разбит под Чудновым и отдан татарам поляками, которым сдался военнопленным: Украина отпала от царского скипетра. Из Разряда последовал указ собирать дворян и детей боярских. Пришел указ и в Саранск; Нехорошевых потребовали. Приходилось идти Капитону, но пошел за отца Осип, настроенный рассказами и примером дяди. Горько убивалась родимая матушка и сама не знала, какие нескладные речи говорила в припадке родительского горя. Капитон настаивал,

что сыну надобно идти служить за отца, а Петру хоть и очень не хотелось расстаться с племянником, но он не показал этого; напротив, полюбив Осипа еще больше за его готовность, он твердил, что такому молодцу следует проливать кровь за веру святую и за его царское величество. Он дал ему опытного слугу, одного из тех, которые были с ним самим в походе. Этот слуга должен был не только служить Осипу, но быть его пестуном. Повозки не повезли за ними: «Такой молодец,— говорил Петр,— должен все с собой за седлом возить, а то с повозкой одна возня, я сам этого дознал». Таким образом выехал Осип с Первуном и таким же точно, хоть на других лошадях и в других летах, возвращался теперь на родину.

В те времена сообщения были трудны, и потому естественно, что Осип не знал ничего о своих домашних и не получал от них никакого известия во все время своей службы. Поэтому можно себе вообразить тревожное состояние и ожидание, когда он приближался к месту родины. Живы ли батюшка с матушкой? Жив ли дядюшка, которого он любил больше отца, редко его видевшего и почти никогда не ласкавшего?.. Воспоминания детства воскресли одно за другим в его памяти. Вот еще немного, и он увидит знакомый дом, сад, хоромы, увидит матушку... Образ доброй матери, сопровождавший его благодатным ангелом-хранителем во все время его странствования, теперь предстал перед ним, полный надежды и отрады...

II

Уже оставалось до Нехорошевки верст десять; Осип с нетерпением шел, поглядывая и вперед, и вправо, и влево: не засинеет ли где гора, под которой расположено было село; не заблестит ли на солнце крест храма, где его крестили и в первый раз причащали. Дорога шла по опушке леса, который более и более редел, и наконец потянулась по равнине. Вдруг Первун закричал:

— Это, государь, наша степь: вон колодец наш, а вон лошади, чай, наши!

Он свистнул и махнул рукой. Прибежал табунщик в синей рубахе с длинными ссученными рукавами, без пояса, в лаптях, в войлочной шапке, с длинной крючковатой палкой в руке.

— Чей табун? — спрашивал слуга Осипа.

— Капитона Михайловича,— отвечал табунщик.

— Все ли живы-здоровы? — тревожно спросил Осип.

— Не знаем,— отвечал табунщик,— давно у двора бывали, недели две будет; а в те поры, дал бог, все были живы-здоровы — и Капитон Михайлович, и Наталья Андреевна.

— А Петр Михайлович? — спросил Осип.

— Петр Михайлович? — сказал с удивлением табунщик.— Почитай, государь, ты не здешний. Какой Петр Михайлович? Нешто братец Капитона Михайловича? Так уж будет годов шесть, как его схоронили.

Осип побледнел, потом потряс головою, снял шапку и перекрестясь сказал: «Царство небесное! Воля божья!» То же повторил и Первун.

— А вы, видать, издалека? — спросил табунщик.— К нашему государю едете?

— Это молодой государь,— сказал Первун.— Кланяйся, дурень! Знаешь ли ты его?

— Нет, государь-свет, не приходилось видеть. Мы издалека пришли, а твоя милость в службе тогда был.

— Ну будешь знать,— сказал Осип.— Куда ехать? Далеко до Нехорошева?

— А вот как поедешь, проминешь колодец, так влево поверни — дорога пойдет,— там под гору спустишься, а там и Нехорошево.

Путники поехали. Осип оглянулся: Первун плакал.

— Что, жаль дядюшки? — спросил его господин.

— Ах, боярин, как же не жаль! Не привел господь бог увидать его, моего кормильца. А куда бы какая радость была теперь!

Осип не плакал, но еще больше его загрустил и молча ехал, повеся голову. Наконец лошади побежали под горку, и Первун закричал: «Государь, Нехорошево!»

Село Нехорошево было расположено на берегу Иссы под горою, покрытою кустарником и в некоторых местах запаханною. За рекою по горе стояли там и сям помещичьи усадьбы в виде укреплений. Усадьба Нехорошевых была пространнее других и глядела с возвышения над самою рекою. Прямо против нее за Иссою на площади виднелась деревянная церковь с позолоченным и потускневшим крестом на полумесяце. Стены церкви были не побелены, крыша из драни. Не должно думать, чтобы

села в то время были похожи на теперешние. В тот век в земле украинных городов селения носили вид крепостей. Околица села окаймлялась оградою, иногда и рвом. Каждая усадьба укреплялась то тверже, то слабее, смотря по состоянию и по расчету владельца; частые набеги татар, еще не установившиеся отношения с мордвою и наконец нередкие разбои заставляли жить в страхе нападения. Тогда не только дозволялось, но приказывалось всем держать оружие. Все помещичьи усадьбы огорожены были высокими плетнями или заборами, а в них сделаны, как в крепостях, узкие отверстия, чтобы стрелять или камни метать на неприятеля. Крестьянские дворы огорожены были крепко, а некоторые обведены кругом рвами; не все избы выходили наружу: большею частью они скрывались в средине ограды, и потому снаружи трудно было видеть крестьянские жилья, кроме деревянных крыш, обыкновенно без труб. Только низенькие бобыльские избушки с маленькими закопченными отверстиями, заслоненными тряпицами, торчали там и сям с развалившеюся оградою, и около них в ограде не было ничего, кроме сарайчика или навеса с соломенною крышею, израненною ветрами. Усадьбы, построенные вдоль реки, представляли непрерывную линию; другие стояли по две и по три вместе; в иных местах были за плетнями одне гумна или огороды, без изб, и таким образом все село представляло несколько рассеянных групп, разделенных между собою пустырями. Поэтому пространство, занимаемое селом, было огромно, а самые дворы тесны и как будто жались друг к другу. Проехавши по извилинам между дворами, огородами и гумнами, путники очутились на площади, где паслись овцы и телята, и подъехали к церкви. Осип снял шапку, перекрестился и увидал сквозь решетчатую огородку в церковной ограде около самого трехчастного алтаря, возле дубового креста, свежую, незарытую могилу и при ней два брошенных заступа. Так как табунщик сказал, что недели две тому назад родители Осипа были живы и здоровы, то он не подумал ничего страшного, полагал, что эта могила назначается для кого-нибудь из соседних владельцев, и пожелал новопреставленному незнакомцу небесного царствия; Осип хотел было сойти и поздороваться с дядюшкою, догадываясь, что он лежит под дубовым крестом; но, подумавши, отложил на будущее время это грустное свидание:

в его мысли блеснул образ любимой матушки и радость ее, когда она прижмет к серцу свое милое чадо. Он переехал через мост без перил, сложенный из хвороста и покрытый соломою, и поворотил к отцовской усадьбе.

Усадьба Нехорошевых была огорожена бревенчатым забором в неправильных линиях, то выдаваясь выступами наружу, то углубляясь внутрь и образуя углы, треугольники и четырехугольники; кругом нее был ров. Этого укрепления было достаточно, чтоб выдержать напор небольшого татарского загона или разбойничьей шайки. Одни ворота прямо вели к хозяйским жильям, другие были назади. Передние ворота построены были под башенкой, на которой находился большой образ богородицы, а перед ним висела лампада, зажигаемая перед праздниками. Внутренность двора была усеяна разными постройками, известными в нашем старом быту под именем изб, горниц, повалуш, сенников, амбаров. Тогда не делали больших домов, а по надобности, если семья прибавлялась, строили особые дома; таким образом, еще Михайло Нехорошев построил четыре избы, одну для себя, три для сыновей. Когда у Капитона родился Осип, он ему построил заранее повалушу. Избы эти были соединены связью сеней, но стояли не на одной линии. По въезде на двор на левой стороне была большая одноэтажная столовая изба, выстроенная Петром Михайловичем для пиров; к ней примыкала, составляя с ней угол, другая, прямо против ворот,— изба собственно Капитона Михайловича. Она была трехэтажная. Второй этаж, с открытой галереей на столбах, имел три продолговатых окна с круглыми верхними окраинами; в нижнем этаже или подклете было два четвероугольных окна, между которыми находилась широкая дверь: он служил для прислуги; с галереи второго этажа вела вниз лестница, крытая сверху и с боков, и оканчивалась у земли двухступенным рундуком и пирамидальным верхом на выточенных кувшинообразных столбах. Сверху второго этажа, на большой деревянной крыше, надстроен был чердак пространством меньше второго этажа, с окнами во все стороны, покрытый покрашенным красною краскою тесом, сквозь который проросла трава. Вправо от этого дома был другой, соединенный с ним сеньми. Он был двухэтажный, без чердака; второй этаж был надстроен на подклете не в одну с ним линию; но подклет был покрыт особою кровлею,

а второй этаж углублялся от него назад: в каждом ярусе было по три окна. От него следовал, соединяясь сенями со стеклами, третий, двухэтажный дом с небольшою вышкою наверху, а от него в завороте была повалуша, построенная некогда собственно для Осипа; она более походила на башню, чем на дом, была трехэтажная, в два окна и соединялась с предыдущим строением не сеньми, но широким низким дощатым коридором внизу. От нее вправо стояла избушка с двумя оконцами вверху, пустая, назначенная для гостей, которые приезжали к Петру. Между вторым и третьим домами сени были только наверху и связывали верхние этажи, а внизу между подклетами были проездные ворота на другой двор. Там направо было огромное строение, где рядом помещались разные хозяйственные кладовые клети, амбары, сараи и, наконец, конюшня, в завороте против домов, с проездными воротами на третий двор. Строение это было в одну линию, но не в одну высоту: в трех местах на кровле были надстроены сенник, сушильня и сенница. Налево во дворе стояли поварня, хлебня, медоварня, пивоварня, кладовая для хранения винных кубов и винокуренной посуды и четыре людские избы. Все эти одноэтажные деревянные строения связывались между собою сеньми. Прошедши через проездные ворота к конюшне, можно было выйти на скотный двор, птичий двор и псарню, отделенные одно от другого плетнями. По левую сторону от всех этих строений за внутренним плетнем был сад, засаженный плодовитыми деревьями, и близ него гумно; за садом стояла винокурня.

При въезде в передние ворота глаза поражались пестротою фигур и красок, которыми были изукрашены в хозяйских жильях столбы галерей, крыльца, окраины крыш, сделанные с прорезными гребнями, но в особенности окраины окон: тут виднелись наклеенные из дерева и размалеванные разными цветами звери, птицы, деревья и такие фигуры, которым нельзя дать названия. Столовая изба была обшита тесом и раскрашена всеми возможными узорами. Посредине двора стоял колодец с журавлем.

Осип и Первун подъехали к крыльцу с пирамидальной кровлей. У крыльца стояло несколько дворовых людей, по лестнице сновали женщины с печальными лицами. Увидя приезжих и узнавши в них своих, они всплеснули

руками и вскрикнули. Осип соскочил с коня, перекрестился и, обращаясь к людям, сказал:

— Узнаете меня? Бог привел нас к вам живых и здоровых. Где батюшка и матушка?

Но люди не отвечали и, с тревожными взглядами обращая головы друг к другу, как будто хотели сказать между собою: «Вот не в добрый час принесло его!» В недоумении Осип сделал несколько ступеней на лестницу и увидал крышку гроба. Он вошел в сени; там стоял гроб. Осип подошел к нему и увидел в нем свою мать.

III

На большом столе, в дубовом, выдолбленном из одного большого дерева и потому цилиндрической фигуры гробе, украшенном снаружи изображениями крестов, лежала мертвая женщина в белом саване, сверху покрытая куском материи, предназначенной на церковное облачение. Священник и два дьячка отправляли обряд погребения. Осип подбежал к трупу матери и приподнял край савана, обвивавший ей голову; на голове был надет бархатный черный волосник, из-под него виднелась на виске синева с запекшеюся кровью.

— Ее убили! Матушку убили! — закричал Осип.

Побледневшая толпа стояла, не только не смея сказать что-нибудь, но едва переводя дыхание. Священник и дьячки, как бы желая перекричать Осипово восклицание, запели сильнее.

— Матушка убита! — повторил Осип и, поглядевши кругом диким взглядом, спрашивал:— Говорите, кто убил ее? Она убита. Говорите! — крикнул он так, что все попятились назад, но молчали. Дьячки заикнулись на половине ирмоса, но священник, поглядевши на них с укором, запел «На него же не смеют взирати» так громко, как будто бы хотел заглушить голос Осипа. Осип, выйдя из себя, выхватил саблю.

— Вот вам Христос бог — велико слово! — сказал он.— Я начну вас всех крошить, если вы мне не скажете, кто убил мою мать!

Все бросились в испуге из сеней. В это время вышел стоявший за дверьми в комнате, граничившей с сенями, Капитон Михайлович, старичок с круглой седоватой

бородкой, с блестящими вертящимися глазами, в синем кафтане.

— Что? Что? — закричал он и, приглядываясь ближе, вдруг с видом радости отскочил и сплеснул руками.

— Оська! Это ты! — сказал он.— Боже ты мой! Сынок мой любезный!.. Вот не чаял, не гадал!

И он бросился его обнимать.

Осип, опустивши саблю, не знал, что ему говорить, и глядел на отца как-то бессмысленно. Капитон обратился к священнику, который тогда совершенно уже прервал богослужение, сложил руки на пояс и, поклонившись, сказал:

— Простите, отцы и братия, Христа ради, моему безумию: сына девять лет не зрел, чувствами возмутился. Сыночек, поди отсюда! После поговорим, потужим вместе, а теперь иди, омойся с дороги, покушать вели себе подать. Иди, сынок. Ключник тебе медку, вина доставит. Иди, дружок!

— Батя! Кто убил ее? — сказал Осип, указывая на мать.

— Поди, сынок! Успокойся, успокойся, дитятко мое! — И вместе с этим взял у него саблю. Тогда Осип оттолкнул от себя отца и закричал:

— Ты, что́ ли, убил ее?

— Греховодник! — воскликнул священник.— На родителя руку дерзает поднять!

— Прости ему, отче, ради его неведения и возмущения душевного,— сказал Капитон.— Эй вы! Отведите его в повалушу! — прибавил он слугам, которые боязливо выглядывали из дверей.

— Как в повалушу? — говорил Осип.— Здесь мать мою хоронят, а ты меня посылаешь в повалушу! Скажи, что это такое? Кто убил мою мать?

— Свяжите его и отведите в повалушу! — грозно крикнул отец.

Осип судорожно сжал кулаки... грудь его вздымалась, на лице написано было страшное отчаяние. Отец взял веревку; несколько слуг подбежали и связали Осипу руки.

— А! Вот что? — проговорил Осип, поглядел грозно на отца и повинуясь пошел в повалушу.— Развяжите меня! Я не убегу, я не пойду никуда, буду исполнять то, что велят,— сказал он.

Однако его привели в повалушу и только тогда развязали руки; повалушу заперли за ним.

Прерванный чин погребения был окончен; гроб подняли и понесли. Духовенство протяжно пело «Святый боже». За гробом шли дворовые женщины и вопили, причитывая, но остерегаясь, чтоб их фантазия в сложении причетов не выдумала невольно чего-нибудь такого, что походило бы на правду. Капитон шел позади с поникшею головою, с кислою миною, стараясь показаться миру сколько возможно печальнее.

Осип был между тем заперт в комнате с третя маленькими слюдяными оконцами. Стены ее были мытые; на них не было никаких украшений, кроме трех образов; средний был в окладе; перед ними стояли втулки для свечей. Налево от дверей была большая муравленая печь зеленого цвета, с лежанкой, а вдоль стены тянулись лавки, постланные кусками зеленого сукна с позументами по краям. Между печью и стеною находилась деревянная широкая скамья с изголовьем, покрытая ковром, на котором были изображены птицы; простой дубовый стол, застланный бумажною пестрою скатертью, стоял перед лавками; пол был устлан рогожею. Между печью и скамьею маленькая, низенькая дверь вела в каморку с одним окном, где была скамья, столик и пустой шкафик.

Осип несколько времени стоял, бессмысленно глядя в воздух; вдруг раздался погребальный звон. Пробужденный от своего оцепенения, он подбежал к окну. Ему было видно, как толпа народа собиралась в ограде, около могилы, приготовленной для его матери. Бешенство уступило в нем религиозному чувству. «Разберем дело после,— сказал он сам себе,— а теперь помолимся о душе родительницы». Он начал творить крестные знамения и читал какие знал молитвы, приличные его положению, но запас их скоро истощился, и Осип, творя крестные знамения, молился уже не словами, а сердцем. Между тем звон затих, потом опять раздался. Осип подошел снова к окну и увидел, что народ расходится: то был знак, что мать его в сырой земле. Закрыв руками лицо, Осип припал к изголовью скамьи и долго рыдал; потом вскочил, прошелся несколько раз по комнате, ударил себя в грудь и, став на колени перед образом, произнес:

— Господи боже, карателю грешников! Покарай лихого человека, лишившего живота мать мою, хотя бы то

отец мой был! Господи праведный, молю тебя, даруй мне силы и крепость взыскать правду на убийце моей родительницы! Воздай ему по делам его, да восчувствует он мерзость деяния своего, а мать мою, рабу твою Наталию, упокой в царствии твоем небесном, идеже несть печали и воздыхания, но радость бесконечная, и меня по воле твоей соедини с нею, да прославим вкупе благость твою!

Он сел в изнеможении на лавку. Дверь отперлась, и в комнату вошел священник. Забросив за собою дверной крючок, священник благословил Осипа и сел возле него.

— Вот, сыне,— говорил он,— господу угодно было посетить нас скорбию; но не подобает нам унывать, а надлежит возлагать упование на бога милосердого, его же судьбы неисповедимы. Временная жизнь исполнена горестей и лишений, но скончавшихся праведников ожидает награда на небеси несказанная. Посему подобает молиться о усопших сродниках, и в церковь по их душе приносы давать, и милостыню щедро раздавать, а не подобает, чадо, предаваться неуместной тоске: великий грех есть и в пагубу душу ведет; и ты ныне, чадо, утиши свои чувствия и покорись родителю твоему, ибо тяжек грех пред господом непокорство родителям.

— Батюшка! — перервал его Осип.— Кто извел мою мать?

— Твою мать никто не изводил; не годится говорить такие безлепичные речи. Твоя родительница умре от недуга. Господу угодно было переселить ее в вечную обитель.

— Как от недуга, когда я видел у ней рану на голове?

— Не рана, сыне, то не рана, и не от того она умре. Отец твой за вину ее, якоже подобает мужу учити жену свою, ударил ее легко: от того маленькая ссадина у ней осталась. Сам сочетаешься браком, и сам будешь учить жену свою, как придет к случаю, единый раз рукою, другий же раз жезлом побити, иногда же и плетию; от того жена не умрет, но паче ума приемлет и здрава бывает; и церковь повелевает мужу наказывать по вине жену свою, и кто наказания жене не творит, тот сам себе грех на душу возлагает. Паки же мать твоя умре не от удара, а то уж давно было, а приключился ей недуг, и от того недуга волью божиею помре. Ты же не стропотствуй и не будь непокорлив отцу твоему, да не лишишься

родительского его благословения. Ты ныне согрешил тяжко, сын, в ярость пришел, пение божественное остановил, и того ради повелел тебя отец заключить, а теперь он, чадолюбивый, прощает тебе юности твоей ради и тоски. Хочешь ли идти к отцу? Там христолюбцы собираются, трапеза учреждается; хочешь ли тут оставаться, то пребывай тихо, кротко, не буйствуй, но всячески молись господу, в его же власти вси есмы.

Осип слушал с поникшею головою и, отвернувшись от проповедника, сказал:

— Я останусь тут: грустно мне в люди идти.

— Оставайся, сыне, оставайся и молись, господь с тобой! — сказал священник и, благословя его, вышел.

Осип сидел опустя голову, несколько раз закрывал лицо руками и открывал, несколько раз припадал к изголовью скамьи, потом вскочил и сказал:

— Накажу, накажу того, кто лишил живота мать мою! Жив не буду, а накажу!

Вся грусть разом спала с сердца у Осипа, и вместо ее вступила в душу твердая, рассудительная, непреклонная решимость, и жажда дела заменила бездействие тоски. Осип принадлежал к таким натурам, у которых поражающее горе, потрясая их организм, уступает скоро намерению, какое укажет голос рассудка, руководимого чувством. Иногда несколько минут сильного перелома изменяют их и указывают такой путь, какого они не выбрали бы перед тем ни за что, и они после того до такой степени делаются иными, как будто в них не осталось уже и капли прежней крови. Осип в эти горькие минуты перенес такое потрясение, от какого мог бы разорваться иной духовный организм. Его одолевали минуты того падения, после которого человек часто делается на весь век неспособным плаксою или сумасшедшим. Перед приходом священника его одолевало религиозное чувство: ему представлялся монастырь, куда можно уйти от людской неправды; но пришел священник побеседовать с Осипом, и Осипова мысль отвернулась от монастыря. В монастыре бы ему напомнили, что он не смеет судить поступков отца, а должен с покорностью целовать ноги убийце матери. Его детство, ласки матери пришли ему на память; но он уже не плакал; и чем яснее ему представлялось то, чего он лишился, тем сильнее укоренялась жажда правды, воздания за злодейство.

— Господи! — воскликнул он еще раз.— Не дам очам моим дремания, ногам отдохновения, пока не совершу правды за убиение матери моей! Я найду путь к этой правде! Я пойду искать суда, приведу душегубца под кару закона!

И Осип решился разузнать, как было дело, последний раз спросить отца и тогда посмотреть, что сделает отец: если раскается — пусть идет в монастырь, пусть сам себя осудит на жесточайшее наказание за злой грех; а не покается — тогда Осип пойдет искать правосудия во имя царя и правды его.

В это время вошел в повалушу Первун с заплаканными глазами. Осипу стало как-то совестно своего слуги: ему стыдно было заговорить о таком деле, где срамится отец его, о котором он не дозволил бы никому отзываться иначе как с почтением. Но Первун упал перед ним, обнял его колени и зарыдал.

— Ах, государь, государь! Не на радость мы приехали домой!

— Первун! — сказал Осип.— Ты один мне верный человек. Будешь ли мне служить?

— И в огонь и в воду с тобой, государь! — сказал Первун.

— Слушай же: ты должен узнать, досконально все узнать, как было с матушкой.

— Я все узнал, государь, да говорить страшно!

— Говори, милый мой, садись и говори,— сказал Осип.

IV

Если в нашем быту есть что-нибудь неизменное, что может дать понятие о прежнем быте наших прадедов, так это слуги, которые под именем дворовых людей наполняли и наполняют дворы наших дворян. В XVII веке у зажиточных дворян было обилие челяди; ходили они зачастую оборванные и босые; не столько служили, сколько обкрадывали господ и тунеядствовали, а подчас и бесчинствовали, но чаще, чем у нас, исчезали между ними старые и появлялись новые лица.

Двор Нехорошевых не уступал другим, и было в нем такое множество холопов, что из них составился бы порядочный гарнизон. Тут было всего, чего только желать

можно, холопы всякого рода — и полные, и кабальные. Были и такие, что являлись к господину, били челом и представляли отпускные: оказывалось, что прежний господин перед кончиною отпустил их на волю ради спасения души своей, думая сделать доброе дело, потому что церковь издавна поставляла в заслугу человеку, когда он даст свободу ближнему своему, и часто господа отпускали холопов на волю, а в час смерти наипаче, потому что в предсмертные минуты, когда знаешь, что нельзя более делать зла, является охота к добрым делам. Отпущенные не находили лучшего способа употребить дарованную себе свободу, как отдаться снова в холопство. Но были и такие, которые бежали от прежних господ, были посадские, убежавшие из тягла, когда им надоедали воеводские разверстки и слупы или когда наезжал на посад какой-нибудь сыщик открывать табачников. Бегали и служилые от службы, и преступники, что-нибудь накуралесившие и ускользавшие от тюрьмы и виселицы. У Нехорошевых вдоволь народу было. Они рядились с «государем», брали от него деньги вперед и обязывались заслужить, иные до срока за рост, с тем, что если не заплатят, то останутся на службе до смерти; другие продавали себя с потомством, а более всего живали у господ без всякого ряда и делались вечными холопами сами собою, по обычаю, и закон освящал такой обычай, ибо тот, кто проживал в доме господина без ряда долгое время, делался его холопом.

Наймы в холопы в то время несколько походили на наймы охотников в рекруты в наше время. Холоп получит деньги и пропьет их в несколько дней и потом остается в неволе. Немногие приходили с семействами; большая часть была одиноких — и мужчин, и женщин; очень часто у первых были жены, у последних мужья, но те и другие скрывали это и, поселившись во дворе, снова женились и выходили замуж, по приказанию господ, которые обыкновенно находили себе развлечение в однообразии своей жизни, устраивая свадьбы слуг. Однажды у Нехорошевых случилось по этому поводу забавное приключение. Капитон женил какого-то Аверку на какой-то Матренке; вдруг приходит к нему рядиться в холопы муж с женою, и оказывается, что первый был прежде мужем Матренке, а вторая женою Аверки. Из этого народа были мастеровые, и учили они разным художествам мальчишек

и девчонок, и оттого во дворе зажиточного помещика было, словно в посаде, всякого промышленного и умелого народу много: и ткачихи, и портнихи, и столяры, и сапожники, и иконописцы, и бог знает кого только не было. Не обученных мастерству определяли в конюхи, скотники, псари; других вооружали луками и сайдаками и держали на случай опасности; были и такие, которых должность в том только и состояла, чтобы по ночам бить в железную доску и пугать воров. Большая часть их проводила время праздно, да и самые мастеровые работали умеренно, зато не совсем умеренно пьянствовали. У Нехорошевых была своя винокурня и пивоварня, поэтому веселящего сердце пития было вдоволь. Капитон был для них мало грозен, да и дома живал редко, как сказано. Привыкши находиться под слабою десницею женского правления покойницы Натальи Андреевны, дворня отличалась распущенностью, ленью и своеволием. Начальником над нею был ключник Герасим; под его управлением состояло несколько второстепенных начальников: свой староста был над псарями, свой над скотниками. Каждого такого старосту имел право бить Герасим, и, в свою очередь, староста, получив от Герасима тумаки и оплеухи, отплачивал за них такою же монетою своим подчиненным. Женщины были под надзором жены ключника, а потому в начальстве у нее находились старостихи, ведавшие каждая служанок, сообразно их занятиям. Ключницу бил муж, ключница била старостих, а последние били своих подручниц; женщины вообще были подчиненнее мужчин; кроме того что рабу била другая раба, которой поручали над ней надзирать,— ее бил еще и собственный муж; и коль скоро мужа побьют по начальству, он с досады колотил жену, несмотря на то, что ее недавно колотили также по начальству. Такой порядок не возбуждал ропота, потому что был согласен с общими понятиями; если случались побеги, то не от жестокости, а оттого, что захочется в другом месте отведать житья-бытья холопского и денег с новых государей взять. При этом не обходилось без того, чтобы беглец чего-нибудь не украл, что ему под руку попадется. Все думали, что они на то и родились, чтоб их били; воображение их не могло себе представить существования на земле без побоев. «Так от бога постановлено!» — гласила тогдашняя философия. Зато всякий старался обмануть и провести того, кто имел над

ним власть и мог его бить, и это было вовсе не из мщения: напротив, если б кто с холопом обращался мягко, тот мог ожидать от него воровства и обмана.

Между властями и подвластными происходила своего рода война. Всякая власть, в каком бы лице она ни являлась — в лице господина или ключника,— всегда знала, что ее обманут, и заранее назначала за обман себе возмездие раздачею побоев, гордо хвастая: меня не проведешь! Подвластный же в том поставлял свое достоинство, что сумеет обмануть того, кто думает, будто его провести нельзя. Ключник Герасим был любимец Капитона и пользовался его доверием; и когда умерла Наталья Андреевна, он созвал слуг и приказал им, чтобы они не смели говорить непристойных речей про государынину смерть, а наипаче ничего не болтать молодому государскому сыну и его слуге Первушке; когда же увидел заплаканные лица близких к покойнице служанок, то надавал им оплеух. «Вам,— говорил он,— не рюмить, а дело свое делать велено!» Несмотря на такое строгое предостережение, Первун тотчас же узнал всю подноготную от одной старой девки, с которой был в сердечных отношениях еще до своего отъезда: эта девка особенно плакала по своей госпоже и все рассказала своему старому возлюбленному, увлеченная свиданием с другом юности. Первун, в походной жизни получивший такую привязанность к своему господину, какую трудно было найти в холопе, живущем постоянно в мирном доме, явился пересказать ему страшную тайну.

V

— С тех пор как мы уехали,— говорил Первун,— батюшка твой государь, как и прежде, все был в езде, а государыня покойница матушка сама оставалась в доме. Все любили твою матушку покойницу, только невзлюбил ее ключник Герасим; а за то невзлюбил, что покойница государыня знала его хитрость, что он государскому добру не радит, а себе мошну набивает и всячески своих государей обманывает. Вот и стал ключник Герасим придумывать, как бы засмутить между батюшкой и матушкой. А батюшка твой,— прости, государь, на этом слове — падок на женскую плоть, не так, как ты, государь,— по дядюшке пошел. Вот, государь, знаючи это, ключник

Герасим... а у ключника Герасима жена ведунья сущая и всякому ведовству и нечистому делу знатна; и стали они вдвоем, муж с женою, помогать твоему батюшке во всяких тайных женских делах, советливость с ним обо всем иметь, где какую женщину на блуд достать: то ключник Герасим в этом ему помогал, а жена приворáживала.

А у соседа Жарского жена Неонила Филипповна — красота беспримерная. Смутил враг... Стал Капитон Михайлыч с ключником совет держать, как бы ее с ума свести. Ключница сейчас же найди кунку себе, такую же ведьму, как сама, у Жарских — Аксинию; денег ей пообещала, и стали две ведьмы заодно лиходеять. Ключница наша спекла пирог, и положила туда крови своего государя, да наговорила своею бесовскою наукою; а Аксютка отдала тот пирог своей государыне, а потом взяла волос ее, да сожгла, и дала нашей ключнице: «На,— говорит,— своему дай, чтобы как моя не может жить без твоего, так чтоб и твой без моей не жил». После того, государь, довели они обоих до того, что Неонила Филипповна не съест, не выпьет, не поспит — все бредит Капитоном Михайлычем, светом-животом своим называет, а Капитон Михайлыч у себя только и помышляет, как бы с Неонилой Филипповной любовь сотворить. Вот и стали они сходиться у крестьянской вдовы Злодеевой, а Неонилина мужа в те поры в доме не было, в походе был, и прошло времени, чай, с полгода. Батюшке твоему своя жена, твóя, государь, матушка, горше полыни горькой стала: не посмотрит на нее, не заговорит с ней! И прежде не больно ласков был, а теперь все бы ему бранить ее да побить. Бедная все терпела, все выносила: и прежде грех за мужем был, да все не то; хоть на стороне сотворит грех, а все-таки не привьется к чужой, на свою не сменяет; а теперь, вестимо, как на стороне есть зазнобушка, так все к ней да к ней, а своя костью в горле стоит: как уж тут не бить ее! Стала матушка государыня наша думать, где бы это проявилась ей разлучница? Ну, а наше холопье дело: хоть знаешь, да боишься сказать! Одна только и была у ней верная слуга — старая девка Ганка. Она государыню больно любила, и государыня ее жаловала. Видит она, что государыня все тоскует, и спрашивает ее: «Скажи, мол, кормилица, что у тебя за горе? Авось я тебе помогу?» Та и говорит ей: «Так и так, чай, у моего мужа

зазнобушка, а у меня разлучница есть». Ганка говорит ей: «Правда твоя, государыня, есть». И все ей рассказала. Стали они вдвоем думать, как делу помочь. А тут как раз приезжает муж Неонилин Жарской: наперед нас с месяц приехал из Чернигова со службы. Ох, на беду, видно, прилучилось матушке нашей кормилице-голубушке? Не в силу стало переносить сердцу: послала Ганку рассказать про все Жарскому. А ему, дураку, чем бы собрать людей да ночью накрыть свою жену с твоим батюшкой, он же взял да и рассказал ей самой, что вот, мол, про тебя что прислала сказать Нехорошевая. Вестимо, не дура Неонила, чтоб ей признаться: разрюмилась, расплакалась... Клянется, присягает — и ничего такого не было, и в голову ей того не приходило, и во сне не виделось; да сейчас же и послала к Капитону сказать: не могу, мол, с тобой более свидеться, твоя женушка Наталья хочет меня со свету сжить,— все мужу моему передала. Как взбесится твой батюшка, прискочит к матушке, давай допрашивать да бранить, а та ему не смолчала да ругнула его; а он с сердцов, как держал в руках палку, так и хватил ей по голове; а государыня тут так и упала! Сейчас за священником: куда тебе! ни слова не говорит. Так без исповеди и святого причастья преставилась, для того что без речей уж была. Теперь... Бог весть, что с Ганкой и станется! Еще батюшка твой не знает, кто матушке весть передал про то, что он Неонилу любит; а как узнает — смотри, убьет!

Осип не проронил слова из рассказа Первуна.

— Слушай,— сказал он, когда тот кончил,— мы едем в Саранск судиться с батюшкой. Я подаю челобитную воеводе: пусть доводит все дело; на то оно убивственное есть. Царская правда покарает батюшку за бедную матушку. Я поклялся дойти до правды, чтоб недаром пропадала кровь христианская. Как думаешь, Первун: скажут люди правду по сыску?

— Где сказать правду, государь! — сказал Первун.— Народ все лестный, побоится. Капитон Михайлыч велик человек, с воеводой в приятстве. Вот хоть и поп: как ему не знать, как не ведать дела, а дает вид, будто государыня своей смертью умерла! Батюшку твоего все уважают и почитают за первого в уезде.

— Правда на него найдется,— говорил Осип,— и я найду ее! А не найду, так сам пропаду. Коли батюшка хочет

остаться безответен за матушку, пусть меня убьет и положит с ней в одной могиле; а пока я жив — не миновать ему суда. Мы едем в Саранск.

— С тобой, кормилец, куда велишь! — сказал Первун.

VI

Вечерело. В хоромах, где жил Капитон, холоп зажигал лампаду перед образом и лежавшим на столе павлиньим пером обмахивал пыль. Капитон вышел из другой комнаты в синем поношенном кафтане, в туфлях, похожих на валенки, сделал крестное знамение и сказал:

— Позови ко мне Герасима.

В ожидании Герасима Капитон ходил взад и вперед по комнате. Вид его был задумчив; его бегающие во все стороны глаза блистали чем-то зловещим.

Вошел Герасим.

— Герасим,— сказал Капитон,— наделали мы беды! Истинно беды! Вот до чего лукавый доводит! Только поддайся ты ему, а он тебя как раз в пропасть заведет! Мало того, что бедная Наталья Андреевна подвернулась... еще и сынок на беду приехал. Что ты с ним будешь делать! Нельзя же, чтоб он свою родную мать забыл. А что с того? Хоть бы корысть какая!.. Ох, Неонила Филипповна, Неонила Филипповна! Все через тебя. Что нам за корысть, за радость? Неонилушка все-таки моя не будет...

Капитон заплакал.

— Ах, Герасимушко!— продолжал он.— Не жизнь мне без Неонилушки! За нее не то что один грех, сто грехов принять рад — коли б она, моя голубушка, зазнобушка моя, со мной неразлучна была. Эх, лучше бы мне смерть была вместо Натальи!

— Не кручинься, кормилец! — говорил Герасим.— Еще и наша голова не бедна, и мы умом повернем да дело склеим. За семь бед один ответ. Коли в воду по колени, так хоть и по шею. Найдем тебе Неонилу Филипповну. Не то что тайком учнет ходить к тебе: век будет с тобой жить, нашей государыней станет! Эх! То-то радость будет! То-то на свободе вина напьюсь!

И Герасим, говоря это, прищелкивал да подпрыгивал, потом, упершись руками в колени, нагнулся и вытянул голову к Капитону, засматривая ему в лицо.

— Как же это?— говорил Капитон.

— Боярин, любишь Неонилу Филипповну?

— Я ли не люблю ее! В огонь и в воду пойду! Что жену! — отца родного, душу отдам за нее!

— Не тужи, не грусти, не кручинься! — продолжал ключник.— Твоя будет Неонила Филипповна. Сумели приворожить, сумеем и женить. Все в наших руках! Жена моя недаром ведунья...

— А муж?

— Пойдет за Натальей Андреевной.

— Как! Зелья дать отравного?

— Не то чтоб зелья отравного, а ведовство. Что ж делать! Грехом спознался с ней, тем же грехом и получишь. А без греха такому делу не быть.

— Эх, коли грешить, то грешить! Я без нее не жилец на свете. Что хотите творите, лишь бы мне с ней, моей лебедушкой белой, в неразлучности быть. Иссушила меня эта любовь!

— Вот жена сама,— сказал Герасим, и вошла жена его, стоявшая за дверьми.— Она тебе, государь, лучше расскажет.

Жена Герасима была женщина лет тридцати пяти, одетая в синем опашне с медными пуговицами сверху донизу, с длинными, собранными в складки рукавами. Подол опашня был опушен красною полосою, а из-под него выглядывал пестрый подол летника бумажной материи, называемой киндяком, желтого цвета; ноги обуты были в сапоги. На груди у ней было множество крестов, сердечек и ожерельев. Голова была сверх волосника обвита белым повоем, которого концы завязывались под бородою. У ней было жирное лицо с выдувшимися вперед щеками; серые глаза имели в себе что-то особенно неприятное.

— Ну, Маланья,— сказал ключник,— сделаешь так, чтобы Неонила Филипповна стала супружницею нашего государя?

— Можно, коли боярину угодно,— сказала Меланья,— это в наших руках.

— А с мужем, Мироном Малафеевичем, что станется?

— Да что станется? — сказала Маланья.— Что со всеми нами станется; вдова после него останется, а пойдет за Капитона Михайлыча, за нашего государя.

— Маланья! Ведь это ты убивство замышляешь?

— Зачем убивство! Я зелья ему давать не стану;

я просто смерть на него нашлю по ветру. Я такое слово знаю, что куда хочу, туда смерть и направлю, и на кого озлюсь, на того ее и нашлю. Мне можно только троче так насылать. За каждый раз с моего века десять лет скотится; положит мне бы судьба шестьдесят лет прожить на свете, так за первый раз мне придется только пятьдесят прожить.

— Что ж, ты насылала на кого-нибудь прежде смерть? — спросил Капитон.

— Насылала, батюшка, один раз, нече греха таить!

— На кого?

— Этого уж твоя милость не допытывай. Хоть ты мне и боярин, а я того тебе не скажу, хоть ты режь, хоть ты жги меня. А вот коли хочешь возобладать Неонилой Филипповной, так это можно. Я сослужу тебе службу, сама за то десять лет своей жизни утеряю, да тебя, мой свет, с дружком обвенчаю.

— Ах, делай, делай, что хочешь делай! — сказал Капитон.— Лишь бы Неонилушка моя была.

— Сделаю, батюшка; покоен будь, сделаю.

И она вышла.

— Герасим! Дружище мой! — сказал Капитон.— Если твоя жена правду говорит, если вы меня жените на Неонилушке — чем тебя и ее наградить?

— Мы всем твоей милости довольны,— сказал Герасим.

— Волю тебе дать, что ли? Я и без того тебе готов дать: ты и так много послужил. Нет, этого мало; я хочу тебя наградить... чем? Говори.

— Боярин! Ничего нам от тебя не надо. Ми и сыты, и одеты, и пьяны... Что нашему брату! Живем как у Христа за пазухой. Ничем от тебя, света нашего, кормильца, не обижены. Твоей милости счастье сложить — это нам всего охотнее.

— Ну, пошли-ка сына: я хочу поговорить с ним.

— Как же ты думаешь говорить с ним? Что про мать скажешь?

— Сперву я было думал ничего не говорить: на то я отец, власть имею, и не смеет он с меня спрашивать; а после раздумал: хуже станет, его раздоришь. Эх, нехорошее дело! Скверное дело! Причинное дело! А, право слово, не думал, не помышлял! Так вот склалось! Воля божия, видно.

— Так и говори, боярин, так и говори! Всего бы лучше ласкою спровадить его куда-нибудь, а то как Неонилин муж-дурак умрет, да затеем мы свадьбу, так оно нехорошо.

— Да, подумаем... вот оно что: надобно сперва приласкать его, а потом пошлю его к своему приятелю в Нижний. А у него дочка есть. Вот мой Оська, того и гляди, там и останется. Лишь бы старый хрен не прятал дочки, чтоб Оська ее увидел.

— Лучше и придумать ничего нельзя,— сказал Герасим,— сын женится и горе позабудет!

После такого домашнего совета Капитон приказал позвать сына.

Осип между тем собирался было с Первуном ночью уехать; но оба увидели, что это трудно, ибо ворота на ключ запираются. Решились лучше переждать еще день, и на третий день, когда будет поминовение по матушке и трапезное учреждение, тогда и махнуть. В это время холоп позвал его к отцу.

Когда Осип из своей повалуши переходил к отцу с холопом, несшим перед ним свечу, то не без ужаса вошел в те сени, где поутру видел мертвую мать. Из этих роковых сеней дверь вела в две разные комнаты: в одной жила его мать, и там совершилось убийство. Дверь была полуотворена; Осип взглянул туда и задрожал. Месть просилась сильнее из сердца наружу. Холоп растворил другие двери и ввел Осипа туда, где Капитон только что беседовал с ключником. Осип вошел бледный, с посиневшими губами, но старался придать себе вид спокойствия и бесстрастия, чтоб отец ничего не мог прочесть на его лице.

— Здравствуй, Оська, сын мой любезный! — сказал Капитон и, схватив его, начал целовать в обе щеки.

И казалось Осипу, эти поцелуи походили на прикосновение змеи. Когда он поцеловал отца — еще отвратительнее показался ему собственный поцелуй.

— Садись, сынок, садись.

Сынок сел.

— Дай посмотреть на тебя, дитя мое! Девять лет не видались. Расскажи-ка про житье-бытье, как богу и государю служил. Какие напасти, чай, переносил! Ох, воинское дело, воинское дело! Слава всемилосердому богу, что не лишил меня на старости лет радости тебя увидеть. Ох, никто как бог! Ох, господи помилуй, господи помилуй!

Осип молчал.

— Ну, сынок! Видишь, у нас-то, у нас какое горе приключилось! О, великое несчастье! Божие попущение, сынок! Давеча, как ты только приехал, я не мог тебе ничего сказать — сам знаешь! Такое горе — и чужие люди кругом... Ты же в беспамятстве, в ярости... что делать! Не виню я тебя. Никто, как бог; на все божие попущение! Теперь же все тебе расскажу, дитя мое милое! Ничего от тебя не скрою. Ты, любезный сын мой, мое единое утешение в скорбях!

Он поцеловал его в голову. Осип молчал и глядел вниз.

— Теперь я тебе всю правду скажу. Хоть кляни меня, сынок. Оно, конечно, бог свидетель — не думал, не помышлял — рукам воли и тут не давал... Ох! Враг силен, заводит и в синем! Двадцать девять лет прожили вместе, душа в душу, по божьему закону жили; дай господи всем добрым людям так согласно жить, как мы жили: не бранились, не дрались... а на старости пришлось... Ох, ох! Никто, как бог! На все божие попущение! Говорится недаром: хмель. О хмель! К добру не приведет! Известно, в хмелю как в бреду: не помнит человек, что речет, что творит. На все божие попущение! И влас с главы нашей не спадет без воли его! А с чего сталось? Стали мы счеты сводить по хозяйству; покойница сосчитала; я говорю: не так! Она говорит: так! Я говорю: не так! А она на меня: ах ты такой-сякой! Что, я разве мало тебе управляла домом! Ты, говорит, шатаешься всюду, а я одна всему порядок даю, да ты ж меня учить хочешь!.. А нече греха таить, стала покойница прихлебывать, и на тот час была в подпитии. А я, сынок, ух как этого не люблю! Уж давно и многажды журил ее, и из святого письма уговаривал и призывал священника в чувство приводить, а напоследок она перед образом мне поклялась, что не возьмет вина в рот: пусть, говорит, материнское мое благословение побьет меня, если хоть раз напьюсь! После всего этого, вижу, опять напилась и бранится. Я сперва лаской ей говорю: «Наталыошка, друг мой! Ты опять за проклятую дьявольскую воду берешься! Как же тебе не стыдно? Клятву свою вспомни, что ты сказала: материнское благословение тебя побьет! Вот оно, погляди!» А она... известно, пьяный человек свечки не поставит, а свалит — прямо к образу, да и говорит: «Что мне мате-

ринское благословение! Я сама себе госпожа, а ты мне не указ!» Тут я не вытерпел и ударил ее, памятуючи, яко мужу подобает жену учити и наставляти. Она же, чем бы покориться мне, прямо с кулаками ко мне; я стал от нее отмахиваться да как-то ненароком зацепил по виску: она, голубушка, тут так и упала! Уж чего-чего мы не делали! Нет, ничего не помогло. Слава создателю, хоть священник успел исповедать и причастить святых тайн, по-христиански скончалась. Вот до чего хмель проклятый доводит! Знаю, сынок, знаю, тяжело тебе: приехал через девять лет в родной свой уголок, да матушку застал на столе. Разве оно легко! Да ведь и мне, сынок, она жена законная; двадцать девять лет прожили!..

Капитон закрылся обеими руками и всхлипывал. Ему казалось, что он притворился искусно, но сын получил к нему в эту минуту еще более отвращение, и еще сильнее в сердце его укоренилось желание возмездия за смерть матери, ибо он не видал и тени раскаяния в этом человеке, который назывался его отцом. Осип не противоречил ему и не поддакивал. Осип молчал, повесив голову. Как ни старался Капитон расшевелить его и вызвать по крайней мере хотя бы на какое-нибудь слово, даже неприятное — нет! Осип стоял бесчувственнее дерева. Не вторил он искренними сердечными слезами притворным слезам убийцы; не прояснилось его лицо и тогда, когда отец уверял его, что за сие невольное прегрешение он всю жизнь будет жить только для ненаглядного сына; наконец Капитон заговорил о необходимости Осипу жениться: Осип и тут молчал. Только тогда, когда Капитон, выведенный из терпенья этой безгласностью, сказал с сердцем: «Да что ж ты стоишь как пень? Говори что-нибудь!» Осип приподнял голову и отрывочно произнес, без всякого чувства:

— Твоя воля, батюшка!

Отец проводил сына поцелуями и объятиями и возненавидел его вполне. Он бы гораздо менее раздражился, если б сын засыпал его укорами, если б даже поднял на отца руки, чем убивать такою зловещею покорностью. А Осип, пришедши в свою повалушу, еще раз дал волю слезам. Он проплакал до полуночи. Наконец Осип сказал:

— Теперь я оплакал и тебя, приснопамятная родная матушка, и тебя вместе, батюшка! Я теперь круглый

сирота; нет у меня ни роду, ни племени: матушка в сырой могиле, а батюшка на кару пойдет... Не минешь ты ее! От меня не минешь ты ее!

VII

Третий день после погребения был в старину днем погребального торжества. С самой зари во дворе Нехорошевых поднялась суета и беготня; печи его поварней дымились; ключник беспрестанно бегал из одной клети в другую, побрякивая связками ключей; слуги, по его приказанию, сновали в разные стороны, подгоняемые то бранью, то подзатыльниками: одни в медных ендовах выносили из погребов мед и пиво, другие несли к столу в лукошках кубки, чарки, братины, солоницы; на дворе уставляли рядом колоды, а на них накладывали доски, на которых подавался обед крестьянам и нищим. Часов в семь поутру, по нашему счислению времени, зазвонили к обедне. Капитон Михайлович оделся в поношенный кафтан, надел серую шапку и, взяв в одну руку четки, а в другую посох, вышел из горницы и тихо спускался по лестнице; когда он явился на дворе среди суетливой дворни и крестьян, то все кланялись ему в пояс; он отвечал наклонением головы и шел, опустив глаза в землю, испуская вздохи. Пришедши в церковь, он стоял у столба, крестился очень усердно, клал земные поклоны и то поднимал взоры к небу с видом возношения помыслов горе, то опускал их долу с видом задумчивости и грусти.

Его сын стоял у столба на противоположной стороне с каким-то безразличным, равнодушным видом, не плакал, не водил глазами; на лице его нельзя было прочесть ничего. Крестьяне Нехорошева от мала до велика стеклись в церковь, довольные тем, что в этот день не будут работать и притом поедят и попьют за обедом.

По окончании литургии отправлялась панихида на гробе. Капитон Михайлович разливался слезами; сын по-прежнему не плакал и смотрел в сторону, отворотившись от отца, который был для него невыносимо противен в эту минуту. После панихиды все приложились к кутье из ячменных круп с медом, потом понесли в дом кутью в чашке, к краям этой чашки прилеплены были восковые свечи. На дворе Нехорошевых уж были расставлены доски в виде столов, и подле них стояли скамьи,

колоды, обрубки, все, на чем только можно было присесть. Уже на столах виднелись большие деревянные солоницы, круглые деревянные ложки, ломти хлеба и большие чугуны с вареными яйцами. Народ, крестясь, занимал места. Между крестьянами явилось множество нищей братии.

Христовы слова «нищии всегда имате» запечатлелись над всею историею России. Казалось, откуда бы взяться такому обилию нищих в стране, такой девственной и малонаселенной? А между тем, где только отправлялось поминовение по усопшем, являлось их чрезвычайное множество. Как во́роны на добычу, стекались они на эти грустные пиры. Они были необходимы тогда для общества; подачею милостыни нищим выражалось у русского чувство милосердия и сострадания. Если б не было нищих, благочестивый человек не мог бы утешать своей совести: подать нищему значило проложить себе путь к прощению грехов от бога. Все обстоятельства тогдашней жизни так слагались, чтобы плодить нищую братию: их плодили и воеводы, и дьяки, и приказчики, и помещики, и ратные люди, и татары. Как набежит ногайская орда из степей да пожжет хлеб на полях, а в селениях избы, жители, успев спастись от татарского аркана в болотах и лесах и очутившись без крова и без хлеба, расходились по Руси просить милостыни. Случалось, у дворянина или сына боярского отбиралось поместье на великого государя за то, что он убегал или прятался от царской службы: такой бывший помещик просил милостыни. Работать ему было неприлично; в лохмотьях, возбуждавших сострадание, таскался он из села в село, из города в город и восклицал под окнами: «Дайте бедному дворянину кусок хлеба, Христа ради!» Напрасно было бы, если б добрые люди взяли его к себе, обули или одели: он сейчас же пропьет свою одежду или обувь и уйдет из душного дома на улицу да на дорогу: надо же залить зеленым вином горе жизни! А одежду дареную пропить — чистый расчет: в хорошем платье просить — не дадут; лохмотья лучше располагают нищедателей к щедротам. А жить в чужом углу — о, как тяжело! Чужой хлеб без труда горек; шатаясь под окнами, человек чувствует себя свободным; тут есть и труд: придется и ноги помять, и от собак убегать, и зною и холоду натерпеться — вот оно и кажется, что хлеб трудовой!

К Нехорошевым на поминки собралось мало слепых, хромых, безногих: такие не шли пропитывать себя нищенским подвиго-положничеством; нищие, собравшиеся туда, были люди здоровые, всякого возраста и обоего пола. Когда хозяин, Осип, священники и причет проходили из церкви в дом с кутьею, нищая братия подняла нестройный вой и плач, смешение всевозможнейших звуков. Иные просили милостыни, затягивая самым плачевным напевом: «Побейте меня, да покормите! Руки-ноги поламайте, да милостыньки христовой подайте!» Женщины заводили всеми родами пискливых дискантов; в их пении нельзя было разобрать ни одного слова; а так называемые божие старцы, полунищие, полумонахи, обрекавшие себя, как они говорили, на странническое житие, не просили, а пели нравоучительные стихи о кратковременности человеческой жизни и о превосходстве монастырского жития пред мирским. С нищими садились за столы и крестьяне, считая приличным почаще вздыхать и говорить: «Царство небесное! Царство небесное!» Среди этой толпы в серых зипунах и кафтанах сновала пестрая толпа челяди, заведовавшей учреждением трапезы.

Священники с хозяевами и гостьми дворянского происхождения вошли в столовую. Там, в просторной избе, назначенной исключительно для трапезы, поставлены были два стола, углом один к другому, покрытые узкими скатертями, а на них стояли серебряные солоницы на ножках, с рукоятками, уксусницы, перечницы и лежали большие ломти черного хлеба; ни тарелок, ни салфеток не было. В углу перед образами теплились лампады и горели свечи. Прямо против столов стоял поставец в три полки кругом, уставленный посудою — кубками, достаканами, братинами, ковшами, мисами,— так, что внизу были более массивные, а наверху мелкие. Входя в столовую избу, надобно было пройти через просторные сени, где стояли широкие медные ендовы с носками и с крышками, кувшины с раздутыми боками и с узкими и длинными горлышками, а на столе лежали кучами ложки, ножи и вилки. Почетное место было под образами; его занимал священник; по правую руку садился хозяин, по левую сел Осип, а от них рядами садились гости, которых было всего четырнадцать человек, одни мужчины. Женщины обедали наверху, в избе, под учреждением священниковой жены, занимавшей должность хозяйки. Причет-

ники не садились за стол: им подавали в сенях, ибо они вместе с несколькими охотниками должны были в сенях петь «яко по суху пешествова израиль», а между прочим прикладывались и к вину.

Подали пироги с рыбой; потом подали в мисах с разложистыми краями горячую уху красного цвета, пропитанную шафраном и перцем, с толченики или галушками, сделанными из тертой рыбы; при каждой миске было положено по две ложки; двое ели из одной миски. Когда поели уху с пирогами, поставили гостям тарелки; впрочем, не наблюдали, чтоб перед каждым непременно была особая тарелка, а ставили как придется; так перед одним стояла особая тарелка, у других — перед двумя. Мисы с остатками ухи принимали только тогда, когда нужно было место для другой посуды. За ухой следовал рыбный каравай — тельное с разными пряностями, запеченное в духовой печи и обильно облитое ореховым маслом. Потом несли жареную рыбу на двух больших круглых блюдах с широким ободом, который был украшен выпуклостями и впадинами, чередовавшимися между собою. Двое слуг несли одно блюдо, держа его за приделанные к краям кольца: так следовало по приличию. Бюдо ставили прежде перед дворецким в сенях, который разрезал лежавшую на нем рыбу, клал на нем несколько двузубых вилок, и тогда холопы, называемые, по поводу услужения за столом, стряпчими, несли его перед гостей. Гости ели руками, обтирая их о собственные платки, лежавшие у кого в шапке, а у кого в зепи (кармане); вилки же служили больше для помощи рукам, да и самих вилок положено было меньше, чем сколько было всех обедавших. Очищая рыбу от костей, гости бросали их на тарелки, где были остатки тельного. За жареною рыбою следовали леваши и оладьи, облитые жидким медом; потом клали на столе большие калачи пшеничной муки, но не излишней белизны, ставили в оловянных складнях медовые соты и приносили ножи. Каждый из гостей отламывал себе кусок калача и ножом накладывал на него кусок медового сота. Потом принесли в больших мисах взвар с сушеными вишнями, яблоками, малиною и, наконец, в серебряных братинах кутью. Вся посуда, исключая братин, была оловянная. Между кушаньями беспрестанно подавались напитки. Ключник Герасим ставил перед гостьми высокие серебряные стопы

и наливал в них домашнего пива: после жареного приносил кубки разной фигуры с затейливыми узорами и наливал их наливкою; а когда подали взвар и кутью, то принесли в братинах малинового меда и расставили перед гостьми ковши той формы, какую можно видеть теперь в церквях. Священник, обратясь к образам, запел «Зряще мя безгласна». Капитон опустил глаза. Сын, сидевший до сих пор угрюмо, воспользовался общим обращением к образам и ушел. Отец не обратил на него внимания. Пропевши песнь, выпили мед и сели есть вареные в патоке яблоки, и ключник наливал в кубки другого сорта наливку. Беседа стала оживляться, и священник рассказывал, как человеческая душа после разлуки с телом скитается по мытарствам, какие приключения терпит, как ангелы с бесами спорят за нее, как кладут на весы добрые и злые дела покойника, как перетягивают злые и как спасают человека от конечной отправки в ад церковные приносы и подаяния. Мало-помалу от небесных предметов разговор стал сходить на плачевную земную юдоль, и священник заметил, что живой думает о живом и что Капитону Михайловичу еще есть надежда вступить во второй брак, а добрым людям погулять на его свадьбе.

Между тем женщины, пировавшие в избе, подняли такой разговор, что слышно было в столовую, хотя нельзя было разобрать, что они говорили; да и сами одна другую не разбирали, потому что говорили все разом. На дворе нищие жалобным тоном затягивали духовные стихи; другие, развеселясь, насвистывали более веселые напевы, оглядываясь по сторонам, чтобы кто-нибудь не ругнул их за это, весь этот шум сливался с грустными ударами колокола под рукой звонаря, которому приносили яства и питие к низенькой деревянной колокольнице.

Не ранее как часа через два гости стали расходиться. Капитон ушел в свою избу, холопы стали убирать посуду, а потом в свою очередь принялись поминать покойницу, хотя и во время обеда не забывали себя до того, что к концу его некоторые уже не могли прямо ходить. Таким образом, им некогда было заметить, где был Осип. Наконец Герасим, оставшийся трезвее других, спросил о нем и узнал от конюхов, что Первун оседлал двух коней, привязал к седлам дорожные узлы, и молодой госу-

дарь уехал с ним вместе через задние ворота и поскакал по дороге в Саранск. Так как они государских дел не знатны, так им и в голову не пришло сказать об этом.

Ключник покачал головой, смекнув, что тут что-то не ладно, и отправился донести Капитону Михайловичу.

VIII

Осип с Первуном бежали рысью, не останавливаясь и не заговаривая один с другим. Осип не нарушил молчание даже и тогда, когда перед ним вместо одной дороги явилось две в разные стороны. Не спросивши своего слугу, знавшего местность так же плохо, как и он, Осип по инстинкту повернул вправо и не ошибся: то была большая саранская дорога.

Пустынная местность вокруг показывала скудость населения около этой дороги; не видно было нив, ни скошенных полей; высокие стебли степной травы, отжившей свое летнее существование, торчали, наклонившись друг на друга, и лежали, переплетаясь между собою и представляя грустный вид наступающей осени. По обеим сторонам синели гряды лесов и принимали иногда зеленый отлив, когда дорога подходила к ним ближе. Такая пустота, однако, не доказывала, чтоб в этом крае не было селений: тогда не любили селиться около больших дорог; напротив, выбирали места поуединеннее, закрытые лесами; соседство с большими дорогами представляло гораздо больше неудобств, чем выгод. И татары скорее могли напасть на население, и ратные государевы люди, следуя по большой дороге, зашедши в село, могли чинить себе угодное, а ратный государев человек был большой охотник и до крестьянских женок, и до крестьянских клетей. Даже купеческие обозы мало приносили пользы жителям больших дорог: наедет обоз, лошадей покормят, сами поедят, попьют да не заплативши и уедут или дадут что им вздумается из милости; а в деревне мало людей, чтоб сладить с ними. Царские гонцы, дети боярские и стрельцы, ездившие с разными отписками и грамотами, отрывали людей от работы, брали подвод вдвое, чем сколько у них написано в подорожной, приглашали с собой купцов, взяв с них денег, а крестьян заставляли везти, да вдобавок, чтоб показать свое достоинство, хозяину зубы разбивали, ради потехи посуду

в доме били и портили. Тогда всякий, кто состоял на службе и имел право назваться царским холопом, хоть бы он был не более как кузнец или плотник в городе, подымал кверху нос перед сиротой государевым, как называли себя посадские и крестьяне. По этим-то причинам большие дороги были очень пустынны; иногда проезжий проедет верст семьдесят, не встречая ничего, кроме зверя прыскучего, да птицы перелетной, да своего брата проезжего. Только выселенные по царскому указу на ямы ямщики жили верстах в пятидесяти и далее ям от яма, жалуясь на свою судьбу, и нередко убегали с места своего поселения.

Наши путники въехали в лес; тут не раз приходилось их лошадям спотыкаться о пеньки и головам всадников испытывать удары от нагнувшихся древесных ветвей. Тут первый раз встретились с ними люди; то были двое всадников в зеленых кафтанах, с саблями при боках и с пистолетами за поясами. Осип с Первуном машинально, по привычке, приложили руки к своим пистолетам, чтоб показать незнакомцам, что с ними шутить нельзя; то же сделали незнакомцы. Таковы были дорожные обычаи. Разъехавшись мирно, незнакомцы сказали: «Бог на помочь, добрые люди!», а Осип с Первуном отвечали: «Дай боже благополучно!» Скоро после того наши путники выехали из лесу и увидели перед собою город Саранск.

Прежде всего заблистала перед ними глава соборной церкви, покрытая яркой белой жестью; по ней играли лучи солнца, склонявшегося к западу. Извилистый лабиринт деревянных укреплений, называемых надолбами, окружал посад, раскинутый вокруг города, так что с одной стороны строений в нем было больше, чем с других, а с противоположной — той, откуда ехали наши путники, река Иква протекала возле стен самого города. Городская деревянная стена шла неправильными линиями и то высовывалась вперед выступами, истыканными узкими отверстиями для стрельбы в два этажа, то уходила внутрь выемками; там и сям возвышались башни, не похожие одна на другую; направо подымала высокую остроконечную вершину башня, называемая наугольная крымская, стоявшая на большом углу стены, уходившем на запад в поле, далее, из-за зданий в средине города виднелись разнохарактерные верхи башен, стояв-

ших по той части стены, которая шла вдоль Иквы; на сторонах, окружавших посад, стояли одна от другой в разных расстояниях башни: одна из них, называемая Троицкою, было четвероугольное здание с претензией бежать вверх и с приплюснутой кровлею, как будто бы кто сверху ударил ее по голове и сказал: «Куда ты? Стой!» Ее звали в просторечии Наседкою. Другая верхоглядничала над всею стеною своими тремя крышами, каждая сверх другой; в ней виднелись широкие ворота; по направлению от нее шли три глухих башни круглого вида, за ними широкая невысокая башня с воротами, а за нею выступ без кровли с зубцами, называемый городком, сажен на двадцать выдавшийся вперед. Как бы взамен такого смелого выхода, стена потом уходила назад и, снова выдаваясь на прежнюю линию, упиралась в высокую и тонкую наугольную башню, которую называли Боярыней. Вся стена была покрыта высокой кровлей; в некоторых местах самая стена была выше, в других ниже; на выступах и башнях были особые кровли: поэтому издали казалось, как будто десяток разных городов нагромождены вместе. Стены города были черного цвета, во многих местах поросшие мхом и травою. Здания всредине виднелись сплошною массою деревянных черных кровель, между которыми инде белели полосы березовой коры, которою тогда устилались крыши; несколько церквей возвышали свои главы над зданиями; иные, как и на соборе, были покрыты жестью, другие зеленою черепицею. Самих церковных зданий нельзя было видеть за городскими стенами; нигде не показывалось ничего каменного, ничего беленого. Окружавшие посад надолбы состояли из столбов, поставленных вертикально и тесно один к другому в два ряда, с перекладинами поверху, и таким образом образовывали коридоры; они примыкали к самому городу у реки Иквы, и, протянувшись в прямом направлении как бы продолжением городской стены, заворачивались и разветвлялись в разные стороны, и таким образом составляли переплетенную сеть укреплений, то упираясь друг в друга своими частями, то пуская от себя новые отрасли, то расширяясь в полукруги, то сжимаясь в углы. Когда путешественники подъехали к ним, то уперлись в их стены; проезда не было: они должны были поворотить вправо и в другой раз наткнулись на стену; тогда надобно было

ехать влево между двумя стенами, по коридору, и еще раз взять вправо, чтобы въехать в спускные ворота.

Очутившись на посаде, Осип с Первуном поехали по улице. По обеим сторонам ее шли волнистые ряды крыш, на которых кое-где торчали вышки и чердаки с большими окнами; низенькие дымные трубы из небеленого кирпича казались птичьими гнездами. Дворы вообще были малы по улице и вытягивались в боковую линию; иные огорожались плетнем или забором, в средине которого делались крытые ворота. Домашняя постройка стояла внутри дворов, но в других дома выходили наружу и ворота были обок их, примыкая одним краем к дому, другим к двухэтажной клети или амбару с лавкой. Дворы стояли не на одной линии по улице: одни выдавались вперед, другие уходили назад. Такой способ построек скрадывал улицу; она делалась то уже, то шире; едучи по ней, казалось, что она впереди скоро кончается, и от нее уже пойдет другая, а в самом деле шла все одна и та же. Низенькие курные избы стояли рядом с двухэтажными домами, очень узкими, с тремя и часто с двумя окнами на одном фасаде вверху; в подклетах часто не было вовсе окон: это показывало, что они назначались для кладовых. Когда путники доехали до переулков, то увидели образа, стоявшие на столбах; следовало остановиться и перекреститься. Едучи таким образом по улице, путники наши доехали до площадки, где стояли рядом две церкви без дворов, обе низкие, деревянные; одна была с прорезною башенкою над крыльцом, и в этой башенке висели колокола; около другой за троечастным алтарем стоял навес с колоколами. Обе церкви были покрыты дранью: главы были жестяные с крестом, поставленным на луне.

Сдержавши лошадей и сделавши несколько крестных знамений перед обеими церквами, Осип и Первун проехали еще несколько сажен по улице и достигли рва, окружавшего городскую стену. Глубиною этот ров был сажен до четырех и наполнен грязью от воды, проведенной туда из Иквы и высохшей во время лета; всредине рва вбиты были заостренные колья густым рядом, который назывался честик. Через ров вел мост без перил, очень некрепко сколоченный, так что когда въезжали на него, то лошади беспрестанно попадали ногами в расселины. Снявши шапки и помолившись перед образом,

висевшим на воротах, путники въехали в город. Они должны были проехать по улице из дворов, из которых в одних жили служилые люди, другие были осадные, построенные разными помещиками Саранского уезда на случай осады, чтобы спрятаться в них с семействами, когда будет угрожать неприятельское нашествие. В обыкновенное время в них жили дворники. Таким образом проехавши между дворами, путники приехали на площадь. Тут стоял деревянный собор, недалеко от него две другие деревянные церкви; на правой стороне была приказная изба, длинное одноэтажное строение, разделявшееся на две половины, с проходными сеньми; близ нее воеводский двор, огражденный тыном; позади был врытый в землю каменный погреб с государевым зельем и свинцом — единственная каменная постройка во всем Саранске. Вправо от воеводского двора стояли два двухэтажных деревянных амбара; в одном хранилось оружие, в другом — хлебные запасы. Прямо против воеводского двора, подле собора, был гостиный двор с лавками, но в нем не торговали, исключая годичной ярмарки; зато туда купцы могли сносить товары из посада, если б оказалось опасно оставаться им на обычном месте.

У Нехорошевых был свой осадный двор, но Осип не поехал туда, чтоб не встретиться с отцом, который там остановится, когда воевода призовет его к ответу. Первун вспомнил, что тут есть добрый человек, новокрещен Мордвин-пушкарь, женатый на сестре той самой Ганки, которая покойной матери Осипа передавала вести. Недолго было искать его. Случилось, проходил служилый человек; Первун спросил у него, где живет Мордвин-пушкарь. «Я сам тот и есть»,— сказал Мордвин. Осип с Первуном повернули к нему на двор, стоявший на одном из концов площади. С дружелюбными поклонами Мордвин ввел гостей в избу, которая у него называлась чистою или светлицею и которая в самом деле была черна и грязна и слабо освещалась двумя маленькими окнами. Тут Первун принялся рассказывать Мордвину, зачем они приехали. Вскоре пристала к разговору и хозяйка и, узнавши про сестру, начала охать. Осип громко сказал:

— Есть правда у бога и у царя! Не бойся за свою сестру; служила моей матушке-покойнице, мне пусть немного послужит: награжу!

— Ах, родимый мой! — говорила хозяйка.— У меня-то всей родни на белом свете, что сестра. Две нас было у батюшки; батюшка служил у дядюшки твоего верою и правдою и с ним в походе бывал. Дядюшка твой Петр Михайлыч меня и замуж выдавал. Мы все помним его добро. Как же нам теперь сестру-то вызволить? Они съедят ее живую.

— Сестра твоя пусть правду говорит,— сказал Осип.— Мы дело обделаем; надобно идти к воеводе да челобитную подавать.

— Воевода-то наш сам не при себе,— сказал Мордвин,— такая тревога, такой переполох, что боже упаси!

— Что такое? — спросил с удивлением Осип.

— Ты, боярин, нешто, едучи из похода, не слыхал, что делается на Волге?

— Казаки пошаливают, что ли? — сказал Осип.— На Хвалынское море пошли, на перского шаха?

— Кой тебе на Хвалынское море! — сказал Мордвин.— Астрахань-город взяли, воеводу убили, приказных людей извели... Служилые к ворам пристали, над христианами всякое бесчинство учиняют и теперь уж по Волге идут вверх. Проявился у них какой-то батюшка Степан Тимофеевич, что, говорят, его ни пуля не берет, ни сабля: таково слово знает! И с ним будто бы патриарх Никон, что старшой надо всеми попами был, а царь его сместил; да бают, с ним же еще и царевич Алексей Алексеевич. Идет будто бы на бояр, в Москву, и обещает людям льготные годы, что уж теперь, говорит, все люди будут равные, а не будет того, что вот теперь один боярин, и ему боярская честь, а другой крестьянин али посадский, а будут все заодно, как у казаков на Дону. Рассылают своих пособников, грамоты исписали да им отдали, чтоб носили да людям читали; а в грамотах, слышь, прописано, чтоб все люди принимали царевича да батюшку Степана Тимофеевича, чтоб народ православный сбирался кто с чем может: кто с саблею, кто с ручницею, а кто хоть и с дубинкою, да вставал на лиходеев. Анадысь на посад пришли три человека и стали у посадского человека Вавилки Хлебосолова и стали брехать: «Пристаньте,— говорят,— вы, посадские, к нам; когда мы к вам придем, зажгите город, побейте воеводу и приказных всех, а животы их и всю царскую казну себе поровну разделите; а где,— гово-

рят,— нашего слова не послушают и батюшки Степана Тимофеевича приказу делать не станут, тому городу несдобровать: батюшка и царевич велят всех побить». Вавила же не будь прост, поди да и скажи воеводе: не побоялся, что они ему беду сулили, коли к ним не пристанет. Воевода отобрал нас, служилых, да к Вавиле. Тут на беду нам сталось, завидели воры, что идут люди, да бежать; мы за ними; двое завернули за угол, да и были таковы; третьего наш молодец по ноге стрельнул; поймали; а тех искали, искали, бегали, бегали по всему посаду, и конные поскакали за надолбы — нет тебе! словно в воду канули. И по дворам искали... нет да и нет! Воевода так и думает, что свои воры посадские прихоронили. Ругался беда как! «Такие-сякие,— говорит,— врагоугодники, клятвопреступники, царю хотите изменить!» Стал брать в застенки да пытать огнем, да животы отбирают у них приказные люди. А Вавила и сам не рад, что сказал: на другую же ночь у него сенница загорелась; так вот невесть с чего огнем и взялась, и весь двор сгорел, а сам с семьею мало жив выскочил. Посадские на нас все злятся, что мы в их дворах обыск чинили.

— Давно это у вас?

— Да вот третий день всего. Идет большой переполох. А тут из Москвы указ пришел воеводе, чтоб жить с большим береженьем: чают, воры придут; дворян и детей боярских, бают, в осаду будут звать; а того, что поймали, завтра смерти предадут за посадом.

— Враг лукавый смуту чинит,— сказал Осип,— царю белому супротивное хочет сотворить. Сила крестная с нами и милость святых чудотворцев заступников! Есть у царя верные люди, покорят они под нозе его воровство и измену.

Ночь наступила, и Осип расположился на лавке, подостлавши под себя свою епанчу и кафтан, а Первун на холодной печи. Отходя ко сну, Осип усердно помолился и окрестил кругом свое странническое ложе, чтоб отдалить дьявола и слуг его.

IX

На другой день, с солнечным восходом, с Осипом сидел за столом площадной дьячок Еремейка, известный в Саранске и его окрестностях писатель челобитных

и всякого письменного дела. Этот класс людей был тогда в большом ходу: народ в те времена был безграмотный, и кому только нужно было написать что-нибудь, тот обращался к одному из таких грамотеев. Осип хотя и знал грамоте, да писал нетвердо, и к тому же не знал всех тех приказных приемов, которые требовались в деловых бумагах, что с начала, что с конца поставить, как дело изложить, как царя-государя разжалобить. Дьячок Еремейка был человек лет около сорока, лысый, с клочковатой бородой и с рябоватым, вечно пьяным лицом; одевался в зеленый кафтан и носил дырявые сапоги. Когда его призывали писать челобитную, то всегда, кроме калыма, как называл он плату за свой труд, ставили перед ним жбан зелена вина: без того у него в голове мысли путались и не выливались на продолговатый свиток. Еремейка был большой искусник на все руки и притом олицетворенное беспристрастие: он писывал челобитную и истцу, и ответчику, научал обе стороны друг против друга; нередко, настроивши их, передавал той и другой стороне планы, им же для них составленные. По этому поводу борода его беспрестанно теряла волосы, а на лице часто показывались синяки. Еремейка все терпел и шел своей дорогой; он сочинял посадским друг на друга ябеды и поджигал их идти жаловаться одних на других воеводе, и за это воеводы не только терпели его, но еще и любили, потому что он им хлеб доставлял. Только иногда сердились на него приказные люди, потому что вместо него сами бы могли написать ябеду; но Еремейка и с этой стороны умел улаживать дело, чтоб всем было хорошо: Еремейка челобитную напишет так, чтоб дело как можно лучше заплелось; воевода примет да передаст в приказную избу, а там уж приказные справки наводят и в законы смотрят. Так перебивался Еремейка и удивлял всех своим пером; особенно женщины с чувствительным сердцем не могли удержаться от слез, слушая его челобитные, хотя дело для них было постороннее. Осип не расплакался от красноречия Еремейки, потому что в его душе было много такого горя, которого не мог выразить никакой Еремейка. Еремейка знал, что челобитная против уложения, но не сказал этого Осипу, чтоб взять с него награждение. Заплатив писателю, Осип свернул челобитную в трубку и отправился к воеводе. Когда Осип шел в его двор, то на площади увидел толпу народа

и, вспомнив, что ему рассказывал Мордвин, догадался, что готовятся казнить преступника.

Воеводская изба состояла из двух половин, разделенных теплыми сеньми; в одной жил воевода, принимал посетителей и отправлял свои служебные дела, а в другой помещалось его семейство; обок этого дома стояла одноэтажная поварня с пристроенною к ней просторною людскою избою; позади дома, на три стороны, построены были баня, конюшня, сарай, сенница и две клети. Этот двор со всеми в нем зданиями был казенный, назначенный для воеводы от правительства. Так как воеводы редко бывали более двух лет сряду на одном месте, то и не заводились большим хозяйством. Воеводы вели жизнь почти кочевую: два года в Саранске, третий в Тотьме, а то где-нибудь и в далекой Сибири. Случалось даже, что воеводы, отправляясь на воеводство, не брали с собой семейств, зная, что им недолго придется пробыть на данном посту. В Саранске воеводою был тогда дворянин Перфил Матвеевич Дрекалов и уже пребывал тут третий год.

Осип взошел по лестнице в сени, тут холоп остановил его и спросил, что ему надобно. Осипу следовало дать холопу несколько денег, и тот велел ему подождать в сенях, а сам пошел доложить воеводе. Войдя по приглашению слуги в горницу, прежде всего Осип помолился образам, потом поклонился в пояс воеводе, стоявшему с величественным видом и с ласковою улыбкою.

— Пришел бить челом царю-государю! — сказал Осип.— Не побрезгуй, воевода милостивец, моим приношением: изволь принять; чем богат, тем и поминаю. Человек я служилый, долго с врагом в чужих землях воевал, кровью себе купил пистолет турецкий, отделанный серебром, у ляхов взял на битве.

Он подал ему пистолет. Воевода, принявши его, взял Осипа за плечи и посадил на почетном месте под образами и сказал:

— У меня такой обычай: прежде гостя посадить да накормить и напоить, а там уже расспросить и дело для него сделать. Гаврило! — крикнул он на холопа.— Подай сюда настойки да пирогов. У меня, господин, настойка отменная, а пироги сама хозяйка пекла, большая ведунья в этом деле. Вот ты говоришь, что с ляхами в чужой земле бился; а у нас здесь туча сбирается, придется, быть

может, и нам кровь пролить и животы положить за святую церковь и за царя-государя. Воры, клятвопреступники, богоотступники, церкви святой обругатели, царского величества насильники идут по Волге вверх и грозят нас всех побить и всякую власть и начальство искоренить! Глупый черный народ волнуют и мутят, дома зажигают, чтоб людей в страх привести. Большая беда над всеми нами складывается. А тут из Москвы пишут к нам, чтоб мы, воеводы, того смотрели, чтоб воры к нам не пришли и дурна не учили, а в других городах служилых и воевод насмерть побили! Ох, тяжкие пришли времена!.. У нас в Саранске есть юродивый; говорит, что это так делается перед страшным судом: и точно, государь, видно, что недалеко свету преставление. Из всего видно: стали люди строптивы, властям непокорны, к церкви святой неприлежны, суемудренны, своевольны, родителям непослушны... Уж и знамения на небеси являлись: видели люди огненный меч, на полуденную страну обращенный. Ох-ох-ох! Господь указует нам, нашего спасения хочет, а мы-то, мы нечувственные, не думаем покаяться!

— Что же, воевода, бог милостив,— сказал Осип,— посетит нас бедой и пожалует. Есть у царя верные слуги, с поляками и татарами бились, царство наше богом свыше возлюбленно. Станем ли бояться воров — донских казачишек? На них послать детей боярских да стрельцов; мы с божиею помощью и разобьем их, и связанных разбойников приведем.

— Эх, молод ты, государь,— сказал воевода,— хоть и бывалый! Оно правда, в Польше у вас, может быть, врагов было и более, да враг-то не таков: там люди, а тут... тут вражья сила нечистая! — произнес воевода шепотом.— Этот Стенька Разин чародей, лукавому душу свою запродал; его ни пуля, ни сабля не берет. Были примеры: в Царицыне, говорят, стреляли по нем, а порох вон из пушки запалом выходил; а он, богоотступник, по воздуху летает и по воде ходит, как по земле. Вот он что!

— Против адской силы крест животворящ — оружие непобедимое! — сказал Осип.

Между тем поставили водку, серебряные чарки и пироги на оловянной мисе. Осип выпил чарку водки и похвалил ее. Закусивши пирога, он поклонился хозяину, а хозяин поклонился гостю и налил еще водки. Гость

отказывался, хозяин кланялся, просил и принуждал его пить. Наконец воевода сел и сказал:

— Ну, вот теперь после хлеба-соли можно и об деле поговорить. С чем добрым пожаловал к нам?

— То-то и беда, что не с добрым, а с худым...

— К нам, начальным людям, все только с худым и ездят,— сказал воевода, и Осип стал рассказывать свое дело. Но едва воевода услышал, что перед ним сын Капитона Михайловича, развернул руки и вскричал:

— Капитона Михайловича! Моего кормильца и благодетеля сын! Вот оно что!.. Эка радость! Ну, не знал я, с кем говорю. Дай же я тебя к сердцу прижму да поцелую! Прошу меня любить и жаловать. Мы с твоим отцом как с родным братом живем; благодетель не брезгует мной, не оставляет меня: и мучицы привезет, и меду, и мяса соленого... Первый помещик на целый уезд. Вот, небось, радость батюшке, сынка дождался, а то давно не видал, чай лет десять без малого был на царской службе.

Плохо было Осипу слышать такие речи перед тем, когда он готовился сказать об отце своем вовсе не такие добрые вести, каких ожидал воевода.

Скрепивши сердце, он промолчал на возгласы будущего своего судьи и потом, подав челобитную, прибавил:

— Давеча ты сказал, что к тебе все с худым ездят; а уже, верно, такого худого еще тебе не приносили, как я. Прочитай, государь, и узнаешь. Я пришел к тебе просить царского суда на своего отца.

Воевода выпучил глаза и, обмеряв Осипа с ног до головы, покачал головой.

— Суда на отца! Вот оно что!.. Говорит правду юродивый, что суд божий скоро придет и дети начнут подымать на родителей руки. Ох-ох-ох!

И, развернув челобитную, он начал читать вполголоса, пожимая плечами, и по окончании чтения сказал:

— Эка причта-то! Господи боже! Господи боже! Экое вражеское попущение!.. Ты здесь пишешь, якобы отец твой был в блудном сожитии с чужою женою? Поди ты! Ты сам видел, говоришь, боевые знаки на голове у твоей матери?

— Видел, и другие видели: люди то же скажут.

— Люди скажут!.. Что люди! Люди воры, люди дурное думают, как бы государей обокрасть, да очернить,

да всяческое лихо учинить. У людей теперь заячьи уши: Стеньки Разина, собаки, дожидаются! Господи боже, господи боже!.. Наше дело судебное: царю присягали судить правду и по евангельской заповеди, другу не дружить, недругу зла напрасно не творить. Пошлю розыск сделать: у меня на челобитной справа не остановится. Гаврила! Пошли ко мне Тюлюбаева.

— Эх, вот право хлопоты какие! — продолжал воевода, не глядя на Осипа.— Вот хоть бы это дело: совсем не мое, а губного старосты; а его не поставили тут... теперь губные дела и делаешь. Прощай. Сын боярский Тюлюбаев поедет розыск сделать, а ты понаведаешься в приказной избе; там тебе скажут, когда приходить ко мне!

Он холодно расстался с Осипом и даже не провел его до дверей.

На площади, куда вошел Осип, толпа умножилась. Приказные беспрестанно бегали в приказную избу и выбегали из нее. Как ни разрывалось Осипово сердце, но он невольно занялся предстоящей казнью и решился посмотреть на нее.

Тюрьма, где содержались преступники, была под губной избой, которая стояла близ городской стены и, за неимением особого старосты, была пуста. Нижний этаж или подклет, составлявший тюрьму, был врыт в землю; маленькие отверстия, сквозь которые едва можно было просунуть кулак, освещали ее. Можно себе представить всю отвратительную внутренность этого помещения, сырого и темного, где преступники сидели в темноте, прикованные к колодам, и выводились раз в неделю, в кандалах, просить подаяния; тогда их водили по посаду к рынку, и они жалобными причитаниями должны были выпрашивать себе хлеб. Сторожа делили выпрошенные куски между ними в продолжение недели; а если что-нибудь подавали им получше или давали деньги, то сторожа прибирали это себе. В одном погребе сидели и мужчины, и женщины; некоторые в таком месте живали лет по десять и свыкались со своим положением.

Постояв несколько минут между народом, Осип увидел, как воевода вышел в праздничном платье, весь пестрый с ног до головы: сапоги зеленые, из-под пол кафтана выглядывали полосатые штаны, цветов синего, красного и желтого, из материи, называемой дорогами, кафтан яр-

кого красного цвета с синими полосками около разрезов; около шеи был стоячий воротник, усаженный жемчугом; на голове желтый колпак с жемчужными пуговицами. В руке у него была большая трость с набалдашником. Когда он вышел, стрельцы побежали к тюрьме и вывели оттуда в лохмотьях мужчину лет около тридцати, с черной бородою, хромавшего от полученной в ногу пули и со следами страдания пыток на лице. Железные кандалы у него были на руках и на ногах. Его привели к воеводе. Между тем явился священник.

— Хочешь исповедоваться и причаститься? — спросил воевода.

— Хочу! — сказал твердым голосом преступник. Его повели в приказную избу; за ним пошел священник.

Около воеводы собралось несколько городовых детей боярских. Осипу не слышно было, что говорил им воевода, указывая иногда на городские стены, но можно было догадываться, что дело идет о предостережениях по случаю ожидаемого прихода воровских людей. Священник вышел из избы скорее, чем можно было ожидать.

— Это такой беззаконник,— сказал он,— какого еще свет не видывал! Точно татарин некрещеный; в Петров пост мясо ел! Не хочу его исповедовать, не токмо что причащать. Пусть идет во ад, ко отцу своему сатане, во огнь вечный!

— Ну, ведите его! Туда и дорога! — сказал воевода.

Священник удалился прочь. Преступника в оковах повели прямо к проездным воротам, на посад; за ним шел палач с веревкой в руках. Служилые для эффекта ударили в тулумбасы и затрубили на трубах.

Идя вслед за шествием, Осип очутился на посадском рынке. На площади стояли деревянные лавки рядами, так что образовывали между собою улицы. Каждый ряд носил свое название, ибо в каждом торговали своего рода товаром. В одном виднелись колеса, ободья, дуги, скамьи, ложки; в другом — топоры, пилы, лемеши, гвозди, крюки, чугуны, жбаны и разного рода железные снасти; в третьем — седла, узды, шлеи, хомуты; в четвертом — соль, крупа; в пятом — овес, сено, отруби; в шестом — посуда и т. д. Ряды были невелики: лавки в три и четыре. Между рядами стояли ночвы с ягодами, скамьи с мясом, сидели на голой земле молочницы с кувшинами и мисами, где были творог и сметана. Дошедши до церк-

ви, стоявшей посреди площади, все остановились и стали креститься. То же повторилось через несколько саженей снова, когда встретили еще две церкви, стоявшие одна возле другой. Таким образом дошли до края посада: там недалеко от надолб поставлена была виселица.

— Православные христиане! — сказал преступник, когда, сняв кандалы, подвели его к виселице.— Дайте Христа ради чарочку винца выпить! Веселее и охотнее будет на тот свет идти, Христа ради дайте! В горле пересохло... промочишь, так веревка плотнее приляжет к шее!

Благочестивые люди с омерзением услышали такие слова, но другим понравилась эта выходка. Сейчас побежали в кабак, стоявший неподалеку от виселицы.

Воевода не стал мешать. Преступник схватил судорожно чарку и закричал громко:

— Много лет здравствовать нашему батюшке Степану Тимофеевичу!

— Не давать! — закричал воевода.

— Как бы не так! — сказал преступник и залпом выпил водку и бросил чарку.— Теперь вешайте меня! — продолжал он и прибавил крепкое слово.— Придет, придет наш батюшка, рассчитается он за меня, верного сынка своего!

Палач не дал ему говорить более и, накинув петлю, встащил его на воздух, а противоположный конец веревки обмотал около столба.

— Ну, смотрите ж вы у меня,— сказал воевода, обратившись к народу, — вот точно так пропадет собачьей смертью всякий из вас, кто станет ворам приятствовать. Я знаю, меж вами есть изменники, да я вас скоро выведу, с корнем выведу! Слышите вы это? Кто-нибудь только подумай на измену, по глазам увижу и заплечному мастеру отдам!

После такого нравоучения воевода с служилыми ушел в город. Народ стал расходиться. Осип, возвращаясь к Мордвину, думал себе: «Что это за батюшка Степан Тимофеевич?»

X

После того с неделю Осип, в ожидании суда, проживал у Мордвина, расхаживал по городу и посаду, толковал с детьми боярскими, осматривал с ними городовые

укрепления, указывал на разные недостатки: во время своей службы он научился этому делу изрядно. Однажды сделался на посаде пожар; Осип бросился туда и вместе с другими помогал разламывать стоявшие подле горящих домов строения. Пожар приписывали поджогу тайных агентов Стеньки Разина, мстивших за казненного товарища. В самом деле, едва потушили этот пожар, как на рассвете вспыхнул другой. «Верно,— говорили тогда,— нашлись между посадскими воры, что стали творить по научению тех, что к Вавиле приходили; говорили ж они: поджигайте город! Вот теперь и поджигают». Носились вести, что в других городах то же происходит. Приехавшие из-под Пензы казаки говорили, что там вооружается мордва и готовится идти на русские города; воры, подосланные мятежниками, ходят между язычниками и подущают их на христиан. В Саранске только и речи было о том, как поступать, когда явятся казаки, и многие опасались, чтоб не сбылось предречение казненного преступника. Все принимало какой-то зловещий вид; самые служилые начинали смотреть исподлобья. Низший не так уже терпеливо, как всегда, сносил грубость высшего и осмеливался показывать вид неудовольствия, когда его били. Наконец в воскресенье у кабака, за посадом, близ того места, где казнили преступника (которого тело на третий день после казни схоронили в рогожке, без гроба, в буераке, за надолбами), собралось много народу. Там стояла толпа скоморохов; было их человек до двадцати, они играли на волынках, били в бубны и накры, другие представляли перед народом действа. Из раскинутого шатра, который они с собой всегда возили, вышел наряженный знатным господином скоморох в высокой черной шапке из дубовой коры, сел на колоду, подперся в бока и уродливо надулся, оттопыривши нижнюю губу; двое с униженным видом кланялись ему в ноги и подносили в лукошке кучу щебня и песку, на которой лежал сверток из лопушника: это напоминало челобитчиков, подносящих воеводе поминки с челобитною, свернутою по обычаю в трубку.

— Выслушай, милостивец! — говорили они жалобно-смешным тоном.— Не побрезгуй нашим добром!

Сидящий начинал их бранить. В это время выскакивали из ряда скоморохов двое других, садились воеводе на плечи и кричали:

— Ой боярин, ой воевода! Любо тебе было хорохориться, да поминки брать, да людей безвинных обижать! Ну-ка, брат, вези теперь нас на расправу над самим собой!

И они начинали его тузить и грозили утопить в воде. Потом двое одетых в лохмотья и обутых в лапти тормошили и гоняли то в ту, то в другую сторону прутьями толстяка с огромным уродливым брюхом, а все другие хором кричали:

— Добрые люди! Посмотрите, посмотрите, как холопы из господ жир вытряхивают!

Потом являлся купец и начинал считать деньги, представляемые камешками, а другие скоморохи тормошили его и загребали у него из-под рук деньги, приговаривая:

— Давай, давай сюда! Делись с нами! Побрал с народа за гнилой товар; теперь поделись-ка с нами, с голытьбою!

Черному народу очень нравились такие представления. Веселость толпы удвоилась, когда скоморохи, выпивши по доброй чарке вина, стали в круг и, прихлопывая в ладоши, кричали:

Ребятушки! Праздник, праздник!
У батюшки праздник, праздник!
На матушке Волге праздник!
Сходися, голытьба, на праздник!
Готовьтесь, бояре, на праздник!

Эх вы, купцы богатые, бояре тороватые! Ставьте меды сладкие, варите брагу пьяную, отворяйте ворота растворчатые, принимайте гостей голых, босых, оборванных, голь кабацкую, чернь мужицкую, неумытую!

Осип понял, что значат эти действия, и с негодованием обратился к служилым, которые тут же глазели:

— Что вы это, дурни, зеваете-то? Что не скажете воеводе? Их всех надобно поймать да в тюрьму посадить: это воры!

Вдруг разнеслось в толпе: «Воевода! воевода!» В самом деле из города показался воевода верхом, в сопровождении стрельцов. Скоморохи с удивительной скоростью подобрали свои хари, которые надевали на лицо, свернули свой шатер, убрали бубны и волынки и пустились врассыпную. Вся толпа побежала опрометью во все стороны. Воевода прискакал на место и не застал уже

никого. Сам Осип и другие служилые отступили прочь подалее.

— Что здесь за действа? — кричал воевода на целовальника, стоявшего непоколебимо у своего кабака.— Тут воровские действия представляются! Где воры? Ловить их!

— Да кого ловить-то? — сказал целовальник.— Где их ловить, коли они убежали напугавшись? Это все свои честные люди, в кабак царев погулять пришли; воров никаких не было!

— Как не было! — кричал воевода.— Гулящие беглые люди, скоморохи!..

— И, батюшка, воевода-кормилец! — говорил целовальник.— Какие это беглые? Что ж такое, что скоморохи?

— Да то, что у меня в наказе написано таких ловить, и хари у них брать, и на огне жечь, да и тех, кто их слушает и на их богопротивные действия смотрит, бить кнутом.

— Эх, боярин! На всяко чиханье не наздравствуешься! Уж будто всяко лыко в строку? Что ж за важность, что в наказе написано? Коли нам их гонять, так и в царской казне недобор будет; да у тебя ж, кормилец, в наказе написано, чтоб голове кабацкому, что с откупа взял кабаки в Саранске, на посаде ни во что не мешаться. Вестимо, ты воевода, так и власть у тебя есть; да ведь коли почнешь их гонять, так весь народ посадской осерчает на тебя, да и у нас пить не станут. А воровского тут не было ничего.

Воевода повернул коня и уехал назад.

На другой день после этого происшествия Осипа позвали к воеводе.

Вошедши в знакомую ему горницу, Осип застал там воеводу, который сидел с его отцом. Воевода не думал начинать следствия по челобитной Осипа, но хотел воспользоваться этим случаем, чтобы ему перепало что-нибудь лишнее от обычного благодетеля его Капитона Михайловича. С этой целью, оставивши Осипа в недоумении, он послал сына боярского Тюлюбаева известить отца Осипова, что сын подал на него челобитную, рассказать, в чем ее содержание и пригласить отца в Саранск для смирения сына. Капитон Михайлович, узнавши, что его семейные тайны открыты воеводе, был поставлен в необ-

ходимость ехать в Саранск не с пустыми руками и повез воеводе значительную посулу. Иначе воевода, зная грехи за Капитоном Михайловичем, мог устроить так, что кто-либо иной подал бы извет на Капитона Михайловича в том же деле, и тогда он произвел бы над ним следствие. Осип поклонился и стал в углу.

— Подойди, подойди, Оська! — сказал Капитон Михайлович.— Подойди сюда! Свидетельствуй ложная на родного отца... чтоб тебя, заповеди божии забывшего, вороны заклевали! Подойди, не бойсь!

— И не боялся, и не боюсь,— сказал Осип.— Никогда не говорил я ложного, а за божии заповеди умереть готов.

— Да, да,— сказал воевода и, обращаясь к Осипу, говорил с спокойным, улыбающимся лицом: — Вот, друже мой, подал ты челобитную на отца. А челобитных от детей на отцов принимать не велено; ты, молодец, в Польше с ляхами бился, свету повидал, а царского уложенья не знаешь. А к тому еще ты вымыслил за отцом своим убийственные дела безлепо и напрасно. Я выдам тебя головою отцу твоему.

— Я ничего не хочу ему делать,— сказал Капитон,— только ты, воевода, дай ему наказание при моих глазах, а более ничего не надо.

— Мудрое дело вздумано,— сказал воевода.— А призови-ка, Гаврило, трех стрельцов сюда!

— Воевода! — сказал Осип.— Ты хочешь меня бить? Это не по закону. Я подам челобитную в Москву, я до самого царя дойду правды искать.

— Эй, горяча голова, горяча! Простудить надобно,— говорил воевода.— Ишь ты что — не смею я тебя бить! Да знаешь ли ты, какое ныне время-то? Да не токмо что бить, я тебя повешу, коли захочу! Вот видишь, что у меня в наказе-то написано: «...и чтоб вам, воеводам, держать служилых и всяких чинов людей в страхе и послушаньи, а будет кто вам учинится силен, и вам бы, воеводам, тем людям чинить жестокое наказание безо всякие пощады и смертью казнить, кто чего доведетца». Пусть только отец твой скажет слово — повешу, ему в угоду повешу!

— Бог с ним! — сказал Капитон Михайлович.— Бог ему воздаст.

— А что говоришь ты, что пойдешь ты к царю,— продолжал Осипу воевода,— так ты бы пошел, кабы я тебя

пустил; а то я не пущу, так ты и не пойдешь. Нечего, брат Осип Капитоныч, нечего!.. Помолись да ложись!

Вошли трое дюжих стрельцов и сняли с Осипа кафтан и рубашку, потом повалили его на землю, и двое сели на него: один на плечи, другой на ноги, а третий начал хлестать его батогами. Осип не произносил ни молений, ни криков отчаяния и только стонал от боли. Капитон с радостью смотрел на истязания непочтительного сына.

После сотни ударов Осипа подняли. Кровь текла с него...

— Ничего, ничего! — говорил воевода.— У меня есть настоечка отменная, сейчас заживет!.. Потрите-ка ему спину!

Он подал стрельцам стклянку, и те начали тереть Осипу настойкой избитые места.

— Дивная настойка! — говорил воевода Капитону.— Это мне знахарь дал травы такой. Ты брат, Осип Капитоныч, возьми себе и про запас: военный человек, не ровен час — боже тебя сохрани! — в ратном деле всяко бывает: поранят, а вот тут она и есть! Ну, а все-таки, Капитон Михайлович, я тебя попрошу за Осипа Капитоныча: ты будь к нему милостив; молодой он человек, неразумен; теперь вот мы его поучили, он и будет знать! А все ведь он твое порождение!

— Не надо мне его! — сказал Капитон Михайлович.— Хоть он и мое порождение, хоть у меня и других детей нет, я его не хочу и видеть, не токмо что к себе брать. Вечное ему проклятие от меня! Пусть его орлы растерзают, вороны расклюют; нищета сокрушит его, болезни истощат его; струпами пусть он покроется с ног до головы да у всех людей пребудет в поношении и уничижении за то, что не устыдился сказать ложное на родителя своего. Отселе ты не мой сын! Не знай меня, и я тебя не знаю! Вот тебе мое последнее слово. И не ходи, и не показывайся ко мне на глаза!

— Ну крут же ты, Капитон Михайлович! — сказал воевода.

Он мигнул глазом Осипу, подавая знак, которым как бы хотел сказать: «Не бойся, молодец! Это он только так, сгоряча, а то он утихнет; кое-как после умилостивим!»

— Что ж это ты его на мою шею оставляешь? — продолжал он, обратившись снова к Капитону.

— Пусть меж дворами волочится! — сказал Капитон Михайлович.— Чтоб ему никто куска не подал! А вот этого собачьего сына, Первушку холопа, так вели связать, а я его отвезу в Нехорошево и там ему задам!

— Да Первушку-то что! Холопу-собаке собачья холопья и честь; ты вот сына-то пожалей! А, Капитон Михайлович! Пожалей сынка!

— И не говори! И слушать не хочу! — сказал Капитон.

— Ну, нечего делать с тобой. Образумь тебя бог! Коли так, то я Осипа помещу у себя с служилыми людьми. Эх, молодец, молодец! Молода, глупа твоя голова! Вишь ты чего наделал — отцовское проклятие на себя накликал... Кланяйся батьке, авось упросим его! Ну, кланяйся в ноги!

Осип молчал и глядел в землю.

— О, да, я вижу, и ты упрям — в отца! Ну ступай! Тюлюбаев! Ты помести его в избе с Лукошкою да с Ярыгою.

Так кончился суд воеводы. Осипа поместили в избе с двумя стрельцами — Лукошкою да Ярыгою. Туда перенесли его белье и оружие; коня отец взял с собой. Первушки своего Осип уже не увидел. Пролежавши три дня в муках, на четвертый он услышал вдруг на дворе смятение.

— Что там такое? — спросил он у Лукошка, вошедшего в то время в избу.

— Что! — сказал Лукошко.— Беда складывается! Воры к Атемару подступили, прибежал гонец оттуда...

Осип ничего не сказал. На другой день, утром рано, как только отворились городские ворота, он взял свою саблю, ружье и вышел из города, прошел посад и, пробравшись через надолбы, очутился в поле. Никто не видал, не кинулся за ним. Севши на дороге, бессмысленно смотрел он на восток, где выходило солнце, потом с судорожным движением достал кошелек, пересчитал в нем деньги, привезенные из похода, положил кошелек снова, зарядил ружье, повесил через плечо и побежал скорым шагом по направлению к Атемару.

Но вскоре он услышал за собой конский топот и, обернувшись, увидел двух саранских служилых, которые наскакали на него. Догадавшись, что это погоня, Осип остановился и, взяв ружье наперевес, ожидал.

Всадники доехали.

— Куда ты это, дворянин, загулялся так рано? Воротись назад, а то дороги, чай, не знаешь. Подай-ка нам ружье сюда!

Осип, не отвечая ни слова, схватил в левую руку ружье, а правою мгновенно вытащил саблю и, ударив со всего размаху седока, перерубил его пополам. Испуганный конь понес половину его разрубленного тела назад. Вслед за тем, бросив саблю, Осип схватил ружье и, выстрелив из него, попал в лоб другому всаднику и схватился за его лошадь. Освободив ее от трупа, молодец сел на нее сам и погнал во всю прыть в Атемар.

Когда Осип приблизился к Атемару, то увидал, что ворота отворены и толпа народа снует взад и вперед. Издали завидел он красные казацкие кафтаны и догадался, что Атемар в руках мятежников. Подъехавши к воротам, он был остановлен казаками.

— Служить батюшке Степану Тимофеевичу еду! — сказал Осип.

— Милости просим! Нашего полку прибыло! — закричали казаки, и Осип въехал в город. Конь его весь был в мыле и чуть держался на ногах.

— Ого! — говорили стоявшие.— Видно, прытко бежал, что конь-то чуть на ногах стоит. Гляди, падет!

— От погони удирал! — сказал Осип.— Ведите меня к атаману!

XI

На площади, подле церкви, у обгоревшего воеводского двора лежал труп дворянина, управлявшего Атемаром, а с ним лежало четыре подьячих. Там и сям валялись разбитые винные бочки и бочонки. Рослый человек лет сорока пяти от роду сидел на бревне с человеком в кунтуше казацкого малороссийского покроя, который отличался от великорусского прорезными рукавами и отсутствием золотого шитья. Его ужасающей ширины шаровары, казалось, сделаны были для того, чтобы заметать за ним след. Голова его была выбрита, и огромный оселедец, спадая с макушки, заложен был за ухо. Усы у него были густые и длинные, черные с проседью. Его смуглое лицо и большие выдававшиеся вперед черные

глаза показывали не менее одежды, что он был гость между другими.

— Паны атаманы! — закричал каза́к, приведший Осипа.— Пришел молодец из Саранска, хочет батюшке служить.

— Молодец! — сказал пьяным голосом сидевший возле запорожца, называемый атаманом.— Молодец-то он молодец, да кто он таков, этот молодец: дворянин, что ли, он?

— Дворянин,— сказал Осип.

— А коли он дворянин, да еще служивый, так повесить его!

— Постій,— сказал запорожец,— не годиться!

И, вставши и приглядевшись, запорожец вдруг с удивлением отскочил и закричал:

— Та се знакомий, єй-богу, знакомий? Ей, чоловіче! Ти, здається, Осип Нехорошенко!

— Круча! — воскликнул Осип.

— Та я ж, я ж! Круча я! Е, братику рідний! От друзяка! От праведно говорять: гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться!

— Как ты это здесь? — спросил Осип.

— Е, як я тут!.. Ти сюда як запопав? Що? Мабуть, добрий ківш лиха хватив, коли до нас притулився? Авжеж, хто до нас прийде, той запевне меду не пив! Брате Михайло! — сказал он, обратясь к товарищу.— Се мій давній-давній приятель! Як король польський на Україну приходив, так ми вкупі у Глухові сиділи в осаді: згадаєш, Осипе?

— Как не згадать! Тогда мы вместе белому царю служили.

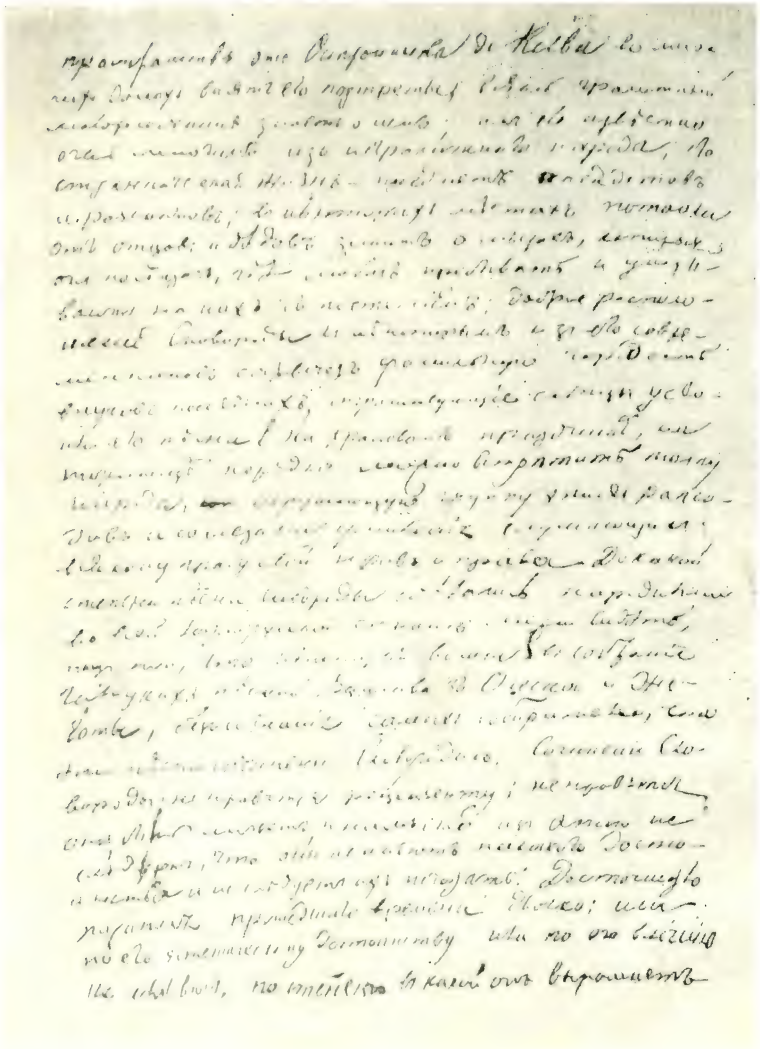
— А опісля,— продолжал Круча,— як на Україні воєвод побито, у Переяславі я його оборонив, не дав нашим братчикам на поругу і до Січі одправив. Він там з запорожцями і на море ходив турків скубти. Гарний молодець! Ну, як же ти отсе до нас придибав? Що тебе занесло?

Осип рассказал свою историю.

— От бач,— сказал Круча,— я ж казав, що таки добрий ківш лиха випив! Що ж ти зі своїм батьком маєш робити?

— Убью его! — сказал Осип.

Портрет М. Костомарова. *Фото. 60-і роки XIX ст.*



Сторінка автографа статті М. Костомарова
«Слово о Сковороде».

— От так молодець! От золото! Та якби наш батюшка Степан Тимофійович таке почув, так він би з радощів не знав, що з тобою і робить, де тебе й посадить! Батька уб'є!.. Ну, як з батьком справишся, тоді що? Тоді нас покинеш, а?

Эти слова смутили Осипа. В первый раз ему представился вопрос: что ему делать тогда, когда он достигнет своей цели и отмстит за мать?

— Тогда... тогда,— сказал он,— с вашей дороги нет назад поворота!

— Слухай, братику! — сказал запорожец.— Я з тобою говоритиму так, як ігумен з тим, хто у ченці посвящається. Тепер лихо тебе пригнало до нас, так ти у наш монастир й прибіг спасаться. Ти у козацькій землі бував, знаєш звичаї наші; а знаєш ти, що то єсть козацтво? Повинен знать, а може, забув, так я тобі нагадаю: козацтво єсть сама правда, така правда, що кривду карає, сильних зносить, потоптане підносить, упертих всіх рівняє. Великії гріхи стались між людьми; так от же за те йде на їх батюшка Степан Тимофійович. Ми не крові людської хочемо, а тих віроломців караємо, що кров чужую п'ють, худобу чужу забирають і чужу працю на свою користь обертають! Хто до нас пристав, той мусить козак бути. Козак єсть то вільний чоловік, пана не знає, сам собі пан, і всяк йому брат, хто брата не скубе: втямив єси? Коли втямив, то йди до нас; а коли не теє, так іди од нас: ми нікого не силуємо. Я тебе знаю здавна: ти рубаться мастак, і стріляєш так, що в оріх улучиш. Одначе ти дворянин; тепер, коли ти до нас прийшов, попрощайся з своїм дворянством; у нас будь ти хоч дворянин, хоч мордвин, хоч син боярський, хоч собачий син — усім однакова честь! Козак, та й годі! Присягайся бути козаком!

— Присягаю быть казаком! — сказал Осип.

— Так пам'ятуй свою присягу. Ну почоломкаємся, знакомий приятелю, друже!

Они поцеловались.

— Кто ж из вас атаман? — спросил Осип.

— В Атемарі отаман пан Михайло,— сказал запорожец, указывая на пьяного товарища.

— А ты что ж тут?

— Я од батюшки посланий отаманів творить: кого громада наставить, порядку та звичаю козацькому

научать; я козак, та й годі, рівний усім, брат усім. У нас ніхто не задирай голови, а то як раз пригнуть отак!

С этими словами он сшиб с Михайла шапку; тот улыбнулся и надел ее снова набекрень.

— Ну,— сказал Круча,— житіє наше, як маков цвіт, скоро одцвітає. Чи не випить нам, бо сказано: що зіп'ємо і з'їмо, те й наше! Ну лиш меду! Вип'ємо на радощах, що такого славного та голінного лицаря до себе прийняли.

— Нет меду! — кричали казаки.— Все выпито!

— От халепа! — сказал Круча.— Хіба до Саранська оставимо. Ну а горілка є? Давайте хоч горілки!

Какой-то серяк принес жбан с водкой.

— Ото! — продолжал запорожец.— Тільки й є, що прокляте се вино московське! Е, се не те, що наша українська горілка! — Он выпил стопу и продолжал: — Нехай наш новий товариш здоровий буде! Випий же, брате!

Осип налил и, выпивая, провозгласил:

— Чаша войска казацкого!

Потом Круча налил снова стопу и поднес Михайлу. Тот поцеловался с Осипом и, поднявши вверх стопу, говорил:

— Я Мишка Харитонов, был когда-то холоп князя Черкасского, да не захотел в холопстве жить: показалось мне лучше в вольном казацтве, обворовал своего государя да ушел на тихий Дон и стал казаком. Теперь иду казачество вводить на Руси, правду установлять. Гой еси добрый молодец, дворянский сынок! Поцелуйся, побратайся со мной, с холопишком Мишкою! Мы теперь с вашим братом дворянином в равности стали. Будь здоров на многие лета!

Осип поцеловался с пьяным Мишкой не без отвращения.

— Ну, що ж робиться в Саранську? — спрашивал Круча.

Осип рассказывал, что знал.

— Так! — сказал Круча.— Пошлемо ми служилих таких, що в Атемарі були. Нехай вони йдуть в Саранськ і скажуть, що од нас утекли. Ану, пане Михайло, кажи їм по-московськи.

Он рассказал ему, и Михайло говорил казакам:

— Служилые пойдут в Саранск и скажут, что от нас убежали и что мы повернули на Пензу; и вот саранский воевода понадеется на то, а они тем временем зажгут

город, а мы пойдем отсюда и повернем на Саранск ночью, так чтобы нам в ту пору на город наскочить, как они пожар там учинят. Начнется суматоха, ратные на пожар кинутся, а мы на них тут и нагрянем.

Атемарские служилые, передавшиеся мятежникам, уверяли, что в Саранске служилые не довольны воеводою, а посадские и подавно на него злятся и не станут противиться.

— Сегодня вторник,— говорил Михайло,— в пятницу перед светом мы подойдем к Саранску.

Тогда отобрали троих молодцев, которые взялись пробраться в Саранск и зажечь город, когда будет нужно.

После того Осип увидел толпу мужиков, одетых в белые шерстяные кафтаны с красными оторочками, в лаптях с разноцветными веревками на голых икрах. За плечами у них были колчаны и луки, иные держали в руках двузубые рогатины. Михайло подозвал одного из служилых и сказал ему:

— Ну, мордвин, расскажи им по-своему, говори им, чтобы они все стояли за батюшку Степана Тимофеевича и за царевича Алексея Алексеевича; что теперь во всем свете иной ряд будет, не так, как доселева было: дастся им всякая льгота, не станут их в христианскую веру перевертывать; ни дети боярские никакие, ни служилые не станут к ним ездить, и будут жить они у себя по своему закону, и керемети их никто не посмеет разорять, свои князи у них будут — кого захотят, того и поставят; и детей у них не велят хватать; и даст им батюшка Степан Тимофеевич всю ихнюю землю в их полную волость. Только теперь пускай постоят за него и за царевича Алексея Алексеевича.

Когда мордвин служилый перевел эти речи своим соплеменникам, те начали на своем языке что-то говорить, по лицам их видно было, что они стали очень довольны и воодушевлялись отвагою постоять за свои керемети.

Собрание после того стало расходиться, и Круча, взявши Осипа под руку, повел его к одному двору и вывел из него отличного коня.

— Возьми, братику! — говорил он.— От тобі коня даю. Ух! Гарний кінь! Се як дуванили воєводині животи, так мені сеї кінь достався. Нехай тому воєводі земля пером, що такого славного коня придбав. Озьми і їзди

на йому, бо мені його не треба, у мене є на чім їздити; да й то правда, брате, що мені нічого тут не треба, чи буде що з нашого умислу, чи нічого не буде, а мені однакова дорога: коли не вб'ють, то я піду в своє Запорожжя і знову воюватиму з турком або з ляхом, і коли старий стану, не здужаю, так піду до Межигорського Спаса або у Печерське ученці, бо я змолоду ще обіцявся. От, братику, я питав, що робитимеш, як батька уб'єш: ти мені й одвітити не зумів, бо й сам добре не знаєш, що з собою зробить; а я тобі скажу що: утечемо з тобою в Запорожжя, і коли не уб'ють нас на полі ні на морі, та доживемо до того, що старими станемо, так ученці підемо!

XII

Между тем в Саранске воевода успел озлобить против себя посадских. Он собственноручно избил плетью по лицу посадскую женку за то, что она на рынке рассказывала, как знахарка толковала народу, что явилась на небеси звезда простому народу к добру, а боярам к худу; а один из служилых, любимец воеводы, говорил на посаде: «Вы, посадские, будьте ниже травы, тише воды, хоть видите, да не смотрите, а то так плюнут в глаза, что и не протрете!» — «Добро! — отвечал один смелый посадский.— А как у нас глаза протрутся прежде, чем вы на них плюнете?» За эту дерзкую речь воевода, которому все пересказал затинщик, приказал посадскому всадить в рот палочку стоймя и, завязав руки, посадить в тюрьму. Каждый день воевода ездил по посаду и встречного и поперечного бранил изменником. После всего этого посадские очень были нерасположены к воеводе.

В таком положении было настроение умов в Саранске. Трое бывших служилых явились туда и рассказывали воеводе небылицы, уверяя, что воров человек сто, не более, что между ними пошла поголоска, будто саранский воевода хочет идти на них в Атемар, и что они поспешили поскорее убраться и направились на Пензу, потому что там между служилыми людьми измена и их зазывали туда, обещаясь сдать город; в заключение рассказывали служилые, что самих их воры приневолили идти с собой, но они убежали и явились к воеводе рас-

сказать всю правду. Все это говорено было так естественно, так непринужденно, что воевода совершенно поверил им и собрал в дом свой на совет дворян и детей боярских, которые съехались из поместий в Саранском уезде, услыша об опасности. Служилых призвали и заставили повторить свой рассказ перед всеми.

Один из храбрецов, дворянин, предлагал отправиться за ворами в погоню. Другие представляли, что это не совсем будет благоразумно. Воевода прибавлял, что если служилые все почти выйдут из города, то посадские могут пакостей наделать.

— Надобно подумать,— заметил один из дворян,— о наших братьях помещиках, а паче о женах их и детях. Нас сотня, да и те врозь живут, а наипаче то, что сами хозяева на царской службе, а жены с детишками одни остались. Надобно скликать их заранее в осаду.

— Ну, я не думаю, чтоб это вышло хорошо,— сказал воевода.— Пока еще беды не случилось, а мы станем ее на себя накликать. Пока в поместье либо вотчине сам государь, воровские прелестники все-таки побоятся расхаживать; а как государи уйдут, тут своя воля — и всякая сволочь пойдет по селам подговаривать народ на дурно.

— Нет, воевода,— возразили ему,— коли каждый будет сидеть у себя в поместье да свое добро оберегать, так и своего не убережет, и чужому не пособит. А пусть лучше воевода разошлет бирючей сбирать помещиков в осаду на дальний случай, а теперь же пошлет погони за ворами: коли с божьей помощью сами их побьют, тогда такой страх найдет на мужиков, что никто не посмеет ничего дурного делать, скажут: «Нет, плохо! Ворам удачи нет, надобно и нам сидеть тихо! А коли новые воры появятся, так у нас помещики будут!» В городе-то и людно, и безопасно, и вылазки чинить можно. А тем временем посылай, воевода, отписки в Инсару, и Керенск, и в Алатырь со станицами, что воры проявились и город Атемар взяли, да, убоявшись, к Пензе пошли, и чтоб все сбирали помещиков, дворян и детей боярских идти на воров, коли опять придут.

— Все это хорошо рассказываешь ты, государь,— говорил воевода,— да нельзя оставить теперь город без обороны: ну хорошо, коли бог пособит, да побьем мы

воров; а коли только что наши выйдут, а другие воры нападут с иной стороны?

— Как другие? — возражали ему.— Других, говорят тебе, нет. Да что ж, коли рати бояться, так уже это последнее дело! Да после этого с веретенами за печкой сидеть, что ли? Подумай, воевода, ведь князю Долгорукому не полюбится, что Атемар отдали; а царю-государю напишет, гляди, как бы за то не досталось! Скажут на Москве, как же это они там сидели, и у них под носом город взяли, а они и на бой не выходили! А будет мы их побьем, так хоть и Атемар взят, и в том нам вины не будет.

С этой стороны убеждение подействовало на воеводу. «А и впрямь,— подумал он,— а что скажут на Москве?» И он молчал, повеся голову... И все молчали, на него глядя.

— Так вы знаете,— сказал наконец воевода, обратившись к прибывшим из Атемара стрельцам,— наверное знаете, что воров человек со сто, не больше?

Те клялись, призывая кару божью на свое потомство.

— Ино быть по-твоему! — сказал воевода к тому из дворян, кто настаивал больше всех посылать погоню.— Твоя речь к делу.

И так воевода согласился отправить погоню за ворами, которые, по словам атемарских стрельцов, ушли из Атемара к Пензе, а сзывать дворян и детей боярских с их семьями в осаду не велел, чтобы оставить за своею головою хоть какое-нибудь распоряжение.

Воевода отобрал двести пятьдесят человек служилых и стрельцов, да прибавил к ним человек сорок пушкарей, и, выстроивши их на своем дворе, проговорил им наставление, что им делать и как отличиться на царской службе. «Как же им не одолеть воров, когда их почти триста, а тех только сто?» — думал воевода. Но тут вышла помеха: у стрельцов лошадей не было. Воевода велел им забрать лошадей у посадских, у кого из них только найдется. И стрельцы рассеялись по всему посаду по дворам. Иной, вбежавши во двор, не только саморучно выводил из конюшни лошадь, но требовал еще и седла, да в прибавку кричал, чтоб ему дали съестного на дорогу. «Я слуга царский! — покрикивал служилый.— Вас, дураков, иду охранять!» И хозяйка собирала ему в мешки все, что находила у себя в клети.

— У меня одним-одна лошаденка,— говорил другому посадский,— вороти, родимый, коли бог принесет здорового!

— Эка дурачина! — отвечал ему стрелец.— Чего просит! Убьют меня, все равно лошадь не воротится! За что ж я тебе стану ее отдавать, коли жив вернусь и ее живую приведу? То мое счастье, не твое. Нет, брат, попрощайся да поцелуйся с ней. Хоть и вернусь, так не отдам ее: продам и деньги пропью!

Были и такие, что требовали, сверх съестного, еще и денег, и когда хозяин заупрямился и божился, что нет, то стрелец отбивал замок от скрыни или разрубливал крышку и брал оттуда, что ему нужно.

Так обходились в этот день служилые с посадскими, и посадские от злости плакали, зубами скрежетали, судорожно кулаки сжимали, а прямо не смели ничего вымолвить.

Перед солнечным закатом воевода отправил погоню и дал отряду три пушки, которые повезли вслед за ним на колесах. Провожая их с отеческим вниманием, воевода стоял на башне и глядел им вслед, пока они не скрылись из вида, а потом снял шапку, перекрестился и сказал: «Спаси, боже, люди твоя и благослови достояние твое!»

— Теперь,— прибавил он, обратясь к стоявшим возле него детям боярским,— нам следует обойти весь город да осмотреть всяческое утверждение.

И воевода с оставшимися отправился кругом стены из наугольной башни, на которой стоял, провожая глазами отправленных в погоню. Кругом, по извилистым отрогам городской стены, от башни до башни тянулись деревянные мосты, поддерживаемые толстыми столбами, которые упирались в низшие мосты, а от них в землю. В некоторых местах бревна, из которых они были сложены, прогнили и образовали щели; в других подгнили колки, которыми приколочены были их оконечности к оконечностям бревен, следующих за ними в длину, так что когда ступали по ним, то они поднимались вверх и угрожали стать вертикально. Там и сям черное их однообразие нарушалось мхом и травою. Воевода обращался с замечаниями о такой неисправности к служилым и сопровождал свои замечания крупной бранью, а те отвечали, что об этом они уже много раз докладывали, после чего

воевода жаловался на разряд, куда он писал уже не один раз, да ему не разрешили починять города и высылать людей на городовое дело. Вдоль мостов, по которым совершал свое начальническое шествие воевода, торчали пищали в некоторых оконцах, и подле них лежали кучи ядер. Дошедши до другой высокой башни, воевода по узкой лестнице взошел на верхнюю площадку под пирамидальной крышей; там стояли обращенные на три стороны три пищали. Воевода осмотрел их дула, приглянул к лежавшей на полу куче кирпичей, припасенных для того, чтобы в случае осады метать ими на неприятеля; заглянул в маленький чуланчик, пристроенный к площадке для того, чтобы пушкарям можно было укрыться от дождя и снегу, и, сделавши два шага вниз, пошел по крыше городовой стены, где, при соединении двух кровельных полос, была сделана аршина в два шириною колея, по которой можно было ходить так же, как и по мосту. Воевода, прошедши несколько по такому пути, должен был перешагивать через большие коты или толстые колеса без спиц, которые скатывались на осаждающих. Дошедши опять до высокой башни, он снова осмотрел на площадке пищали, по лестнице сошел вниз, прошел несколько саженей по мосту и потом отправился по низшему мосту, едва поднятому от земли: тут отверстия вдоль моста по стене были шире, и пушки, называемые тюфяками. Многие только недавно были расставлены по местам; прежде того лежали в пушечном амбаре. Везде неусыпное попечение воеводы назначало места для пушкарей и затинщиков. При этом воевода счел нужным говорить в каждом месте, где отводил посты, некое примолвление, то есть доброе слово.

Так окончив осмотр стен, воевода прибыл в свой двор. Проходя через ту комнату, где сек Осипа, воевода невольно вздрогнул: он уже знал о смерти двух служилых и был уверен, что доведенный до отчаяния Осип убежал к ворам. Совесть воеводы в отношении его была покойна: он сделал дело хорошее — наказал непочтительного сына, и притом по воле отца, при самом родителе; в невинности Капитона Михайловича он не сомневался, но тайное предчувствие говорило ему, что этот молчаливый, затаенный юноша не простит ему своего поругания. Отправившись в другую комнату, воевода сел, придвинул огромную медную чернильницу, вынул из ящика

бумагу, держа ее на колене, а не на столе, начал писать на ней, поднимая беспрестанно глаза кверху, как будто что-то припоминая. Он писал распределение служилых, где кому назначалось быть. Собственно, это была должность дьяка; но сегодня загорелась в нем сильная деятельность: ему хотелось что-нибудь сделать самому. Окончив дело свое, воевода положил бумагу и отправился в сени, а оттуда в другую половину своей воеводской избы, где жила его семья, состоявшая всего-навсе из жены и шестнадцатилетней дочери.

Воевода был человек не суровый, никогда не дулся на жену и обращался вообще с семьею ласково, и только иногда расхаживался и подымал кутерьму, причем не обходилось и без побоев, за которые жена недолго на него сердилась. Вообще воевода наш был человек незлой, хоть и принадлежал к таким повседневным характерам, которые редко могли сказать поутру, что они намерены делать вечером. Он мог оказать кому-нибудь благодеяние, мог кого-нибудь и оскорбить и не раскаивался в этом после. Он легко запечаливался, легко развеселялся, любил пошутить, иногда покутить; впрочем, по своему воеводскому положению, в последнем случае всегда оставался в выигрыше. Давал ли он пир — гости его, подначальные или во всяком случае от него зависевшие, будь это дворяне и дети боярские, будь это посадские, всегда давали ему дары, поевши и попивши у него; приглашали ли его на пир — и тут его дарили, по общему обычаю: в первом случае надобно быть признательным за почет пировать у воеводы, а во втором за почет к себе принимать воеводу. Иногда и дома, в кругу своей маленькой семьи, разгуливался воевода, выпивал зелена вина, пива пьяного, меду сладкого и заставлял выкидывать перед собой разные затеи дурачка, ходившего по Саранску и кормившегося за счет людского смеху, либо приказывал рассказывать себе сказки старой жениной няне, которую всюду с собой возила жена его. Как с радости, так и с тоски воевода всегда прибегал к зелену вину. Теперь его охватила такая тоска, что он готов был уйти от нее хоть под лед.

Женина половина состояла всего из двух покоев: просторной светлицы с тремя окнами и комнаты с одним окном; в последней стояла кровать; позади были обширные сени, назначенные для прислуги: там и спали, и

обедали сенные девушки и молодые служанки. Дочь спала в светлице. Когда воевода вошел, жена перед двумя свечами вышивала шелками колпак мужу; дочь разматывала матери клубочки; против нее сидела служанка и шила.

— Верушка! — сказал воевода.— Давай-ка выпьем мы с тобой, тоску-горе размыкаем!

Верушка вынула из шкафа сулею и налила ему водки в серебряную чарку. Выпив, воевода налил и подал жене.

— Пей, женушка! Пей, голубушка!

— Что сегодня за праздник? — сказала жена.

— Эх, Верушка! Не праздник, а воры меня сокрушили. Пей, матушка!

— Ах ты балагур! — сказала жена и выпила.

— Вот так, моя разлапушка, моя сожительница. Богом данная, моя голубушка сизокрылая!

И воевода поцеловал ее в губки.

— Ну, теперь я еще хвачу,— продолжал он.— Ударим о землю головой тоску-привередницу!.. А сердце мне, право слово, не добро вещает.

— Пошли-ка за ворожеей Феклушей,— сказала жена,— она ух как отгадывает! Всю правду скажет и пособит. Приключится ли в доме беда какова: только в воду посмотрит— и сейчас скажет. Хошь, я позову ее?

— А, женушка, грех! Богу молиться надо да терпеть, коли бог искушает. О господи! Не введи нас во искушение! Ну, а ужинать будем? Что у тебя припасено, все давай! Поужинаем сегодня вместе, а то за делами мне и с семьей-то некогда хлеба-соли съесть.

Он сел; жена пошла приготовлять ужин. Воевода подозвал к себе дочь, погладил ее светло-русые шелковые кудри, поцеловал в голубые глазки и потом загрустил...

— Боже наш, боже наш! Что-то моей дочке, моей милой Настюшке, на свете какую судьбу бог судил!

Между тем служанка расставила на столе три оловянные мисы и положила в них три деревянные ложки круглого вида с точеными рукоятками. Хозяйка поставила деревянную солоницу с подъемной крышкой, перечницу, нарезала большими ломтями ржаного хлеба; служанка принесла большой горшок щей и налила в мисы. Помолившись богу, принялись все за щи, потом подали кашу, а потом принесли на блюде изрезанную на куски баранину, пропитанную запахом чеснока. Ели руками.

По окончании трапезы принесли в медной ендове меду; хозяйка вынула из шкафа большую серебряную стопу с разложистыми краями и с выпуклыми изображениями зверей и птиц по стенкам; потом достала кружку с рукоятью, которая была меньше стопы, и достакан, который был еще меньше. Стопу поставила мужу, себе кружку, дочери достакан. Обычай ставить перед женой и детьми хозяина сосуды поменьше величиной, чем перед самим хозяином, означал то, что жена была ниже мужа, а дети ниже отца и матери. Хозяин налил пенистого белого меду и, подняв стопу, возгласил:

— Подай, господи, силу мышцам воинов царских, благопоспеши на искоренение врагов святые церкви Христовы и его царского величества нашего государя!

Когда все выпили, воевода, встав из-за стола, начал усердно креститься перед образами, слегка прикасаясь пальцами дубового пола, потом позвал семью в большую комнату, где принимал гостей и где сек Осипа. Там в углу стояло двадцать два образа; из них четырнадцать были привезены воеводою с собой и поднесены на месте духовными лицами, следовательно, принадлежали воеводе; остальные находились при воеводском доме. Образа спасителя, божьей матери и трех святых, соименных воеводе, жене его и дочери, были в серебряных окладах; из других некоторые с позолоченными венцами кругом головы на изображении, а прочие написаны на позолоте или на празелени или составляли металлические складни. Главные, стоявшие в самом углу, были в позолоченных киотах с убрусами внизу из атласа, на котором вышиты были херувимы; от угловых по обе стороны до окон размещались другие верхними и нижними рядами. Весь этот угол с иконами закрывался пеленой, которая задергивалась по железному пруту. Тогда висела пелена зеленого цвета, несколько полинялая, с крестом, вышитым посредине золотом, и с узорами по углам в виде листьев. В большие праздники, как, например, пасху, рождество Христово, переменяли пелену и навешивали бархатную, обыкновенно красного цвета, а в пост черную. Пелена была обыкновенно задернута, чтоб иконы не зрели всяких мирских треволнений. Отдернув ее, воевода зажег три свечи, стоявшие в медном паникадиле, висевшем посредине. Дочь принесла огня в жаровне с крестом на рукояти, и воевода насыпал ладану, покадил и поставил

жаровню на полочку перед образом, взял с этой полочки святцы и стал читать молитвы на сон грядущий. Семья и прислуга крестились, клали поклоны и шепотом произносили: «Господи помилуй! Господи помилуй! Господи Исусе Христе, спаси мя грешного!» По окончании молитвословия все разошлись: воевода лег в той комнате, где у него стояла чернильница и скамья с деревянным изголовьем, на которое дочь положила ему две подушки, набитые лошадиным волосом; на скамье не было матраца, а лежала полость и на ней ковер: воевода довольствовался таким немягким ложем; зато женина постель состояла из трех перин, положенных одна на другую.

XIII

В ту самую ночь приверженцы Стеньки Разина, выехавшие по дороге в Пензу, подступали к Саранску и, пользуясь темнотою, остановились за лесом, за полверсты от посада. Сидя верхом на лошадях по казацкому обычаю, они составили круг. Атаманы Круча и Михайло въехали всредину. Объехав кругом, Михайло говорил:

— Братцы-молодцы! Вот мы и к Саранску поспели. Станем держать совет, что нам чинить: идти ли к посаду и надолбы жечь или ждать, пока наши братья город зажгут?

— Как мы зажгем надолбы,— отвечали ему некоторые,— то служилые бросятся сюда, а тем временем наши город зажгут; тут они сами не будут знать, куда им кинуться: и там пожар, и здесь пожар!

— Нет, ребятушки! — говорили другие.— Лучше подождать. Их много; хорошо, как наши успеют город зажечь, а как нет? Тогда нам придется приступом брать и надолбы, и город потом. Много своих пропадет. Лучше подождем, пока дадут нам знать.

— Послухайте лиш мене,— сказал Круча,— панове громада. Ви всі тут постійте, а ми вдвох з паном Осипом навідаємо надолби та придивимось, з якого боку приступніш буде їх запалить. А то коли станемо довго радиться, що та як нам робити, то й до світу будемо теревені гнуть!

— Правду сказал! — отозвалось несколько голосов.

Круча, Осип и несколько удалых с ними поехали

к надолбам. Ночь была безлунная, но звездная. В полумраке завиднелись чернеющие надолбы.

— Ану, товаришку,— сказал Круча,— ти молодий та бистроокий: приглядись, чи не видно якого злодія?

Осип глядел пристально вдаль.

— Атаман,—сказал он,—я вижу: кто-то бежит по полю.

— А є у нас чамбул? — спросил запорожец.

— У меня есть! — отозвался один из молодцов.— Якши умей!

— А, якши умей! — передразнил его Круча.— Так ти, братику, татарин. Добре! Ми з вашим братом давні приятелі! А залигай лиш того, хто там біжить. Та гляди в мене, не кричи! Бо я вже вас, татарів, знаю: ви не стерпите, щоб не заревти, так що не те що цілий город сполошиться, а навіть мертвого з землі піднімеш!

— Нет, нет, бачка! Я тих будет кричал! — сказал татарин.

— Та овсі мовчи, дурню! — сказал ему Круча.— А то тільки роззявиш рот, так я тобі його отсим заткну!

Он показал на саблю.

Осип с татарином стрелой пустились в ту сторону, где завидели людей. Татарин распустил свой ременный чамбул: то была широкая петля с двумя концами, за которые татарин держался; коль скоро петля забрасывалась на добычу, один конец стягивался, и пленник доставался победителю. Пеший, увидя скачущего против него человека, побежал, потом остановился и в то время, когда татарин, перегнувшись через лошадь, закинул на него свой чамбул, закричал: «Нечай!»

— Это наш, не трогай его! — крикнул Осип.

То был один из атемарцев. Зная хорошо местность, он покинул свою башню, где воевода отвел ему пост, спустился со стены, пробежал посад, обманул стражу в надолбах и бежал уведомить удалых.

— Обошлось наше дело так, как мы и не ждали,— сказал атемарец.— Воевода положился на наши слова да послал за вами в погоню почитай всех служилых; у него осталось теперь голов сто, не боле.

— Садись на мою лошадь за седло,— сказал ему Осип.— Доедем до Кручи, знать дадим.

Атемарец прыгнул к нему на лошадь и, как кошка, примостился за лукой седла. Осип и татарин поворотили назад.

— От так воєвода! — говорил Круча, узнавши от атемарца положение Саранска.— От догодив! От так добра душа! Ну, а коло надолбів велика у вас сторожа?

— Какая сторожа! — сказал атемарец.— Четверо на прясло, полтора человека на ворота! Только слава, что сторожа!

— От так воєвода! — продолжал Круча.— Єй-богу, се золото, а не воєвода! За се я його остреньким ножем любенько та гарненько заріжу, що і незчується!

— Ну, нет, атаман! — сказал Осип.— У меня еще спина не зажила. Мелкими деньгами рассчитается со мной!

— От який-бо же ти, пане-брате! — говорил Круча.— Видно, що дворянин московський! Спина не зажила! У нас на Коші, лучається, так бебехи одіб'ють, що ледве живий, та й то нічого! Засохне, як на собаці!

— У вас и добычи не отнимают,— сказал Осип.

— Авжеж! — отвечал Круча.— А що ж ти хочеш з тим дурнем воєводою робити?

— Увидишь,— отвечал Осип.

Они приехали к казакам, которые сошли с лошадей, привязали их к деревьям и уселись на траву да потягивали водку из сулей, которые некоторые привезли с собой.

Когда атемарец рассказал им, что сделалось в Саранске, все пришли в такую радость, что Круча и Михайло должны были напомнить им, чтобы они не очень давали знать о себе. Скучно было казакам дожидаться; нельзя было развести огня, даже и трубки закурить опасно, чтобы издали кто-нибудь не увидал огня и не догадался. Круча, умевший по звездам узнавать течение ночи, взялся наблюдать за небом и дать знать, когда придет пора.

Часа через три Круча сказал казакам:

— Вставайте, панове! Час! Вставайте!

Казаки сели на лошадей и подъехали к надолбам. Кругом было могильное молчание. Уже веяло утренней прохладой.

— Вот тут есть калитка: одному человеку проехать можно, и то просунувши голову,— сказал атемарец.— В ней опускается колода и поднимается цепями с той стороны. Надобно перелезть через стену и поднять.

Человек шесть вскарабкались один на другого. Верхний достал спрятанную веревочную лестницу и прикрепил ее; казаки перелезли через стену и подняли колоду. Все другие с нетерпением придерживали своих лошадей, ожидая знака из города. Прошло таким образом еще с четверть часа. На востоке начинало светлеть. Вдруг раздался свист: все обратились в ту сторону, откуда он послышался, но свист не повторился. Пение петухов нарушило молчание, замычали волы, заблеяли овцы... Городские стены начали уже обозначаться под слабым светом наступающей зари — и на одной из башен показалось пламя.

Вся казацкая толпа вздрогнула.

— Тс! — сказал Михайло.

Пламя возрастало. Ударили в набатный колокол — пронесся шум и топот... Раздались нестройные крики... Посад просыпался, пробужденный тревогою. Ударили в одной церкви в набат, ударили в другой, в третьей... На противоположной городской башне вспыхнуло пламя.

— Красный петух разгуливается! — сказал Михайло.— Едемте, братцы!

И казаки один за другим, гуськом, стали въезжать в калитку. Проехавши шагов семьдесят по коридору надолб, они наткнулись опять на колоду, которая была, на их счастье, поднята. Таким образом они очутились на посаде. Там уже все суетилось, бежали посадские людишки, сами не зная, куда им спешить и что делать спросонья: кто брался за ведро, кто за лопату, кто за топор, и в испуге бросали на землю, кто что держал в руках, когда увидели нежданных гостей. Казаки кричали:

— Нечай! Нечай! Многие лета нашему батюшке Степану Тимофеевичу и царевичу Алексею Алексеевичу! Не бойтесь, добрые жилецкие люди! Мы вам дурна не будем чинить никакого! Пришли вас избавить от недругов, царевичевых изменников, а вам, жилецким людям, дадим жить многие льготные годы.

Посадские были уже настроены слухами о Степане Тимофеевиче; поступки воеводы раздражили их в последнее время, и теперь, как только они услышали призыв и увидели, что пособники этого загадочного батюшки у них на посаде, то многие из них в свою очередь стали из всей силы орать: «Нечай! Нечай!» Другие хотя не были расположены пристать к мятежу, но, не спохватясь,

как им держаться в общей сумятице, в свою очередь увлекались общим волнением; третьи прятались в погребах и клетях; четвертые бежали вон из посада. Так беспрепятственно доехали казаки до стен города, которые пылали уже в трех местах. Ворота были отворены, потому что служилые, которых было мало, бросились звать посадских на помощь. Казаки торжественно въехали с криком: «Нечай! Нечай!»

XIV

Воевода спал крепким сном безвинного на своей скамье, когда под дверьми его раздался зловещий голос: «Пожар! Пожар в городе! Вставай, боярин, горит город!» Вместе с тем дверь в сени, запертая изнутри, потряслась от кулачных ударов. Пламя на башне светило сквозь окно прямо в глаза проснувшемуся воеводе.

— Ох эти мне пожары! — сказал он в первое мгновение, не зная, где пожар; но когда подбежал к окну и увидел, что горит городская башня, то неистово вскрикнул и, не успевши надеть сапоги, бросился опрометью на двор, метался как угорелый и давал приказания.

— Тащите воду! Отворите ворота! Гоните всех посадских тушить! Бейте во все колокола!

Между тем в доме жена, дочь, слуги, служанки впопыхах хватали что попадалось им под руку и, оставляя одно, брались за другое, потом, бросая другое, хватались за третье. Воеводиха выбирала из шкафа посуду, выносила ее и бросала на крыльце; возвращаясь, тащила за одну ногу стол и покидала его на полдороге, хватала в охапку мужнины кафтаны и, растеряв их, металась из сеней в избу, из избы в сени, не зная, что еще взять. Служанки несли всякую всячину и растеривали, потому что брали не по силам, задние подбирали за передними и в свою очередь теряли, а холопы, взявши ключ от комнаты у воеводы, стали вытаскивать пожитки из клетей, но наткнулись на ендову с наливкой, не утерпели, чтоб не приложиться к ней, и скоро сблизились с ней так приятельски, что уже не могли более ничего носить. Служилые вертелись около воеводы, одни спрашивали, другие советы давали, третьи толкали своих товарищей, которые за это поднимали с ними брань. Всех спокойнее и благоразумнее вела себя молодая дочь воеводы: увидя отца

в одной рубахе, босиком, она принесла ему кафтан и сапоги; но трудно было уговорить его одеться и обуться. Едва воевода надел один сапог, как вдруг закричали: «В другом месте стена горит!» Воевода крикнул: «Измена!», не стал более одеваться, не надел даже сапога на другую ногу и как бешеный выбежал из двора на площадь. Там около колодца сбилась в кучу такая толпа, что невозможно было доставать воды. Дочь бежала за отцом с его доспехами, но воевода схватил только из ее рук одну саблю и побежал далее.

— Затворяйте ворота! — кричал он.— Изменники царевы зажгли город! Посадские воры в одном умысле, хотят нас огнем сожещи. врагу в угоду! Пушкари! Палите в посад! Валяйте их, таких-сяких детей! Всех с заводом и приплодом выкореню, предателей, богоотступников! Ни души живой не оставлю! Ребят, маленьких чертенят, и тех перебью! Палить в посад!

Но ворота не успели затворить, не успели и пушкари приводить в исполнение грозный приговор над посадом: тогда-то в ворота въехали казаки с криком:

— Нечай! Нечай! Многие лета батюшке Степану Тимофеевичу и царевичу Алексею Алексеевичу, вам, стрельцам, пушкарям, затинщикам, воротникам и всей простой служилой челяди, многие льготы и на вечные времена вольность!

— Это разбойники! — кричал воевода.— Деритесь с ними! Бейте их!

В это время жена и дочь прибежали к воеводе, за ними в испуге прибежала толпа дворянских жен и служанок.

— В церковь, в церковь ступайте! — сказал воевода, вдруг пришедши в себя.— Богу молитесь там, а я тут положу голову за церковь Христову и за царское величество!

Пугливое стадо женщин убежало в церковь. Там священник, облачившись, с крестом в руке, готовился встретить злодеев. Но жена и дочь воеводы не побежали за другими.

— Батюшка! — говорила молодая девушка.— Я не отойду от тебя! Убей меня! Не хочу доставаться злодеям. Убей меня, родимый мой батюшка, а сам клади живот за веру и за царя!

Эти слова были сказаны с той бессознательной не-

винностью, которая не подозревает всего величия своего геройства.

— Дитятко мое! Настюшка! Ступай в церковь! — говорил ей отец.— Верушка! Ступай с ней в церковь! Мы же, уповая на милость божью, будем биться со злодеями!

Но тут же увидел воевода, что биться было невозможно. Служилые не слушались его более.

— Проклятый дурак! Столб осиновый! — сказал ему тот дворянин, который противился посылке служилых в погоню за мятежниками по сказке атемарских стрельцов.— И сам пропадешь, и нас всех погубишь!

Казаки прямо летели на него.

— Подавайте сюда воеводу и всех приказных! — раздавались их зловещие голоса.— А вы, служилые, тушите пожар; царского города не станем мы изводить! Подавайте-ка нам воеводу прежде всего!

На него указали. Он стоял, опустя свою саблю, в совершенной готовности к смерти. Трусость им не овладевала, но смыслу и толку у него оставалось только на то, чтобы припомнить отцовский и дедовский завет умирать безбоязненно за веру и царя. Жена держалась за него; дочь повисла ему на шею.

— Он мой! — сказал Осип, слезая с лошади.— Он мой, братцы! Узнаешь ли ты Осипа Нехорошева, государь воевода? Узнаешь ли ты его?

Воевода не отвечал ему и смотрел на него, выпучивши глаза, с совершенным бесстрастием и спокойствием.

— Судья неправедный! — говорил Осип.— Правитель беззаконный! Я искал у тебя суда за мать мою, ты оправил злодея, что ее со света извел, а меня немилосердно мучил и бил батогами! Теперь я стану тебе судьей и буду тебя мучить!

Жена испустила крик и упала без чувств на землю.

В это мгновение глаза Осипа встретились с глазами Настеньки. Увившись руками около отцовской шеи, она обернула к Осипу голову и посмотрела на него: в этом взгляде были написаны жалость и презрение. Этот взгляд опалил Осипа, пронзил ему сердце ножом острым. В глазах у него все помутилось. Этот взгляд как будто говорил ему: «Ах, Осип, Осип! Зачем ты встретился со мной в таком виде? Ты ли это, слуга царский, воин веры и отечества? Куда это занесла тебя жажда правды? Правды нет на свете, она у моего сердца! Зачем ты в нем не

поискал утешения от своего горя? Оно чисто, оно непорочно, оно бы повело тебя к такому счастью, какого тебе и не снилось. Погибший молодец! Нет тебе возврата!.. Не сойтись нам с тобой: ты пойдешь губительным путем своим в бездонную пропасть... Погубил ты себя, погубил ты себя!» Перед ним в эту минуту пронесся прекрасный несбыточный образ: вот он приезжает домой; добрая мать встречает его; с ней молодая дочь воеводы, эта самая белокурая девочка, что так презрительно смотрит теперь на него ангельскими глазами невинности... И матушка говорит ему: «Ося! Вот тебе невеста! Люби да жалуй!» И он берет ее за белу ручку из старых рук родной матушки-кормилицы, он прижимает ее к сердцу, целует ее... Она ему верная подруга... Нет, нет! Матушка в сырой земле, она не приведет к нему невесты: батюшка, злой батюшка убил ее — а воевода покрыл его злодеяние... Воевода — враг его.

Осип схватил ружье у стоявшего подле него казака.

«Начал, так кончай! — шептал ему черный дух.— Нет тебе возврата! Не быть ей твоею! Воров побьют, искоренят, ты заплатишь виселицей за измену царскому величеству... Бей же их, не слушай сердца. Твоя судьба не тут!»

— Воевода! Молись богу да кайся: я убью тебя! — сказал Осип и прицелился. С криком отчаянья дочь закрыла собой отца, прильнула губами к его щекам. Пуля попала в голову Настеньке. Отец обхватил ее крепко руками; он слышал, как исчезающая молодая жизнь охладевала в ней. Потоки крови обливали ему руки. Отец целовал ее в закрывающиеся глаза... Мать лежала без чувств на земле и, счастливая пока на тот час, не видела, что около нее делается!

— Ото! — сказал Круча.— Що це ти, братику? Чи стрілять розучився? Хіба вже ти не той, що колись в Глухові з стіни ляхів підстрілював; зарані було кажеш: сьому в голову, сьому в руку, й ніколи не помилявся!

Осип в неистовстве свиснул саблей воеводу и рассек ему голову так, что половина черепа отлетела далеко. Воевода вместе с мертвой дочерью упал в кровавую лужу.

— А отже ж, по-моєму вийшло! — говорил Круча.— Казав, буду мучить воєводу, а таки зразу покончив, як я хотів. Бо як же можна мучить такого доброго чоловіка,

що нам допоміг город узяти, не утерявши ні одного з наших! Тепер же і других побить треба, усіх приказних та дворян!

Простые служилые указывали на дворян и детей боярских: их набралось человек пятнадцать; все были немедленно изрублены или застрелены.

— Давайте бумаги сюда! — кричал Михайло.— Из приказной избы все бумажье выметайте сюда, жечь их! Батюшка Степан Тимофеевич велел жечь все бумаги, чтоб ничего писаного не было на Руси.

Толпа ворвалась в приказную избу. Один только дьяк был убит. Подьячье кланялись в ноги, присягали служить батюшке Степану Тимофеевичу, и им даровали жизнь, наделивши, однако, вдоволь ударами. Явилась на площади куча свитков и тетрадей и запылала. Убийства уже переставали, как вдруг у ворот явилась толпа посадских. Они хватали служилых, тех самых, которые, думая себя спасти от гибели, только что перед этим останавливали и выдавали дворян и детей боярских.

— Они нас обирали,— кричали посадские, — они воеводе наговорили, что к нам скоморохи приходили, доносили ему, что мы говорим промеж себя речи вольные! Через них наших братьев в тюрьму сажали!

Напрасно служилые хотели как-нибудь отвертеться. Одни просто запирались, другие сознавались, но извиняли себя тем, что они люди подначальные, должны чинить то, что им велят. Михайло сказал: «Коли вас круг судит, стало быть вы повинны». Их убили. В это же время, когда с ними расправлялись посадские, близ церкви слышались страшные крики женщин и девиц, которых молодцы вытаскивали из божия храма и уводили в избы.

Тогда выпустили всех из тюрьмы, и вышли колодники бледные, чахлые, убийцы, воры, разбойники, и целовались с новыми своими братьями, даровавшими им нежданную свободу.

Вслед за тем, по приказам атаманов, явились запряженные возы: на одних положили тела убитых, на других складывали имущество воеводы и убитых дворян и детей боярских. По казацкому обычаю, посадские должны были выбрать ценовщиков, которые, смекнувши, оценили бы все пожитки, и всю сумму следовало разложить поровну на целый посад, а из казаков всякий получал бы на столько, на сколько на него приходилось по оценке,

а коли брал на большую ценность, так приплачивал: приплата тоже шла в подел; есаул должен был собирать эти деньги и потом делить. Это называлось дуван.

В то время когда на площади происходил такой дележ, тела убитых на трех возах повезли в монастырь хоронить. Их провожал юродивый по прозванию Красноголовый, оттого что у него голова была обвязана красной лентой. Он ходил босой, носил в руке железный прут, увитый цветами и увешенный кусочками цветной материи. Этот юродивый просил у всех денежку на табак, а в пост на колбасу, и что получал, то раздавал нищим; не было у него приюта ни летом, ни зимой: если бы в трескучий мороз его забыли приютить где-нибудь, то он мог бы и замерзнуть, сам не попросивши ночлега. Еще не было вести о мятежниках, а он уже пророчил всеобщую беду: говорил, что будут на земле совершаться ужаснейшие грехи, что люди установленные от бога власти забудут. Теперь, провожая тела, он кричал: «Полти хорошие, свежие! баранина жирная, мясники молодые наехали, мясцо подешевело!» В монастыре всех схоронили в одной могиле, отправили погребение убиенным, а по окончании церемонии юродивый стал плясать на могиле, припевая песенку:

Эй, братия, братия!
Берегите платия!
Цветно платье пригодится —
На страшный суд появиться.

После дувана, который происходил между теми, кто поспел придти, начали на площади устраивать казацкий порядок. Посадских в городе осталось не более половины: многие бежали, другие не выходили из закоулков. Бежавшие были большею частью купцы и зажиточные посадские, знавшие, что их брату в таких случаях не слишком будет вкусно. Толпу пришедших на площадь составляли работники, наемщики, кабальные люди, служившие у зажиточных посадских, пьяницы, спустившие все до ниточки, отвыкшие от труда и жившие у дверей кабака, питаясь вонючей рыбой, по милости доброхотных дателей, добрые молодцы, у которых кровь еще не остудилась ни от лет, ни от женитьбы, ни от воеводских батогов. Все было пьяно; воеводские, дворянские и купеческие меды и наливки лились не только в горла, но

и на землю, упитанную свежей кровью. Круча поглаживал длинные седоватые свои усы, разъезжал в толпе на коне и очищал майдан, просторное место для составления круга, на котором должен быть устроен казацкий порядок.

Когда наконец кое-как успели водворить тишину, Михайло, наученный Кручей, говорил:

— Батюшка Степан Тимофеевич велел вам говорити: теперь, добрые жилецкие люди, сталась на божьем свете великая перемена, и такая перемена сталась, что не будет уже воевод и дьяков, а все будут казаки. Стало быть, и вы теперь уже больше не посадские, а казаки; никого над вами сверху нет, а все вы равны и не будете никому платить ничего, так как на Дону все — вольные люди и ничего никому не платят. А что вас ни есть теперь посадских людей, нужно поделить вас на сотни да на десятки, и чтоб над каждым десятком был свой десятский выборной, что излюблен своим же десятком, а над сотнею свой сотский, а его тоже выберет сотня. И судьи у вас будут свои ж излюбленные миром; а который судья не в правду учнет судить, ино его сменить да другого выбрать на его место; а над всеми вами будет атаман, а при атамане есаул, и тоже выборные люди; атаман будет строй держать, а есаул у него на помочи. Атаман с есаулом отберут охотников из вас, да пойдут Русь святую очищать, да царевичу путь к Москве прокладывать, а на место их в городе другого атамана поставят; а даст бог, царевич сядет на Москве, и в те поры атаман с есаулом и со всеми молодцами назад вернутся и будут город ведать и беречь от всякого прихода воинских чужих людей, а сменяться атаман и есаул будут что ни год, а излюбите, то оставите их на другой год. А будете вы все собираться в круг, не то что богатые да хозяева одни, а все что ни есть людей на посаде, чтобы зазорно никому не было. А даней платить не будете, ни оброчных денег, ни ямских, ни городовых, ни стрелецкого хлеба; только на которую нужу будет потреба, ино круг соберется и приговорит, что вот столько и столько с дворов собрать, а сотники и десятские сберут и отдадут целовальникам, выборным же, и те миру ответ дадут в деньгах мирских. А всякими промыслы и торговлею промышлять по своей охоте волен всяк, только того смотри, чтоб никто неправедно не разживался и бедным людям про-

дажи не чинил; а кто не по правде учнет торговать либо промысел каков ни есть вести другим убытливо, ино того круг приговорит взять и животы его поделить между всеми, чтобы никому не повадно было ради своей наживы убытчить и разорять добрых бедных людей.

Последнее особенно понравилось многим из таких, которые ничего не имели и по лени не старались иметь. Толпа зашумела. Стали кричать, что коли так, то вот такого-то и такого взять и животы его поделить тотчас же, для того что он нажил свое добро неправедно, с бедных людей дорогие цены брал или рабочих у себя дурно кормил, и бивал, и в тесноте держал.

— Это все сделается,— сказал Михайло,— как в круге станется атаман: теперь следует вам прежде всего атамана выбрать, сотенный порядок учинить. Кого хотите в атаманы?

— Мы люди темные,— отозвалось несколько голосов,— и сами не знаем кого. Кого поставишь, тому покорны и будем.

— Нам почем знать? — сказал Михайло.— Всяк город и посад себе выбирает атамана сам. Вот и я атаман, меня атемарцы выбрали.

— Да кого назначишь, батюшка, тот и наш! — говорили посадские.

— Так вот вам Лукьяна Ярыгина,— сказал Михайло, указывая на того атемарца, который им весть за город подал.

— Ну, и Лукьян Ярыгин пускай будет!

— Нехай він буде городовим,— сказал Круча,— а войськовим нехай Осип Нехорошенко буде!

— Пусть будет! — сказали в толпе.

— Так по нашому козацькому звичаю,— продолжал Круча,— кидайте отак шапки вверх та кричіть «го»!

Все подбрасывали шапки вверх и кричали «го!» Это так показалось неловко запорожцу, что он не утерпел, чтобы не произнести вполголоса: «Бісові москалі».

— А давайте лишень ще царську казну! — сказал Круча.— Ми її подуванимо. Де той піддячий, що казною завідував?

Привели подьячего денежного стола с связанными назад руками.

— Ну, брате! Кажи, де в тебе гроші? Та не бреши!

Подьячий, вместо ответа, от страха кланялся в землю.

— Ну, кажи, кажи! — говорил Круча.— А полежать ще доведеться.

— Батюшки, кормильцы! — вопил подьячий.— Помилуйте! Христа ради помилуйте! У меня женушка, детушки дробные! Пустите душу на покаяние, отцы родные! Заставьте век бога молить!

— Полно балясы точить! Говори, где деньги?

— Все, все скажу! — говорил, весь трясясь, подьячий.— Всего в столе казны было пятьсот двадцать семь рублев, восемь алтын, две деньги. А ключей у меня нету: всяк день воеводе относил.

— А врешь! — заревел Михайло.— Воеводу убили, так ты на него и свертываешь: знатно, что из могилы вынимать не станут. И там в столе ничего, может, нет — сам ты украл?

— Нет, кормилец,— говорил подьячий,— не брал я; пересчитывал — было пятьсот двадцать семь рублев, восемь алтын, две деньги.

— А список где?

— А де список? — сказал Круча.— Чорти взяли список зо всіма бумагами.

— Так веди ж его, Осип, перебери с ним казну. Отбить замок, коли нет ключа! — говорили казаки.

Осип ушел с подьячим. Между тем опять в толпе поднялся крик, и явилась толпа черных людей в синих рубахах, в серяках. Они тормошили нескольких порядочно одетых посадских и кричали: «Давайте нам суд и правду!».

Атемарец в качестве атамана подскочил к толпе бедняков, что жаловались на богатых. Оказалось, что эти работники требовали, чтобы все животы своих хозяев тотчас же подуванить за то, что те брали большие барыши, а они, бедные люди, у них работали. Атемарец не мог понять, за что грабить людей, ни в чем не винных? Между тем толпа увеличилась. Показалось больно хорошо, если зажиточных пограбить и между собой их животы поделить. Атемарец, не взявши хорошенько в толк, определил, что уж если дуванить, так не всех ли?

— Дело, дело! Всех дуванить, всех! — закричали в толпе.

Новонареченный городовой атаман стал решительно в тупик и побежал из круга советоваться, как ему всех подуванить. Запорожец ухватился за бока от смеха, приговаривая:

— Ото дурні з сина сі бісові москалі. Як же ж ви будете дуваниться, одно другого подуванить, а те уп'ять дуванитиметь те, що його подуванило... то так і кінця не буде!

Он побежал к толпе, стал уговаривать и объяснять, что никак нельзя так подуваниться. Они согласились с запорожцем, потом снова принялись за прежнюю песню. Притом же не все понимали речи запорожца. Тогда запорожец кликнул Михайла. Увещания последнего также были неудачны. Все шумели, кричали, бранились, наконец начали один другого бить по сусалам. Михайло, видя, что ничто не помогает, высыпал на них обильный запас крепких выражений, какие только могут придти удалой русской голове.

— Казаки! Плетей! — закричал он наконец.— Я их, таких-сяких, научу уму-разуму! Я их передуваню! Валяйте их, братцы!

Казаки бросились на толпу. Посадские пустились бежать врассыпную.

— Ах вы, пустолобые! — кричали казаки.— Мужичье эдакое! Молчать да делать, что вам прикажут!

Таким образом посадские снова вошли в свою колею: им показалось, что есть еще воеводы и служилые, которые могут по-прежнему каждого из них растянуть и отдуть батогами. Чувство порядка, не мыслимого без признаков воеводского управления, мгновенно водворилось: все остановились по приказу казаков, воротились и стояли смирно; только многие утирали по лицу текущую кровь, которая пролилась или от кулаков товарищей, или от казацких плетей.

— Как смеете не слушаться вашего начальства? — кричал Михайло.— Я вас с костьми истолку, в пыль размечу, собачьих детей! Вот только кто у меня рот разинь, сейчас велю изрубить! Угоден вам атаман или нет? Говорите!

— Как твоя милость прикажешь. Кого нам поставишь, тот нам и будет, и слушаться станем.

— Так от що, — сказал Круча,— Яригін не годиться. Треба другого вибрати. От нехай Осип Нехорошенко прийде, порадимось, кого їм наставить. Треба одібрать тих, що в поход підуть, а над другими, що остануться, отамана наставить.

— Кого твоя милость прикажешь! — говорили посадские.

— Мы,— сказал Михайло,— оставим над ними человек пятьдесят казаков, чтобы их в руках держать!

Осип в это время возвращался из приказной избы. Не спрашивая о казне, запорожец велел ему отобрать охотников, которые пойдут с ним в поход, и Осип сел верхом и поехал к толпе. Он выбирал не охотников, а тех, которых сам хотел. Всякий, на кого он указывал, кланялся и повиновался. Таким образом он отобрал до двухсот человек.

— Да у нас нет лошадей,— сказали некоторые,— воевода лошадей побрал.

— Я не хочу знать этого! — говорил Осип.— У кого лошади есть, те давайте тем, у кого их нет, а не будут давать, так вы, ребята, и силой возьмете. Чтоб были лошади!

И те, которые освободились из-под кулаков голытьбы, с радостью отдавали своих лошадей, довольные и тем, что самих на белом свете оставляют.

— А насчет дувану,— сказал Осип,— вот какой приговор: кто бежал из города и у кого что осталось, у тех все подуванить; а кто нам покорился, того не трогать, а кто тронет, велю повесить. Слыхали ль вы это?

— Слыхали, батюшка!

Между тем подьячий денежного стола дожидался с деньгами. Оказалось денег столько, сколько он показал прежде. Тем не менее возник вопрос: что делать с подьячим? Удалые кричали, что не может быть, чтоб он сказал правду; невозможно, чтоб человек, у которого на руках деньги, утерпел и не попользовался ими. Решили пытать подьячего. Когда потребовали палача, оказалось, что его убили за то, что по приказу воеводы повесил казацкого пособника. К утешению толпы, выскочил какой-то бородач, с лицом, испорченным оспой, грязный и оборванный. Он объяснил, что был дворовым человеком у какого-то князя на Москве и производил расправу над его многочисленной дворней по государскому приказанию, но один раз на маслянице отправился он на промысел с товарищами, из-за угла запустил в прохожего кистенем и прошиб ему голову,— на беду, другой прохожий шел с тем, кого он убил; этот успел убежать и закричал так, что прискочили стрельцы; товарищей его

поймали, а он сам ушел из Москвы, шатался где день, где ночь, и попался в разбое в Саранском уезде; вот уже три года сидел в тюрьме, а теперь его выпустили.

Все обступили его с любопытством, и палач, потирая руки, готовился с хвастовством показать добрым людям свое художество в истязаниях бедного подьячего. Но едва только он за него взялся, как Осип подскочил к нему и закричал:

— Не надо! Я не велю!

— А круг велит! — сказал лукаво Михайло.

— Коли меня круг выбрал атаманом, так я не велю. Пошел вон! — сказал он палачу.

— Э, больно ты прыток! — сказал Михайло.

— А ты знай свой Атемар, а в мой Саранск не мешайся, пока я не дал тебе права! Михайло Харитонов люб вам или нет? — громко закричал он к толпе.— Хотите его городовым атаманом?

— Кого милость твоя поставишь! — говорила толпа.

— А в Атемарі хто ж буде? — спросил Круча.

— Он и Атемаром будет править: кого поставит он в Атемаре, тот там и будет. Михайло Харитонов! Оставайся тут, а я пойду с охотниками по своим делам. Ты, Круча, пойдешь со мной?

— Себто як ти з батьком розправляться станеш! Ні, товаришу, прався собі сам. Михайло в Саранську буде, а я одберу собі козаків та дальше піду!

XV

Еще шесть недель не прошло. Капитон Михайлович только и думал о том, чтоб поскорее жениться на Неониле Филипповне. Зловещие слухи о приближении воров носились. Того и гляди, что воевода позовет в Саранск на службу; уже стрельцы бегали по помещичьим усадьбам, призывали на царскую службу. Его почему-то еще не трогали.

«Верно,— думал он,— воевода Оську за меня поставил. Авось меня минуют; я ведь стар... А чем, однако, черт не играет! Что, как Оська?.. Он зол на меня... Нет, не может быть! Он бога побоится. Столько лет служил верою-правдою царю... Нет, не сделает... не сделает! Никогда!»

Совесть в нем заговаривала. Подчас ему становилось ужасно тяжело. Он призывал ключника, или жену его. Он хотел как-нибудь прогнать от себя тайный голос, который шептал ему много неприятного, мрачного.

— Не первый ты и не последний,— утешал его ключник,— что ж, если и попутал лукавый — отмолишь бога! Мы все за тебя будем милосердого бога молить. Кто богу не грешен! Бог милостив. Хуже было бы мучиться да сохнуть по своей милой. Ведь поглядел бы на себя: словно ковыль-трава на горючей степи от солнца, иссох; словно воск против огня, истаял! И она, бедняжечка, ночь-день покоя не знала, как голубочка ворковала; все по тебе, боярин, все по тебе! Без тебя ей свет не мил, солнце не красно; еда на ум не идет, жить не хочется! А как поберетесь, то-то заживете! И нам, холопям, любо да мило будет смотреть на вас!

Вот встает Капитон с утренней зарей пасмурный, болезненный. Ночью ему мало спалось: ночь была тревожная. Выли псы на дворе, за рекою в селе откликались другие псы таким же воем; на церкви кричал сыч. Капитон вышел на воздух. Было осеннее утро, ясное и холодное. Он оглянулся вокруг себя. Над ним раздалось трижды карканье ворона: черная птица сидела на трубе его хоро́м, три раза прокричала и улетела.

Капитон Михайлович вошел в дом. Вздумалось ему надеть зеленый кафтан с золотыми нашивками. В этом кафтане он был тогда, когда неосторожно хватил свою супругу; он не надевал его с тех пор и нарочно запрятал в скрыню. Теперь, чтобы разогнать и превозмочь душевную тревогу, он задумал сделать именно то, что наводило на него эту тревогу. Он открывает скрыню — из скрыни выскочила мышь...

— Кота! — машинально закричал хозяин.

Мышь исчезла в подпольную дыру прежде, чем могли услышать голос хозяина и подать кота. Капитон Михайлович стал перебирать платье. Вот его праздничный кафтан рудо-желтый камчатный с серебряными пуговками, подбит тафтою зеленой; а вот штаны синие лунского сукна; а вот и он... кафтан зеленый настрафильный, подбитый дорога́ми; он вынул его и видит — мышь проела на нем две дыры: одна дыра на правом рукаве, другая на груди, как раз против сердца... Капитона Михайловича самого что-то за сердце схватило!

— Как это проклятая мышь сюда пролезла? — сказал он сам себе, судорожно перебирая далее платье.

Вот он увидел в скрыне дыру: мышь прогрызла дерево и влезла; что же! Тут нет ничего дивного. Да как же это она другого платья не тронула, только один этот кафтан прогрызла?

Он пристально осмотрел все остальное платье — нет порчи, все цело! Одному этому кафтану только досталось. Стало быть, за этим только и дерево в скрыне прогрызла, за этим и в скрыню влезла!

Капитон Михайлович задумался. В это время какой-то глухой шум пронесся позади него... Он быстро обернулся, в глазах у него позеленело, ему было страшно: ему казалось, будто он вскользь увидел кого-то, не смел он назвать — кого... В самом же деле ничей образ не стоял у него перед глазами, но в глубине души у него что-то отразилось, и ему показалось, что он должен это увидеть, хоть и не увидел на самом деле. Капитон поспешно закрыл скрыню, не уложивши в порядок платья, и забыл запереть ее. Он вышел из дома, прошелся по двору, пошел на задний двор, в сад, в пчельник... Там жил у него старик: то в пчельнике, то в мельнице доживал он век свой за легкой работой по летам.

— Что, дедушка? — спросил хозяин.

— Не добре, боярин! — сказал старик, шевеля беззубыми челюстями.— Попа бы нам позвать — воду освятить, ладаном покурить... ках, ках, ках!.. нечистого прогнать... свят, свят, свят! Ох, все господь за грехи наказует... да он же и милует грешных. Ночью будто что-то стонет да шумит, и вот все в этом углу; раза два выходил из избы, подойду — ничего нет; а улягусь — опять так и слышу: что-то вот стонет да тужит. Да вот птичница Акулина говорила: курица петухом пропела! Ух, боярин, это плоха примета! Да вон смотри, смотри, боярин: вишь, как галки да вороны вьются, инда кто их гоняет, все кругом, кругом... Видишь, боярин!

У Капитона Михайловича сердце сжималось, ему стало холодно. Он сказал:

— Ну что ж, дедушка! Коли примета и не к добру, что же, может быть, это господь посылает для нашего вразумления, чтобы мы в чувство пришли и покаялись в грехах своих.

— Эх, боярин! — сказал дедушка.— С той поры, как наша добрая боярыня Наталья Андреевна преставилась, у нас все неладно! Я человек старый, боярин; конечно, наше дело холопье...

— Цыц! — закричал Капитон Михайлович, не любивший, если кто-нибудь вспоминал при нем о покойнице.— Коли тебя не зовут, так сам не суйся! Ступай себе, ходи за своим делом!

— Я пойду... пойду! — сказал старик, удаляясь и мотая потупленною головою.— Не гневись, боярин, не гневись, я ведь старый человек, а ведь сказано: старый — что малый, что ему на ум взбредет, то и несет.

Побродивши по усадьбе, Капитон Михайлович взошел опять на крыльцо своих хоро́м и стал смотреть задумчиво вдаль. Глаза его увидели вдали скачущего всадника: он бежал во всю прыть по Саранской дороге прямо к двору его. Вот всадник встретил кого-то, сказал ему что-то и опять побежал. Вот он подъезжает, вот он на дворе и прямо летит к крыльцу. Капитон Михайлович предчувствует, что услышит что-то недоброе. Гонец проворно соскочил с лошади и прежде всего попросил оставить эту лошадь у себя, а ему дать другую: он ее оставит у помещика, который даст ему на обмен третью, а эту пришлет к Капитону Михайловичу; лошадь же, на которой гонец пробежал, следует привести в Саранск. Потом гонец отдал Капитону Михайловичу воеводский указ и проговорил:

— Велит воевода сейчас собираться с людьми в город во всем наряде: воры в Атемаре и не сегодня-завтра подступят под Саранск. А сын твой Осип бежал и пристал к ворам.

— Господи боже! — воскликнул Капитон Михайлович и схватился за голову.

Гонец, сделав свое дело, отошел, выпил чарку водки, которую поднесла ему женщина, снял со своей лошади седло, переложил его на лошадь, которую ему подвели, сел, сказал «прощайте» и быстро поскакал из ворот.

— Слышишь? — сказал Капитон Михайлович ключнику, вошедши в горницу.— Оська ушел к ворам! Нас зовут в осаду в Саранск. А свадьба?

— Позвать попа да повенчаться скорее,— сказал ключник,— да потом усадить Неонилу Филипповну да и бежать. Я вас провожу.

— Куда бежать! Слышишь, в осаду зовут! Это значит от царской службы хорониться. За это кнутьем отшлепают да поместье отымут.

— Э, боярин, кнутья без сыску не бывают. Воры не будут долго стоять под Саранском. Коли не возьмут они его в два вечера, так значит Саранск отсидится; а мы тут и приедем, будто опоздали, умолим да умаслим воеводу. А не отсидится, так тогда и нам паче всех беда будет: Осип будет главный заводчик, он поведет воров сюда, отца-то не посмеет тронуть, а Неонила Филипповна пропала. Пес Первушка все узнал и рассказал.

— Правда твоя; надобно спасать Неонилу. Да как же венчаться, когда шести недель нет?

— А что же делать, коли ждать нельзя! Нужда закон изменяет. Поговори с попом, что он скажет.

Недолго пришлось Капитону Михайловичу уговаривать попа. Честный отец не перечил: нет помехи ни в родстве, ни в кумовстве, а на шесть недель правила не написано. Почему не повенчать, коли за то дадут хорошую плату!

— Боже благослови! — сказал поп.

И еще дал такой благой совет Капитону Михайловичу: объезди ты четырех помещиков и зови их на свадьбу, и у детей боярских, соседей, побывай и их позови, и всем скажи, что вот, мол, хоть оно и необычно, да что же делать! В осаду зовут, а оставить бедную вдову одну — опасно; так я, мол, хотел все равно жениться на ней, уж так порешил поране повенчаться, и поп-де на такой случай разрешил.

Капитону Михайловичу оседлали лошадь, и он поехал звать соседей на свадьбу, вместе с ключником. Прежде всего заехали ко вдове-невесте. Вдова была чрезвычайно рада, когда ей объявили, что свадьба послезавтра, в воскресенье; а когда она спросила, отчего так скоро, не ждут шести недель — Капитон Михайлович начал было вывертываться и выдумывать. Но Неонила Филипповна сказала:

— Мой милый, говори правду. Мое сердце что-то чует. Говорят, воры под Саранск подступают? Правда ли этому?

— Да, светик мой,— отвечал Капитон Михайлович,— нас зовут в осаду. Да не бойся, после свадьбы подумаем,

идти ли в осаду или уехать куда подалее; когда идти в осаду, так лучше мы вместе будем там. А то как ты одна здесь останешься! Коли я сам буду в осаде, как бы воры сюда не пришли и над тобою дурна какого не учинили.

— А твой Оська... где он, что он? — спросила Неонила Филипповна, она уже что-то предчувствовала и подозревала.

Капитон Михайлович побледнел.

— Оська? — сказал он, собравшись с духом.— Оська не мой сын,— собачий он сын! Будь он от меня проклят! У меня нету сына! Не поминай о нем никогда!

Капитон Михайлович уехал скликать гостей, а у Неонилы Филипповны начались свадебные приготовления.

Капитон Михайлович приехал в дом соседа. Сам хозяин был на службе; в доме оставалась жена с двумя сыновьями-недорослями и бабка. По тогдашним нравам, бабка была главное лицо в доме. Капитон Михайлович, как лицо просящее чести, слез с коня у ворот и ввел его за уздцы до крыльца. Бабка вышла к гостю. Это была высокая, худая, сгорбленная старуха, в огромной кике, перевязанной белым платком, которого шитые золотом концы, подвязанные под подбородок, развевались у ней на груди. Она подпиралась клюкой более для важности, чем из необходимости. Капитон Михайлович поклонился ей до земли и когда начал просить быть посаженой матерью, она заартачилась.

— Ах вы греховодники! — сказала она.— Только что похоронил свое первое подружье; шести недель нет, как у тебя жена умерла, а у ней муж; чем бы душу строить да слезами поминать, а он уж за мирские сласти! Да и до веселостей ли теперь, когда гнев божий наступает на нас грешных за наши беззакония! Лихой, окаянный супостат Стенька Разин высылает на нас свои темные силы. Сам человек и ученый, и смышленый — ведь это что? Страшный суд близко — вот что!

— Матушка моя, Прокла Тихоновна! — сказал Капитон Михайлович.— Не худое дело мы затеяли, закон святой, богом установленный, принимаем. Что по воле божьей моей супружнице смерть прилучилась, я душу ее буду строить, пока веку моего; а в доме, сама знаешь, матушка, нельзя без хозяйки: все пойдет врозь. Да и ей, вдове, одной оставаться непригоже.

— Ох-ох-ох! Оно правда, родимый, правда! Вот я и сама теперь под старость, чем бы богу молиться да душу спасать, в мирской суете утопаю. А отчего? Хозяйки нет. Невестушка у меня больно неразумлива; говоришь ей, говоришь, инда горло пересохнет, вся из сил выбьюсь,— не делает по-моему, как я ей велю. Слово грубое как-нибудь скажешь, сейчас надует губы, забывает, что я ей такое. То-то, родимый, времена, вишь, такие теперь стали, что молодые хотят разумнее старых быть. Ну пускай, дело хорошее хозяйку в дом взять, да зачем же так скоро?

— Затем,— сказал Капитон Михайлович,— затем так и скоро, что божие на нас попущение. Зовут меня на защиту благочестивого жительства противу воровской смуты. Ехать нужно, так я хочу скорее закон принять, чтобы было кому в дому оставаться; а то все дымом пойдет без жены. Сынишка впал в непослушание и неведомо где теперь. А как я женюсь да сам на царскую службу пойду, так жена в доме большая будет.

Старуха убедилась этими доводами и согласилась быть посаженой матерью.

Оттуда поехал Капитон Михайлович к другому соседу — просить его посаженым отцом. Хозяин, получив указ воеводы, снаряжался идти в осаду: в доме и на дворе была беготня, несли сухари, приготовляли вьючные мешки. Капитон Михайлович, как вошел в дом, тотчас сказал:

— Бью челóм и земно кланяюсь! Вижу, что тут сбор на службу царскую, и у меня то же; только у вас сын есть; бог дал помощника и наместника на старость, а у меня сын не в меня пошел: не захотел отческой молитвы и благословения, оставил меня одного, а сам тягу дал; на службу теперь самому приходится идти! Я попрошу вас— поедем вместе. Только мне не на кого дома бросить: один я как перст; так я, помолясь богу да благословясь, задумал жениться. Что делать! Шести недель нет, как умерла покойница, царство ей небесное, а вот приходится против обычая жениться. Просим покорно на свадьбу; попируем в воскресенье да сейчас и отправимся в поход.

Хозяин согласился беспрекословно быть у Капитона Михайловича посаженым отцом.

Капитон Михайлович побывал еще в двух помещичьих дворах, и там согласились быть у него на свадьбе.

Жили за Нехорошевым в деревнях дети боярские. Поехал к ним Капитон Михайлович и въехал он на двор к одному (Капитон Михайлович был старше его статьею, и потому прямо подъехал к крыльцу). Застал он там других соседей — детей боярских. Они толковали, что им делать: прослышали, что воры подходят к Саранску, у некоторых были дети и братья в осаде, теперь их самих звали.

— Батюшка! — закричали они, увидя Капитона Михайловича.— Сам бог тебя принес. Дай нам совет.

— Вестимо, надобно ехать на царскую службу,— сказал Капитон Михайлович,— а прежде поедемте ко мне на свадьбу. В воскресенье отпируем, а потом в путь. Это дело будет.

Дети боярские с большою радостью приняли эти предложения.

Едучи назад, в Нехорошевке Капитон Михайлович во всеуслышание всем объявил, что у него свадьба в воскресенье, и звал встречного и поперечного обедать в понедельник. Перед вечером воротился он в усадьбу.

Рассказавши ключнику и жене его свое путешествие, Капитон Михайлович сказал:

— Ты будешь у меня дружком, а ты — свахою.

— Да ведь мы, кормилец, холопы, статочное ли дело говорить, чтоб нашему рылу холопьему такой чин занимать на дворянской свадьбе.

— Я вам дам сегодня же вольную,— сказал Капитон Михайлович.— Хоть вы и не хотели этого, да теперь берите, а жить у меня будете неразлучно: мне без вас не жить.

Капитон Михайлович сделал этим совсем необычное для дворянина дело.

XVI

Еще до рассвета в субботу беготня и суета показывали, что готовится важное в доме. Взошло солнце; день был ясный, дворовые бабы, бегая по всем направлениям, горланили свадебные песни. В поварне готовили каравай. Ключница с прислугой убирала сенник, где должна быть опочивальня для молодых. Четыре холопа несли на но-

силках сорок ржаных снопов; их положили на доски, сколоченные вместе и положенные на толстых столбах: эти доски служили кроватью; на снопы положили перины одна на другую, длинное изголовье и на него четыре подушки, по две в ряд, обтянутые алыми наволоками с золотою тесьмою и бахромою по окраине; на простыне протянули два одеяла, одно верху другого: одно голубое, другое камчатное красное, с соболиною опушкою по окраине. Над самой головой сваха поставила образ в позолоченном окладе. Подле постели у изголовья поставили кадь, насыпанную житным зерном. Пол устлали циновками, а подле самой кровати постлали ковер. Стол, стоявший за кадью, укрыли персидским ковром, поставили на нем две восковых свечки и положили просфору.

Убравши сенник, сваха убрала столовую, где новобрачные должны были обедать после венца. Столы были расставлены подле лавок, с оставлением проходов для седания; напротив стоял поставец с чарками, кубками и прочею посудою. Столы покрыты суконными скатертями синего цвета с золотою бахромою; лавки — полавочниками из толстой персидской камки зеленого цвета с золотою оторочкою и кистями внизу. В почетном углу под образами приготовлено два места для жениха и невесты, подложены толстые подушки с дорогильными наволоками, от чего сидевшие на них должны были казаться выше.

Капитон Михайлович целый день провел также в суетах. Но целый этот день томило его что-то неизвестное, что-то странное, что-то такое, чего он определить не мог. К вечеру это тревожное состояние стало тяжелее; может быть, в нем заговорила совесть; он сам не мог дать себе отчета и старался не думать об этом. Он пригласил спать с собою в одном покое ключника и велел сказывать себе сказку, и ключник начал рассказывать, как богатырь доставал из-за тридесять земель невесту-королевну. Вдруг раздался собачий вой, да какой вой! И вслед за этим воем завыло и залаяло множество собак и закричали голоса: «Держи, лови!» Капитон Михайлович вместе с ключником выскочил из избы, повыскакивала и дворня.

— Что там, что там? — кричал с крыльца встревоженный хозяин.

— Волк, волк пробежал через двор! — крикнул кто-то.

Не удалось ни поймать, ни убить волка. Во всем селе кричали: «Держи, лови!» Волк через все село пробежал, бросались на него собаки, бросались выскочившие из изб люди, схвативши спросонья что попало, и не догнали волка. Прогулявшись посреди человеческого жилья, волк убежал в лес.

— Ну, это не перед добром! — сказал Капитон Михайлович.— Не перед добром!

Он вошел снова в свою комнату, лег на постель и читал молитву, а сам дрожал. Несколько времени было тихо; люди уснули, кое-где только безмолвие нарушалось ревом коров да лаем собаки. Капитон Михайлович стал уже дремать. Вдруг раздается протяжный вой так близко, что Капитону Михайловичу показалось, как будто у него под самым ухом.

— Что это? — вскрикнул Капитон Михайлович.— Где это пес воет?

— Не похоже на пса! — сказал Герасим и стал рубить огонь.

Еще он не успел достать его, вой повторился, и казалось, как будто существо, испускавшее его, сидело на окне. Капитон Михайлович со страху стал читать молитву «Да воскреснет бог». Зажгли огонь. Ключник выбежал смотреть, что это такое.

В саду возле самого окна горницы, где спал хозяин с ключником, вырыта была яма, и в ней скорчившись лежала собака. Это был любимый пес Капитона Михайловича. Увидя подходящего ключника, он вскочил, отбежал и вертел хвостом.

— Ах ты проклятый, чтоб ты околел! — сказал ключник и, схватив дубину, хотел его ударить.

Собака отбежала и, остановившись, протянула шею и опять жалобно завыла. Ключник погнался за нею, но собака убежала и исчезла между деревьями. Ключник воротился и рассказал Капитону Михайловичу.

— Яму вырыла?.. Яму вырыла! — говорил хозяин.— Кому-то умирать! Мне, верно, смерть... О... от кого же смерть?.. От сына! — прошептал он болезненно.

Утром, когда он встал, прибежал ключник и сказал, что из столовой, где устроено было место для свадебного пира, и из изб ползут тараканы рядами, как будто войско идет на войну. Люди говорят, что это перед пожаром. Потом, спустя несколько времени, известили Капи-

тона Михайловича, что когда затопили печь на каравай, дым повалил из печи в поваренную избу вместо того, чтобы обычным порядком идти в трубу.

— О, это просто беда! — говорили все в один голос.— Это хозяина из дому выживают, значит — не жить тут хозяевам, вот это что! Либо пожар будет, либо хозяин умрет, или какое-нибудь лихо большое сложится, что теперь и узнать нельзя.

— Это все к пожару! — толковала старуха.— Особенно, что тараканы и мыши из дому идут; это беспременно к пожару!

Опасение у всех остановилось преимущественно на пожаре. Капитону Михайловичу при этой мысли даже стало легче: пожар для него хотя был бы бедствием, но он ожидал такого удара, при котором пожар был бы благополучием. «От огня устеречься можно». Уж и это по крайней мере утешило его. Он приказал припасти воды и поставить в бочках и кадках по всему двору, приготовить ведра, приставить лестницы к кровлям, чтоб, если загорится, можно было вскочить скоро и ломать кровлю.

— Смотрите у меня за огнем! — кричал он.— От чьей оплошки беда будет, тому плохо станется.

Начали звонить к обедне. Капитон Михайлович оделся в свой лучший кафтан и пошел в церковь. Туда приехала и Неонила Филипповна, и стали они поодаль у разных столбов, и стояли всю обедню, не смея взглянуть друг на друга; а по окончании обедни не подошли и не повидались между собою, и разъехались. Ключник проводил ее домой и переговорил с тамошнею прислугою насчет свадьбы: она должна была начаться перед вечернею. Возвращаясь от невесты, Герасим на дороге встретил соседнего сына боярского, он скакал во всю прыть: ему путь лежал через Нехорошевку, а он был уже давно на службе в Саранске. Ключник знал его лично и встретил, когда он въезжал в село. Этот сын боярский закричал:

— Собирайтесь все, старые и молодые! Выручайте... Воры Саранск взяли!

Ключник обратился к нему:

— Бога ради, не кричи так! Бога ради! Вот тебе пять рублев... поезжай в свою деревню, куда хочешь; только тут не распускай вестей по Нехорошевке. У нас сегодня

свадьба. Грех тебе будет испортить и остановить дело. Весь народ всполошится, невеста перепугается... Бога ради, поезжай отсюда и не кричи! Я сам обделаю без тебя. Свадьбу обвенчаем; тогда я сам всем оповещу, и все пойдем на воров.

К счастью Герасима, не услыхали люди крика сына боярского. Удовольствовавшись пятью рублями, он ускакал в свою деревню через Нехорошевку, не оповещая никому о том, что случилось в Саранске.

Неонила Филипповна стала убираться. Был и тогда ясный день. На деревьях кое-где еще торчали красные и желтые листья; легкий холод проникал тело. По Нехорошевке люди ходили и глазели, ожидая свадебной процессии. По двору у нехорошевцев стояли столы с кусками хлеба и братинами, из которых провожающий молодых люд должен будет испивать во здравие новобрачных. В понедельник будет настоящий обед, пир на весь мир. Люди ожидали этой радости.

Вот часов около трех, в доме Неонилы Филипповны уже все готово. Сама «молодая княгиня» сидит за столом на алой подушке; на ней голубой с серебряными цветами летник, застегнутый мелкими и частыми медными посеребренными пуговками, к рукавам пристегнуты широкие вошвы из черного бархата, украшенные вышитыми золотом листьями; воротник летника из черной бархатной тесьмы, усеянной мелким жемчугом, с позолоченною бляхою посредине, обвивал ее белую шею; поверх летника накинута камчатная красная шубка с бобровым воротником; на голове кика с высоким челом белого атласа, расшитая золотом, окаймлена мелким жемчугом, спускалась назад черною бархатною шапочкой; в ушах большие золотые подвески в виде паникадила с мелкою бирюзою, сверх кики прозрачная фата — признак невесты. По правую руку у нее сидит сваха, жена соседнего сына боярского, повязанная поверх волосника белым убрусом, сама в зеленом летнике и в красной парчовой душегрейке, подбитой и окаймленной куницами. По левую сторону сидят боярыни. От главной стены, у которой сидела под окном невеста, стояли скамьи; на правой стороне сидели посаженые отец и мать. На столе была постлана узкая белая скатерть, а на ней еще меньшая такая же белая; на этой скатерти положена была перепеча, белый сыр, крепко отдавленный и выжатый творог,

стояла серебряная солонка и перечница. У правого угла стоял невестин дружко, длинноногий дворянский недоросль, племянник старухи Проклы Тихоновны, из-за природной глупости не ходивший на службу; он держал в руках мису, на которой разложены были кусочки мехов, материй, убрусы, деньги и посыпаны хмель и рожь. Налево против него стоял мальчик со свечою, увитою золотыми тесьмами и разноцветными ленточками.

Вот въезжает на двор Неонилы Филипповны поезд жениха. На повозке сидя, двое холопов держали огромный каравай, а двое возле них сидели — один со свечою, украшенною лентами, другой с фонарем. За этой повозкой ехали свадебные гости верхом, женщины в колымагах — одна за другою гуськом; подле них жених верхом. Конь под ним был покрыт двумя чепраками один сверх другого, так что вышитые золотыми листьями края нижнего чепрака с бахромою выглядывали из-под верхнего, на котором по черному полю вытканы были серебряные львы, драконы и грифы; на этом чепраке лежало небольшое седло с подушкою из персидского, затканного золотыми листьями сафьяна; лука седла была позолочена; на морде коня надето было множество уздечек, цепочек и маленьких бубенчиков, так что при каждом шаге коня морда его издавала смешанные звуки. Жених сидел в куньей шубе с собольим отложным воротником, покрытой белой объярью, а из-за воротника выглядывал расшитый золотом и унизанный жемчугами высокий стоячий воротник, пристегнутый к кафтану, то, что называлось ожерелье; на голове у него был высокий остроконечный колпак, суконный, черный, с прорезом на передней стороне, куда вставлено было два лоскута, вышитых золотом поперек положенных полос с продольным, разделяющим их на две половины лоскутом красного цвета, украшенным жемчужинами. Золото, жемчуг и камни, которые были в таком изобилии в наряде Капитона Михайловича, как и вообще в нарядах тогдашних дворян, не были высокого достоинства, но довольно было, что они блестели. Капитона Михайловича сопровождал дружко — ключник Герасим, одетый в кафтан, принадлежавший Капитону Михайловичу и подаренный ему только перед поездом.

Когда поезд приехал, свечники и каравайники, сошедши с повозок, первые вошли в дом и остановились у дверей. Навстречу жениху вышли посаженые отец

и мать с образом и хлебом. Капитон Михайлович приложился к образу и хлебу. Невеста привстала; дружко повел Капитона Михайловича сажать подле невесты. Если б невеста была девица, то следовало бы подле нее сидеть какому-нибудь другому лицу, и это лицо должно было приподняться, и на его место следовало посадить жениха; но она была вдова. Того, кто недавно мог загородить к ней дорогу Капитону Михайловичу, уже не существовало. Когда Капитон Михайлович сел подле нее на одну с ней подушку, тяжелые воспоминания теснились ему в грудь, и спиралось у него дыхание.

Когда они сидели вместе, дружко резал перепечу и сыр, положил куски их на мису, где были разные вещи, и отдал другому, который подавал поддружию. Поддружий держал мису, а дружко брал из нее куски перепечи и сыра и раздавал всем присутствовавшим, а потом начал раздавать убрусы, лежавшие на мисе,— сначала жениху, потом его дружке, а далее всем его поезжанам. После того дружко отдавал мису свахе, и та брала горстями мелочь, начиная от меховых кусочков до листьев хмеля, и бросала всем присутствовавшим на свадьбе, и те подхватывали что поспевали схватить. Во все это время холопы разносили кушанья, но никто ничего не брал; обнесши всех, понесли другое, и к другому никто не прикоснулся; потом появилось третье, но ему суждено только появиться и исчезнуть, ибо как только оно появилось, тотчас дружко обратился к посаженым и провозгласил: «Благословите молодых к венцу везти». Посаженые встали. Жених и невеста также встали; их для важности подводили под руки. Они поклонились до земли, посаженые благословили их образом и хлебом, а они поцеловали образ и хлеб. Дружко женихов вышел первый, за ним последовал жених, а потом все его поезжане. Перед крыльцом стоял конь, на котором он приехал, но на коне, по обычаю, сидел уже другой; как только Капитон Михайлович явился, этот другой слез с коня и пособил жениху сесть на своего коня. Шествие двинулось.

Когда женихов поезд уже выезжал из двора, тогда начался поезд невесты. Вынесли вперед ее свечу, потом вышли боярыни, а за ними и невеста; сваха вела ее под руку. К крыльцу подъехала колымага; в ней, как и на жениховом коне, сидело другое лицо, долженствовавшее уступить место невесте, как только она явится. Неонилу

Филипповну ввели в колымагу, где против главного места, на котором она сидела, было ниже другое,— там села сваха и с нею одна из сидячих боярынь. Кони, украшенные бляхами, цепочками, бубенчиками, кусочками мехов и разных материй, двинулись, издавая звуки. Когда невеста выехала, за нею вслед потянулись другие колымаги, где сидели гостьи, а мужчины ехали верхом.

Жених поспешил приехать в церковь прежде. У паперти он слез с коня, и коня этого тотчас повели в сторону; вслед за тем подъехала колымага невесты, и когда невеста вышла, колымагу отвели туда, где стоял конь Капитона Михайловича, и наблюдали, чтобы никто не прошел случайно между конем жениха и колымагою невесты, считая это дурным знаком. Жених дожидался невесты на паперти; они вместе вошли в церковь и стали у налоя.

Совершилось венчание. Священник, по обычаю, велел поцеловаться новобрачным, и после этого поцелуя новобрачная наклонилась к ногам жениха, а тот прикрыл ее полою платья. Это символически означало первенство, которое, по праву, предоставлено церковью мужу над женою. Дали пить новобрачным вино из деревянной чаши; муж и жена отпили три раза, передавая один другому по очереди; в заключение Капитон Михайлович опорожнил всю чашу и ударил ее с силою об землю, а Неонила Филипповна первая поспешила накрыть ее ногою; Капитон Михайлович вслед за нею раздавил эту чашку каблуками своего сапога и произнес: «Чтоб так потоптались те, которые станут между нами учинять ссору!» Это повторили окружающие, и всем бросилось в глаза, что первая дотронулась ногою до брошенной чаши жена: это было предзнаменование, что жена будет иметь первенство над мужем.

При выходе из церкви сваха осыпала новобрачных хмелем, семенами льна, конопли, ржи и мелкими серебряными деньгами. Близ паперти Капитон Михайлович сел на своего коня, а Неонила Филипповна в свою колымагу. Оба поезда отправились в дом Капитона Михайловича. Уже стемнело. Толпа народа бежала вслед за ехавшими и кричала; женщины пели свадебные песни и били в медную посуду и железные доски, а мужчины играли на волынках и свистелках.

У дверей столовой избы ожидали посаженые Капитона Михайловича. Новобрачные поклонились до земли и получили от них благословение. Их посадили вместе. Гости уселись за столами. Большое медное паникадило с семью восковыми свечами, заправленными в два высоких подсвечника, державшихся на длинных, выходивших горизонтально из центра ручках, разливали свет, а на столе горели такие же свечи в «струнных» (проволочных) подсвечниках, бывших в большом употреблении в те времена.

Только что молодые уселись, ключник, он же и дружко, соединяя теперь в себе кстати обе должности, стал распоряжаться о подаче кушаньев с чрезвычайною быстротою. Не успели обнести гостей одним кушаньем, не успели гости взять что-нибудь, как является другое. Женщины в сенях поют между тем свадебные песни. За другим кушаньем немедленно является третье, и в то же самое время ключник подходит к столу, за ним слуга несет жареную курицу... Дружко взял ее, обернул скатертью, повернулся к посаженым и закричал громко: «Благословите молодых опочивать вести!» Те произнесли: «Благослови бог!»

Новобрачные встали, поклонились посаженым и пошли к дверям. Сваха забежала вперед, накинула на себя вывороченный вверх шерстью тулуп и стала с мисою, где наложено было всякой всячины: зерна, хмелю, денег, кусочков материй; ей следовало осыпать молодых у дверей сенника, и она поспешила туда. Вперед никто не пошел туда за молодыми, кроме дружка. Гости, оставшиеся в столовой, принялись есть, пить и балагурить. Холопы расставили из поставца братины, ковши, корцы, кубки, чарки и щедро наливали разные сорты медов, которыми тогда щеголяли зажиточные хозяева: тут были меды, ставленные на малине, черной смородине, вишнях, барбарисе, чрезвычайно вкусные и чрезвычайно пьяные и тяжелые, потому что, кроме меду и ягод, туда клали большое количество хмелю. Были и заморские вина, но не в большом количестве. Гости поднимали чаши и кричали: «Многие лета!» Другие отпускали разные доказательства своего остроумия и находчивости. На дворе толпу приходящих из простого деревенского народа угощали хлебным вином и хлебом и говорили, чтобы все,

кто хочет, приходили завтра: будет-де от молодых пир на весь мир.

Прошло после того часа два. Гости были сильно пьяны. Потерялась уже чопорность в обращении между полами. Женщины стали плясать и выделывать разные двусмысленные телодвижения, а мужчины около них притопывали да глазами подмигивали, а иные, осмелившись, хватали их уже за стан и за груди. При общей суматохе посуда лежала на полу, и холопы подбирали ее, чтоб случайно пьяные не испортили чего-нибудь. Двери были настежь отворены, и когда некоторые из гостей, отягченные несколькими кубками крепких медов, лежали на лавках, другие вышли на двор и там на просторе и холодном воздухе раздольнее пели, кричали и плясали, а иные пáры, казалось будто от хмелю, уходили от людей подалее. Никто не обращал тогда на них внимания: на свадьбе позволялось то, чего никак не позволялось в другое время; тут можно было избегнуть наблюдений, да и прощалось, если узнавали. «На то веселый час,— говорили,— далеко ли до беса! Что делать!» Об хозяевах как будто забыли: все были уверены, что им теперь очень-очень приятно и покойно.

В самый разгар свадебной оргии вбегает в двор запыхавшись верхом сын боярский, прибежавший сюда из Саранска, и кричит:

— Эй, вы, бражники, пьяницы! Что сдуру свадьбу справляете? Окатите скорее водою пьяным головы да бéритесь за сабли и ружья. На вас идут воры из Саранска!

Какой-то пьяный гость, отставной сын боярский, только что ораторствовавший перед не слушавшею его толпою о своих подвигах против татар, обратился к нему:

— Ты, верно, сам вор, сюда пришел. Ну так мы тебя свяжем да посмотрим, что ты такое; коли ничего... добрый человек — пить заставим, а худой, ну, тогда не прогневайся... в Саранск к воеводе отвезем!

— Да какое тут Саранск и воеводы! Опомнитесь! Знаете, что воеводы уже на свете нет, Саранск воры взяли, а здешнего господина сын Оська у них заводчиком атаманом, ведет сюда воров, батюшку своего хочет карать: проклятый осерчал, что батюшка женится; а вы на свадьбу сюда затесались! Бегите скорее! Я был в Саранске сам, как город взяли; меня увели воры неволею,

а я от них с дороги убежал да вам прибежал сказать. Постойте за веру правую, за службу царскую; а я поеду в соседний город давать знать, чтоб на воров высылку послали; их человек всего полтораста будет; поднимите всю деревню, так можно постоять, пока ратные подвернутся.

В толпе гостей раздались несвязные крики. Один из них завопил:

— Где отец? Полно ему прохлаждаться с молодою женою! Будите его, пусть выходит, пусть нам совет дает! Бегите в сенник скорее, поднимайте его!

— Да поднимать некого! — откликнулся холоп.— Нет ни мужа, ни жены!

— Как так, где ж они? — закричала толпа.

— Наше дело холопье, подневольное,— сказал холоп,— что велят, то мы и делаем. Приказ нам от ключника стоять на заднем дворе и никого туда не пускать,— мы и стояли. Мирон конюх запрег пару лошадей в колымагу, а туда ключник заранее положил что поценнее; и подъехала колымага на задний двор; сел боярин с боярынею в колымагу; и ключник со своей женой сели; да и поехала колымага; а нам как не приказано говорить, так мы и не говорили доселева, боялись: люди мы подневольные, не знали, к чему оно деется.

— Ах он пес! — закричали гости.— Пронюхал, видно, беду себе да и улепетнул, а нас тут оставил своему псу на поругание! Не случись доброго человека, так бы нас тут и накрыли воры, и хмельных до смерти побили!

— Видно, так! — сказал холоп.— Нам-то невдогадку было, зачем это они уехали.

Несмотря на то, что холоп этот повторял несколько раз, что их дело холопье, подневольное, он все-таки получил зуботычину.

— Что же делать? — кричали гости.— Стоять здесь и давать отпор, что ли?

— Нас мало, ничего не сделаем!

— А баб наших куда денем?

— Надобно бежать да людей поднимать по соседству.

Много было советов, криков, доходило до брани. Наконец все кинулись — кто до своего верхового коня, кто до колымаги, усадили женщин, пьяные возницы наезжали друг на друга,— смятение было неописанное. Верховые

выскочили из двора и понеслись в страхе во все стороны, поехали колымаги не домой, а в поле и в лес. Двое мужчин и двое женщин лежали на лавках в столовой пьяные и спали; их будили, но они не поняли ничего, а каждому было не до них; даже одной женщины муж, не растолкавши своей жены, закричал, чтоб ее вынесли и облили водою, а сам, не дожидаясь этой операции, бежал без оглядки на верховом коне из двора. Дворня и бывшие тут крестьяне Нехорошева стали в кружок на дворе.

— Что ж нам делать? — говорили они.

— Вестимо, что! — сказали другие.— Наше дело подневольное: коли нас оставил боярин, так что же нам за него стоять! Приедет свой молодой боярин Осип Капитоныч. Что у них с отцом-то — не наше дело разбирать, а нам он свой был! Поклонимся ему хлебом-солью, скажем: «Рады служить; не вели, боярин, казнить; помилуй и пожалей!»

— Дело, так! — закричало множество голосов и мужских, и женских.— Против него пойдем — пропадем все, а покоримся — целы останемся: он сам не даст нас ворам в обиду.

И вот послышался конский топот, ближе, ближе, раздались крики: «Нечай, Нечай! Воля! воля!»

XVII

Толпа человек во сто прискакала верхами ко двору Нехорошева. Дворня с крестьянами выстроилась перед воротами и держала фонари. Месяц тогда зашел; стало темно. Осип ехал впереди толпы своей, подъехал к воротам и закричал:

— Здравствуйте! Вышли биться со мною или кориться мне хотите?

— Нет, родимый кормилец! — сказала дворня и кланялась в землю.— Коримся! Твоя воля над нами: не губи напрасно своих холопей!

— Какие тут холопы! — закричал Осип.— На то мы идем, чтоб на Руси холопству боле не бывать! Ни холопей, ни бояр не будет: все вольные казаки! Добрым людям — добро, всем обиженным — правда и льгота, а лихим — кара! Подавайте сюда батюшку на расправу!

— Уехал, кормилец, нет его!

— Уехал? Как, вы его спровадили? Прослыхали, что я буду, и спасли его! Так-то вы коритесь! Куда уехал, говорите! Бегите за ним, доставьте мне его сюда! А не то,— он обнажил саблю,— я с вас головы поснимаю, если вы не скажете, где он!

— Не знаем, родимый, свят бог — не знаем! — кричали дворовые.— Как обвенчались, отвели его в сенник, а ключник тайно вывел из сенника, посадил в колымагу с молодой боярыней и увез, а куда — не знаем. Вот они стояли на заднем дворе, стерегли как уезжали.

Но те, которые стерегли задний двор, хотя бы и хотели открыть правду, да не могли, только объяснили, что колымага уехала по той дороге, которая идет в лес, а куда повернула — они того не знают... Чают — съехала на большую Арзамасскую дорогу, оттолева версты с три; а может быть, книзу, в Пензу, поехали...

— Книзу они не поедут! — сказал Осип.— Пенза уже у наших... Они, наверное, повернули кверху, а не книзу; но тут много помещиков, у кого-нибудь спрячутся, пожалуй... Надобно их перетрясти всех: один конец... А может быть, они поедут прямо по Арзамасской дороге. Теперь бы за ним пуститься, так еще догнали бы.

— Э, каков молодец! — сказал кто-то из воровских казаков.— Больно прыток! Что мы, холопы тебе дались, что ли? Над заповедным твоим делом будем работать, бегать как угорелые? Лошади у нас потомились, чай, надо покормить; да и самим отдохнуть у тебя в гостях; а ты вот хозяин: ты угости-ка нас почестно!

— Что, атаман! — сказал кто-то.— Ты уж своего добра жалеешь на братью?

— Братцы! — сказал Осип.— Не жалею я этого добра: все в дуван отдаю, и усадьбу проклятую зажжем, пусть ее и следу не останется за ту неправду, что в ней делалась. Я больше не дворянин, я просто — вольный казак, как и все вы, братцы!

— Молодец! — сказали другие.— Вишь, здесь свадьба была... Вот и мы приехали попировать. Да где же гости? Что, это они от нас все в лес ушли, видно?

— Все разбежались,— сказал кто-то из дворни,— сын боярской, что был с вами, прискакал сюда и рассказал.

— Это Злоба! — сказал кто-то.— Это он, собачий сын! Кабы поймать, кипятком облить!

— А поп, что венчал, где он? — спросил Осип.— Сыщите его да подайте мне на расправу! Небось, батька еще не успел ему заплатить за венчанье, так я заплачу. Ну, братцы вольные казаки, потешайте свои души, пейте, гуляйте, прохлаждайтесь: для вас отец припас яства и питья медвяного. Нежданные веселые поезжане. Пейте, гуляйте, а потом поскачем карать неправедных всех; и кого попадем, что по неправде творил, пощады никому не бывать! Кто неправду творил — кровь ли неповинную лил, век ли чужой заедал, людей подначальных мучил,— всех на расправу! А вы, вы, заячьи души! — сказал Осип, обратившись к холопам.— Стоило бы вас!.. Вы попустили злодеянию совершиться! А! Зачем, когда отец убил матушку, зачем тогда вы все не побежали с этого проклятого двора? Зачем не ударили в колокол, весь мир зачем не созвали, зачем миром челобитной не подали? Зачем служили злодею? Не памятаете вы, что для вас матушка была, как вас кормила, поила, жаловала? На осину бы вас вздернуть всех, уды гнилые! Да я вас прощаю! Теперь вы все вольные; пойдем вместе с нами другим волю доставать! Ударьте в колокол, сзывайте крестьян... Кто хочет, бери коня, седлай, вьючь, за нами поезжай!

Дворня бросилась опрометью и хватала оружие из кладовой Капитона Михайловича. Осип сошел с коня, приказал его покормить и пошел пешком к церкви. Там молодец уже звонил в один край в колокол. Другие бегали по селу и зазывали нехорошевцев. Осип пришел к могиле матери. Чувство мести сменялось чувством тихой грусти.

— Матушка родная! — говорил он.— Не довелось мне тебя увидеть... не довелось благословиться от тебя, и нет на мне твоего благословения! С небес ты смотришь на меня и проклинаешь. Не проклинай меня, родная! Злой отец отнял тебя у меня, злой отец погубил мою душу... Нет мне возврата и не будет; и не хочу я его. Правды нет на свете: кривда царствует; не хочу служить кривде, буду правду кривдой бить. Знаю, недолго мне на свете жить: не наживется тот, кто против царя идет. Да зачем же с нами его слуги неправедно чинят!.. Матушка, матушка! Не проклинай меня, не проклинай меня! Я за твою обиду пошел, не стерпел твоего лиха! Матушка, слышишь ли ты?.. Сыра земля надавила тебе

белые груди! Придёт время, встанешь ты, встану и я, тогда бог рассудит...

Он утер слезы, отошел от могилы. Видит — ведут к нему попа.

— Атаман,— сказали ему,— вот он, попище-то, что тебе нужно! Это он самый!

— Ну-ка, батька, доплатить тебе надобно! Расплачусь я с тобой честью, отче!

Священник повалился в ноги и умолял о пощаде, поминал малых детушек. Осип отвечал ему:

— Коли тебе своих детей жаль, надобно было чужих жалеть! Вы, попы, на то поставлены, чтоб нас, простых людей, на ум наставлять, мир и согласие содержать, а неправду обличать; знаючи, что батюшка обижает матушку, жену свою богоданную бьет, ругается над нею, ты знал и не заступился за матушку... Потом, когда батюшка извел матушку, ты покрыл его злодейство: чем бы самому заявить про это, иск начать, ты повенчал отца и на свадьбе у него гулял; а свадьба была с тою, что сама извела своего мужа. Разве так тебе святые отцы повелели творить по священству! Достоит ли тебе быть попом? Правды, видишь, нет на Руси! Кого обидят, тот управы не сыщет, а обидчик везде подмогу найдет. Неповинного попирают, злодея возносят! Нет правды в законе. Мы теперь самовольно и без закона будем правду чинить. Вот за твои дела тебе — смерть. Братцы, вздерните его на колокол.

Казак схватил попа, закинули веревку на колокольню. Поп кричал пронзительным голосом,— его удавили. Осип, не дожидаясь его смерти, пошел снова в усадьбу. По всему двору и около двора лошади ели овес и сено; везде пили и кричали воры. Осип вошел в столовую. На полу лежали две женщины в безобразном положении: кики с них были сбиты, летники на них были разодраны; полуобнаженные, полумертвые от страха и стыда; одна лет под сорок, жена соседнего сына боярского, была в совершенном беспамятстве. Над ней стоял пьяный молодец и держал камышину, начиненную порохом... Осип догадался, что́ затевает молодец, выхватил у него из рук камышину и закричал:

— Не делать этой пакости! Я не велю!

— А отчего бы это так? — спросил нагло молодец.

— Грех мучить людей и наругаться. Коли кто винен, петлю ему на шею или камень да в воду — один конец! А мучить не следует! Баба эта ничем не виновата.

— Батюшки, отцы родные! Зарежьте меня, одним разом покончите! — проговорила жалобно другая, лежавшая на полу же, молодая невестка той старухи, что была посаженой матерью у Капитона Михайловича. Муж ее отправился под пьяну руку с женою сына боярского, а свекровь ее всполошилась и убежала в чужой колымаге... Бедная осталась тут. То была женщина лет тридцати, недурна собой, вся в крови и в синяках, волосы были вырваны, зубы вышиблены. Она была связана.

— Пустите их обеих,— сказал Осип,— развяжите их. Коли нам быть с такою жесточью, то за нами не пойдет народ; а нам нужно, чтоб люди правду нашу видели и к нам приставали, мы виноватых, злодеев, грабителей, утеснителей народных казним, а невинных не тронем.

Удальцы стали было сопротивляться, но Осип поглянул на них грозно, ударил рукою по сабле и сказал:

— Коли слов добром не слушаете, так я вас вот этим на разум наставлю! Дайте им прикрыться! У покойницы матушки много было платьев.

Но ему объявили, что все уже подуванили.

— Нечего делать! — сказал Осип.— Приходится им, бедным, идти чуть не нагишом по холоду. Запрягите им телегу, слышите?

Женщин развязали. Они не могли ходить: надобно было их нести. Та, которая была постарше, пришла в чувство и взглянула направо... Там лежали под столом двое мужчин.

— А это кто? — спросил Осип.

Он поднес свечу к лежащим, они были мертвы: у них были размозжены головы... Женщина постарше узнала своего мужа и закричала. Ее вынесли и положили вместе с другою на телегу и повезли со двора.

Осип вышел из столовой и на противоположной стороне двора услышал крики, ругательства и женские вопли.

— Что это? — сказал он и подошел. Там была толпа народа: воры принялись за дворовых баб, а мужья и отцы не давали их на поругание. Тут Осип махнул саблею и закричал:

— Оставьте!

— Да что, оставить... оставить... Не даешь нам погулять, повеселиться! — говорили казаки.— Что, эти дураки баб не дают нам... Целы будут бабы, назад отдадим!

— Эти люди теперь наши! — сказал Осип.— Они в казачество поступили, они нам братья. Ино дело с недругами: можно погулять и поглумиться над ними, а ведь это свои... Что ж, если над вашими женами начнут чинить поругание? Каково будет вам?

— У нас баб не было и не будет,— закричал какой-то пьяница.— Вот еще, с бабами возиться! Да если б у меня была баба, я бы ей голову срезал!

— Да разве мы,— сказал Осип,— на то идем, чтоб людей зря обижать? А знаешь ли ты, как батюшка Степан Тимофеевич наказывал в Астрахани казаков за бесчинства, что творили над женами посадскими, когда их мужья уже пристали к казачеству! Отважься кто тронуть бабу — сейчас изрублю!

— Ой ли? — сказал гордо, подбоченясь, молодец.

— Батюшка родимой! — кричали бабы без кики, с растрепанными волосами.— Обесчестили, опростоволосили! Я мужняя жена, вышла замуж — никто моих волос не видал, а они мои волосы открыли!

— Кто? Кто ее опростоволосил? — спросил Осип.

— А хоть бы я? — сказал тот же удалец.— Что же ты мне сделаешь? А ты дворянский сын — вот что! Ты думаешь, боюсь я тебя!

— Не дворянский я сын! — кричал Осип.— Я от своего дворянского отечества перед вами отрекся. Я у вас по выбору атаман, чтоб ряд держать. Так вот ты когда ряду не знаешь, бесчинствуешь, то я тебя казню за это! Братцы, соберитесь в круг, судить будем; либо с меня атаманство снимите, либо делайте так, как я велю, бойтесь меня, и пока я над вами атаман, буду казнить всякую неправду. За то, что ты опростоволосил бабу — жену не недругову, не супостатову, а такого же казака, как ты сам,— за это ты довелся смерти.

С этим словом он перекрестил саблею казака и разделил его на четыре части... Казаки отшатнулись в страхе и, сознавши, что Осип был прав, не смели сказать ни слова. Отошедши от них и помолчавши немного, Осип сказал:

— Теперь, братцы, садитесь на лошадей, едем в погоню.

— Атаман,— сказал один казак с диким взглядом,— твой ряд, твоя правда; только наш ряд и наша правда в том, что хотим — с тобою ходим и коримся тебе во всем, а не захотим — отойдем от тебя. Вот теперь мы вышли из Саранска до Нехорошева, а у нас не было ряду идти далее лесу; стало быть, теперь кто хочет, пойдет с тобою, а кто не хочет — воротится в Саранск. Я не хочу ходить с тобою; может быть, и другие найдутся, что не захотят. Ты больно грозен: мы вернемся к Харитонову.

— Вы делаете не по правде,— сказал Осип.— Когда вы атаманом меня выбрали, то должны ходить за мною, куда я поведу вас; а не хотите — прежде меня с атаманства сбросьте. Вот что!

— Нет, атаман, не так! Коли ты вернешься в Саранск, мы тебе коримся; а ты в Саранск не ворочаешься, а мы из Саранска идти с тобою не хотим.

Подумавши, Осип сказал:

— Идите, мне насильно вас не удержать. А кто со мной хочет, тот пойдет. А вы, новые казаки, со мною пойдете, что ли?

— С тобой, Осип Капитоныч, с тобой! — отвечала толпа.

Нашлось до сорока человек, которые воротились к Саранску; другие согласились идти за Осипом.

— Теперь,— сказал он,— собирайте свои животы и оставляйте бабам своим, а двор зажжется. Пусть все гибнет — так я хочу; так по правде!

И вот весь отряд всполошился: воры отвязывают лошадей и седлают. Мужчины из дворни сбирают пожитки... Мужчины из дворни прощаются с бабами и детьми. Наконец все готово. Осип едет, за ним весь отряд на конях. И вдруг огонь стал пробираться сквозь крыши на всех строениях усадьбы; ее зажгли разом во многих местах; чаны с водою, приготовленные накануне Капитоном Михайловичем, были перевернуты; оставшиеся бабы бегали как угорелые и голосили. Вышел дедушка, что сидел на пчельнике, и, указывая на пожар, говорил:

— Вот оно, божье-то наказанье! Вот к чему они были — те приметы: и собаки выли, и тараканы, и мыши ползли из дому, и волк пробежал через двор, и дым выходил из печи назад! Все это к беде. Так я и думал! Пропали пчелки мои, а я столько лет ходил за ними! И садик

мой пропал, а я столько лет его холил... И моей бедной головушке теперь негде приютиться будет!

Осип, удаляясь, несколько раз оглядывался с грустью на пылающую родовую усадьбу, пока она не скрылась за холмом. Тогда еще несколько времени зарево на небосклоне извещало о ее гибели.

XVIII

Они бежали очень быстро. Осипу было тяжело. Он видел, что пропустил время: отец, может быть, теперь бог знает как далеко, и эдак, пожалуй, не удастся его поймать, и тогда зачем же он, Осип, к ворам пристал? Как ни старался он себя успокоить внутренно софизмами, что это не воры, что их дело правое, что они защитники правды, каратели неправды, но какой-то сердечный голос говорил ему иное, напоминал о белом царе, о долге службы, о святой церкви... Ужасающая мысль приходила ему в голову: Разин будет проклят со всеми своими единомышленниками, и он, Осип, будет проклят! Вечно проклят, и не будет ему прощения от бога, никто на земле не умолит небесного судьи за него: ужасно! Ужасно! И когда голос совести доводил его до этих мыслей, он делал над собою усилие, и вдруг в душе у него все возмущалось, как на воде от бури: не было ничего там видно! Опять он обращался к прежнему чувству мщения, и начинал он опять размышлять, куда бы это мог укрыться отец его, по какой дороге направил он путь свой. Он остановился было на мысли, что Капитон Михайлович убежал прямо в Арзамас по дороге; там собирают детей боярских.

До света проскакали верст тридцать. Восходит солнце. День был снова ясный, как и вчера. Осип осмотрел свой отряд, дал отдохнуть с часик, покормить лошадей овсом, который был у каждого ездока в запасном мешке, потом выстроил отряд в четвероугольник, а где были рвы и овраги, там приказывал развертываться, ехать гуськом, а потом опять становиться в четвероугольник: этот род строя был выгоден тем, что с какой стороны ни нападут, всегда встретят отпор.

Тогда в этом крае было большое смятение; рассыльщики Стеньки Разина бегали везде по селам и деревням, предупреждали крестьян, что вот появятся шайки, и по-

буждали приставать к ним. Инде легковерные не дожидались шайки, сами составляли свою и нападали на казавшихся им обидчиками. Подобный случай произошел тогда верстах в сорока от Нехорошевки. Один Стеньки Разина сынок — как он называл себя — зашел в село и на сходке стал читать «прелестное письмо от батюшки»: там обещалась «воля и ровность». Народ разделился на две половины: одна, что была постарше и постепеннее, хотела поймать прелестника; но тут нашлось десятка полтора гуляк горячей крови,— им полюбилась речь его; они составили шайку, начали колотить робких,— тех было гораздо больше, но так как они были робкие, то и пустились бежать,— а удалые бросились на помещичий двор; помещика самого дома не было — на службу вышел; оставалась жена с двумя дочерьми: одной лет пятнадцать, другой лет девять. Негодяи заперли их в доме и зажгли дом, а сами убежали с прелестником в надежде пристать к какой-нибудь большой шайке. Они наткнулись на Осипа и пристали в его шайку. Первый вопрос его был об отце, но они ничего не могли сказать.

Проехали еще верст десять. Тут к Осипу привели мужика, поймали его в стороне от дороги: двое мужиков везло по дороге дрова; увидя издали ратных, покинули они воз и в страхе бросились в сторону; за ними пустились удалые и, поймав одного, привели к атаману. Он сказал, что утром здесь проехала колымага, в ней сидел мужчина лет за сорок и женщина лет двадцати пяти, а с ними еще мужчина и женщина: должно быть, их люди государские, а правил парою рыжий возница; а сзади за ним ехали двое верхами, и поворотили все влево, чаять, куда-нибудь к помещику: дорога идет вниз под гору и доведет до села Бруханова, там усадьба помещика Свинорылова, туда, чай, они поехали. Бывшие с Осипом прилежно расспросили о приметах тех, что ехали верхами, и вывели из ответов заключение, что это должно быть двое их братий из дворни: они, верно, улизнули вперед, как только Осип приехал в Нехорошево, и дали знать Капитону Михайловичу, чтоб спешить.

Осип взял мужика в провожатые, по указанию его повернули налево. Они спустились вниз в долину. Между тем только что они закрылись за гору, как по той же дороге из Арзамаса ехал отряд, высланный «на высылку» князем Долгоруким «для проведыванья воров». Встретив

на дороге мужика с дровами, товарища того, что повел Осипа, царские ратные люди стали его расспрашивать. Тот и сказал им, что поехала воровская шайка; взяли его товарища крестьянина неволею; и чает он, что поехали на Свинорылово. При этом мужик сказал, что можно ехать прямо и перерезать им дорогу, потому что дорога идет вниз, а потом объезжает овраг и выходит на гору; а прямо едучи, можно, минуя овраг, проехать на гору скорее, чем они поспеют.

Те так и сделали. Оставили возы свои на дороге и поскакали во всю прыть по полю. В то время, когда Осипов отряд, съехавши вниз, поворотил вправо и стал объезжать овраг, чтоб потом взобраться на гору, перед ним в конце оврага, при повороте дороги из долины на гору, стояла уже высылка и дожидалась их. Нацеливши на них ружья, ратные люди кричали: «Сдавайтесь, воры, изменники!» Было у них и две пушечки на колесах. Предводитель отряда велел выдвинуть пушечки, направить их на воровской отряд. Осипу негде было развернуть своего отряда: с правой стороны была та гора, откуда он съехал, слева овраг. Сообразивши свое положение, он закричал, чтоб все поворотили назад и взъехали на гору. Но только что сделан был поворот, как часть царского отряда поскакала на гору отрезывать им дорогу. Въехавши на гору, ратные люди палили сверху вниз по ворам, тогда как другие поражали их пулями сзади — несколько человек воров легло. Когда они добежали до того места, где прежде съезжали с горы, царские люди, зашедшие им путь через гору, ударили на них с саблями, ружьями, пистолетами, пиками... Воры, теснимые и сзади, и спереди, бросились стремглав в овраг, некоторые переломали себе руки и ноги, другие удачнее спустились и бежали в лес, бывший на другой стороне оврага. «Где атаман?» — кричали ратные. В *памяти*, данной предводителям, было писано, чтоб атаманов приводить живьем на казнь, а чернь бить и разгонять. Толпа воров, желая подслужиться и сбавить со своей шеи ожидавшее ее наказание, схватилась за Осипа и отдавала его. В порыве отчаяния Осип достал саблю и хотел заколоться, но у него вырвали оружие и тотчас же связали ему руки, а другие, слезши с лошадей, привязали его ноги к стременам. Между тем другие ратные люди преследовали шайку, кололи и рубили людей и лошадей, не давали

никому пощады; напрасно просили милосердия именем Христовым дворовые люди Нехорошевых, уверяя, что их взяли неволею,— всех истребляли, перебили человек восемьдесят, тридцать взяли в полон; а тех, которые выдали Осипа, отпустили для примера. Предводители отряда, васильгородский дворянин Бурташев да сын боярский Козодоев, привязали лошадей пленников уздами за подхвостники других и таким образом повели их с собою к выезду на большую дорогу. Весь отряд с Бурташевым отправился на дальнейшие поиски, а Козодоев с тридцатью человеками ратных повел в Арзамас тридцать пленников.

Козодоев был человек сурового нрава и обращался с пленными грубо. Он даже не спрашивал Осипа и его товарищей, кто они, как их зовут: все это было дело розыска, а его дело доставить их бережно до места суда и казни — в Арзамас. Вез он их два дня, отдыхая мало для покорма лошадей, и только ради крайней нужды позволял отвязывать узников поодиночке, а потом опять скручивали им назад руки и привязывали ноги к стременам. Кормили пленников из рук. Так доехали они до Арзамаса.

Когда стал отряд подъезжать к городу, то представилось глазам множество виселиц, сделанных глаголями, а иногда к одному столбу приделывали по два и по три глаголя, но никогда не было по четыре, во избежание сходства с крестом. На этих глаголях висели тела повешенных — по человеку, а иногда и по два на глаголе. Между виселицами и там и сям торчали колья, а на их заостренных верхних концах сидели казненные преступники. Некоторые уже обгнили и испускали зловонный запах; и невозможно было, не затыкая носа, ехать по той дороге, а у кого нервы были чувствительны, с теми делалась даже тошнота.

Здесь Козодоев впервые, оборотясь к Осипу, сказал:

— Ну, воровской атаман! Хороша ли у нас роща? Полюбуйся: придется и тебе в ней отдыхать!

Осип не отвечал, даже не сделал движения, что услышал сказанное. Со времени его взятия в плен, он, сообразно своему сосредоточенному характеру, сохранял тупое спокойствие отчаяния.

XIX

Пленников привезли к воеводскому двору. Тотчас выбежали стрельцы и помогали провожатым отвязывать их и водить в тюрьму. На дворе было три тюрьмы; то были землянки с небольшим возвышением над уровнем, с деревянными крышами, насыпанными на аршин землею; на окраине крыш были сделаны небольшие отверстия для света. В каждой тюрьме была такая низенькая дверь, что нужно было входить нагибаясь, а толстяку надобно проходить боком. Пять или шесть ступеней вело внутри вниз, в просторное подземелье, где на голой сырой земле валялись преступники. Не оказываемо было никакого сострадания к их судьбе, никто не заботился о их участи; не было у них ни постели, ни свежего белья, кто в чем попался, в том и сидел, пока суждено ему было сидеть. У одних только на ногах, а у других еще и на руках были кандалы; а у иных, самых тяжких преступников, были на плечах «стулы». Они никогда не умывались; не водили их в баню, не давали пить, когда захотелось; не выводили для естественных нужд, и в случае болезни не только не лечили, но не оказывали никакого облегчения участи.

Когда нашего Осипа со старыми товарищами вкинули в одну из таких тюрем, он увидел себя в незнакомом обществе: было там человек около двадцати; все это были товарищи Осипа по бесчинствам; на некоторых были видны следы недавних пыток. Один плечистый, дюжий парень в разорванной грязной рубахе, покрытой кровавыми пятнами, с обстриженною головою, в цепях на ногах, обратился к Осипу с расспросами. Осип молчал. Парень рассердился и после нескольких одинаковых вопросов, на которые не получил ответа, закричал: «Что молчишь?» — прибавил крепкий эпитет, схватил Осипа за шею и начал трясти. Но Осип, обладавший большею силою, освободил свое горло от невежливых рук товарища и взамену схватил его за горло и встряхнул так, что тот посинел и, когда Осип оставил его, начал охать, потом сделалось ему дурно. Его сторону приняли товарищи: один подошел к Осипу и хотел ударить его кулаком. Но дюжий Осип предупредил противника и ударил его коленом в живот, так что тот повалился наземь. После этого на Осипа с яростью кинулось пятеро, и в то

же время несколько других стали оспаривать у этих пятерых справедливость их нападения и готовились защищать Осипа. Они представляли своим противникам, что товарищу их, вступившему внове, надобно было дать время опомниться; а то сейчас к нему пристали: «У него сердце еще не спало,— говорили они.— Да он же и не знает, кто с ним говорил».

— Да,— подхватили другие,— ты не знаешь, кто это, кого ты схватил за горло. Это керенский атаман.

— А я саранский атаман! — сказал Осип.— Саранск почестнее вашего Керенска. Мне говорить сегодня невмочь, и говорить нечего. Мы уже переговорили все и договорились все разом до одного.

— Ну помиримся, саранский атаман! — сказал керенский, пришедши наконец в себя.— Силен ты, брат, больно: как сдавил, ажно чуть я дух не испустил. Что сидеть молча! Ты мне про себя расскажи, а я про себя расскажу, вот оно и веселее будет! А то что сидеть!

— Что будешь рассказывать! — подхватил один из товарищей.— Во рту пересохло, выпить не дают...

— Не беспокойся! — сказал другой, у которого вся кожа на ногах была покрыта волдырями от огненной пытки.— Еще позовут и поднесут... выпьешь горячую, как я.

Осип все молчал. Но один из посаженных с ним его шайки молодец рассказывал новым знакомцам все и про Саранск, и про Нехорошевку. Когда услыхали керенские, что саранский атаман не какой-нибудь беглый холоп, а дворянский сынок, то пропитались к нему уважением. Дворяне были большою редкостью в шайках Стеньки Разина. Дворянин, передавшийся в шайку, да еще атаман, это небывалая редкость.

— Прости меня,— сказал керенский атаман,— что я с тобою так грубно был... Что ты, дворянин и дворянский сынок, оставил свою дворянскую честь и за нас пошел, то тебе слава. Зачем же ты молчишь? Али, быть может, каяться стал, что пристал к нам?

— Нет,— сказал Осип,— не каюсь я, а досада берет меня, что ничего не успели мы сделать.

— А мы,— сказал керенский,— немного времечка гуляли, да зато уж как погуляли! Много красных девок, белолицых молодушек-лебедушек за белы груди

потрепали, над сынками дворянскими поругалися, а что меду-вина пролили...

— Да,— прервал Осип,— а теперь будем горечью закусывать! Такова наша, братцы, судьба на сем свете: отколупаешь меду ножом, что только на мизинец набрать, а потом хреном заедаешь, и в мешок его не уберешь — так много.

На другой день часов в семь утра Осипа и товарищей его стрельцы вывели из тюрьмы и повели к допросу. Привели их в воеводскую избу. За столом сидел товарищ Долгорукова — старый воевода и дьяк, сидело за другим двое подьячих; у дверей стояли стражи и палач в красной рубахе.

Воевода окинул глазами Осипа и спросил, кто он.

Осип твердым голосом назвал себя: дворянин Осип Капитонов Нехорошев.

— Дворянин? — сказал воевода.— Дворянин! Стало быть, и на царской службе был! Постой, Нехорошев, Нехорошев... Мне что-то припоминается твое прозвище, чай, родня тебе какая. Вот близу лет шесть в Переяславе на Украине один Нехорошев... Я тогда служил в Черкасской малороссийской земле — Нехорошев посылан на подъезд в степь, бился с татарами и привел полону татарского, а за то после его и жаловал государь...

— Это я самый,— сказал Осип,— тогда я служил царю-государю.

— А теперь стал черту служить! Ах-ах! Статочное ли дело, дворянин, царский служилый человек, а в холопье дело вошел и воровским атаманом стал! Погубил тебя лукавый. Эх-эх! Снимайте с него допрос. Смотри же, не врать у меня, а то пытать буду больно.

Дьяк взял перо и стал спрашивать. Осип показывал:

— Зовут меня Осип Капитонов сын Нехорошев, а родом я из Саранского уезда; а служил я близу десяти годов в Малой России в полках, а в прошлом году воротился домой, и как вошел в родительский дом и увидел — лежит родная мать моя Наталия Нехорошева, Капитонова, отца моего, жена, на столе, и узнал я, что умерла она от ушиба, а ушиб ее отец мой Капитон, потому не мила ему стала, что он, отец мой, стал жить блудно с соседнею женою дворянскою Жарского Неонилкою. И положили они извести свое подружье: он, Капитон,— свою жену, а она, Неонилка,— своего мужа; и я, то узнав,

что смерть моей матери Наталье приключилась от моего отца, поехал в город Саранск и бил челом воеводе в том убивственном деле, а воевода моего челобитья не принял, для того что по «Уложению» принимать челобитья от детей на отцов не велено; и меня воевода при отце моем наказал батогами больно; и я, Осип, в сердцах убежал из Саранска и прибежал в Атемар; и там были воры, и я с теми ворами под Саранск подходил, и при взятии Саранска и в дуване был; а в Саранске воры меня выбрали атаманом; и я, Осип, взявши воров человек более ста, и поехал на село Нехорошевку на своего отца; а мой отец в те поры справлял свадьбу со вдовою, дворянскою женою Неонилкою, что с нею прежде блудно жил; и я своего отца в дому его в Нехорошеве не нашел и погнался за ним, хотячи его достать и убить; и на дороге встретился я, Осип, с царскою ратью, и меня, Осипа, с ворами царские люди разбили и взяли в полон и привели в Арзамас — и то моя, Осипова, вина.

По снятии допроса Осипа увели в тюрьму. Часа через три опять вывели его из тюрьмы в избу. Воевода сказал:

— Князь Долгорукий говорит, что речам твоим верить немочно: все это ты выдумал от себя на отца и на свою мачеху по злобе. Говори правду, а не то в пыточную.

— Я всю правду сказал,— отвечал Осип.

— Нет, врешь! — сказал воевода.— Ведите его в пыточную: он там правду скажет.

Его повели в пыточную башню. Это была одна из деревянных башен, которыми была усеяна деревянная с присыпом стена города Арзамаса. В башне этой было два яруса. Осипа повели в верхний. Там была огромная печь для содержания огня ради пытки огнем, лежали разные инструменты и стояли два столба с перекладиною, а под ними лежали круглые гири разных сортов. За Осипом пошли палач, двое сторожей и сын боярский, который приставлен у пытки быть. С Осипа сняли цепи, сторожи обнажили ему спину, потом привязали ему к рукам веревки, а один из них взял его за эти веревки на себя на спину так, что живот Осипа плотно пришелся к спине сторожа, а палач начал отсчитывать ему удары кнута по спине. Сын боярский за каждым ударом говорил: «Сказывай правду».

— Я всю правду сказал! — кричал Осип.

Дали ему таким образом ударов двадцать, от которых кожа на спине потрескалась и лилась подкожная кровь в изобилии. Потом его увели в тюрьму. Керенский атаман сказал ему: «Что, брат, позавтракал?» После обеда его снова повели в пыточную. Там подвели его к двум столбам с перекладиною. Палач, обвязав ему руки веревкою, поднял его вверх и привязал на перекладине, а к ногам его привязали гири. Осип кричал от боли. Палач взял кусок раскаленного железа и стал водить вдоль израненной кнутом спины, в некоторых местах нажимая железо с особенным прилежанием. Сын боярский продолжал беспрестанно повторять: «Говори правду». Осип среди криков, исторгаемых страшным страданием, долго твердил одно слово: «Я всю правду сказал»,— наконец, не вытерпевши мучений, закричал: «Отрекаюсь».

Его одели в окровавленную сорочку и повели снова в воеводскую избу. Дьяк со слов его записал, что все, что ни говорил он на отца и на мачеху свою, наговорил он ложно; а пристал он к воровству своею дуростью, норовя своей бездельной корысти. Спрашивали его о товарищах. Осип что знал, то и сказал. Не доверяя ему, повели его снова в пыточную башню и посадили на горячие уголья. Осип кричал, но не мог ничего нового сказать. Его отвели в тюрьму.

— Что, брат,—сказал керенский атаман,—поужинал?

Осип лежал недвижно и не говорил ничего. Ему принесли сторожа ломоть черствого хлеба; он отвернулся.

На другой день привели его снова в воеводскую избу и уже не одного: с ним ввели его прежних товарищей и керенского атамана с семью товарищами. Сначала прочитали приговор керенскому атаману с товарищами: их всех присудили повесить. Потом прочитали Осипу следующее:

— Осип Нехорошев! За твое воровство и измену, что ты, пришед с царской службы домой к отцу, своею дуростью и бездельничеством пристал к ворам и учинился у них атаманом, и учал с ними воровать, и под Саранск с ними ходил, и при взятьи Саранска был, и многие убивства и напрасное кровопролитие учинил, и с ворами на отца своего двор находил, хотячи отца своего убить

до смерти,— довелся ты смертной казни: посадить на кол.

— Хочешь исповедоваться?

— Хочу,— твердо сказал Осип.

Его отвели в особую избу. Там стоял священник и исповедовал керенских. Осип ждал. Потом священник обратился к Осипу и спросил его:

— Веруешь ли в бога, живоначальную, единосущную и нераздельную Троицу?

— Верую,— отвечал Осип.

Потом священник, смотря в требник, стал ему задавать вопросы о разных грехах. На многие из вопросов Осип отвечал: нет; на другие отвечал: грешен. И когда дошло дело до почтения к родителям, Осип хотел было открыть свою душу, но священник продолжал далее, сказав: «Недобре! Вперед так не делай!» Наконец, переспросив о всех грехах по требнику, священник прочитал молитву, разрешил его от грехов по власти, данной ему от апостолов, а в заключение причастил его святых тайн. Осипа повели на казнь. Уже впереди вели керенских. Их остановили у одного пустого глаголя, а Осипа повели далее и через несколько минут остановились. Осип увидел, что керенского атамана уже вздернули. Он продолжал свой путь после того еще минут пять, наконец его остановили. Двое палачей подхватили его, посадили на заостренный кол, а сами удалились. Медленно кол пробивал ему кишки по мере того, как тело его от тяжести опускалось, руки у него были завязаны назад... В невыразимых мучениях Осип оставался один среди гниющих трупов, торчащих и висящих. Он мучился так почти сутки; ворон выклевал ему глаза еще живому; наконец Осип лишился чувств. Он все-таки был счастливее многих казненных таким образом; иным приходилось мучиться долее, смотря по тому, какое направление в теле примет вбитый кол, а это зависело и от его фигуры, и от случайного положения преступника на коле.

XX

Прошла зима, памятная и страшная для Юго-восточного края Московского государства. Много сел и городов обратилось в пустыни, много народа крестьянского погибло от меча, от огня, от мороза, на виселицах, на

кольях... Но все успокоилось. Власть законная восторжествовала, мятеж был попран. С весною зазеленели вновь нивы, стали обстраиваться деревни; собственная нужда заставила забывать замученных отцов и братьев. В июне самый зачинщик смуты Стенька Разин испил достойную чашу наказания на Красной площади, против церкви Казанской Богородицы. Русь успокоилась. Осенью и Капитон Михайлович со своею молодою супругой возвратился в Нехорошево, выпросил у правительства милость — «сто рублев на обстройку, потому что разорен от воров»,— и принялся за возобновление усадьбы, сожженной Осипом. Наскоро отстроили две хозяйских избы и людскую избу, обнесли усадьбу деревянною оградою. Стали приходить кой-какие из дворни и из крестьян, говоря, что пошли на воровство по неволе; другие не пришли, потому что были побиты, а третьи не пришли потому, что пристали к другим господам. Зато явились и новые записаться в кабалу. Опять усадьба начала напоминать прежний вид, хотя уже прежнего богатства и довольства нельзя было воротить: то, что было прежде, собиралось многими поколениями. Капитон Михайлович благодушествовал со своею молодою супругой. Ключник и ключница, уже свободные, остались у них верными слугами и друзьями. Капитон Михайлович справил новоселье. Были приглашены соседние дворяне, тоже воротившиеся в свои усадьбы; был тут и священник, но уже новый. На пиру, когда поднимали разные чаши, священник с чашею возгласил вечную память и упокоение погибшим и пострадавшим во время смуты за святую непорочную веру и за здравие его царского величества, великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великие и Малые и Белые России самодержца. Тогда кто-то, упившись, заметил, что жаль Осипа, которого нельзя уже помянуть в числе верных слуг царских. Мгновенно лицо Капитона Михайловича приняло суровое выражение, и он сказал:

— Да погибнет память его от земли живущих! Имя его никогда не вспомянется в дому сем! А кто его добром или худом мне припомнит, того прошу не жаловать за порог наш.

— Аминь! — сказал священник.

ХОЛОП

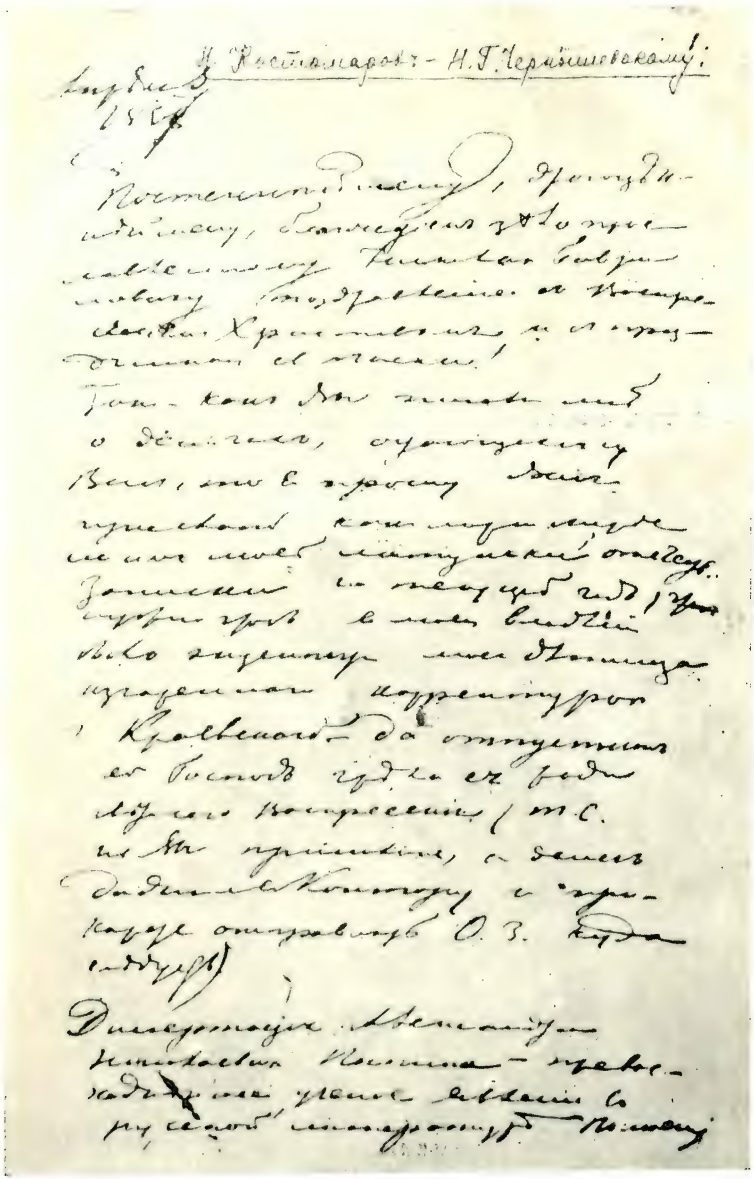
Эпизод из историческо-бытовой русской жизни первой половины XVIII столетия

I

Во всяком городе, существующем на земном шаре, если не все вообще обитатели этого города, то, по крайней мере, хозяева домов, в нем построенных, питают привязанность к месту своего жительства. Один Петербург составлял в этом отношении изъятие. Этот «парадиз» Петра нравился только своему основателю да немногим из его приближенных,— да и те повторяли царские похвалы новосозданному городу только из угождения государю или из боязни за себя: в глазах Петра не любить Петербурга было признаком несочувствия ко всем видам и затеям государя. Петру хотелось, чтобы все русские люди любили то, что ему самому было по сердцу. Но старая русская поговорка: «Насильно мил не будешь»,— как нельзя более приложилась к Петербургу. Как ни добивался государь Петр Алексеевич заставить русских полюбить Петербург,— не полюбили его русские. Не только не стал он им любезным, но и по смерти Петра был отвратителен и ненавистен; и до сих пор недолюбливают его на Руси, хотя после Петра прожила Россия столько времени, что отроки настоящих годов, поступившие в школы, будут находиться в самой цветущей поре возраста, когда придется праздновать двухсотлетний юбилей основания Петербурга. Что же было тогда, когда основатель Петербурга только что закрыл навеки глаза и его гроб стоял в деревянной церкви Петропавловского собора, между тем как достраивалась каменная церковь с подземными усыпальницами русских императоров, из которых первому Петру приходилось начать собою ряд царственных покойников? А в это именно время произошло событие, послужившее основанием настоящему рассказу.

Основатель Петербурга в последние годы своего царствования полюбил особенно Васильевский остров. Там хотел он сделать средоточие своей столицы и повелевал отправлять в Петербург для поселения на Васильевском острове из разных краев России помещиков, не обращая внимания на их жалобы. Это было мало: государь велел переноситься на Васильевский остров даже тем, у кого были уже построены дома в других частях города Петербурга: прежние дома и дворы приходилось или продавать, или оставлять в запустении; отдавать внаймы было трудно, потому что на это мало было запроса. Дворовые места на Васильевском острове раздавались даром желающим, и для этого учреждена была особая канцелярия. Но великий государь не напрасно всю жизнь роптал, что его повеления исполнялись плохо и несвоевременно; русские люди постоянно вымышляли увертки, как бы обойти закон и не делать так, как власть велит делать. То же высказалось и теперь. Туго заселялся Васильевский остров, хотя государь издавал указ за указом, один строже другого, понуждая скорее переселяться и строиться на Васильевском острове тех, кому выпал жребий. С тем Петр и умер, а на Васильевском острове стояло много начатых и недостроенных зданий и еще более значилось отмеченных дворовых мест, где не было никаких начатков строения. Застроена была только стрелка, две первых улицы до Среднего проспекта и значительная часть набережной Невы. Большой проспект был тогда только дорогою, проложенною от сада князя Меншикова вплоть до маяка в каменной башне, поставленной на взморье в галерной гавани. По этой дороге, называемой тогда Большою перспективою, кое-где стояли недостроенные домики с разводимыми при них садами и огородами; виднелись следы каналов, которыми хотел государь изрыть весь Васильевский остров, но потом оставил этот замысел. Все остальное пространство Васильевского острова было покрыто ольховым и еловым лесом. Украшением застроенной части острова был тогда дворец Меншикова с огромным садом, тянувшимся по нынешней Кадетской линии, и со множеством строений, принадлежавших лицам из его княжеского штата. По набережной Невы, по направлению к стрелке, красовался дом Соловьева, бывшего у князя управляющим делами; далее следовали: новое громадное, тогда уже отстроен-

Будинок у Саратові, в якому жив М. Костомаров на засланні.



Сторінка автографа листа М. Костомарова
до М. Чернишевського.

ное, здание коллегий, дворец царицы Прасковьи, вскоре потом обращенный в здание Академии наук, и дома разных вельмож, рядами выстроенные по берегу Малой Невы. Между дворцом князя Меншикова и двором Соловьева прорыт был канал, и на берегу его построена была каменная церковь Воскресения, внутри красиво расписанная, с наружною колокольнею, на которой были устроены часы с курантами. В другую сторону от меншиковского дворца был расположен рынок (он занимал нынешний Соловьевский сквер) с деревянными лавками, а за ним по набережной шли частные дворы разных хозяев, насильно переселенных по царской воле на Васильевский остров. Дома в этих дворах были каменные или деревянные, обложенные кирпичом, двухэтажные и расположены были по линии ближе к Неве, чем теперь. При каждом из дворов были на берегу реки пристани с судами, принадлежавшими хозяевам этих дворов, а близ рынка и в некоторых других местах Невской набережной были пристани для перевозки разного народа в судах, называемых буерами. Эти пассажирские буера плавали беспрестанно по Неве и ее протокам от пристани до пристани, одних пассажиров выпуская на берег, других набирая с берега: такие буера в те времена занимали место железноконных карет нашего времени. Как в наше время мы встречаем повсюду эти кареты, снующие из улицы в улицу со множеством разнородной публики, так в то время вся Нева кишела множеством сновавших по ней буеров, торншхоутов, яхт, шлюпок, карбасов, яликов, вереек и с иными наименованиями судов и частных, и публичных, а берега Невы усеяны были пристанями, где беспрестанно причаливали и отчаливали суда разных величин и разных образцов.

В числе дворов, расположенных по набережной Большой Невы на Васильевском острове, был на углу осьмой линии двор княгини Анны Петровны Долгоруковой. Ее барский дом выходил угольною стороною к набережной и снабжен был широким крыльцом с балконом, выходившим во двор; перед ним во дворе был разведен палисадник. Дом был деревянный, обложен кирпичом и крыт черепицею.

Рядом с домом были ворота во двор, по набережной от этих ворот шла аллея к пристани, а в глубине двора были службы и между ними — обширная людская изба.

За службами — деревянный забор, ограждавший недавно разведенный сад. Двор этот со всеми в нем находившимися постройками был окончен в 1724 году, и владелица перебралась в него в конце этого года из другого своего двора в Литейной части на Воскресенском проспекте. От этого весною 1725 года все в этом васильеостровском дворе носило отпечаток свежести и новизны. Деревянные стены служб и заборов не потеряли еще той желтой окраски, которая везде отличает недавно возведенное деревянное строение, а деревья, посаженные в саду и в аллее, ведущей к пристани, были не выше человеческого роста. На помосте крылечного балкона виднелись расставленные стулья и кресла, показывавшие, что здесь было обычное место сиденья боярской семьи.

Был конец мая.

На дворе княгини Долгоруковой кишела толпа дворни обоих полов и разных возрастов: тут были и дети, и молодые парни и девки, и сморщенные старики и старухи. Дворня княгини была многолюдна. Хозяйка была русская боярыня до мозга костей и в том поставляла достоинство своей боярской знатности, чтоб ей прислуживало много холопьев. Теперь дворня оставалась без боярыни, отлучившейся из дома, суетилась и бегала по двору с пронзительными криками. Все были вооружены длинными палками с ложбинами на конце, все гоняли по двору деревянное колесо или каток; каждый старался ударить палкою по катку и отогнать его то в ту, то в другую сторону, и каток вертясь перебегал то в глубину двора, к службам, то к главным воротам с набережной. То была обычная в то время игра в килку, или в каток. По правилам этой игры, игрецы составляли два ряда; один ряд становился против другого, один ряд гонял каток в одну сторону, другой — в противную, и так гоняли каток до тех пор, пока кто-нибудь из того или другого ряда успевал ударом палки поставить его на деревянную колоду. Две таких колоды стояли: одна в углублении двора у конюшни, другая у ворот; кто взбивал на колоду каток, тот делался победителем и сообщал торжество победы тому ряду игрецов, в котором стоял. Тем оканчивалась игорная партия, и потом могла начинаться другая. В ряду игравших был молодой сын княгини, восемнадцатилетний князь Яков Петрович Долгоруков, одетый в кафтан фиолетового цвета с золочеными позументами

и в штаны ярко-зеленого цвета, что по нарядности отличало его от наружного вида прочей дворни. Молодые боярчата не стыдились принимать участие в играх собственной дворни, и сами родители часто не возбраняли им таких потех, а считали долгом наблюдать, чтобы их дети не набирались в холопьем кругу «подлых» привычек и запрещали холопам в присутствии боярчат произносить непристойные слова, чтобы дети бояр таких слов не перенимали. Но плохо исполнялись приказания старых господ и госпож, а всего чаще не исполнялись вовсе так же точно, как и прежние запрещения царей и патриархов не истребили срамословной болтовни русского простолюдина. Княгиня Анна Петровна не одобряла общения своего сынка с дворнею, хотя по временам на него ворчала, но во всем ему снисходила; на ту же пору старухи не было дома, и молодому княжичу была вполне своя воля. Князь Яков Петрович в игре с холопами дозволял себе такие выходки, каких бы не позволил в товариществе с равными себе, так, например, подбросить каток так, чтобы тот, подпрыгнув, задел кого-нибудь из игравшей челяди: за такую проделку холопы наделили бы тумаками своего брата, но на боярчонка никто не смел заявить и тени неудовольствия. Во всем остальном все шло попросту, без чинов, как будто здесь не было человека сиятельной или даже благородной крови: крики, брань, смех, балагурство.

— Эх ты, старина! — кричал молодой холоп седому.— Али руки уж одубели, что ползает у тебя каток!

— Эй ты, курносый, нишкни! — отвечал старик.— Ты свою башку поставь на место килки, так увидишь, как я ее закину через конюшню!

Другой холоп из противного ряда ударил по катку и погнал его к воротам.

— Нет, врешь, к нам! — кричал боярчонок и погнал каток по направлению к конюшне.

— Ан к нам, боярин! — крикнул тот, что прежде гнал его к воротам.

— Постой, Сенька, руки у тебя еще не выросли! — закричала баба и опять направила каток к конюшне.

— Нет, к нам пожалуйте! — закричала девка и опять повернула каток к воротам.

— Пробегайся-ка, лебедка! — закричал ей парень и двинул каток к конюшне.

В кругу игравших был один холоп по имени Василий Данилов, молодой парень двадцати двух лет от роду. Это был коренной холуй из деда и прадеда; ни он, ни родители его, уже тогда умершие, не могли во время своей жизни сказать, как давно род их стал в холопстве у князей Долгоруковых. Его покойная мать была в Москве у княгини ключницею, и княгиня в знак милости пожаловала ее сына и отдала учиться вместе с другими холопьими детьми к священнику Егорьевского женского монастыря в Москве. Покойный император не раз заявлял желание, чтобы бояре отдавали своих холопов учиться грамоте. Не слишком торопились бояре исполнять такое царское желание, когда оно не делалось приказанием, и смотрели на него подозрительно. «Уж не думает ли государь,— говорили они промеж себя,— попользоваться нами? Выучим холопов своих, а они отойдут от нас да пойдут в царскую службу. Царь позволил же холопам нашим записываться в солдаты и драгуны, а паче в матросы, хоть бы и мимо нашей воли. Мы холопа своего обучим: какой уж из него слуга нам? А грамотных царь любит. Вот и выйдет, что нам убыток, а царю корысть. Пожалуй, чего доброго: как намножится-то грамотных холопов — царь их всех и заберет себе в службу». Говорившие таким образом не были неправы. У Петра точно было такое желание. Но княгиня Анна Петровна Долгорукова во всем отличалась покорностью царю и старалась как-нибудь довести до него, что она из первых делает так, как ему угодно. Так она безропотно и скоро перенеслась по его воле на Васильевский остров; так она, услыхавши, что царю приятно было бы, когда б господа отдавали холопов учиться грамоте, тотчас договорила соседнего попа и послала к нему кружок дворовых мальчишек, а потом пыталась разблаговестить об этом, чтобы о ее поступке узнал государь. Но этим не удалось ничего выиграть княгине.

Василий Данилов учился хорошо и, когда дошел до того, что умел читать церковное и гражданское письмо, был отпущен в свою дворню. Боярыня приказала своему московскому управителю прислать Василия в Петербург в дворню, а в Петербурге, спустя несколько времени, приставила его в услужение к своему сыну Якову, тому самому, что играл с дворнею в килку.

Василий Данилов служил боярчонку, ходил за ним, выражаясь языком прислуги, чередуясь с другим товарищем поденно. Этот Василий Данилов был нрава горячего, живого, но вместе меланхолического, и потому был склонен к мечтательности и любил разговоры о гаданьях, волшебствах, привидениях, а грамотность, приобретенная им у священника, невольно расположила его к недовольству своим холопьим положением; оно, однако, не повело еще пока Василия Данилова к желаниям как-нибудь освободиться от этого положения, а ограничивалось только сожалением: зачем он родился холопом, тогда как другие родились свободными. Все равно как если бы кто жалел — почему человеку не дана способность летать по воздуху, подобно птице; ему было бы жаль, что этого нет, но он бы не выдумывал средств, как этому пособить; так и Василий Данилов: хотя и скорбел душою, что он холоп, но примирялся с этим на той мысли, что иначе быть нельзя, так уж он создался. Вот уже зиму провел он в услужении молодому княжичу. Этот княжич был большой драчун и редко проходил день, когда бы он не изругал своего слуги или не дал ему затрещины. Правда, князь Яков Петрович, избалованный матерью, хотя был драчлив, однако когда, по холопскому выражению, отходится, то делался ласков, а такое качество господ, как известно, примиряло холуев с их положением и обыкновенно побуждало их надувать своих господ и тем отплачивать им за претерпеваемые пинки и побои. И Василий Данилов вступал уже на ту дорогу и, так сказать, захолуивался, как вдруг неожиданное событие поставило его в исключительное положение к своему боярину. Была в дворне Долгоруковых девушка, именем Груша, девка полнолицая, румяная, мясистая спереди и сзади. Василий Данилов почувствовал влечение к этой девушке. Уже с месяц он, как умел, старался ухаживать за нею, хотя, по неопытности своей, приступал к этому делу несмело. Между тем не знал он, что у него оказался соперник и этот соперник был его боярчонок, князь Яков Петрович. В настоящий день Груша была в числе челяди, игравшей на дворе в килку. Василий Данилов, стоявший в ряду игрецов против того ряда, где стояла Груша, по влечению старался, мешавшись в толпе, тронуть ее рукою. Но то же делал и боярчонок, стоявший в одном ряду с Грушею. Василий этого не за-

мечал, но боярчонок заметил, куда клонятся движения Василия Данилова. Заметила все это и Груша и поняла, чего хочет боярчонок. Она приветливо улыбалась, когда он ее затрагивал, а от Василия Данилова отвертывалась, надувала губы и отдергивалась, как будто желая сказать ему: поищи себе, голубчик, другую! Боярчонок не решался придраться за что-нибудь к своему холую всенародно, а только пыхтел, краснел и сверкал глазами, готовясь отплатить ему после и расправиться с ним втихомолку; здесь, при народе, выразилась его досада тем, что, когда приходилось догонять каток к колоде, князь Яков Петрович, стоявший в то время далеко, проскочил сквозь толпу играющего люда с палкою и ударил по катку так, что каток полетел прямо на Василия Данилова и задел его по носу. У Василия Данилова пошла из носа кровь. Боярчонок сорвал свое сердце, холуйская компания захохотала над Василием Даниловым, стараясь тем понравиться боярчонку, а Груша, поглядывая на князя Якова Петровича, и себе тоже осклаблялась. Василий Данилов заметил это движение Груши; в нем закипело сердце, и не в состоянии был он удержать себя, хотелось ему дать господину отместку. Каток был еще не вскинут на колоду, и Василий Данилов, оправившись от удара, полученного в нос, весь красный от злобы, ударил палкою по катку и нарочно пустил его так, что каток попал князю Якову в живот. Князь Яков отшатнулся, схватился за живот; холуйская компания не смела захохотать, а только кусала себе губы и отворачивалась, чтоб не засмеяться, потому что фигура его сиятельства была тогда очень забавна.

— Ах ты животное! — крикнул, рассердившись, князь Яков Петрович и, махнув палкою по катку, направил его так, чтоб каток снова попал в Василия Данилова, но от большого усердия хватил так сильно, что каток перелетел через Василия Данилова и попал в голову Груше, стоявшей позади. Груша вскрикнула от боли.

— Болван! — заревел князь Яков Петрович, глядя на Василия Данилова, сам не зная, кого он обругал; но в эту минуту стоявший близ него холоп ударил по катку, поймал его ложбиною своей палки и вскинул на колоду.

Тут раздались голоса: «Господа! Господа!» Дворня разбежалась. Князь Яков Петрович отдал холопу свою палку и сам пошел к дому. На пристани вышла княгиня

из богато убранного судна, носившего итальянское название гондолы, вместе с сыном и, поддерживаемая холопами, словно архиерей иподьяконами, шествовала чинно и величаво по аллее в ворота своего двора. Часть дворни, игравшей в килку, покидавши палки, встречала свою барыню с поклонами. Княгиня медленно всходила на крыльцо дома. На ней было верхнее платье лилового цвета, из-под которого выглядывало другое, ярко-зеленое, обшитое золотыми позументами. На голове у ней была черная шляпка с большим букетом наверху и с развевающимися перьями. Ставши на крыльце, княгиня окинула взором свой двор и спросила:

— Что, здесь в килку играли?

— Забавлялись,— отвечала прислуга.

— Вишь, проказники! Только что я со двора, они без меня на головах начинают ходить! — сказала княгиня.— И Яша мой с ними?

Прислуга молчала.

— Что не отвечаете? — сказала княгиня, возвышая голос.— Оглохли, что ли? Мне разве десять раз об одном и том же спрашивать?

— Да-с, князь Яков Петрович изволили забавляться.

Покачнула головою княгиня и вошла в дом. В передней холуи сняли с нее верхнее лиловое платье, и она в зеленой бархатной робе с фижмами вошла в залу, уставленную стульями с высокими спинками и черными столами с перламутровою инкрустациею; стены были обиты голубыми штофными обоями с белыми цветками, на стенах висели зеркала в золоченых рамах с черными обводами на окраинах.

Князь Яков Петрович был уже там; он почтительно подошел к руке матери, но княгиня, отдернувши руку, покачала головой и сказала:

— Бесстыжий! Как раскраснелся! Опять с челядью играть принялся? Чем бы сидеть за французскими диалогами, а он обрадовался, что матери дома нет: сейчас в холуйскую компанию. Видно, такая «ассамблея» приятнее тебе всякого благородного общества? Хочешь, чтоб эти подлые тебя всюду ославили? С нами, будут молоть, боярчонок играет, как с равными! Дойдет до государыни, а государыня, пожалуй, как увидит меня, так в насмешку скажет: «Твой сынок, княгиня, хорошо умеет в килку играть». Что я тогда скажу ее величеству? И так

мне один срам с тобой! Никуда с тобой явиться нельзя. Постыдился бы ты хоть на других глядя. Вон князь Черкасский, почти твоих лет, может быть, годами двумя старше, никак уж не больше, а какой молодец: при дворе про него только и речи. Как танцует, как по-французски говорит и по-немецки, как верхом ездит! Высоко пойдет. А ты? Долгоруков-князь! В благородную компанию стыдно привести! Ах, срамник!

Княгиня отворотилась.

— Маменька!..— начал было князь Яков Петрович.

— Не выговаривайся, не оправляйся,— говорила княгиня.— Виноват, и только. Винись, а вперед не делай так. На, целуй руку!

Князь Яков Петрович умильно поцеловал матери руку.

Княгиня смягчилась и ласковым голосом произнесла: «Шалун!»

II

Познакомимся теперь с этой боярской семьею.

Древний род князей Долгоруковых еще задолго до Петра Великого разделился на несколько ветвей. Одна из этих ветвей имела родоначальником одного из князей Долгоруковых, которого в свое время за вспыльчивость нрава прозвали Чертом, и это насмешливое прозвище надолго оставалось за его потомками, так что, говоря о них, в отличие от прочих князей Долгоруковых, их называли: Долгоруковы-Черти. К этой ветви принадлежали в конце XVII в. князь Юрий Долгоруков и сын его Михайло, убитые стрельцами в мятежный день 15 мая 1682 года. Командовавший тогда Стрелецким приказом этот князь Михайло Юрьевич был до крайности нетерпим подчиненными: от малейшего противоречия он приходил в ярость и в порыве гнева способен был не только убить всякого, но и мучить самым зверским образом. За то стрельцы прозвали его Чертом, подобно тому, как это прозвище носил один из его предков. «Черт как есть,— говорили о нем стрельцы,— недаром и рода он чертовского». После мученической смерти князя Михайла Юрьевича (убитого разом со своим родителем) остался сын его, князь Петр Михайлович. Он участвовал в азовских походах, потом в шведской войне и в 1708 году был

убит в сражении при Головчине. Года за четыре до смерти сочетался он браком с княжною Анною Петровною Щербатовою; после мужа осталась она вдовою с тремя сыновьями. Первый, Сергей, был отправлен Петром Великим для образования за границу и в описываемое время находился на службе в Голландии. Там он задолжал, просил мать выплатить его долги, но княгиня Анна Петровна не могла исполнить сыновней просьбы. Она только что переселилась на Васильевский остров, много потратилась на издержки, необходимые при переселении, на постройки, на обзаведение хозяйства на острове, а между тем управляющие из ее имений присылали ей неутешительные отзывы: там град побил хлеб на корню, там постройки сгорели, там пчелы вымерзли... денег не присылали сколько нужно было, а сумма для уплаты долгов князя Сергея Петровича требовалась немалая. Когда умер Петр Великий, княгиня пожалела, зачем он не умер несколькими месяцами раньше: она соображала, что тогда ей не предстояло бы необходимости переселяться на остров. Воцарилась Екатерина. Княгине приходила мысль, что, при известной всем доброте сердечной, эта государыня могла бы заплатить долг за князя Сергея Петровича, но княгиня не была так близка к государыне, чтоб отважиться просить ее об этом. И все думала княгиня о своем Сереже, и ни к какому средству выкупить его из долга не прибегала, а между тем получила известие, что Сережу, за неуплату, посадили под арест. Другие двое сыновей княгини росли дома. Яков, которого мы видели, достиг уже восемнадцати лет, но не оказывал склонности ни к учению, ни к службе, ни к какому бы то ни было занятию. Это был образчик боярчонка старых времен, шалопай с головы до ног, каких было много в боярских семьях и каких особенно не терпел покойный государь Петр Алексеевич. Счастье было для князя Якова, что государь не обратил на него своего орлиного взгляда. Третий сын княгини, князь Владимир, был годом моложе князя Якова; он был способнее и охотнее своего братца, служил в кавалергардской роте, и так как этой роты никуда не посылали из столицы, то проживал дома с матерью. Как нравом, так и привычками братья мало походили друг на друга, хотя вырастали и воспитывались вместе и в одинаковых понятиях. Владимир не стал бы играть с холуями: это он признавал

унизительным для своего родового достоинства; Владимир охотно проводил время в компании боярских сынков, любил круг боярышень с их милою болтовнею. Князю Якову, напротив, тошно казалось пребывать долгое время в господской компании, особливо дамской; он не находил там, что и о чем ему говорить, он предпочитал компанию холуев и сенных девок: там ему было привольнее, там не нужно было соблюдать приличий,— можно было подчас ввернуть и крепкое словцо, а девка, не то что боярышня, как ни верти хвостом, а все-таки угождай господину — подневольный народ! Ни одеваться, ни пудриться не нужно,— никто не осудит. А в этой господской, благородной компании какая тоска для князя Якова Петровича! Являйся пристойно одетым, причесанным, а прическа сколько времени унесет и сколько перепортит крови! Не смей ни облокотиться, ни почесаться; а станешь говорить — за каждым своим словом замечай, чтобы сказано было прилично, благопристойно и вежливо. Князь Владимир выучился по-немецки и по-французски; правда, выучился он плоховато, но все-таки мог, с помощью диалогов, складывать фразы, употребительные в текущем разговоре. Князя Якова сколько ни заставляли учиться языкам — ничто ему не давалось; по принуждению он зубрит, а чуть над ним не смотрят, он книжку в сторону, шалопайничает и от дела отлынивает; или с холопами болтается, или шатается, либо в лодку сядет да без дела плавает; на другой день спросят его то, что зубрил накануне,— ничего не помнит! Учивший обоих братьев француз сделал о нем такой приговор, что если бы его сто лет учить французскому языку, он и тогда ему бы не выучился. И в самом деле, преподававшие братьям-князьям француз и немец были отпущены с той поры, как князь Владимир поступил в кавалергарды. Князь Яков ничего не помнил из того, чему учился; мать думала все еще как-нибудь и сколько-нибудь сделать из своего сынка что-то похожее на молодого человека благородной крови; она продолжала томить его, засаживая за диалоги, но князь Яков отлягивался от них, как норовистая лошадь от хомута. Князь Владимир танцевал и любил танцевать; князю Якову танцы с боярышнями были все равно, что тяжелая барщина для ленивого мужика. Зато князь Яков любил пляску холопов и часто, усевшись в людской, заставлял перед собою отплясывать

трепака или вприсядку под звуки балалайки или гитары, причем подчас готов был залепить тумака каждому, в ком замечал косой, не нравившийся ему взгляд. Так потешались его предки, так любил тешиться и он, бессознательный хранитель отживавших предковских приемов жизни! Всякого серьезного разговора он избегал как чумы, да и вести его не мог. От всякого труда он уклонялся; не тянули его к себе и такие забавы, как звериная и птичья охота, рыбная ловля и всякие игры — все, где сколько-нибудь является необходимым терпение. Нельзя сказать, чтоб он был, как говорится, соня. Он спал немного, вставал рано, после обеда не заваливался, ел умеренно, пил мало, всегда в беготне, в суете: непосидючий такой, говорила о нем дворня. Холопы не любили его, хотя он с ними и панибратился, не любили за то, что подчас был драчлив; для него ничего не значило угощать их вином, шутить, дурачиться с ними, да тут же одного-другого залепить в морду; после того он не сознавал, что сделал нехорошо и оскорбил человека. Мать чрезмерно его баловала; она втайне сознавала, что он глуповат, но не решалась ни перед кем сказать этого гласно, зато никуда не брала его в гости и не делала никаких шагов с целью как-нибудь поместить его на служебном поприще. Она любила его более других детей; нередко бывает, что материнское сердце привязывается особенно к тому из детей, кто поглупее прочих, так как матери считают таких детей обиженными природой и требующими их попечений.

И в этот раз, нагрозивши сыну и заставив его в знак покаяния поцеловать материнскую руку, княгиня Анна Петровна отпустила своего Яшу с материнскою нежностью. Князь Яков задумывал поскорее расправиться с дерзким холуем; князь сознавал, что тот умышленно хватил его катком в живот. Он побежал к сеням, где собиралась обыкновенно прислуга, и из полуотворенной двери увидел в комнате, примыкавшей к сеням, сцену, которая заставила его приостановиться и наблюдать ее втихомолку.

Василий Данилов беседовал с Грушею. Князь Яков услыхал между ними такой разговор.

— Говорят тебе, не задерживай, мне некогда,— говорила Груша.

— Задерживать тебя не стану,— говорил Василий Данилов.— Ты мне скажи только: зачем ты от меня отвертывалась, когда играли в килку, а боярчонку усмехалась, как тебя он затрагивал. Я все видал!

— Как же я смею перед господином губы надувать?— сказала Груша.— За это и по губам кулаком дадут. На то господа! Как им угодно, чтобы мы велись перед ними, так и ведемся. А ты мне что такое, что спрашиваешь? Словно ты мне муж или родной брат?

— Я полюбил тебя, Груша. Я ж говорил тебе не раз,— сказал Василий Данилов.

— Этаких речей наша сестра слушать не должна,— отвечала Груша.— Мягко вы, молодцы, нам стелете, да жестко будет укласться на постланном. Вижу я, что у тебя на уме: поиграть со мною, а потом чтобы плакалась на тебя. Нет, Василий, ты ищи себе попроще и поглупее.

— Прежде ты мне так не говорила,— сказал Василий Данилов,— а вот как увидала, что боярчонок стал на тебя заглядываться, так ты меня прочь отпихиваешь. А того в толк взять не хочешь, что уж коли кто вам, девкам, мягко стелет, а жестко бывает ложиться, так эти вот боярчата. Князь Яков Петрович затеял поиграть с тобою, позабавиться, а после бросит да за другую возьмется. А наш брат — не то; мы свои люди.

— С чего ты это выдумал князя Якова Петровича ко мне прицеплять? Пустомеля ты этакой! — говорила Груша.— Что тебе до меня, скажи, пожалуйста?

— Да то, что я люблю тебя,— сказал Василий Данилов.

— Ну, чего ж ты от меня хочешь-то? — спрашивала Груша.

— Хочу в любви с тобой быть! — сказал Василий Данилов.

— А я этого не хочу,— ответила Груша.— Это нехорошо.

— Я бы на тебе женился,— сказал Василий Данилов.

— Мы разве можем жениться и замуж выходить с кем нам захочется? — сказала Груша.— Это вольные люди могут так. А мы, холопы, должны жениться и замуж выходить тогда только, когда господа нам прикажут.

— Кабы у тебя, Груша, такое чувствие было ко мне, как у меня к тебе,— сказал Василий Данилов,— ты бы

пошла к княгине да бух ей в ноги: полюбила я, мол, Василия Данилова, отдайте за него замуж!

— С чего ты взял, чтоб я это сделала? — говорила Груша.— Что ты, в самом деле, за Иван-царевич какой, чтобы я к тебе такое чувствие возымела? Нет, брат, про эти глупости говори лучше какой-нибудь другой, а не мне. Я про эту любовь не знаю и знать никогда не желаю. Это одно баловство, и больше ничего. Вот коли госпожа наша боярыня скажет: «Груша, выходи замуж»,— за кого прикажут, за того выйду. А чтобы мне самой идти говорить об этом княгине,— что я, девка совсем потерянная или дура неотесанная?

— А если бы,— сказал Василий,— боярыня велела тебе замуж выходить за Василия Данилова, пошла бы ты?

— Вестимо, пошла бы,—отвечала Груша.—За кого бы велела идти, за того бы и пошла. Уж, конечно, не артачилась бы. Я девка подневольная. Как же я смею?

— И любила бы ты меня, Груша? — спрашивал Василий Данилов.

— Любила бы,— отвечала Груша.— Как же не любить мужа? На то закон принимают, чтобы мужа любить. И господа замужним приказывают любить мужьев. На то девок и замуж выдают, чтобы мужьев любили.

— А теперь ты меня не любишь? — спрашивал Василий Данилов.

— Вестимо, нет. Что ты мне такое, чтобы я тебя любила? Не муж, не брат, не отец, не дядя, не родня вовсе... За что же и с какой стати любить мне тебя? — отвечала Груша.

— А я вот люблю тебя, хоть ты мне не жена,— сказал Василий Данилов.

— Не люби, не за что! — сказала Груша.

— А боярчонка, князя Якова Петровича, любишь ты? — спрашивал Василий Данилов.

— Своих господ мы должны любить и во всем слушаться их. Что они прикажут, то и делать. На то они господа наши. Волю имеют над нами,— говорила Груша.

— Груша! — сказал с усиливающимся жаром Василий.— Я очень, очень люблю тебя; так люблю, что и сказать не знаю как. Груша! Не люби боярчонка! Меня люби! Ах, как мне хочется обнять тебя, к сердцу прижать, расцеловать...— Груша повернулась от него, соби-

раясь выходить.— Груша! Груша! — говорил Василий Данилов, воспламеняясь.— Груша, душенька моя!

Он бросился обнимать ее, но в это время стоявший позади его в другой комнате боярчонок из полуоткрытой двери крикнул:

— Васька! Иди сюда!

Василий Данилов опомнился. Груша ушла. Василий обернулся и увидел князя Якова Петровича, позвавшего его и шедшего обратно. Василий Данилов поплелся за боярчонком, повеся голову.

Сыновья княгини помещались в отдельных комнатах с разными входными дверьми, выступавшими в коридор. Князь Яков Петрович вошел в свою комнату; за ним последовал и Василий Данилов. Боярчонок, не входя с холуем в объяснения, не говоря никакого худого слова, залепил ему кулаком в лицо, потом приставил к стенке и стал бить по щекам с таким удовольствием, как будто после каждой пощечины похваливал его стоявший за спиною предок, заслуживший некогда название Черта. Совершивши эту операцию, княжич велел холую чистить клетку, висевшую с птицею в комнате, наконец, угостивши Василия Данилова бранью, перенятою из словаря кучеров и холуев, прогнал его от себя. Бедный холуй, отведавши такого господского угощения, сгоряча побежал к своей боярыне; она была тогда в угольной комнате за гостиною, в комнате, носившей в тогдашнем домашнем быту название светлицы. Княгиня сидела на софе; перед нею стояла ее приближенная женщина Мавра Тимофеевна, которую дворня звала «боярскою боярынею». Княгиня рассказывала ей, как она ездила с визитом к князю Василию Лукичу Долгорукову, входившему тогда в силу при дворе, и как просила этого князя, нельзя ли постараться как-нибудь избавить ее сына Сережу от ареста за долги в Голландии.

— Я говорю ему, знаючи, что он большой заступник за честь всего рода долгоруковского: «Ведь это, князь, пятно кладется на весь род!» А он мне говорит: «Всяк сам себя знает. По одежке протягивай ножки. Коли нечем платить — не бери в долг». — «Да ведь,— говорю ему,— оно было бы чем заплатить, да вот такое приспело разом: покойный государь приказал строиться на Васильевском острове; тут казны немало убухали».— «Что ж,— говорит он,— такова царская воля была. Что

будешь делать! Ты, княгиня, по-бабьи рассуждаешь! А что, как нашего брата пошлет царь-государь в иную землю с посольством? Траты немалые, а едем, крепимся, из сил выбиваемся, а слушаем царского наказа! А тебе, видишь, тяжело стало издержать каких-нибудь шесть-семь тысяч рублев». А я ему говорю: «Помнишь ли, как дядя твой, князь Яков Федорович, заступился перед покойным государем за Василия Владимировича? Тогда написал он государю письмо и выложил в том письме, что честь нашего рода терпит тем, что князя Василия Владимировича под арест взяли. Теперь разве честь нашего рода не терпит? Мой Сережа также долгоруковского рода, а его, вот пишет, под арест посадить хотят». А он мне на это: «Ты, княгиня, опять по-бабьи судишь. Что приводишь пример князя Якова Федоровича, как он заступился за князя Василия Владимировича? То было важное дело, государственное, головное, а это свое, приватное; там на человека взвели преступное дело, вину великую, а за твоим сынком преступления никакого не взводили. Тут просто заплатить надобно, и только! Окроме того, князь Василий Владимирович и по летам, и по службе государю — не верста твоему Сергею. Твой еще человек молодой; пусть послужит; пройдет много лет — дослужится до такой степени, как князь Василий Владимирович: тот ведь фельдмаршальский чин носил! Не безделица! А тут что ж? Молодой человек задолжал, имение у матери есть. О чем тут долго думать! Заложите да и выручите сынка! А то нешто за него всему роду Долгоруковых платить? Этого, княгиня, вы хотите, что ли? Так видите, если бы кто из Долгоруковых по какому-нибудь несчастному припадку до нищеты дошел, тогда иное дело: я первый бы из своего кровного достояния стал его выручать. А с вашим сынком никакого несчастного припадка, храни бог, не было, да и вы, княгиня, слава богу, не нищая; стало быть, можете из своих средств сына выручить».

Я на это сказала ему: «Если б я была близка к государыне, непременно попросила бы ее, пусть бы заплатить повелела за моего сына из казны. Этим казны не разоришь». А он наморщил брови и говорит мне: «Скорбит душа моя, что слышу таковы речи от княгини Долгоруковой, урожденной княжны Щербатовой. Вот кабы их услыхал покойный дядюшка, князь Яков Федорович! Он

всегда говаривал: «Мы, князья и бояре, должны пример всем подавать собою, беречь деньги, что собираются с народа, беречь паче очей своих! И не дай бог,— говорил,— дожить до того, чтобы увидеть за моим родом иное!» Тут уж нечего было с ним толковать. Суровый боярин! Пожалела я, что с ним об этом речь повела! Бог с ним!

— По моему глупому рассуждению,— сказала Мавра Тимофеевна,— вашему сиятельству, право, бояться нечего. Так-таки поехать прямо к государыне да и попросить ее, была не была! Ведь, говорят, она ужасть какая добрая и милостивая.

— Она-то, может быть, и добрая и милостивая,— говорила княгиня,— да она не сделает по-моему, как я попрошу, а посоветуется с ближними стариками. А они, видишь, каковы? Князь Василий Лукич своего роду человек, и тот вон что заговорил! А что скажет светлейший Меншиков, Толстой, Остерман да и другие? Еще вот думалось мне Макарову поговорить: он, сказывают, в большой силе!

В это время вошел Василий Данилов, упал к ногам своей боярыни и завопил:

— Ваше сиятельство, матушка вы наша милосердая, помилуйте меня, своего верного холопа! Их сиятельство князь Яков Петрович изволят все сердиться и бить меня. Дня не проходит без того, чтоб не разгневались. Сейчас изволили до крови морду избить ни за что ни про что!

— Верно, нагрубил,— сказала княгиня,— за то и побили!

— Ничем не грубил я им,— говорил холуй,— бог свят: ничем! Так-таки сейчас вот призвали к себе в комнату и, ни слова не сказавши, изволили побить всю морду, а потом клетку заставили чистить.

— Нехорошо, видно, клетку вычистил — за то и ударил тебя! — сказала княгиня.

— Ваше сиятельство! — говорил Василий Данилов.— Я еще клетки не чистил, как они меня побили, а после уже заставили клетку чистить.

— Пошел вон, болван! — крикнула княгиня.— Не смей соваться ко мне с такими пустячными речами. Тебя, дурака, приставили молодому князю служить, и ты должен ему угождать. А ты, холуйское отродье, своему господину не угодишь, да потом к его родной матери лезешь, отваживаешься жалобу нести на ее же сына!

Пошел вон, и никогда, приказываю тебе, таким делом не беспокоить меня!

Вышел Василий Данилов и зарыдал:

— Плакать у меня не смей! Слышишь! — крикнула вслед ему княгиня.

— Это, матушка княгиня,— сказала тогда Мавра Тимофеевна,— я вашей княжеской милости доложу, в чем тут сила. Играли в килку, и молодой княжич играл; только дурак Васька махнул неосторожно палкою по катку, а каток полетел вверх да и задел его сиятельство. Я стояла на крыльце и все видела. Так они осерчали и ударили его. Что ж, матушка княгиня, за дело взыскали. Сам виноват!

— Я сколько раз журила Яшу за то, что с холопами играет,— говорила княгиня.— Он тогда, как говорю с ним, как будто слушает и видно, что хочет угодить своей матери. А потом никак не утерпит. Горяч немерно. Весь в покойника отца своего.

— Истинно изволили сказать,— заметила Мавра Тимофеевна,— весь в своего отца, настоящий покойник князь Петр Михайлович.

— Поделом ему,— говорила княгиня,— не играй с холопами! А коли свой род забываешь, так и терпи! Только этот холуй Васька мне больно не нравится. Не мог перетерпеть, что Яша там щелкнул его немного. Прибежал матери жаловаться на ее сына! Что ж он вообразил себе в своей глупой голове, что я прикажу родного сына розгами сечь за его холуйскую морду?

— Негодяй этакой! — сказала Мавра Тимофеевна.

Василий Данилов, не получивши управы от старой барыни, зашел в чулан и горько плакал, утирая слезы рукавом своего потертого кафтана. Его вопли раздавались в соседних покоях. Боярская боярыня, отпущенная княгинею, услыхала плач в чулане и заглянула туда.

— Что зеваешь? Чего? — грубо говорила она Василию Данилову.

— Да как же? — вопил Василий.— Боярчонок избил ни за что ни про что, а боярыня не изволили оказать милосердия, меня же прогнали.

— Ах ты холопская душа! — сказала Мавра Тимофеевна.— С чего ты это взял ходить беспокоить боярыню, жаловаться матери на ее родного сына затеял! Вишь ты, важное дело! Молодой княжич, рассердившись, съездил

раз-другой по морде. Сам бы о себе ты пораздумал. Разве не твоя вина?

— Какая ж моя такая вина, тетушка Мавра Тимофеевна? — спрашивал Василий Данилов.

— Ты б еще вдругорядь хватил господина катком по животу, дурак ты неотесанный. Я видала все; на крыльце в те поры стояла, как в килку вы по двору играли,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Да нешто я нарочно, тетушка? — говорил Василий.— Я нечаянно.

Так уверял Мавру Тимофеевну Василий Данилов, а сам хорошо знал, что, говоря так, лжет: пустил он в князя каток умышленно, в отместку за то, что княжич ударил его прежде, злясь на него за Грушу.

— Нагаями бы тебя, мерзавца! — говорила Мавра Тимофеевна.— Мы, холопы, должны каждую минуту помнить и чувствовать, что у нас есть господа, а когда господа изволят забавляться с нами, значит, господа к нам ласковы, и нам следует осторожность иметь, а не так обращаться, как со своим братом. Моли бога еще за то, что старая боярыня изволила только прогнать тебя от себя, а не велела выпороть на конюшне, чтобы ты не ходил жаловаться матери на сына.

— Господи! — говорил Василий Данилов.— Хоть бы как-нибудь приворожить к себе господ, чтобы милостивы стали! Боярчонок хоть бы не бил, а то ужасть как дерется. Ох, ох! Горемычное наше холуйское житье! Самое что есть последнее на свете! Иной раз так досадно станет, что вот пошел бы да в Неву кинулся. Так греха боюсь. А когда-нибудь станется такое сгоряча, как горе невыносливое пристигнет! Намедни как-то избил меня князь Яков Петрович так, что ажно морда опухла. Княгиня увидала и спрашивает: «Ты, Васька, что это: в кабаке дрался, что ли? Кто тебе фонари поставил?» А я говорю: «Их сиятельство князь Яков Петрович изволили побить». А княгиня не спросила за что, а сказала: «Так, видно, тебе и надобно, стало быть, заслужил того, чтоб тебя наказывали. Ваше холопье дело — господам угождать, за то вашего брата и бьют».

— Какой же ты дурак, остолоп! — говорила Мавра Тимофеевна.— Коли раз такие речи ты от самой княгини слыхал, как же ты в другой раз полез к ней жаловаться на сына?

— Сердце взяло! — сказал Василий Данилов.— Редкий день пройдет без того, чтоб меня не побили. Хорошо, Мавра Тимофеевна, что тебя не бьют и всегда к тебе княгиня ласкова и во всем тебе верит.

— А ты заслужи, чтоб к тебе ласковы были и во всем тебе верили,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Черт его знает, как тут заслужить! — сказал с досадою Василий Данилов.

— Зачем черта вспоминаешь? — возразила Мавра Тимофеевна.— Лучше молебен отслужи Екатерине-великомученице. Она подаст такую благодать, что господа любить станут.

— А ты нешто служила, что господа тебя так жалуют? — спросил Василий Данилов.

— Видно, служила, коли другим советую,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— И помогло? — спросил Василий.

Мавра Тимофеевна утвердительно кивнула головою.

— Я уж думал,— заметил Василий Данилов,— ворожею бы отыскать такую да посоветоваться с нею: как бы так навести молодого боярина, чтобы стал ко мне милостив, по крайности, не бил бы меня часто.

— Пусть бог тебя сохранит! — сказала Мавра Тимофеевна.— Как это можно? Ворожеи — кто их знает, какою силою они помогают; может быть, недоброю. Приведут тебя к тому, что за них на том свете придется отвечать.

— На том свете что? Бог с ним, с тем светом,— отвечал Василий Данилов.— Мне вот хоть бы на этом свете пожить легче, чтобы кулаками в морду не совали.

— Молод ты, Васька, и глуп! — сказала боярская боярыня.— Как это говоришь ты, будто тебе до того света нет дела! Дурачина безмозглая. Мы все для того на этом свете родились и живем, чтобы на тот свет после нашей смерти перейти, а там нас за худые дела черти будут подпекать. Вишь, что выдумал! Ворожею бы ему достать, чтобы помогла к господам в любовь войти! Оно, пожалуй, можно такую ворожею сыскать, что и в любовь к кому хочешь введет и богатством наделит, да за то можно и душу свою припечатать. Нет, Васька, на такие дела не отваживайся и к ворожеям не ходи, а лучше, как я тебе говорила, отслужи молебен Екатерине-великомученице: умолит она за тебя милосердого бога, чтобы

к тебе господа стали милостивы. Вот оно, по крайности, богу не будет противно.

Слушал Василий Данилов эту речь, а сам на ус мотал себе. Очень, очень хотелось приворожить к себе господ на милость, хотелось достать и Грушу. Слыхал он, что ворожеи умеют и такое и другое человеку доставить. Зародилась у него мысль непременно такую ворожею сыскать и совета у ней попросить. На все лады готов был Василий Данилов попытать счастья: к богу обратиться прежде, а коли бог не пособит, тогда к ворожее, хотя бы ворожея услужила ему с помощью черта. Кто бы ему ни пособил, лишь бы только пособил, лишь бы его поменьше кулаками в морду били. Спрашивать у Мавры Тимофеевны, где есть ворожеи в Питере, он не посмел, чтобы не выдала и не донесла боярыне. Задумал он поразведать на тот счет у своей братии, у холопов: есть старые, давно живущие в Питере; они, может быть, скажут, где найти ворожею.

III

Дворня княгини Анны Петровны главным образом находилась в Москве, в ее старинном боярском дворе, на углу Тверской улицы и Охотного ряда. После переселения господ в Петербург прислуга беспрестанно сновала между Петербургом и Москвою: возьмут их человек сорок или больше и везут в Петербург, продержат несколько времени, потом возвращают в Москву, а на смену им прибывают новые холопы. Приехавшие в Петербург проживали сперва во дворе Долгоруковых, на Воскресенской перспективе; но когда, по воле государя Петра Великого, княгиня перебралась в новоотстроенный двор на Васильевском острове, тогда из того двора, что был на Воскресенской перспективе, брали прислугу на васильеостровский двор и, продержавши там несколько времени, отправляли опять во двор на Воскресенскую перспективу, а оттуда привозили другую прислугу. Только те, что определены были в приближении служить господам или же пользовались особою милостью господ, оставались на одном месте долее. Все, впрочем, зависело вообще от произвола господ. При господах на Васильевском острове дворня жила в людской избе, построенной в глубине двора; эта изба разделялась на три отделения:

в первом была людская поварня, она же и хлебня; там готовили прислуге есть и пекли хлебы; во втором отделении была холопья застольная, там прислуга обедала, а в третьем прислуга спала; для мужеского и женского пола была сделана перегородка, разделявшая один покой на две половины. В обеих половинах устроены были для спанья внизу нары, вверху полати. Каждой холопской душе давалось по кошме и по кожаной подушке для спанья. Женатые с женами укладывались обыкновенно наверху, на полатях. Василий Данилов пришел в застольную к ужину. Холопы сходились ужинать обыкновенно после господского ужина. Когда все уселись, повариха поставила оловянные мисы со щами. Во все продолжение ужина Василий Данилов молчал, но когда многие стали расходиться, он завел беседу с сидящими близ него и против него собратами и навел речь на ворожбу и волшебство: думал, авось, может быть, кто-нибудь ненароком проговорится и он мимоходом узнает, где можно отыскать ворожею такую, какая ему может оказаться подручною.

— На этот счет, парень, тебе вот Созонт расскажет. Он знает многое,— сказал сидевший близ Василия холоп, указывая на человека лет пятидесяти, поместившегося на противоположной стороне стола, против Василия Данилова.

— Да, братцы,— сказал этот Созонт,— мы видали важные виды, нечего греха таить! Доводилось много коечего и видеть, и слышать! Жили мы с покойным боярином нашим князем Петром Михайловичем в литовской стороне; там покойный наш боярин и голову сложил на верной службе царю-государю. Так вот, жили мы в литовской стороне. А там народ прехитрый, такие колдуны у них, что просто чудеса творить умеют! Захочет, так тебя в зверя либо в птицу обернет!

— Будто таки в зверя либо в птицу? — спросил кто-то.

— Истинную правду говорю. Стар человек: лгать не стану, сам видел, своими глазами. Едем мы с покойным боярином по дороге через лес. Вдруг выбегает из лесу волк да на нас; лошади испугались да в сторону, а волк стоит прямо супротив нас и глядит, да так умильно да жалко, вот как будто хочет сказать: «Не бойтесь меня, я добрый, не злой волк». Боярин за ружье да прыгнул

с телеги, хотел целиться, а волк подбежал к нему да, словно собака, ластится; тут у боярина моего и руки опустились; кажись, волк, ну как его не убить? А вот же не посмел! Волк убежал от него в лес и так жалобно завыл, словно человек заплакал. Сел боярин в телегу, и поехали мы далее, а как приехали на ночлег, нам и говорят тамошние, ихнего народу люди, как мы им про волка стали рассказывать: «Это,— говорят,— не волк, а оборотень».— «Как,— спрашиваем мы,— оборотень?»— «А так,— говорят,— анадысь у нас колдуны свадьбу в волков обернули, так это один из той свадьбы волк, что вы на дороге видали. Это,— говорят,— у нас заобычное дело. Колдуны либо колдуньи рассердятся за то, что их на свадьбу не позвали, да всю свадьбу и пообораживают в волков — и будут те обороченные люди ходить волками столько лет, на сколько им по заклятию положат». И точно, мы потом узнали, что у них ведем, ведем такая сила, что чуть не в каждом сельце или деревушке непременно есть ведьма, а то иногда и две, и три ведьмы, и больше того; глаза тебе отведет, колесом по дороге катится; ты ударишь по колесу, а ее не зашибешь, тебе кажется — по колесу бьешь, а ты мимо бьешь; а вот коли кто в этом силу знает, так надобно бить не по колесу, а мимо колеса, наотмашь, тогда в нее попадешь,— потом, как она в свой человечий вид придет, так стонет и охает, это оттого, что ее побили; сказать о том, однако, не смеет. А что у них умеют привораживать, так уж просто на диво! Коли какой молодец полюбит девку либо чужую жену да пойдет к ворожее, так она поделает, что та девка либо та женка за молодцем стонет, и убивается, и жить без него не может! Или теперь, примером сказать, коли вот на кого ты рассердишься, пойдешь к ворожее, и она сделает твоему ворогу такое, что он извянет-иссохнет. Рассказывали мне, как ихнего пана, а по-нашему боярина, приворожила колдунья к девке простой, так что пан совсем жить без ней не мог, и потом женился на ней, и все имение ей после себя записал. Только жене стало досадно, что муж-боярин, записавши ей после себя имение, сам все живет и смерть к нему не приходит; и пошла она к ворожее! Вот ворожея приказала ей принесть к ней волосы своего мужа. Та и принесла. Тогда ворожея и замазала эти волосы в печь, и с той поры господин стал сохнуть-сохнуть, и месяца через три так умер,

а вдова осталась на своей воле с тем имением, что ей боярин одной все отписал. И тоже вот у них бывает: живет, примером, молодец с девкою в любви, а потом бросит ее и полюбит другую, а та, брошенная, пойдет к ворожее, и ворожея принести ей прикажет белье своего изменщика и сделает потом так, что тот ничего не может сотворить со своей новой любезной, говорят: «Плоть его на огне сожжет!» Это нам сказывал дед, старый-старый, такой старый, что с него ажно песок сыпется.

— Этого добра, что колдуний и ворожей, и у нас в Питере довольно есть,— сказала одна женщина.— За рекою на Петербургском острове, в Татарской слободе, есть такая ворожея, что просто чудеса выделывает, и отгадать умеет: скажет, что с человеком через двадцать лет станется.

Василий Данилов хотел было спросить, где она живет и как ее звать, но смолчал, чтоб не навести на себя подозрения. Его предупредила другая женщина, обратившаяся с вопросом к рассказчице:

— Не чухонка ли?

— Нет, калмычка,— отвечала женщина,— она живет, почитай, на краю Татарской слободы, третий двор от угла налево, как пойдешь с толкучки. Избенка у ней во дворе. Да спросить калмычку, всяк тебе скажет; только нельзя говорить, что ворожея, а то сейчас прицепятся и в полицию поведут. Теперь при государыне, может быть, и ничего, а при покойном государе был такой указ дан, что коли кто станет искать колдунью либо колдуна, сейчас того брать в полицию и розгами сечь.

Василий Данилов услыхал мимоходом и узнал все, что ему нужно было на это время. Разговор у холопов свелся на другое, а Василий в него уже не вмешивался и молча составлял план: как и когда найти ему колдунью-калмычку.

IV

В период, когда совершились описываемые события, был в России очень замечательный человек, с чрезвычайно своеобразным значением; это был для многих, можно сказать, загадочный человек. Был он одним из важнейших сотрудников Петра Великого и при том немалое время его царствования, а между тем он так скры-

вался в тени, что о нем и современники не все знали и потомки скорее чем других забыли, так что знающие имена других Петровых сподвижников его имени совсем не знают или считают за второстепенного чиновника оного времени. Это произошло оттого, что он не командовал войском, не начальствовал ни приказами, ни коллегиями, установленными для определенных ведомств общественного управления, не ходил в походы и экспедиции, не ездил в чужие края с дипломатическими поручениями, не посылаем был царем для учения, не занимался и в своем отечестве ни науками, ни художествами, ни ремеслами, не вел торговых операций, не заведовал по царскому поручению никакою ветвию хозяйства и не подавал проектов о каком-нибудь новом источнике прибыли: был он человек малообразованный, не знал иностранных языков и держал переводчика, чтоб объясняться с чужестранными особами, когда приходилось ему иметь с ними сношение, а знание языков в те поры было важнейшим признаком, отличавшим образованного человека, и делалось путем к возвышению. Этот господин между тем, однако, был в свое время очень большой человек. Он назывался Алексей Иванович Макаров и носил звание кабинет-секретаря его величества; при Петре Великом в его особе соединялось все, для чего теперь существует целая собственная канцелярия государя с четырьмя отделениями. Никто не мог превзойти этого человека в трудолюбии; много он в жизни делал и много сделал, но дел его за ним не видали, много он писал, а собственноручного писанья его мало знали, многое сочинялось им самим и приписывалось не ему, но другим, имя же его оставалось как-то постоянно в малоизвестности: никаких особенных отличий ему не оказывалось, не пожаловали ему ни титула, ни ордена, ни больших чинов, и только уже при Екатерине сделан он был тайным советником. Между тем едва ли кто пользовался таким доверием Петра, как этот господин. Никуда почти не выезжал Макаров в командировки, а знал все, что происходило в России. Все секретное было ему ведомо, все, о чем извещался государь, поступало через его руки, и распоряжения, даваемые от царя, не шли иначе, как через него. И теперь памятником его неусыпного трудолюбия сохраняются в государственном архиве сто шестьдесят восемь книг кабинета входящих и выходящих

нумеров. Кто обращался прямо к государю или к кому обращался государь, тот не мог обойтись без Макарова. Не все из тех, кто имел с ним сношения, знали степень его значения при Петре. Иные мало обращали на него внимания, воображали, что около бумаг государевых ходит так себе подьячий письмоводитель, пишущий и переписывающий то, что ему прикажут. Другим же известно было, что Макаров был не только письмоводителем, но и составителем бумаг, заключавших в себе царскую волю, а иногда и царским советником. И те, которым было небезызвестно такое качество Макарова, те подчас прибегали к нему с очень низкими поклонами. Нельзя сказать, чтобы Макаров был безукоризненный Аристид, совершенный бессребреник. При конце царствования Петра Великого и он, как все русские люди того времени, не хуже Меншикова, Апраксина, Шафирова, Долгорукова, заподозрен был во взяточничестве и избавился от преследования заступничеством Екатерины. Впрочем, взяточничество его не было отяготительным вымогательством, а ограничивалось только тем, что он не отказывался, когда ему добровольно давали, с надеждою, что за такую подачку он окажет содействие, насколько это зависит от него. Хотя ему были известны все суды и следствия, производимые над государственными преступниками, но государь не посылал его ни производить дознаний, ни розысков, ни присутствовать в застенках. К нему бесполезно было обращаться с просьбою о ходатайстве перед царскою особою. «Это не мое дело,— говорил он в таком случае,— я человек небольшой, на черной работе состою, письмоводство у царя веду, и больше ничего! Ищите особ познатнее». Зато никто не мог и роптать, что Макаров ему что-нибудь недоброе сделал. Вынес ли кто по царской опале пытку, приговорен ли был в ссылку или к смертной казни — нельзя было сказать, что потерпевший обязан своим несчастием Макарову, что от Макарова тут что-нибудь зависело, и стоило только Макарову захотеть, чтобы спасти пострадавшего. Макаров ни за кого не просил, ни на кого не наговаривал и даже не начинал разговоров с царем, а всегда дожидал, когда царь с ним заговорит; Макаров не совался и с мнениями да с советами, когда царь сам не изъявлял ему желания их слышать. Это нравилось Петру, и любил за то Петр Макарова. Нельзя, однако, сказать,

чтобы Великому Петру нравились только с такими качествами люди. Он, правда, любил таких, как Макаров, но ценил также смелых, когда они отзовутся кстати и умно. Петру пригодны были разнообразные человеческие характеры: и угрюмые и веселые, и слезливые и шутливые, и хладнокровные и горячие, лишь бы все стояли на таком месте, на каком по своим свойствам могли быть полезными для дела. Удалось Макарову понравиться государю некоторыми приемами, и усвоил он их в себе навсегда. То медленно трусливый, то быстрый, кипучий, то подходит к Петру на цыпочках, как будто идет мимо постели больного человека, то напишет в полдня столько, что другой не успеет написать в два дня. Обращаясь постоянно с государем, Макаров в разговорах с другими лицами о таких предметах, которые не составляли секрета, был всегда эхом своего властелина, не говорил: «Я так думаю»,— а выражался: «Так государь изволит думать». Макаров во всем как будто духовно жил и мыслил не собственным умом, а царским. Занят был он своим делом и день и ночь, не знал ни отдыха, ни развлечений, убегал от всего, что не оказывалось нужным прямо для его дела,— и Петр не заставлял его посещать ассамблеи, не тащил во всепьянственную компанию, не принуждал пить до опьянения, несмотря на то, что вообще любил спаивать близких к нему особ, и в этом никому не было спуска. Макаров долго не думал обзаводиться семьею, удалялся от женского пола, не держал любовницы; вечно занятый делом своего государя, он как будто создан был для того, чтобы умереть за бумагами, за которыми провел жизнь, и уже только за полгода до своей кончины Петр женил его, посватав за него невесту. Жена Макарова была гораздо моложе его самого, охотница до всяких забав и увеселений: впрочем, и сам он, хотя не участвовал в таких забавах, однако не был угрюмцем, слушал с удовольствием рассказы о светских увеселениях и расспрашивал о них у тех, которые им предавались. Воцарилась Екатерина, его благодетельница, отстоявшая его пред своим покойным супругом, когда на Макарова возникло подозрение во взяточничестве. Служебное положение Макарова не изменилось. Он оставался все тем же кабинет-секретарем, но с воцарением Екатерины стал вообще смелее и позволял себе ходатайства о разных лицах; к нему тогда с боль-

шею решимостью стали обращаться за покровительством и ходатайством у государыни.

Макаров жил в собственном доме, построенном у Почтового двора, на берегу Невы и недалеко от тогдашнего Зимнего дворца. Три раза в неделю у него были приемные дни, когда в положенные часы он принимал посетителей, имевших нужду подавать просьбы высочайшей особе: это обыкновенно случалось тогда, когда чего-нибудь не могли в пользу просителя решить высшие правительственные места или когда дело зависело исключительно от царской особы. Со многими из таких посетителей Макаров говорил, выходя из своего кабинета в залу, и тогда все ограничивалось обменом нескольких слов; но по делам, требовавшим секрета, посетители могли просить особой аудиенции с глазу на глаз, и тогда их впускали в кабинет, что напоминало способ, каким обыкновенно соблюдается порядок докторских консультаций. Служитель докладывал Макарову, произнося имя входящего.

В один из таких дней, когда являлись к нему по делам посетители, в его кабинете, выходившем окнами на Неву, стоял он сам, Макаров, одетый, по своему обыкновению, весь в платье черного цвета, в длинном темно-русом парике, у большой конторки с откинутою для писания доскою. По всему кабинету вдоль стен уставлены были шкафы с полками, на которых лежали и стояли книги и связки бумаг. В прогалинах между шкафами виднелись на стенах портреты Петра Великого, Людовика XIV, польского короля Августа и прусского короля.

Перед Макаровым стоял Казанской губернии помещик, толстобрюхий и низкорослый человек, и рассказывал ему о своем деле. Он домогался, чтоб ему заплатили из казны за его беглых людей, поселенных в Ингерманландии: по указу Петра, за таких велено было отпускать прежним владельцам по десяти рублей, но ему отказали на том основании, что люди эти поселены в Ингерманландии не в качестве его беглых крестьян, а в качестве не помнящих родства, а за таких из казны никому платить не указано, хотя бы впоследствии и открылось, кому они принадлежат и откуда убежали. Макаров объяснил помещику, что действительно получать ему из казны за людей ничего нельзя, и потом отпустил его.

Служитель, высунув голову из двери, произнес:

— Подьячий Капустин.

Вошел сухощавый человек среднего роста, лет под сорок, с плешью на голове и с прищуловатыми глазами.

Он поклонился Макарову в пояс.

— Здравствуй, Капустин! — сказал Макаров.— Давно мы не видались. Кажись, два года уже минуло. Ну, что твои разведки?

— Невозможно более счастливо,— отвечал Капустин.— Мои разведчики в четырнадцати местах открыли залежи земляного угля не глубже как аршина на три, много на четыре. Дон, я вам доложу, превосходительный господин Алексей Иванович, этот Дон — просто дно золотое. Великая благодать! Следует беспременно начать и повести неуклонно раскопки в оных местах. Я привез вам, Алексей Иванович, ведомость, и чертежи всем местам, и смету, во что обойдутся работы примерно и какая польза от того воспоследовать может.

— Ты в берг-коллегии был? — спросил Макаров.

— Был,— отвечал Капустин,— и больше идти не хочу туда. Не понимают да еще и на смех поднимают! Посему я рассудил просить вас, Алексей Иванович, повергнуть мой прожект лично государыне императрице с прилагаемою ведомостью и чертежом.

— Ее величество,— сказал Макаров,— в сию вещь сама вникать не будет, а пошлет в ту ж мануфактур-и берг-коллегию по належности. Макаров, однако, взял из рук у Капустина прожект, написанный последним, и, пробежав его быстро, продолжал: — Ты прожектуешь устроить компанию. Навряд, я думаю, наберем охотников. Смотри, какие расходы, а когда и как покроются они барышами? То бог весть! Да, мало того, во сколько добывка угля обойдется, а еще и возка на сбыт чего стоить будет. А куда возить и кто покупать его станет, коли дров повсюду много и они дешевы по местам?

— Мне это и в берг-коллегии замечали,— говорил Капустин,— только я думаю, коли прежние царские законы будут строго исполняться насчет того, чтоб лес везде беречь и не рубить, так потреба в топливе будет всем и станут уголь покупать. Как отъезжал я на Дон, то покойник изволил меня призывать к себе и говорил: «Дело то важное и зело полезное. Леса надобно беспременно сберегать, понеже для стройки и всякого хозяй-

ственного изделия требуется древо, а к тому и в земле необходимая для растения волога сохраняется, и урожаи даются хлебные, и благорастворение воздухов от обилия ращений деется. А топлива,— говорил государь,— нужно будет год от году все больше да больше, фабрики и заводы умножатся и машины заведутся; на все на сие окажется потреба в топливе».

— Это, брат, все тогда говорилось,— сказал Макаров.— Покойник чуден был: иной раз такое вымышлял, что нашему простому уму и невдомек было. Одиножды прислал к нам прожект француз какой-то, крылья, писал, сделать хочет, по воздуху человеку, как птице, летать бы. Все смеялись, а государь говорил: «Не смейтесь ни над чем, не знаете сами, до чего человеческий ум дойти сможет. И в святом писании написано: «У человека невозможно, а у бога вся возможна суть». Это значит,— толковал государь,— коли теперь для ума нашего что невозможно, так по тому еще нельзя сказать, что оно и вперед невозможно; бог действует на земле через наш человеческий ум: сей ум наш — божественного происхождения. Теперь мы не зрим способа летать по воздуху, а может быть, после нас наши внуки либо наши правнуки найдут! Вон поглядите: в бане теплый воздух весь поднимается к потолку, а на полу становится прохладнее. Может быть, таким теплым воздухом можно поднять вверх человека». Я осмелился тогда сказать: «Государь всемилостивейший! Какою же силою двинуть можно такую тягость, как человеческое тело?» А он говорит: «Велика сила водяного пара: поставь воду на большой огонь да закрой плотнее, оно тебе крышку так и сорвет. Вот и смекайте, что тут статься может; чаю,— говорит,— можно довести до того, что корабль против ветра пойдет, когда бы его водяным паром через какую-нибудь машину двинуть». Вот каков затейник был покойник! Тогда у нас много, много кое-чего затевалось и пробовалось. Ныне иное время настало; ныне на все на такое рукой махнули! Да ты,— продолжал Макаров, принимаясь смотреть в прожект,— написал тут себе и награду: одну треть дохода в твою пользу за то, что способ нашел...

— Закон,— сказал подьячий,— государев закон! Кто отыщет новый источник прибыли, тому именно треть предоставляется; так покойный государь Петр Алексеевич постановил.

— А что тебе в коллегии на это сказали? — спросил Макаров.

— Я же говорю, насмеялись, и только,— сказал Капустин.— «Эка,— говорят,— будто золотые рудники нашел, как возится со своею дрянью, ничего не стоящею. За находку угольев дай ему денег! Да мы тебе сами, не копаясь в земле, достанем угольев сколько хочешь, как сожжем верст на десять леса, а лесов у нас не занимать в заморских государствах, сами туда повезем лес, как и в старину важивали».

— То же, брат, и наверху скажут,— сказал Макаров.— Нет, Капустин, оставь эту затею! Умер наш государь Петр Алексеевич, с ним похоронены и все чудеса, что при нем начинались. Ведомости твои и чертежи я покажу государыне и светлейшему, только так, для куриозитета, а больно надеяться тебе на то не даю совета. Время уже ныне, сердечный ты мой, не прежнее!

Капустин пожал плечами, вздохнул и ушел.

Служитель, вошедши, сказал:

— Малороссийская полковница.

Вошла в кабинет женщина лет пятидесяти с крестами и монистом на шее, лежавшими на вышитой рубашке, выглядывавшей из-под черной верхней одежды, похожей несколько на монашескую; на голове у ней был кораблик с двумя меховыми рожками, между которыми виднелся изношенный парчовой верх. На лице у этой старушки виднелись глубокая грусть и страдание. Она поклонилась, сложа на грудь обе руки, и сказала:

— Вдова бывшего полковника войска Запорожского Аграфена Герцик.

Макаров, окинув суровым взглядом вошедшую, произнес:

— Твой муж некогда приличился в измене богоотступника Мазепы, был достоин смертной казни, но государь, по своему милосердию, даровал ему жизнь, заменив ссылкою. Так?

— Государь повелел ему жить в столичном городе Москве с семьею, а все маетности его поступили на него, великого государя,— сказала Аграфена.— Муж мой получал по десяти копеек в день и теперь умер, а я осталась с детьми без пропитания и живу, волочась меж дворы. Прибыла просить у государыни милости.

При этих словах полковница поклонилась до земли.

— Какой милости хочешь? — спросил Макаров.

— Если б изволила государыня царица для поминовения души почившего государя императора воротить детям моего мужа его родовые маетности.

— Это невозможно,— сказал Макаров,— маетности изменничьи розданы другим еще в ту пору.

— Хоть бы что-нибудь пожаловали из них на прожиток,— говорила Аграфена.

Макаров сказал:

— Сперва рассмотрим просьбу вдовы полковника Полуботка, что умер в крепости. Она о том же просила, о чем ты просишь. Полуботковы маетности еще не розданы. Когда удовольствуем ее, тогда и тебе окажется некое милосердие. Твой муж схвачен был в Польше, ездил туда с прелестными письмами. Кажется так, если я не запомнил?

— Так точно,— сказала Аграфена.— Мужа моего нет уже на свете. Я за детей прошу; муж виноват и понес достойную кару за вины свои, а дети были тогда малы, ничем не провинились.

— Видишь,— сказал Макаров,— там, в Москве, вашей братии, малороссийских семей, довольно сидит, и те, что из Турции вернулись, там остаются доселева. За них патриарх цареградский просил государя, и государь вины им отпустил, но маетностей не вернул. Им прежде тебя оказать милость подобает, да и те подождут, пока Полуботкову вдову удовольствуют, а ты подождешь, пока им всем покажут милость, а там уж и тебе. Ступай и жди.

Малороссиянка вздохнула, поклонилась и вышла. Служитель, вошедши в кабинет, громко произнес:

— Княгиня Анна Петровна Долгорукова.

Вошла княгиня, нарядно одетая. Веруя в свое боярское достоинство, она после первого поклона глазами искала места, надеясь, что Макаров, во внимание к ее княжескому званию, подаст ей сам кресло. Но Макаров, человек дела, не отличался любезностью и предупредительностью к знатным особам, хотя бы и прекрасного пола. Он не просил ее садиться; стоял, как прежде, на своем месте у стола, обмерял княгиню глазами с головы до ног и сухо спросил ее:

— Что вам будет угодно, княгиня?

— Алексей Иванович, благодетель,— сказала княгиня,— я приехала просить вас повергнуть императрице мое слезное прошение об оказании мне всемилостивейшего внимания. Я вдова; муж мой проливал кровь за царя и отечество и убит в шведской войне, а меня оставил вдовою с тремя сыновьями. Старший мой сын, князь Сергей Петрович, ныне в Голендерской земле. Он задолжал тридцать тысяч ефимков, будучи на службе царской; мне пишут, что его посадят под арест и не выпустят, если я скоро не заплачу его долга. А у меня теперь в готовности таких больших денег нет; я истратилась, переселяючись на Васильевский остров, желая исполнить волю покойного царя. Такое мое бедное положение, что сказать прискорбно. А тут, как назло, из имений не шлют доходов; там случились разные несчастья, и требуются большие издержки, и все от меня, не то чтобы ко мне доходы присылать. В таковом отчаянном положении я решилась прибегнуть к неизреченной благости государыни, понеже всем известно и ведомо, что она зело великая милостивица и утешительница всех скорбных, под покров ее прибегающих. Батюшка, голубчик, отец родной, Алексей Иванович! Прошу я вас и молю: будьте моим ангелом-хранителем, соблаговолите произнести за меня слово перед царицею-государынею.

— Что ж вам нужно? Чего вам, княгиня, от государыни хочется получить? — сказал Макаров.

— Если бы соизволила всемилостивейше приказать заплатить из своей казны сей долг,— сказала княгиня.— Я уповаю на беспредельную щедрость государыни, кормилицы нашей.

Княгиня хотела распространиться более, но Макаров прервал ее.

— Сказали вы, княгиня, про беспредельную щедрость государыни. Вы, значит, разве думаете, что и русская казна также беспредельна? Коли платить за вашего сына долги, так и другие станут просить, чтоб за них долги платили. Казны не хватит!

— Батюшка, Алексей Иванович,— сказала княгиня.— Вникните в мое положение.

Макаров опять прервал ее словами:

— Только что перед вашим входом ушла малороссийская полковница; молила она воротить ее детям отобранные у ее умершего мужа, за измену, маетности. Она

поистине возбуждает жалость, а я все-таки ей отказал. А у вас, говорите, есть имения, только доходов из них не присылают. Что же? Заложите одно-другое имение, а не то продайте. Нищею не станете!

— Вы сами,— сказала княгиня,— говорите, что у мужа этой женщины, что передо мною от вас вышла, за измену царскому величеству отобраны имения и она просила их вернуть, а вы ей отказали. Как же вы, Алексей Иванович, можете с такою женщиною ставить в одну версту меня, вдову честного воина, положившего живот свой в бою за веру, царя и отечество? Я урожденная княжна Щербатова, по мужу княгиня Долгорукова, а вы меня приравняли к какой-то хохлачке, да еще жене изменника царского!

— Княгиня,— сказал Макаров,— местнические счеты покончились еще при царе Феодоре, брате царя Петра Алексеевича. Поднимать их снова с вами я не хочу. Говорю вам: беспокоить государыню такими безлепяными челобитными, как ваша, я не берусь. Прощайте.

Он слегка кивнул ей головою и крикнул: «Эй!» Служитель вошел.

— Зови, кто там есть! Пусть входят! — сказал Макаров.

— Купец Евреинов,— сказал служитель.

Вошел старик лет семидесяти. Княгиня, заметивши, что Макаров обратился к вошедшему Евреинову, а на нее вовсе не глядит, ушла и даже не кивнула головою Макарову на прощанье.

Она внутренно тогда же положила себе не сказывать никому, что была у Макарова.

V

На другой день после беседы в людской о колдуньях, Василий, проходивши через гостиную, увидал на столе ридикюль, оставленный княгинею, которая перед тем только что вышла из дома и уселась в гондолу. Василий Данилов заглянул в ридикюль: он был почти пуст, но в нем осталась золотая монета. Василий Данилов взял ее себе в карман, ушел из дома и направился к пристани; он сел в перевозочный буер, который через каждую четверть часа, по битью часов на колокольне меншиков-

ской церкви, наполняясь народом, отходил вверх по Неве, тогда как другие буера подходили к пристани.

Житье на Васильевском острове было в те времена соединено с такими же условиями, как в последующие времена житье где-нибудь на даче, только с большими неудобствами сообщения. Почти за каждою покупкою надобно было отправляться в другие части города, либо на Петербургский остров, где находился Гостиный двор, либо на Адмиралтейский, где заводился другой, а на Васильевском острове хоть и был рынок с лавками, но торговля в них была еще незначительна. Мостов через Неву тогда еще не было. Для сообщения обывателей только буера беспрестанно сновали по невским пристаням. Платилось за провоз до какой угодно пристани по одной копейке с души. Это было затруднительно, хотя власти старались сделать такого рода сообщение и скорым и дешевым; все чувствовали тягость житья на Васильевском острове, и пока не было моста на реке, никто не мог свыкнуться с островом. Уже позже перенесение коллегий на остров усилило приток населения, но в описываемый нами год коллегии еще переведены не были, хотя здание, предназначенное для их помещения, уже было почти окончено. До того времени, кроме Меншикова и его многочисленного придворного штата и прислуги, на Васильевском острове селились и жили только поневоле, и на буерах, перевозивших и привозивших в пристани пассажиров, каждую минуту можно было услышать недоброе слово о Васильевском острове. Буер, на котором в толпе других пассажиров уселся Василий Данилов, поплыл к дому Апраксина (где ныне Зимний дворец), потом повернул на Петербургский остров и причалил к пристани у Мытного двора. Человек пятнадцать вышло из буера на берег; столько же, а может быть, и больше, вошло с берега в судно; буер поплыл далее. Василий Данилов, вышедши на берег, пошел на Мытный двор, и пришлось ему идти шагов двести до этого обширного четвероугольного строения, крытого дранью. Слева доходила до носа Василия вонь от скотской бойни, находившейся недалеко, на самом берегу Невы. Вот наконец Мытный двор: вот крытая галерея, во многих местах сквозная, на деревянных столбах; можно было пройти ее насквозь, войти на внутренний двор и вступить на противоположную часть; можно было также идти вдоль всей галереи

и обойти ее всю кругом, но тут увидели бы, что в некоторых местах, вместо столбов, делавших галерею проходною насквозь, была устроена деревянная стена с полками, а поперек поставленные стенки образовали отдельные друг от друга клети или лавки, назначавшиеся для помещения таких товаров, которые могли портиться от дождя или снега, если б были разложены в проходах между столбами. Идучи с берега, надобно было завернуть вбок со стороны от крепости, чтобы взойти в галерею. Прямо с берега входа туда не было, потому что с этой стороны были лабазы с мукою и зерном, глухо запираемые с наружной стороны. Таким образом, галерея была сквозною только с северной и восточной сторон, а с остальных двух в нее был, и то кое-где, доступ только со двора. Тут были выставлены для продажи колеса, ободья, скамьи, стулья, столы, мисы, чашки, утюги, замки, сундуки, шкафы, всякого рода деревянная, глиняная и металлическая посуда, а в лавках или клетях, находившихся в галерее, стояли крупа, мед, воск, сало, деготь, мыло, деревянное масло, вяленая рыба, висели крестьянские сапоги, тулупы, кафтаны, шитье на всякие лады; хотя покойный государь запрещал продавать так называемое русское платье, но здесь, на Мытном дворе, его можно было сыскать в изобилии; продавцы толковали, что царский указ строго должен соблюдаться только в Гостином дворе, а не на Мытном, предоставленном главным образом для продажи предметов, необходимых для простонародия, а простонародию дозволялось ходить по старине. По галерее Мытного двора расхаживали пирожники, сбитенщики, квасники; они кричали каждый на свой лад, восхваляя произведения своего искусства.

Василий Данилов подошел к пирожнику, носившему на голове свой товар, накрытый куском холста, который только более именовался чистым, чем был таким на самом деле. Василий купил у него пирожок с мясом, заплативши за него денежку. В это время с дружелюбною улыбкою подошел к нему матрос, с которым он случайно познакомился на рынке у Адмиралтейства. Матрос этот принадлежал к известному сорту таких общительных людей, которые очень легко сходятся со всеми новыми людьми; о них легче делать вопрос, с кем они не знакомы, чем противный вопрос, с кем они знакомы. Это

не нахалы в роде Ноздрева, не хитрые плуты, заводящие дружбу с целью залезть в чужой карман, это люди добрые и вместе живого нрава; им хочется со всяким поделиться собственными впечатлениями и от всякого что-нибудь услышать; они бывают готовы при возможности оказать всякому услугу. Всего два раза виделся этот матрос с Василием Даниловым, а уже между ними образовалось такое близкое знакомство, что они друг друга могли называть приятелями; и теперь, встретившись с Василием Даниловым, матрос приглашал его выпить сбитеньку, подозвал сбитенщика и велел наливать два стакана сбитня. Сбитенщик поставил свой самовар на узкий столик, имевший вид скамьи, вынул из влагалищ, устроенных при поясе, два стакана, флягу с молоком и калач, и налил им сбитня с приговором: «Кипяточек!» Матрос и Василий Данилов уселись рядом на другой скамейке и стали прихлебывать сбитенек, заедая разломленным калачом. Тут завели они беседу о своем житье-бытье.

Василий Данилов стал жаловаться на свою горемычную судьбу; никак не угодит он своему молодому боярчонку, князю Якову Петровичу; бьет его боярчонок, почитай, всякий день, а старая княгиня ему еще потакает; у ней не ищи ни суда, ни правды, сам же виноват объявишься за то, что тебя так бьют!

— Ох,— сказал матрос,— и я знавал такое же горе; смолоду и я ту же горькую выпил. Мальчишкою взял меня господин к себе в услужение и лупил как собаку, то в морду кулаком, то в грудь; один раз — мне был тогда еще пятнадцатый годок — побил мне, подлец, грудь так, что фельдшера позвали, пиявки поставили, насилу отходили; другой раз дубиною спину мне избил так, что с месяц повернуться нельзя было, и я, как животина, на четвереньках ползал. Наконец, как я пришел в совершенный возраст, так сам себе сказал: «Полно, не стану терпеть такой муки, первый же раз, как побьет, убегу и подам просьбу на государеву службу». А тогда покойный государь Петр Алексеевич — чтоб ему земля пером стала — установил такой закон, чтоб наш брат, холоп либо крестьянин господский, коли пожелает в царскую службу вступить, так уже господин не смей ему в том перечить и назад к себе не может потребовать, разве за этим холопом либо крестьянином какое дело головное состоит,

но и то, если такое дело еще прежь того началось, а коли уж принят на службу, так тут что хочешь на него помещик вымышляй... нет уж, дудки! Из царской службы принятого назад в холопство не ворочают, как мертвого с кладбища. И вот как это проведал я и думаю себе: «Ну, сукин сын, побей теперь, попробуй! Только ты меня и видел!» А тут вскорости рассердился на меня господин да как хватит меня в спину, а я упал грудью на железный сундук... поверишь: тому больше двадцати годов прошло, а и теперь, как погода сырая станет, так отзывается! После этого приключения, братец ты мой, я в канцелярию для свидетельства мужеска пола душ, а там принимали желающих поступить в царскую службу. Подал я туда просьбу, меня и записали в матросы!

— Ну что ж,— спросил Василий Данилов,— легка показалась тебе та служба? Легче она разве нашей, холуйской?

— Нет, братец ты мой! — отвечал матрос.— Не скажу я, чтоб государева служба легка была, и особливо наша, матросская. Подчас, ух, как тяжело бывает, и особливо в походе. По крайности, там тебя никто без вины не мучит, начальство за вину взыскание положит, ну, так уже знаешь, что сам тому причинен. Правда, как иной горячий офицер сыщется, что нашего брата по сусалам бьет, за то что службы не понимает, так и тут, как хорошенько обдумаешь, так сам себе скажешь: «Что ж, поделом! Не зевай, слушай и понимай!» Но в государевой службе та отрадность, что наш ли брат, рядовой, или начальное лицо какое, а все тягость службы несут. У бояр наш брат, холоп, работай, ночи не спи, недоешь, недопей, служи — а он-то, боярин, которому служишь, разве несет какую-нибудь тягость? Ест и пьет сладко, спит мягко, ходит в узорочьи, житье ему в роскоши, ничего не делает, не работает, а ты ему угождай и никак не угодишь! А в царской службе не то: там если кто по начальству с меня взыскивает, так над ним есть выше его начальство: и оно с него так же взыскивает, как он с меня. Всякому, и старшему и меньшему, — свой труд, своя работа. Посмотри-тка царь-государь, что он? Народ называет его «бог земной». И вправду! Великороднее над него в свете никого нет, все ему деньгу несут, сколько ни потребует, и куда захочет — туда и потратит: никто с него не властен отчета спросить; кто ему по сердцу, по нраву, того

жалует, а кого невзлюбит — с того голову долой! Кажись бы, при такой власти жил бы да поживал в своих царских палатах, в добре и холе, ел бы, да пил, да спал, да веселился! Ан же нет! Государь наш, Петр Алексеевич, еще будучи в молодых летах, за море в чужие края поехал, да и других, сынков наших бояр, за собою повез, и начал всему учиться, а наипаче корабельному делу, да не как-нибудь учился, а до тонкости всю науку прошел. Приезжали к нам иноземцы, первейшие мастера; и те говорили, что никто из них лучше нашего царя корабельного дела не знает. Он сам тебе все судно разберет, и сложит, и поставит на штапель, и в море спустит. Ужасть как он, государь, это корабельное дело любил и нас, морских людей, жаловал! Вот нам, старым, что много лет во флоте служили исправно, отвести велел места для поселка: две слободы морские завел, Большую и Малую, и дворы нам построить велел — и вот мы на старости лет веку доживаем с женами и детишками да за упокой души его милосердого бога молим! Негде правды деть: строг и крут бывал покойник, да ведь коли бы он таким не был, так ни до чего бы не добился, чего хотел, и ничего бы хорошего у нас на Руси не вышло! Гляди-ко, до него народ наш русский совсем был непривычен к морю; всякий русский человек как только взойдет на судно да отчалит от берега по воде, так у него сейчас и голова кружится, и тошнит его, и лежит он как убитый. И поэтому-то не было в России ни единого кораблишки. А как воцарился государь Петр Алексеевич, так и корабельное дело пошло, и русские матросы объявились, и с неприятелем на море воевать стали, и одолевали их в морских битвах. Вот бог его знает, как оно теперь станет при государыне Екатерине Алексеевне. Дай бог, чтоб она продолжала то, что покойничек начал! Уж, конечно, ее женское дело, не то что государя покойного, однако за то бог ей дай доброго здоровья, что не оставляет прежнего! Вот и теперь, недавно, в Петербурге у нас указ последовал через генерал-полицмейстера, чтобы по праздникам все гребные суда были в готовности к плаванию по Неве, как бывало при покойном государе; тогда, бывало, как поднимут флаг на Адмиралтействе, а за ним поднимутся флаги во всех пристанях, так вся гребная флотилия должна выступать и идти от флага к флагу. Это покойный государь уставил затем,

чтобы всех живущих в Петербурге приучить к плаванию по воде. И вот таки государыня не хочет в свое государствование бросить этот обычай. Теперь, чай, морская служба легче будет, чем при покойнике. Знаешь, брат, что: коли тебе больно надокучит холопство и захочешь на государскую службу поступить, подай прошение в канцелярию для свидетельства мужеского пола, как я сделал: в Петербурге есть такая же канцелярия, как и в Москве, где меня приняли. Только вот что: никому о том заранее не говори, оттого что как узнают твои господа, так, пожалуй, какое-нибудь головное дело на тебя наклеплят, чтоб не приняли тебя. Коли не хочешь в матросы, можешь в солдаты,— по твоему желанию!

Итак, из слов матроса Василий узнал новый способ, как можно, в крайнем случае, высвободиться из-под холопского гнета. Василий Данилов простился с матросом и пошел во внутренность Мытного двора, где стояло множество телег, повозок и всякого громоздкого деревянного товара, который не боялся непогоды и не мог легко подвергаться расхищению. Василий снова вступил в галерею, потом, оставив Мытный двор, вышел в Русскую слободу, расположенную тремя длинными прямыми и узкими улицами; домики обращены были на улицу обыкновенно тремя, а кое-где пятью окнами в ряд. Строение было мазанковое, крытое черепицею и кое-где дранью. С первого взгляда видно было, что все строилось по приказанию. При некоторых дворах были сады и огороды. Справа вдали виднелись кровли высоких зданий; то были дома знатных особ, построенные вдоль берега Малой Невки; налево в самой Русской слободе Василий Данилов видел сравнительно более высокие домики — то были жилища чиновников канцелярии — и между ними поднимался дом губернатора Корсакова с зеленою черепичною кровлею. Василий Данилов не пошел ни вправо, ни влево, а направлял свой путь прямо и вышел за Русскую слободу. Он очутился на просторном пустыре; за ними виднелась опять куча домиков, другая слобода. На самом пустыре толпилось множество народа и шаталось то в ту, то в другую сторону. Здесь был ветошный рынок, производилась торговля всяким тряпьем, поношенным платьем и всякого рода мелочью, между которою иногда можно было встретить и ценные вещи. Лавок здесь не было, вся торговля была ручная и продавалось много краденого.

Это был притон мошенников. Петр преследовал их жестоко в своем парадизе; великое множество рыцарей ветошного рынка потерпело вырезку ноздрей и ссылку в Рогервик на работы; но слава этого рынка не умалялась, и как только государь закрыл глаза, так, словно мыши, почуявшие отсутствие кота, поднялись духом петербургские мазурики. Не очень удерживал их страх перед именем грозного генерал-полицеймейстера Девиера, неусыпного их ловителя при покойном государе. Он, говорили они, страшен только для тех, кто попадается к нему, а добрый вор на то и ворует, чтоб не попадаться. По отдаленности своего местопребывания у Полицейского моста Девиер не всегда мог усмотреть за тем, что происходит на ветошном рынке. Василий Данилов продрался сквозь толпу этого народа, несколько раз отмахиваясь и отбиваясь короткими выражениями от докучливых вопросов и предложений, и дошел до той кучи домиков, что видал издали. Это была другая слобода на Петербургском острове и называлась Татарскою. Когда Петр строил Петербург, то выписывал со всей России работников и селил их в Петербурге; между присланными были разные инородцы восточной полосы России, и здесь-то именно Петр поселил их вместе с пленными шведами. Татары между восточными русскими инородцами были самым культурным народом, и язык их был в большом употреблении у всех других поселенцев — поэтому слобода и называлась по их имени Татарскою. Когда после Ништадтского мира шведы ушли в отечество, вместо их поселились там русские, но слобода продолжала называться Татарскою, хотя много татар уже успело совершенно обрусеть, а другие выпросились вон из Петербурга, уступив свои места в слободе русским.

VI

Василий Данилов по прямой улице прошел почти всю Татарскую слободу; она по наружному виду своих построек далеко уступала Русской слободе; сразу показывалось всякому, что здесь было местопребывание бедноты. На выходе, уже в поле, Василий Данилов повернул в один двор, где, по его соображению, должна была жить калмычка; и точно, он не ошибся: встретившаяся

с ним женщина на сделанный им вопрос указала избу калмычки.

Избенка эта была средняя по величине, крыта дранью, от ветхости позеленелою и местами перепрелою. Василий Данилов постучался. Его впустила в избу старушонка, сгорбленная, согнутая в три погибели, с четвероугольным безобразным лицом, с маленькими впавшими глазами, с расходящимися бровями и с тремя волосками на подбородке; одета была она по-домашнему, в русском летнике.

— Пришел к тебе, тетушка, совета просить,— сказал, входя, Василий Данилов.

— Добро пожаловать, кормилец! — произнесла старуха таким чистым русским языком, который совсем не шел к ее калмыцкой физиономии.

— Я, матушка,— произнес вошедший,— из крепостных. Князей Долгоруковых человек, княгини Анны Петровны, если слыхали. Мне сказывали ее боярские люди, что ты умеешь всякому правду сказать и совет подать. Так вот я к тебе, тетушка, за советом и пришел.

— Никакой вашей княгини Анны Петровны я не знаю и людей ее боярских тем паче. Советов никому не даю и правды говорить не учена,— сухо отвечала старуха.— Это кто-то напрасно тебе на меня наболтал.

— Я к тебе не даром пришел,— сказал Василий Данилов,— изволь вот принять от меня гостинец, чем богат, тем служить рад. А когда изволишь совет дать и меня из беды выручить, так я уж вот как поблагодарю!

Старуха проворно спрятала в карман предложенный ей червонец, а сама, покачивая недоверчиво головою, сказала:

— А кто вас знает? Ты, быть может, ко мне нарочно с подвохом пришел! Потом — на меня наговоришь, а после возьмут меня в полицмейстерскую контору.

— Не думай этого, матушка! — говорил Василий Данилов.— Я человек простой, добрый. Не с дурным помыслом к тебе явился, матушка!

— А кто тебя знает? — опять произнесла старуха.— Разве кто приходит с дурным помыслом, так тот наперед про себя скажет? Иди-ко лучше, голубчик, к какой-нибудь другой, а я обстрелянная птица!

— Тетушка, голубушка! — умильно говорил Василий Данилов.— Смилуйся, изволь меня выслушать. Ей-ей, не с лихим я умыслом пришел к тебе, а услыхавши от людей, что ты правду сказываешь и хорошие советы подаешь.

— Ну хорошо! — сказала старуха.— Только вот что. Знай, батюшка, коли кто ко мне придет, да от меня совет услышит, да после того на меня донесет, так лучше ему не то что на свете не жить, а и совсем на свет не родиться. Такое я с ним за то сделаю! Это я тебе, голубчик, наперед сказываю, чтоб ты знал, к кому пришел и куда забрел. Слышишь?

— Слушаю,— ответил Василий Данилов,— у меня и в помышлении не было на тебя доносы чинить!

— То-то! — сказала старуха.— Я тебе это говорю не потому, чтоб тебя и твоих доносов боялась. Была я, батюшка, в переделке уж не раз, все по наговору от тех, что ко мне с подвохом приступали. Что ж? Видишь, я все до сих пор живу, а мои губители сами пропали, и какой лютый конец им стался! Так вот и тебе я наперед говорю. Что я тебя с первого раза не хотела слушать, так это я сделала не из опаски за себя, а жалеючи тебя же, чтоб тебе лиха не нажить, если ты с недобрым помышлением пришел ко мне, чаючи меня выпытать да потом под меня яму копать. Вот что! Наперед говорю тебе, чтоб ты, братец, знал; обдумай хорошенько, и коли у тебя дурное против меня было на уме, так лучше не спрашивай меня ни об чем, а уходи отсюда по добру по здорову, никаких советов не чаючи. А то захочешь под меня яму подкопать, так выйдет то, что ты мне ничего не учинишь, а себя страшно погубишь!

— Матушка, голубушка! — говорил Василий Данилов.— На все согласен. Буду знать, буду помнить, что ты мне говорила. Выслушай только меня и подай совет.

— Ну садись! — сказала старуха.— Только ты, может быть, думаешь, что ты мне дал сегодня золотого, так тем и отделаешься? Нет, голубчик ты мой! Это дешево будет. Наперед говорю тебе. Прежде, одначе, послушаем, чего тебе надобно. Тогда и вскинем, сколько мне заплатить следует. Покажи-ка преж всего мне свою руку!

Василий Данилов подал руку. Старуха со вниманием рассматривала ладонь и, покачав грустно головою, промолвила:

— Мало тебе хорошего приходилось видеть в своей жизни, да и вперед мало на роду написано; да мы все переделаем. Я не в вашей вере родилась, после крестилась. Я из сибирской стороны родом. Отец мой такой чудный

знахарь был, что такого на свете еще не бывало: ветры умел направлять в какую сторону сам захочет, и солнце посреди бела дня спрячет, так что сразу темно станет, и бурю, бывало, наведет такую, что деревья с корнем вырывает, и дождь с небес сведет и отведет; коли на кого рассердится, то поделает так, что всюды идет дождь, только на поле того, что его прогневал, ни капельки не упадет, а кому добра захочет, так учинит, что нигде дождя нет, только на его поле идет. И меня научил батюшка. А как меня отдали замуж, тогда от царя вышел указ людей собирать в Питер, и нас погнали. Муж мой тут помер, уж десятый год от пошел; а я осталась вдовою. Спасибо, что батюшка своей науке научил: теперь людям помогаю. Меня и в большие дома к важным господам звали, только батюшка наш покойный государь не любил этих дел, а лихих людей развелось довольно. Случалось мне: придет кто-нибудь за советом, вот как бы и ты пришел, ему скажешь по простоте, по доброте, а он в полицмейстерскую... Только я ему за то такое, бывало, учиню, что у него все мякоти разгниются, все косточки, все суставчики разломятся, и рад он был потом в кабалу к тому пойти, кто бы его от муки освободил, да нет! На свете нет такого, чтоб от моих чар исцелил, кроме самое меня, а я такова, что коли мне кто зло подумает только, так его в погибель лютую приведу, и уже тут хоть на золото его самого взвесь да мне давай, чтоб я отпустила его... Нет, не отпущу моего лиходея! Ну, как тебя звать?

— Василий Данилов,— отвечал холуй.

— Говори, чего хочешь от меня, Василий Данилов? — сказала калмычка.

— Первое,— начал Василий Данилов,— ко мне господа немилостивы. Старая княгиня приставила меня ходить за сыном, боярчонком князем Яковом Петровичем, а он осерчал на меня, и все меня бьет, а матушка его, княгиня Анна Петровна, мне защиты не дает да еще пуще на меня же сердится. А все это мой боярчонок, молодой княжич, невзлюбил меня через девку. Есть у нас девушка сенная, Груша, так боярчонок подметил, что я около ней захаживаюсь; ему это в досаду стало, а я совсем того и не знал, и в уме не держал, что он к этой девке хотение имеет.

— А девушка эта как? — спрашивала старуха.— Тебя любит али боярчонка? Ты как подметил?

— Она меня не любит! — отвечал Василий.

— Так можно сделать, что будет без памяти любить. На это есть приворотные средствия. Слыхивал ты про них? — говорила старуха.

— Слыхал я,— отвечал Василий Данилов,— коли поймать лягушку да бросить в муравьиную кучу...

— Это пустое! — отвечала старуха, презрительно улыбаясь.— Есть у меня гораздо лучше средствия. Против меня во всем Питере другой не найдешь; да, чай, и в целом свете не сыщешь никого, чтоб ту науку знал так, как я знаю. Но об этом, чтобы девку приворожить к себе, мы после поговорим, а теперь прежде сделаем так, чтобы молодой князь, которому ты служишь, не только бы тебя не бил, а так бы тебя взлюбил, что души в тебе не чуял. Хочешь ты этого?

— Как бы не хотеть! — сказал Василий.

— Так достань и принеси ко мне сорочку своего боярина, молодого князя. Я пошепчу над нею и так сделаю, что он тебя почнет любить через меру. А потом и девушку к тебе приворожим. После и с тобой посчитаемся. Будешь в милости у господина, получать станешь подарки — и мне принесешь, что я назначу, а коли обманешь, так тебе худо будет!

Успокоенный обещанием колдуньи, Василий Данилов воротился домой тем же путем, каким дошел до Татарской слободы.

Белье княжича переходило через руки Василия Данилова. Ложась спать, снял с себя Яков Петрович сорочку, а Василий Данилов не отдал ее женщине, сбиравшей боярское белье для передачи в прачечную, но спрятал ее в чулан. На другой день, пользуясь тем, что не он, а другой служил по очереди при княжиче, Василий отправился на буере и доставил сорочку старухе колдунье.

Между тем женщина, отбиравшая белье для передачи в прачечную, недосчиталась сорочки и сказала об этом боярской боярыне Мавре Тимофеевне, а та, соображая слова Василия Данилова о том, как бы господина своего приворожить, смекнула в чем дело и донесла княжичу. Князь Яков Петрович позвал Василия и спрашивал:

— Ты не все мои рубашки отдал в мытье. Где одна?

— Не могу знать! — начал было отлыгаться Василий Данилов, но князь Яков Петрович не дал ему продолжать и залепил в ухо.

— Ой не лги, Васька,— сказала стоявшая тут же Мавра Тимофеевна,— я знаю, куда запропастил ты боярскую сорочку. Меня не проведешь. А зачем ты спрашивал меня анадысь про ворожею, чтоб как-нибудь бояр своих приворожить, чтоб стали к тебе милостивы? Я тебе сказала, что думать про это грешно, а советовала тебе отслужить молебен Екатерине-великомученице, чтоб тебя сам бог научил, как доброю службою господам угодить. А ты вот, верно, у кого другого поразведал про колдунью, да и снес к ней господскую рубашку. А! Что краснеешь? Что переставливаешь ногу? Беспременно так, ваше сиятельство, он вашу рубашку к колдунье снес.

— Я матушке скажу! — сказал княжич.

Мавра Тимофеевна пошла в людскую и громогласно рассказала, что у боярчонка Якова Петровича пропала сорочка и, чает она, Васька Данилов снес ее к какой-нибудь колдунье.

— Так и есть,— сказал один из холопов, Семен Плошкарев.— Намедни он здесь все добивался, про ворожей допрашивал, а Марина ему и скажи, что-де, говорят, есть в Татарской слободе калмычка-гадальщица и колдунья. Чуть ли он туда и боярскую сорочку не снес?

Сообразил Семен Плошкарев, что представляется случай показать свою холопскую верность княгине: он тотчас отправился к своей старой боярыне.

VII

Была у княгини Анны Петровны родственница и большая приятельница, княгиня Федосья Владимировна Голицына, родная сестра двух знаменитых братьев Долгоруковых, Василия и Михаила, носивших в свое время звание фельдмаршалов. Княгиня Анна Петровна со времени своего вдовства мало вела знакомств, но княгиня Федосья, постоянно вращаясь в свете, сообщала своей приятельнице о всяких новостях и делилась с нею всякими впечатлениями. Это была женщина одних лет с княгинею Анною, отличалась от нее по наружности тем, что была полнее и ниже ростом, а внутренними качествами— тем, что от природы была умнее и, ведя большое знакомство, приобрела более опыта и искусства обращаться с людьми, хотя по своему образованию недалеко отходила от своей подруги и была не чужда суеверия и

предрассудков, свойственных тогдашнему русскому обществу, еще мало двинувшемуся по открытой Петром европейской дороге.

Княгиня Анна Петровна сидела у себя на крыльце с своею родственницею княгинею Федосьею Владимировною и беседовала с нею о разных текущих делах.

— Пришел доложить вашему сиятельству по своему холопскому долгу: есть нехорошие умыслы на боярское здоровье от нашего брата, холопа,— сказал вошедший Семен Плошкарев, поклонившись княгине, и потом стал переминаться, не зная, можно ли все говорить при гостье.

— Говори, говори все, что знаешь и сказать хочешь. Мы с княгиней Федосьей свои,— сказала княгиня Анна Петровна.

— У Васьки Данилова есть лукавые замыслы против вашей честной боярской семьи, ваше сиятельство! — сказал Семен Плошкарев.

— Мне,— сказала княгиня,— сейчас говорил про него сын Яша, будто он рубашку господскую утаил и будто есть подозрение, что он ту рубашку снес к какой-нибудь колдунье.

— Подлинно это так и есть! — сказал Семен.— Вот намедни, сколько-то дней назад тому, наверно не упомню, спрашивал в застольной про ворожей, а женщина наша Марина Лазарева сказала, что слышно, будто есть в Татарской слободе колдунья-калмычка, а Васька тогда мне сказал: «Пойти бы к ней, чтобы нашего боярчонка приворожила».

Василий Данилов этих слов не говорил, но Семен Плошкарев прилгнул на него.

— Скажи, пожалуйста! Ах он бездельник! Да я его за такие речи в Сибирь упрячу! — сказала Анна Петровна.— Позвать его сюда!

— А про эту калмычку удивительные вещи сказывают,— проговорила княгиня Голицына.— Говорят, она в самом деле знает такие приворотные корешки, что кого угодно можно посредством их наклонить в свою пользу и все получить, чего хочется. Ее берут в важные дома. Прежде это опасно было, знаешь, покойный государь ужасть как не терпел этого колдовства, узнает, так больно покарает, да не одну колдунью, а и того, кто колдунью позовет к себе. А теперь, при государыне, стало вольнее. Эта калмычка, сказывают, такова, что только на руку

поглядит, тотчас скажет, что с тобой прежде было и что вперед станется,— все распознает и расскажет! Говорят, она такая, что за сто верст отселе и далее все видит, что где происходит. Одна моя знакомая рассказывала: муж ее был в Москве, а она от него давно вестей не имела, и вот призвала к себе эту калмычку. Та приказала подать себе миску с водою, пошептала над нею и говорит: «Смотри в воду, увидишь, что твой муж делает». Посмотрела туда моя знакомая и увидела, а потом, как муж воротился, жена спрашивает его, что он в такой-то день делал и где был, а как тот, припомнивши, стал рассказывать, тогда жена ясно увидала, что ей в миске с водой представилось именно то, что делалось с ее мужем в ту минуту!

Рассказ княгини Федосьи Владимировны сильно занял княгиню Анну Петровну и расположил познакомиться с калмычкою. В то время знатные боярыни лишь из угождения Петру притворялись неверующими мужицким басням, а когда Петра не стало, головы их стали невольно обращаться к старинным воззрениям.

— Ах, княгиня Федосья, друг мой,— сказала княгиня Анна Петровна,— я по душе тебе скажу. Как бы я хотела, если б можно только было, склонить на милость ко мне государыню. Сын мой Сережа за морем в Голландии задолжал, и его в тюрьму посадят, держать станут, пока долги свои заплатит. А у меня теперь денег мало, выплатить нечем, видишь, вот этот Васильевский остров подрезал нас больно, чтоб ему не устоять и сквозь море провалиться! Постройки много стоили, и теперь житье на нем убыточное; посуди: на два дома живем! две дворни содержим! А тут из имений только и шлются вести немилые: все только утрата да убыток... придется имение какое-нибудь заложить да большие проценты платить. А вот если б государыня была милостива, изволила бы заплатить долг за моего Сережу! Да боюсь я об этом ехать просить ее. Она — так ко мне, ни хороша ни дурна, мало меня замечает. Так я думаю, если бы эту калмычку позвать: не дала б ли она такого приворотного корешка, чтобы государыню к себе на милость оборотить?

— А что ж, Анюта! И впрямь попробуй позови. Истинно, говорят, удивительные вещи она творит: может быть, и пособит в твоем деле,— говорила княгиня Федосья Владимировна.— Только вот что: нельзя тебе обойтись без тайного советника Макарова.

— Как? — заметила княгиня Анна.— Чтоб через него тем корешком подействовать?

— Нет! — сказала княгиня Федосья.— А то, что государыня без этого человека никаких денежных выдач не делает.

Между тем слова обеих княгинь долетали до слуха стоявшего сзади в передней Василия Данилова, которого позвали к боярыне. Когда княгини замолчали, он вошел на балкон крыльца и стоял бледный, переваливаясь с ноги на ногу, однако силился напустить на себя храбрость и бодрость, особенно когда услыхал, что его боярыня затевает по отношению к своей государыне делать то же самое, что затевал он, ее холуй, по отношению к своей боярыне.

— Где Яшина рубашка? — спросила княгиня гневным голосом,

— Она с моим бельем. Она цела. Я ее доставлю,— говорил Василий Данилов, сам не зная, что ему отвечать.

— Доставишь?! А куда ты ее снес? — говорила княгиня с усиливающимся гневом.— Куда? Говори! К колдунье? А! Ты бояр своих задумал околдовать! Правду говори, мерзавец! Я всё знаю. Отнес к калмычке-колдунье в Татарскую слободу? Так? Говори! Шельма ты, а не то я с тебя велю сейчас шкуру твою подлую снять на конюшне.

— Никак нет! — отвечал Василий Данилов, озадаченный тем, что княгине уже все известно, чего он не воображал.— На что мне боярская рубашка? Я не носил ее к калмычке-колдунье и не знаю, какая такая это калмычка-колдунья есть. Ваша воля отправлять меня на конюшню, только не за что. Помилосердуйте, ваше сиятельство.

— Как? Ты еще все запираешься? — произнесла княгиня с выражением сильного гнева.— Когда нам уже все известно, ты еще запираешься! На конюшню! Влепить ему горячих двести!

Вбежал князь Яков Петрович и закричал:

— Маменька, это такой негодяй, такая шельма, такой собачий сын, что с ним никакого терпения не хватит. Украл мою рубашку, да еще лжет! — Потом, обращаясь к Василию Данилову, князь Яков Петрович сказал: — Ты говоришь: рубашка не пропала. Где ж она? Подай мне ее сейчас.

— Сейчас и принесу,— отвечал Василий Данилов.— Не извольте, ваше сиятельство, напрасно гневаться. Подождите, я принесу.

— Я знаю, где она,— сказала княгиня Анна Петровна,— она у колдуньи-калмычки в Татарской слободе. Если ты ему позволишь, он побежит, сядет в буер, съездит к калмычке и принесет рубашку сюда. Нет, надобно это дело иначе сделать. Я пошлю за сорочкой не его, а Мавру Тимофеевну, а как она сорочку привезет — мы его и уличим, и накажем как следует за такое тяжкое преступление, что хотел он своих бояр околдовать. Теперь посадить его на цепь, пусть посидит на цепи в конюшне, пока рубашку привезут. Ведите его на цепь, задержите, чтоб не ушел.

Увели Василия Данилова.

— Ну, Мавра Тимофеевна,— сказала после того княгиня своей боярской боярыне,— ступай в Татарскую слободу, найди калмычку-колдунью и допроси ее про Яшину рубашку, давал ли ей этот мерзавец и на какой конец давал? А затем вези ее саму ко мне, скажи, что ей ничего нехорошего не будет: княгиня, мол, хочет от тебя совет принять. Без сумнительства пусть едет.

Мавра Тимофеевна отправилась исполнять поручение своей госпожи.

В конюшне между тем происходила другая сцена. Когда холопы притащили Василия Данилова к конюшне, он стал упираться и сопротивляться. Тогда шедший за ним князь Яков Петрович ударил его в затылок; Василий споткнулся и упал. Исполнители приказания княгини стали накидывать цепь на шею, но он вдруг рванулся, выскочил стремглав из конюшни и побежал со двора. «Держи, держи его!» — кричал боярчонок; холопы за ним погнались, но не могли догнать. Василий Данилов бежал по набережной к другой пристани у рынка, бросился к берегу и сел в буер, отправлявшийся с накопившимся в нем народом на Петербургский остров. Достигши благополучно Мытного двора, Василий Данилов прытью побежал в Татарскую слободу; молодые ноги помогли ему добежать до двора калмычки прежде, чем могла прибыть туда еще не приставшая к берегу Мавра Тимофеевна. На свое счастье, он встретил калмычку на улице у двора и сказал ей:

— Тетушка, отдай скорее ту сорочку, что я принес

тебе. Господа узнали, что она у тебя, и посылают за нею к тебе женщину, и тебя хотят, я слышал, звать для совета себе! Христа ради, отдай скорее, а когда придут к тебе от них, не говори, что я был у тебя и сорочку приносил. А то они меня задерут! Видишь, они сами тебя звать хотят для колдовства себе, а нам, холуям, не велят делать того, что делают сами.

— Не бойся, молодец! — сказала колдунья.— Ничего от меня про тебя не узнают! Бери сорочку скорее!

Она вынесла ему из избы сорочку и, отдавая, сказала:

— Я уже дело сделала, наколдовала так, что боярчонок твой не будет тебя бить, а за твоею девкою не станет бегать; за всякою другою побежит, а от твоей отстанет!

Василий Данилов взял рубашку и с нею побежал что ни было духу обратно. Пробегая Русскую слободу, он издали увидал идущую против него Мавру Тимофеевну и, не давая себя увидеть, быстро повернул в поперечную улицу к дому Корсакова, а потом выскочил к берегу на иную пристань на Малой Неве, сел в буер, перевозивший обывателей на Васильевский остров, и пристал к стрелке, оттуда скорым бегом достиг своего двора и тотчас вошел к князю Якову Петровичу.

— Изволили спрашивать свою рубашку,— вот она, ваше сиятельство.

— А где она была? Ты куда убегал, негодный холуй? Куда? Ты бегал к колдунье за рубашкой? — закидывал Василия Данилова такими вопросами господин его.

— Нет, ваше сиятельство! — говорил Василий Данилов.— Рубаха вашего сиятельства по ошибке положена была с моим бельем, а я свое белье отдавал штопальщице в починку, а теперь побежал и принес ее.

— Врешь, врешь! — говорил князь Яков Петрович.— Где эта штопальщица? Приведи ее ко мне.

— Извольте, ваше сиятельство! — сказал Василий Данилов.— Когда прикажете, приведу! — А сам Василий, отлыгаясь, не знал, как может после выпутаться, когда никакой штопальщицы не знал.

— Ступай вон! — крикнул молодой Долгоруков.— Я с тобой разделаюсь!

VIII

Между тем Мавра Тимофеевна, добравшись до калмычки, прежде всего сообщила ей, что ее боярыня, узнав-

ши о ее искусстве гадать, просит ее пожаловать к ней для совета. О Василии Данилове и о рубашке молодого князя Мавра Тимофеевна не заикнулась.

Калмычка сначала на предложение Мавры Тимофеевны отказывалась, уверяла, что ничего не знает и не смеет за такие дела приниматься, вспоминала, как покойный государь строго наказывал за колдовство и гаданья, как вѣлел отыскивать ихнюю сестру колдунью и сажать в полицмейстерскую канцелярию, как, наконец, взыскивал с тех, кто призывал к себе ворожей, колдуний и гадальщиц.

Мавра Тимофеевна сказала ей:

— То были времена, а теперь настали иные. Строгого государя нет на свете, а новая государыня сама будет готова принять от тебя совет. Весь Питер про тебя говорит, что ты просто чудеса творишь и будущее отгадываешь. Пожалуй, тетушка, не откажись прибыть к нам. Княгиня наша добрая и щедрая! Она тебя не выдаст! Денег тебе даст немало! Поедем со мною, тетушка! Княгиня может тебе в большой корысти быть. Ихний род Долгоруковых в большой силе, почитай, знатнейший боярский род на всю Россию. Сам бог тебя, тетушка, благословляет тем, что такая персона тебя к себе зовет.

Калмычка падка была на деньги и на всякие выгоды, но страх генерал-полицмейстерской канцелярии останавливал ее. Она была уже в переделке у Девиера и насилу высвободилась. Задумалась она и теперь. Может быть — так ей казалось,— и впрямь будет хорошо, если княгиня Долгорукова станет ей покровительствовать; но худо будет, если Девиер проведает, и кто ее знает, эту самую княгиню: что, как она сама как-нибудь проговорится и доведет до генерал-полицмейстера!

— Скажу я тебе вот что, по сущей истине,— помолчав немного и окинув испытующим взглядом незнакомку, проговорила колдунья.— Я точно кое-что смыслю, только граф Девиер мне сказал собственным языком таково слово: «Коли я узнаю, что ты опять колдовать начала, я тебя тогда засажу в подвал, и согниешь ты у меня без света, без воздуха, без хлеба». Строг и суров он через меру. Пусть пообещает и поклянется мне княгиня, что никому не скажет, что я у ней была, чтобы не дошло до полицмейстера. А если после того, как бы там оно ни было, а полицмейстер узнает, так я тогда отрекусь, скажу,

что ничего княгине не говорила, никакого совета не подавала. Так тогда и скажу, наперед говорю: договор дороже денег. Скажу, что меня позвали, а я не знала зачем; а когда пришла, меня просили, дескать, погадать, а я не согласилась.

— Изволь, княгиня в том тебе сама даст какую хошь клятву, а я теперь от нее, по ее приказу, присягаю тебе на том, что никакими мерами доводить до генерал-полицмейстера про тебя не будут. Как можно думать что-нибудь недоброе о такой персоне, как наша княгиня! Расспроси кого хочешь: все тебе в один голос скажут, что такой другой доброй боярыни не сыщешь!

Тут сообразила калмычка, что это предложение отправляться к княгине имеет связь с тем холопом, что приносил ей рубашку: Василий Данилов, потребовавши назад эту рубашку, сказал, что к ворожее придет женщина от княгини. Явно было, что перед нею теперь эта самая женщина. Однако она хотя зовет ворожею к княгине, а о рубашке не заикается! И раздумывала калмычка, как ей поступить: совсем молчать о холуе, приносившем сорочку, или самой завести о нем речь, хоть бы через то холую этому и произошло что-либо неприятное. Разочла ворожея, что, верно, ее выпытывают, дожидаются, чтоб она первая сама заговорила о холуе и выгодней для ней будет угодить княгине, чем холую. Калмычка сказала:

— Приходил ко мне какой-то холуй, говорил, что со двора каких-то князей Долгоруковых; приносил рубашку, говорил, что та рубашка его господина, и просил наколдовать на ту рубашку, чтоб господин стал к нему милостив; а я ему сказала, что такими делами не занимаюсь, и он, взявши назад ту рубашку, пошел прочь. Не из вашего ли двора был тот холуй?

Тогда Мавре Тимофеевне пришла в голову такая мысль: когда колдунья подлинно еще не знает, откуда холуй этот приходил, так и не открывать ей теперь; пусть уж сама боярыня ей про него скажет, коли боярыне то будет любо; если колдунья этого знать не будет, что идет в тот двор, откуда холуй к ней приходил, так охотнее пойдет, а то, быть может, и поопасуется! Она отвечала калмычке:

— Не знаю. У наших господ велика дворня и дворов не один: и в Питере два, и в Москве один старинный их двор от дедов и прадедов ихнего рода, и в подмосковных,

и в дальних имениях есть дворы, и в каждом дворе полно холуев. Может быть, какой и задуровал.

Колдунья на этот счет успокоилась и согласилась немедленно идти и плыть вместе с Маврой Тимофеевной к княгине, но еще раз подтвердила, что пойдет с тем, если княгиня даст обещание никому о том не сказывать, чтобы как-нибудь до генерал-полицмейстера Девиера не дошло, а тот больно крут человек и немилостив!

Мавра Тимофеевна прибыла домой вместе с калмычкой и, оставив ее в одной из комнат задней половины дома, сообщила княгине все, что говорилось у калмычки, потом позвала калмычку к своей боярыне.

— Я, тетушка,— сказала княгиня,— слыхала про тебя много доброго, хорошего и решилась побеспокоить тебя. Прости, пожалуй, меня за это. Пособи в моем деле, наставь меня.

Калмычка поворачивала глаза во все стороны, как будто для того, чтоб удостовериться, не слушает ли кто-нибудь их сзади и захочет донести. Потом поклонилась и тихо сказала:

— От своих предков мало чему таки научилась. Кой-что смыслим и могим такое, что другой, без этой науки, простым средством не сделает.

— Этого-то мне и нужно,—сказала княгиня.—Садись, бабушка.

Колдунья села на указанное ей место. Расселась в креслах и боярыня и заговорила:

— Видишь, бабушка, в чем дело. У меня сын за морем, послан был покойным государем в обученье, а потом на службу в иноземном государстве, в Голландии. Теперь пишет мне, что задолжал, и просит выручить его, заплатить за него, а сумма большая и денег столько в эту пору у меня не стает посылать ему,— так я хотела бы упросить одну важную особу, чтоб оказала нам милость, изволила бы заплатить за моего сына. У этой персоны денег много, и она через то не разорится. Я не знаю, как мне к этой персоне в милость попасть. Ты, бабушка,— так про тебя люди сказывают,— знаешь такой приворотный корешок. Не можешь ли дать его мне, чтоб я приворотила ту важную персону к себе на милость, чтоб она изволила заплатить долги за моего сынка.

— Матушка княгиня! — отвечала калмычка.— Надобно знать мне, как зовут эту важную персону.

— Да не все ли равно тебе,— говорила, видимо смущаясь, княгиня.— Ну, положим, ее зовут Катериной.

— Матушка-сударыня княгиня!—сказала калмычка.— Великое дело мне задаешь. Привернуть к себе в любовь хочешь такую важную персону, что важнее над нею на свете нет. Ты, матушка, от меня не укроешься. Хоть мне не скажешь, а я все равно узнаю: вот и узнала! Это дело, я вижу, затеяла ты, матушка княгиня, очень большое и страшное, да для меня опасное. Ну как проведают, что я за такое дело взялась? Да меня запытают, замучат в застенке такими муками, что и вымолвить страшно. Оно точно, у меня есть такой корешок, только ты свою княжескую милость на меня, нищую, положи: что про этот корень никто не уведал, и я как будто не знаю и не ведаю, кого ты это приворотить в любовь к себе хочешь, и если бы так случилось, что меня стали допрашивать, я так и скажу, что этого дела знать не знаю, никакого корня ее сиятельству не давала и с ее сиятельством никаких о том речей не имела. Так вот и скажу тогда, и теперь твоей княжеской милости говорю наперед, чтоб ты про меня это знала, матушка-сударыня княгиня.

— Уж, конечно, бабушка,— отвечала княгиня,— я про такой секрет сама для себя говорить с кем бы там ни пришлось опасуюсь. Будь на этот счет покойна. Достань только мне такой корешок, а от нас получишь немалое награженье. Сама, чай, слыхала, что у нас таки, слава богу, есть!

— Как не быть! — промолвила калмычка.— Кто ж того не ведом, что князья Долгоруковы первые во всей России бояре? Другого рода почище и познатнее, чай, нет. И про ихнюю добродетель все знают.

— То-то ж,— сказала княгиня.— Стало быть, и в сумнительство входить не належно.

— Только я, бедная, все-таки еще прошу твоей княжеской милости: не изволь об этом деле никому сказывать,— кланяясь, говорила калмычка.

— Ты смотри, бабушка, сама не проврись! — сказала княгиня.— А то ваша сестра из подлого народа такова: прихвастает, скажет — была у княгини Долгоруковой, корешок приворотный дала ей. Гляди у меня: будет тебе награженье боярское, а если узнаю, что ты язык распустила, так тебе живой не быть. Слышь, это и заруби себе.

— Узнаешь меня, матушка княгиня, сама скажешь, что я крепче могилы,— сказала калмычка.

— Да чтобы все, что тут у нас говорилось, словно бы в землю зарыто было! — сказала княгиня.— Да вот еще что: женщина моя, что ходила звать тебя, сказывала мне, что ты, бабушка, объявила ей, что к тебе приходил холуй наш, приносил господскую рубашку и просил на нее наколдовать.

— Приходил, матушка-сударыня княгиня,— отвечала калмычка,— приходил! Сказывал он про себя, что из двора князей Долгоруковых, а каких подлинно Долгоруковых,— не сказал. Просил он, точно, наворожить на рубашку своего господина, чтоб господин стал к нему ласков, а то, говорит, господин его больно сердитует. Только я, матушка-сударыня княгиня, отвечала ему: не возьмемся мы за такое дело, оттого что вы, холопы, все на том живете, чтоб господам своим какую-нибудь пакость учинить. Что-нибудь с твоим господином станется — оно совсем не от нас,— а по твоим речам, да к нам придерутся. Итак, не приняла я от него той рубашки и его отправила с тем от себя. Не знаю подлинно, каких князей Долгоруковых этот холоп.

— Человек это наш,— сказала княгиня,— спасибо тебе, добрая бабушка, что сама оповестила нам про него. Мы уже знали, что он украл рубашку, да не знали, куда он занес ее, а он, по своему холопскому обычаю, стал нам лгать.

— Матушка-сударыня княгиня! — сказала калмычка.— Будь милосерда: он не на зло просил околдовать рубаху. Осмелюсь доложить твоей княжеской милости: он хоть и провинился перед вами, только все-таки не достоин, чтоб его наказывать больно, без всякого милосердия.

Княгиня ничего на это не сказала, но вышла и, увидавши проходившую девушку, приказала, чтоб Василий Данилов пришел к ней и подал кружку квасу. Потом, вернувшись в комнату, где остановилась калмычка, княгиня сказала ей:

— Так когда же ты, моя добрая бабушка, принесешь мне обещанный корешок?

Калмычка поклонилась княгине в пояс и произнесла:

— В пятницу, матушка-сударыня княгиня, в пятницу, ваше сиятельство!

— Я к тебе сама пошлю женщину, что сегодня звать тебя приходила. По ее зову иди, а коли б кто пришел другой от моего имени — не верь ему и не ходи! — сказала княгиня.

— Слушаю, матушка-сударыня княгиня! — отвечала колдунья.

В это время вошел Василий Данилов, неся на серебряном подносе кружку квасу. Увидавши колдунью, он побледнел, ноги у него задрожали.

Княгиня взглянула на него выразительно, выпила квас и, отдавая кружку, сказала:

— Ступай!

Василий Данилов ушел. Княгиня спросила калмычку:

— Этот холуй приходил к тебе с господскою рубашкою?

— Этот самый! — отвечала калмычка.

— Прощай, бабушка! — сказала княгиня.

Колдунья ушла. Княгиня велела позвать Василия Данилова и, когда он явился, спрашивала его:

— Васька! Где боярина твоего рубашка была?.. У какой штопальщицы?.. Не у этой ли, что стояла здесь, как ты квас мне подавал?

Василий Данилов упал к ногам своей боярыни и вопил:

— Виноват, виноват! Ваше сиятельство, помилосердуйте!..

— Ах ты, подлая холуйская рожа! — говорила княгиня.— Отлыгаться начал! Штопальщицу выдумал! На цепь не дал посадить себя!

— Помилуйте, ваше сиятельство! — говорил Василий Данилов.— Собаку начать каждый день бить, и собака со двора сбежит, а я человек!

— Человек он! — говорила княгиня.— Человек! С разумным созданием божьим равняет себя! Ты все равно что собака, бессмысленная животина этакая! Я велю влепить тебе в спину пятьдесят!

— Помилуйте! За что? — завопил Василий Данилов.

— За то, что боярскую рубашку носил к колдунье, хотел своего боярина испортить,— сказала княгиня.

— Я не думал ничего худого против князя Якова Петровича,— сказал Василий.— Они дерутся больно, почитай, каждый день меня толкут... так мне стало невтерпеж: я думал найти средствие такое, чтоб они меня не били и стали бы ласковее.

— Вас, холопов, на то и на свет создал бог, чтобы вас били,— сказала княгиня.— Коли вас не бить, так вы зазнаетесь и нас, господ своих, бить учнете!

— Хорошо терпеть, когда знаешь, что за дело бьют,— говорил, всхлипывая, Василий.— А то каждый день ни за что ни про что бьют! Что ни слово, то пинком в морду либо в грудь!

— Мой Яша горяч, это правда,— сказала княгиня,— а ты, холуй, коли смыслишь, что боярин горяч, не мог бы хоть немного потерпеть и не сердить его, а старался бы во всем угождать ему и тем бы себе заслужил господскую милость, вместо гнева. А у вас, холопов, такая скверная натура, что коли господин горяч, так надобно его нарочно дразнить да сердить, а потом, как вас ударят, так вы жалуетесь и плачетесь, что вас напрасно бьют. А кабы сами вы господ своих не дразнили, так вас бы и не били!

В это время стоявший за спиною Василия Данилова вошедший в комнату князь Яков Петрович подошел к матери и сказал:

— Маменька! Прошу вас, на этот раз простите Ваську. Он ведь зла нам делать не затевал, а хотел только, чтоб господин стал к нему милостив и он мог бы войти в доверие к своему боярину. Услыхал он в людской о колдунье и по глупости своей пошел к ней и мою рубаху понес. Будьте, маменька, на этот раз к нему милосерды! Вдругорядь, если он сделает худое, то наказать его, а на сей раз помилуйте: я, маменька, вас прошу за него!

— Ах ты, мой добряк! — сказала княгиня.— Тот ему согрубил, а он же за него еще сам просит. Истинно ангельская душа! Ну что ж, перед тобой провинился Васька; как хочешь, так с ним и разделайся. Хочешь простить — прощай; хочешь наказать — наказывай!

Василий Данилов поклонился в ноги князю Якову Петровичу, но не вымолвил ни слова. Глаза его слезили.

— Правда, маменька,— говорил княжич,— Васька меня дразнит нарочно и сердит, да уж нечего делать: я его прощаю, но только чтоб он вперед так не делал. А коли что-нибудь мне противное за ним окажется, так я сам буду, маменька, вас просить согнать его от меня.

— Чувствуете ли вы, холопы, эту ангельскую кротость, эту доброту? — говорила расстроганная княгиня.— Вашему холопскому грубому сердцу куда это чувствовать! Ах Яша, Яша! Истинно ангельская у тебя душа!

Ушедши от господ из комнаты, Василий Данилов сошелся с Маврою Тимофеевною. Боярская боярыня стала делать ему внушение.

— Что, Васька,— говорила она,— много помогла тебе волшебница? Тебя ж и выдала, как только увидала, что ее прижать хорошенько могут! Ах дурачина, дурачина! Сам же ворожее себя назвал, чей таков, все отрепортовал. Дурак, как есть дурак! Нешто таковские дела этак делаются? Кабы ты не объявлял о себе, кто ты, а выдал бы себя за другого, выдумал бы такого, что и на свете его, может быть, и не было,— вот бы и не попался! Наперед умнее будь. Коли охоч воровать, воруй так, чтоб все концы были в воду попрятаны.

— Не хочу я ни в чем воровать!— сказал Василий Данилов.

— То-то! — говорила Мавра Тимофеевна.— Будь благодарен добрым господам, что тебя простили этот раз. А то знаешь ли, кабы тебя за такое дело в полицмейстерскую, да и твою колдунью взяли бы туда же? За то одно, что ходил к колдунье, засадили бы тебя в тартарары. А за колдовство, знаешь ты, что бывает? Просто погибель. Сожгут живьем. Я помню, как при покойном государе в Новегороде дьячка жгли, а здесь, в Питере, возле Малой Невки на берегу одну бабу жгли за то, что чародейством занималась и дьявола призывала. Поделом ей,— кто дьявола призывает, тот от бога отрекается, того сжечь следует. Так по божьему закону положено.

— А разве, тетушка, есть такие, что дьявола призывают и с дьяволом дружбу ведут? — спрашивал Василий Данилов.

— Ох, есть, голубчик, есть! — говорила Мавра Тимофеевна.— Чур нас! Наше место свято! Дело больно нечистое, проклятое! На вечную погибель душе! Потому что кто захочет с дьяволом знакомство вести, тот прежде должен от бога отрещись и крест себе под подошву положить. Слыхал ты, быть может, про Гришку Отрепьева, что царем был с год в Москве? Этот Гришка был такой бедный, одно слово — Отрепкин, уж и кличка ему таковская была! Надоело ему на белом свете жить, и задумал он утопиться, да и пошел к Москве-реке. Там есть такие проклятые места, что излюблены дьяволами. И такое проклятое место есть под мостом Москворецким или Каменным — забыла, голубчик, под каким. Вот на это место

пришел Гришка, а дело было зимою; от того места был пролубь: туда хотел кинуться Гришка. Только что он подошел под мост, а тут дьявол к нему. «Куда ты?» — спрашивает его. «Да топиться иду»,— говорит Гришка. «Зачем топиться? — говорит ему дьявол.— Не надобно топиться! Продай лучше, говорит, мне душу! На что она тебе! Продай! Я дьявол». А Гришка говорит ему: «Хорошо, только я тебе дешево не продам. Сделай меня царем на Москве!» — «Изволь,— говорит ему дьявол.— Положи крест под себя и напиши своею кровью договор, что ты мне душу продал за царство». Тогда Гришка снял с шеи крест, положил в сапог, потом разрезал себе палец и написал кровью такой договор, что он свою душу отдает дьяволу, а дьявол за то его царем сделает! Только в том ошибся Гришка, что срока не назначил, сколько лет ему царем быть. После этого дьявол такой туман на всех московских людей навел, так всем глаза отвел, что все стали почитать Гришку Отрепкина за царя; только скоро дьявол его оставил, оттого что Гришка, пишучи кровью договор, не поставил срока, сколько ему царствовать, а тут архиереи отчитали народ: у всех с глаз туман-то снялся, и увидали все, что на престоле сидит не настоящий царь, а просто Отрепкин Гришка; взяли да сожгли его, и пепел положили в пушку, и выпалили на ветер. Только если б Гришка Отрепкин процарствовал долго, и тридцать, и сорок лет, все бы ему один конец стался, все-таки его сатана к себе бы взял, потому что он за временное царство душу ему запродал. Только не во всяком месте дьявол властен человеку явиться, а есть такие проклятые места, вот как и под мостом, где Гришка Отрепкин с ним сошелся. И коли случаем на таком проклятом месте дом построится — не легко будет людям в том месте жить. Как ни взойдешь в такой дом, так тебя будто кто-то сзади хватает, сам ты боишься, сам не знаешь чего, иногда страшилище какое-нибудь покажется, то как будто зверище прыгнет, то будто птица откуда ни возьмется пролетит мимо тебя, то будто что-то маленькое бородатое на петухе верхом из-под пола выскочит, а иногда ничего не увидишь, а только услышишь: то что-то будто стонет, то будто хохочет, то будто чем-то тяжелым кидает; а в ином доме хоть никаких таких страстей не бывает, да тем тот дом проклят, что в нем жить никто не может: кто перейдет в такой дом на житье, сейчас и умирает. В Москве

много таких домов, что стоят на проклятых местах и в них никому не живется легко. Да и здесь, в Питере, они есть: да не дальше пойти, как у нашей княгини в старом дворе. В доме-то, и в людской, и везде по строениям, слава богу, все благополучно, а в бане так не совсем. Хоть не каждую ночь, а иногда разов сколько-то в году бывают большие привидения. Баня, как помнишь, построена на фундаменте, и входить туда надобно по сходцам вверх ступеней на пять. Так там ночью иной раз ни с того ни с другого подымется такой стук, как будто там человек десять возятся, а с лестницы — словно дрова мечут, ажно в людской все трясется! Один наш холуй пошел было туда, да назад! «Что там?» — спрашивают его. А он и языка не поворотит, ничего промолвить не может; а другой, только что сунулся в дверь, да оттуда назад, словно его ветром что-то отнесло! Так тут и упал! Спрашивали того и другого, что они видали, ничего, говорят, не видали, да так страшно стало, что сами себя не помнили! Так вот это, видно, проклятое место, и если бы написать записку на дьяволово имя да бросить в эту баню, так бы тому человеку дьявол явился. Только записка должна быть написана не по-русски, а как-нибудь по-бусурмански, оттого что дьявол русского языка не любит, языком-де этим говорят крещеные люди.

— Вот как! — сказал Василий.— Стало быть, надобно прежде по-бусурмански выучиться. Ну, а если кто бусурманскую грамоту знает, да немного — говорить по-бусурмански не умеет? Так оно что ж, если оно по-русски будет, да только бусурманским письмом написано, и то будет годиться али нет?

— Ты что спрашиваешь-то? — сказала Мавра Тимофеевна.— Али сам подумываешь такое? Не дай тебе господи! Лучше уж бы на свет не родиться, оттого что за такое дело от бога прощения не будет и такому грешнику гореть и в сере кипеть. А ты, Василий, послушай меня: отслужи молебен Екатерине-великомученице, возьми бумажку да напиши на ней русским христианским письмом: «Святая Екатерина! Помоги мне, сотвори так, чтоб господин мой стал ко мне милостив!» Потом понеси эту записку, и заткни за образ великомученицы, и найми священника молебен отслужить. Сделай так, послушайся меня.

Мавра Тимофеевна отошла, а у Василия Данилова в голове зародились два противоположные представления;

то молебен великомученице Екатерине и с ним записка, в которой бы заключалось призывание святой на помощь,— то записка к дьяволу и ночное путешествие в баню в старом дворе Долгоруковой. Рассказ о Гришке Отрепьеве, который он и прежде еще слышал, произвел на него сильное впечатление. «Вот как я сделаю,— сказал сам себе Василий Данилов.— Я прежде отслужу молебен святой Екатерине и записку с молитвою к ней заложу за ее образ в церкви, а если это не пособит, тогда уже пойду заводить знакомство с дьяволом». После такой думы Василий Данилов стянул у Мавры Тимофеевны головной шелковый платок, оставленный ею в своей комнате в доме, побежал на рынок, продал платок и за вырученные деньги отслужил молебен святой Екатерине в церкви, находившейся на Васильевском острове; там за образ этой святой заложил записочку, собственною его рукою написанную в таком смысле, как советовала обокраденная им боярская боярыня.

Мавра Тимофеевна из-за своего платка подняла тревогу; княгиня, благоволившая к ней, приказала у всех дворовых сделать обыск, но как ни у кого платка не нашли, то боярская боярыня принуждена была предать дело божьей воле. Между тем Василий Данилов, отслуживши молебен, ожидал, что теперь, при помощи святой, боярчонок станет к нему милостив. Прошло дня три. Вдруг князь Яков Петрович ни с того ни с сего стал придираться к Василию Данилову: не так он на него смотрит, не так отвечает,— и влепил боярчонок холую две полновесные затрещины. Василий Данилов, отошедши от князя Якова Петровича с побитым лицом в другой покой, плюнул, обращаясь мысленно к той церкви, где служил молебен, и произнес: «Провались ты от меня, святая Екатерина! Не хочешь ты либо не можешь пособлять мне! Тебе, сякой-такой, я молебен правил, попу три гривны дал, а меня боярчонок опять побил ни за что ни про что! Ничего, значит, мне не остается, как отрещись от бога и завести знакомство с господином дьяволом. Попробуем». «Только Тимофеевна сказывала, что записку дьяволу писать надобно не по-русски, а по-бусурмански,— подумал холуй,— да меня ведь отец Андрей Егорьевский учил латинскому письму: я напишу таким письмом дьяволу записку».

IX

В порыве страсти, досады и огорчения Василий Данилов снял с себя серебряный крестик, подаренный ему покойной матерью, и положил его себе под пятку, а сверху на ногу надел сапог; потом, одевшись, зашел в сени, разрезал себе мизинец, написал кровью на бумажке уродливыми латинскими письменами русские слова: «Господин диавол, я предаюсь тебе, а ты мне послужи» [1],— положил бумажку в карман своего камзола и рано утром вышел со двора.

Василий Данилов сел на пристани в буер и вместе с другими, не знакомыми ему пассажирами, поплыл вверх по Неве. Буер причаливал к Морской академии, к Апраксину двору (где теперь Зимний дворец), потом к Летнему саду, где жила тогда государыня во дворце, наконец к Литейному двору. Здесь, в последнем месте, Василий Данилов вышел на берег и отправился на Воскресенский проспект. Там находился дом княгини Долгоруковой, где она жила прежде до невольного своего переселения на Васильевский остров. Большой двухэтажный кирпичный боярский дом выходил фасадом на улицу. На одной линии с ним через въездные ворота был деревянный, обложенный кирпичом флигель, а внутри двора громоздились разные служебные постройки. За двором, по линии большого дома, вдоль улицы тянулся сад, довольно разросшийся и тенистый, что показывало много лет его существования. Владелица, живучи на Васильевском острове, не помышляла в то время совершенно покидать своего прежнего жилища; напротив, при новой государыне надеялась покинуть Васильевский остров и возвратиться на Воскресенский проспект, где жила целых двадцать лет; поэтому большая часть боярского хозяйства оставалась в этом старом гнезде и много прислуги наполняло тамошний двор.

Вошедши во двор, Василий Данилов направился тотчас во флигель, где помещалась людская. Приближался вечер, холопы сели ужинать. И Василий Данилов сел с ними. Он умышленно старался навести разговор на такой предмет, что его занимал в данные минуты.

— Правда ли, братцы,— спросил он,— что здесь, во дворе, в бане, по ночам какие-то дива бывают?

[1] Подлинные слова в находящемся при деле показании Василия Данилова. *(Прим. автора).*

— Бывают, да не каждую ночь, редко бывают!— отвечали ему.

— Редко, да зато метко!— подхватили другие, и тут начались рассказы о разных привидениях, виденных и слышанных в бане.

Повторялись почти дословно россказни Мавры Тимофеевны о стуке, метании дров и даже грызне собак, будто бы слышанной в бане, но никто ничего не видал. Одна баба начала рассказывать, что и в людской один раз вечером ей через окно показалась мертвая голова под покрывалом: в избу глядела со двора. На это ей возразили, что она тогда была больная и ей в бреду привиделось. Баба сказала тогда: «И впрямь! После того я на другой день заболела и с того дня три недели пролежала в горячке».

— А что ж,— возвращаясь к своему излюбленному предмету, спрашивал Василий Данилов,— ходил кто-нибудь ночью туда, в баню, где такие дива бывают?

— Один раз,— рассказывал один из холопов,— мы с Яремою пошли туда со свечами. Ярема пошел вперед, так у него свечу задувало, словно ветром.

— Это домовые, значит,— сказал другой, взявшийся быть объяснителем,— беспременно домовые. А что оно зовется домовые, так значит сила нечистая.

— Нет, братцы, это неверно сказано,— говорил холоп, охотник до всякого резонерства.— Домовые совсем не то. Покойный батюшка, отец Григорий, говорил: домовые — это души людей умерших, что за свои грехи покоя себе после смерти не имеют. А это не то чтоб нечистая сила!

— А все-таки без нечистой силы не обойдется,— сказал первый объяснитель.— Кто умер, тот будет лежать в земле до страшного суда, когда господь ангелов своих пошлет затрубить—вставайте, значит, на суд все: и мертвые, и живые! А вот коли кто не по-божьему живет, и не богу, а дьяволу угождает, и каяться не хочет, тому дьявол по смерти не дает покоя, вытащит его из-под земли и пугает им живущих еще на свете людей.

— Как же это дьявол может так сделать? — замечал другой холоп, увидавший возможность вмешаться в разговор и показать свое остроумие.— Как он мертвого из могилы поднимает, когда мертвый в земле тлеет и сам землею становится?

— А душа-то на что? — возразил ему противный объяснитель.— У каждого человека есть душа, всредине такой же другой человек, только маленький — это вот и есть душа! Тело в земле сотлеет, а душа не сотлеет: коли человек, живучи, богу угождал и служил, так после его смерти душа его на небеса принимается, а коли служил он не богу, а дьяволу, так дьявол его душою владеет. Вот он, дьявол, и заставит грешную душу по свету бродить и людей пугать.

— Говорят,— сказал Василий Данилов,— где такие стуки бывают, как у нас в бане, там дьявол показывается человеку. Правда ли это?

— Это как кому! — возразил один из собеседников.— Коли на тебе крест, то дьявол не посмеет приступить к тебе!

— Да хоть и креста не будет на шее, так все-таки дьявол не посмеет явиться человеку, потому что человек все-таки крещеный; а вот коли кто от бога отречется и под пятку крест себе положит, значит, дьяволу совсем отдается; ну, тому дьявол явится как к своему. Свой своему брат! — говорил один холоп.

После ужина разошлись. Василий Данилов уклался в сенях, так как тогда было теплое время.

Перебирал он в своей голове все, что слышал в людской, и пришел к такому решению: «Попробую! Не удастся — не явится дьявол помогать мне, тогда пойду исповедоваться и во всем на духу покаюсь священнику: пусть на меня наложит эпитимию. А коли явится дьявол, то я ему скажу: «Денег, денег дай мне! С деньгами все можно сделать, все добыть; деньги если будут — я из неволи выкуплюсь, в купцы уйду, дом себе куплю! Да что и говорить: чего при деньгах не достанешь?» Теперь вот житье мое какое? Самое горькое, самое последнее! Господин бьет меня чуть не каждый день; ни покоя, ни веселости мне, все меня пренебрегают, ни во что считают; Груша какая-нибудь, холопка такая ж, как и я,— а на меня смотреть не хочет! А как деньги-то у меня будут! Ого! Тогда не то что кулаком в морду сунуть,— и толкнуть меня никто не посмеет; и не то что какая-нибудь Груша, а первая купецкая дочка сама набиваться станет, чтоб я ее в жены себе взял. Что мое теперешнее житье? Я не живу, а мучусь! Просил я бога, просил: не помогает ни

в чем бог! Так и я ж, коли так, его знать не хочу! Пусть дьявол поможет, коли бог не хочет!

Когда Василий Данилов удостоверился, что все уже улеглись, то вышел из сеней и пошел к бане, она была построена рядом с людскою, только поглубже во двор.

Василий отворил дверь, взошел на пятиступенную лестницу и очутился в мыльне. Он вынул из кармана записочку, три раза проговорил призывание, в ней написанное, потом бросил записочку в угол за печь. «Вот явится!..— думал Василий Данилов.— Вот стукнет!..»— ожидал он, но никто не являлся, не произошло никакого стука, ни даже малейшего шороха. Вздохнул холуй, сошел с лестницы, воротился в сени и уклался на свою постель. Он уснул, и было ему такое сновидение. Лежит он на том самом месте, где он в то время наяву лежал; подходит к нему кто-то в черном кафтане с красною оторочкою и говорит: «Я — дьявол, что ты сегодня кликал; когда меня звать не боишься и хочешь, чтоб я тебе во всех твоих делах помочь подавал, так не молись богу и никакой надежды на него не полагай, а на одного меня уповай! Чего хочешь?» — «Денег, денег!»— отвечал Василий Данилов. «Изволь,— говорит ему дьявол,— у твоей боярыни в светлице меж двух окон висит на стене образ Казанской богородицы, лик оправлен в золотом окладе с каменьями, и образ тот вставлен в серебряном киоте. Украдь его. Продай оклад и киот: вот тебе деньги, и с этих денег пойдет тебе разжива!» С тем холуй проснулся, и все черты виденного во сне в человеческом виде дьявола до того живо отпечатались у него в памяти после пробуждения, что если бы явился на улице такой человек, каким во сне показался ему дьявол, Василий Данилов тотчас узнал бы его.

Когда по Неве стали ходить обычные буера, холуй пошел на пристань и с первым буером воротился на Васильевский остров.

В тот же день вечером ни княгини Анны Петровны, ни обоих сыновей ее не случилось дома и Василий Данилов вошел в угольную комнату, красиво убранную, носившую название светлицы, здесь он снял со стены образ Казанской богоматери в золотом окладе с каменьями, вставленный в серебряном киоте. Выходя из светлицы, Василий Данилов завернул в комнату князя Владимира Петровича

и снял с колка епанчу, подбитую мехом черно-бурой лисицы. Он положил все украденное в свой мешок, переночевал отдельно от прочей дворни в сарае́, а рано утром убежал с мешком из двора к пристани. Мало помышлял Василий Данилов о том, что с ним станется, когда преступление его откроется, и о том, может ли оно остаться неоткрытым. Он сильно увлекся сновидением; он слепо верил, что ему являлся во сне дьявол и считал необходимым слепо исполнить его приказание. Впрочем, и все вообще воры в те минуты, когда крадут, не помышляют о том, что их воровство откроется и за него придется испытать кару.

Пустившись по Неве на буере, Василий Данилов сошел на берег с пристани у Морской академии (между адмиралтейством и нынешним зданием Зимнего дворца) и пошел по направлению к Невской перспективе. Тут был другой толкучий рынок, где Василий Данилов надеялся сбыть украденную епанчу. Совершенно неожиданно для себя встретил он знакомого матроса, жившего неподалеку оттуда, в Морской слободе. На вопрос матроса, зачем он здесь, Василий Данилов показал ему епанчу и сказал: «Это мне господин подарил, да на что она мне? Хочу продать!» — «Пожалуй, я куплю!» — сказал матрос. Василий Данилов запросил за нее один рубль; матрос без разговоров дал ему требуемую монету, потом, по своему хлебосольному обычаю, пригласил Василия Данилова в петровское кружало,— в распивочную, находившуюся на углу Невской перспективы; там и угостил матрос вином Василия Данилова.

Вышедши из петровского кружала, Василий Данилов отправился обратно на пристань у Морской академии, сел в буер и поплыл вверх по Неве, а потом вышел на берег у Литейной пристани и оттуда прошел пешком во двор Долгоруковых на Воскресенском проспекте.

Иному читателю, знающему нынешний Петербург, может показаться непонятным: зачем это наш холуй избрал водяной путь, когда теперь можно было сухопутьем пройти туда, куда он направлял свои шаги. Но в описываемое нами время город Петербург расширялся и застраивался по берегу Невы и отчасти по берегам речек Мьи (Мойки) и Фонтанной (Фонтанки), но и то на пространстве, не далеком от впадения их. Невская перспектива была с обеих сторон застроена только до Поли-

цейского моста, и на этом пространстве вправо шли две морские (населенные матросами) слободы, давшие потом названия двум улицам: Большой Морской и Малой Морской. За Полицейским мостом на левой стороне было большое здание генерал-полицмейстерской канцелярии, а за ним двор генерал-полицмейстера. Противоположная сторона в этом месте оставалась еще без построек. Далее — Невская перспектива вплоть до Александро-Невского монастыря была дорогою, обсаженною двумя аллеями и вымощенною камнем. Вправо и влево тянулись болотистые леса и заросли. Удаленных от Невы строений во всем Петербурге было очень мало, а ходить и лошадьми ездить было чрезвычайно неудобно. От этого и сообщение в новой столице производилось главным образом по воде. На пристанях, устроенных повсюду, и по Неве и по ее притокам, целый день виднелось множество боярских экипажей; они выезжали на пристани, чтоб там принимать своих хозяев либо гостей, ожидаемых хозяевами; было там довольно разного рода извозчиков, перевозивших людей, тягости и всякую рухлядь.

Пришедши в людскую двора Долгоруковых, Василий Данилов немедля завел речь о мастерах серебряных и золотых дел. Один холуй сообщил ему, что недалеко оттуда, на той же Воскресенской перспективе, живет покойного Воскресенской церкви попа сын, занимающийся ремеслом серебряка. Василий Данилов зашел в сад, вынул из мешка образ, сорвал с него золотой оклад, завязал этот оклад в платок, положил к себе в карман, а образ и киот оставил в мешке и положил мешок под деревом. Сделавши это, Василий Данилов направил путь по Воскресенской перспективе и, прошедши несколько саженей, нашел жилище серебряка. Войдя к серебряку, Василий Данилов увидал худощавого мужчину с длинною шеею, лет тридцати возрастом, сидевшего за своей работой.

Серебряк окинул глазами с ног до головы Василия Данилова, а тот показал ему золотой оклад, несколько измятый, потому что снимала его с образа неискусная рука.

— Этот оклад, конечно, был на образе,— сказал попович,— и напрасно ты сам снимал его, ты не сумел как следовало снять его и изломал! Оклад через то потерял свою цену! Продавать принес, что ли?

— Продаю,— сказал Василий Данилов.

— Лучше было бы, когда б ты принес его вместе с образом: я бы тебе тогда дороже дал! А теперь придется продавать его только в лом! Золото хорошее, а камни так себе... средственные! Могу тебе дать четыре рубли... больше не дам...

Василий Данилов согласился, хотя попович давал ему по крайней мере только двадцатую часть той цены, какой стоил этот оклад даже и при продаже в лом. Попович, видя, что продавец отдает ему за первую цену, какую покупатель посулил, смекнул, что такого продавца можно еще поприжать для своей выгоды, и сказал ему: «За деньгами придешь в среду!»

Василий Данилов стал недоволен. Попович давал, как ему тогда показалось, чересчур дешево, да и еще денег тотчас платить не хочет.

— Я пойду к другому серебряку,— сказал он и хотел завязывать в платок оклад, как вдруг попович остановил его руку и сказал:

— Мой друг, я покличу полицейского; ты перед ним скажешь, что это твой оклад, а не краденый, и объявишь ему, кто ты сам таков за человек; коли полицейский тебя отпустит, так и пойдешь себе с богом к другому серебряку.

— Как так? — возвысивши голос, сказал Василий Данилов.— По какому праву смеешь ты меня задерживать? Я принес тебе вещь продавать: хочешь покупать — давай настоящую цену, а не даешь — понесу тому, кто пощедрее тебя заплатит.

— Нам,— сказал попович,— велено от полиции задерживать таких, что приходят с золотыми и серебряными вещами и со всякою кузнью. А ты человек подозрительный, коли принес оклад, снятый с образа. Зачем вместе с образом не принес его? Тогда бы я тебе дороже дал и не задерживал бы тебя. А то, коли оклад сорвал, а образа не принес — значит, где-нибудь воровством достал.

Нечего было делать Василию: позволить придти полицейскому — значило себя выдать.

— Ну хорошо,— сказал, смирившись, Василий Данилов,— бери оклад; только в среду я приду за деньгами; не води, а заплати в срок, что сам назначил.

— Беспременно заплачу,— сказал серебряк,— у меня что сказано, то верно, деньги все равно что у тебя в кармане!

Вернувшись с досадою в боярский двор, Василий Данилов пошел в сад к оставленному мешку, заглянул туда и не нашел серебряного киота. Кто-то без него приходил сюда и стащил киот.

«Что ж теперь делать? — говорил сам себе Василий Данилов, стоя над мешком и размахивая руками.— Как тут будешь искать? Объявлять об этом нешто можно? Сейчас же все узнают и скажут — у своей боярыни украл. Да и образ этот многие признают; ведь он висел в комнате княгини в этом доме, когда она еще жила здесь, не перебираясь на остров. И слова сказать не дадут; свяжут и к боярыне потащат! Что ж мне теперь делать? Молчать, больше ничего! Ах дурак я, дурак, разиня! Не умел пользоваться счастьем! Сам теперь пеняй на себя!»

Василий Данилов положил в мешок образ, оставшийся без оклада и без киота, завязал мешок и, не заходя более в людскую, пошел к пристани; там сел он в буер и отправился на Васильевский остров.

Приставши на Васильевском острове, Василий Данилов шел в боярский двор и увидал стоявшего у ворот холуя Семена Кривцова. Этот холуй в боярском дворе на Воскресенском проспекте слышал, как Василий Данилов собирался идти к серебряку. Как только после того Василий, отправляясь к серебряку, завернул в сад, Семен пошел за ним по следам, остановился издали и видел, как Василий развязывал мешок и доставал из него, что такое — Семен подлинно распознать не мог, но заметил только, что то была какая-то блескучая вещь. Василий не заметил тогда Семена. Когда Василий из сада пошел к поповичу, Семен — к мешку: в нем нашел он образ и серебряный киот. Семену вещи эти были очень памятны, и он тотчас понял, что Василий Данилов украл их у своей боярыни. Представился ему случай оказать неожиданную услугу княгине и тем приобресть особую милость и благорасположение своей госпожи. Не дожидаясь возвращения Василия Данилова, Семен Кривцов взял серебряный киот и опрометью побежал к пристани. Случилось, что буер, плывший по Неве сверху книзу, в ту самую минуту подходил к Литейной пристани: выпускались пассажиры и набирались новые. Семен вскочил поспешно в буер и поплыл обычным путем на Васильевский остров; он успел достигнуть Васильевского острова и войти во двор княгини Долгоруковой гораздо раньше

Василия Данилова. Семен застал весь дом в тревоге: княгиня уже досмотрелась, что на стене в ее светлице не стало образа. Княгиня собирала слуг, допрашивала, угрожала, а князь Владимир Петрович искал своей епанчи. Еще не появлялся Семен, как уже подозрение падало на Василия Данилова: заметили ранним утром, что Василий ушел куда-то со двора с мешком. И Мавра Тимофеевна, и все холопы в один голос кричали: «Это не кто как Васька Данилов! Пожалуй, не воротится, сбежит!» Княгиня, однако, приказала Мавре Тимофеевне обыскать всю дворню, но производить такой обыск стало не нужным, потому что вслед за приказанием, данным от княгини, появился Семен Кривцов с серебряным киотом в руке.

Поклонившись княгине, Семен Кривцов сказал:

— Докладываю вашему сиятельству, что я нашел серебряный киот с образа, что висел всегда в комнате вашего сиятельства; я нашел его в мешке Василия Данилова вместе с его рухлядью. Вестимо, он украл его. Пришел он к нам, Васька, во двор, сейчас стал спрашивать про серебряков и собрался идти к попову сыну, что серебряным и золотым ремеслом занимается. Знатно, хотел тому попову сыну продать или заложить золотой оклад с того образа, и для того взял оклад с собою, а киот и образ оставил в своем мешке в саду. А я подсмотрел и нашел.

Княгиня похвалила Семена за его верность своей госпоже и велела ему вперед быть надежным на ее господскую милость. Суета прекратилась в тот же миг. Княгиня дала другой приказ — отправляться в тот боярский двор, что на Воскресенском проспекте, и задержать Василия Данилова, иначе, он, познавши, что его воровство уже стало ведомо, куда-нибудь своим бездельным обычаем улизнет. Княгиня нашла удобным возложить это поручение на того же Семена Кривцова: он должен был немедленно воротиться в прежний двор, посадить вора Василия в темную и держать его там до господского указа. С таким поручением Семен поспешно шел к пристани, как вдруг, выходя из ворот, увидал идущего с пристани Василия Данилова. Семен пропустил его во двор и ничего ему не сказал. И Василий ничего не сказал Семену, хотя из внезапного появления его на острове понял, что тут что-то неладно. Соображал он и придумывал, как ему отлыгаться перед госпожою, потом пошел прямо в людскую

и как только отворил туда дверь, холопы и холопки закричали ему:

— Васька! Иди скорее к княгине, неси образ в золотом окладе, что ты украл. Серебряный киот с того образа уже у ней! Она требует образа. Ступай неси скорее.

— Да и епанечку князя Владимира Петровича неси!— прибавил кто-то.

«Ах я животина этакая, скот глупый, рыло свиное!— подумал Василий Данилов.— И своровать-то, схоронивши концы, не хватило у меня глузду! Дурак как есть! Ну теперь отдувайся своими боками. Что теперь скажешь? Как тут можно отолгаться? Придется во всем повиниться».

Он пошел в дом. Княгиня стояла на балконе крыльца. Василий Данилов стал перед нею, вытянувшись в струнку.

— Васька! — сказала княгиня.— Подай образ в золотом окладе, что ты снял у меня в светлице со стены.

— Виноват, ваше сиятельство! — завопил Василий, повалившись к ногам своей боярыни.— Лукавый смутил у меня ум. Истинно так, он, враг рода человеческого, искусил на дурное дело.

Княгиня сказала:

— Лукавый невидим, и дай бог никому крещеному не увидать его ни в сем веке, ни в будущем. Мы лукавого искать не станем, а взыщем и накажем того, кто в вине попался.

— Я виноват, ваше сиятельство! Не запираюсь.

— Да куда ж тебе запираться, когда поличное у тебя взяли! Киот-то у меня в руках! — сказала княгиня.— А где оклад?

— Виноват! — сказал Василий.— Оклад я отдал попову сыну того покойного попа, что был в Воскресенской церкви.

— Как? Продал? — спросила княгиня.

— Продал, а денег не получил. В среду велел придти за деньгами,— отвечал Василий Данилов.

— А епанечка моя где? — спросил князь Владимир, вошедший в эту минуту вместе с братом Яковом на балкон.

— Этого я не могу знать. Не брал!— отвечал Василий.

— Врешь! Все твое дело! Разом стащил и то и другое,— говорил князь Владимир.

— Как перед богом могу побожиться: епанечки не брал, ваше сиятельство! — говорил Василий Данилов, стоя на коленях и жалобно глядя на княгиню.

— Не ври, не ври! — сказал князь Владимир.— Ты взял, некому, кроме тебя.

— Да мало ли здесь народу во дворе! — сказал Василий.— Помилуйте, ваше сиятельство, ей-же-богу, не брал!

— Ишь ты, куда вернет свое холопское рыло! — говорил князь Владимир.— Еще «помилуйте» смеет он говорить, будто добрый человек! Кто раз попадется с поличным, потом что ни пропадет, все на этого сложится, как на ведомого вора.

— Ну доброго слугу вы мне дали, маменька! — сказал князь Яков Петрович.

— А кто ж его знал? — говорила княгиня.— Все они, холуи, одним миром мазаны; сколько их ни учи, как ни наставляй, все-таки холопская кровь скажется. Нельзя к холую веру иметь: все плуты, лгуны и воры. Только этот выскочил хуже всех; может быть, через то, что грамоте учился. Правдиво говорили старики, наши отцы и деды: не следует холопов учить грамоте. Через то себе только беду наживешь.

Князь Яков, который пуще матери не терпел никакой грамотности, подтвердил мнение родительницы.

— Ведите его на конюшню да прикажите при своих глазах хорошенько наказать его, а то без вас они, холопы, пожалеют своего брата.

Княгиня, сказавши эти слова, отвернулась и ушла в комнаты.

— Ну, Васька, в баню!— скомандовал Яков Петрович.

И Василий Данилов с лицом, облитым слезами, пошел вслед за боярчатами.

— Живей поворачивайся! — прикрикнул князь Яков и ударил Василия Данилова кулаком в лицо.

Не удержал Василий в себе рыдания.

Отправились в конюшню. Князь Владимир Петрович не охоч был собственноручно тузить холуев по сусалам, как в этом часто упражнялся его братец, зато князь Владимир Петрович без всякой застенчивости приказывал при себе наказывать их другим, и сам стоял тут же с особенным удовольствием. И теперь, не крича, хладнокровно, со злою улыбкою и с видом спокойствия, он сказал, указавши на Василия:

— Разложите его! Двое сядьте на него: один в головах, другой в ногах, а вы, Мишка и Сашка, дерите его в два батога!

Когда Василия Данилова стали раздевать и разувать, из сапога у него выпал серебряный крестик, который он положил себе под пятку, затевая заводить знакомство с дьяволом.

— Смотрите, смотрите! Где у него крест! — сказал кто-то из холопов.— В сапоге!

— Да это он, должно быть, с нечистым зазнался,— сказал другой.— Так делают те, что от бога отрекаются и лукавому душу продают!

— Это,— сказал Василий Данилов,— у меня снурочек перетлел на кресте, так крестик упал.

Положили и стали полосовать Василия по спине.

— Переверните его вверх животом и бейте! — сказал князь Владимир.

Василий страшно кричал, потом все тише, тише. Заметно было, что силы его слабели.

— Побрызгайте его водою! — сказал князь Владимир Петрович.— Пусть отдохнет!

Василия Данилова посадили и облили водою; потом, по приказанию князя Владимира, опять положили вверх спиною и полосовали батогами. Из битого и посинелого тела сочилась кровь.

— Теперь, на первый раз, довольно,— сказал князь Владимир Петрович.— Посыпьте ему битые места солью, чтоб стало больнее.

Исполнено было и это господское приказание.

— Васька! — сказал князь Владимир.— Где моя епанечка?

— Не могу знать. Не бирал. Как бог свят, не бирал. Ей-же-богу, не бирал!

— А коли не хочешь правды сказать, опять велю класть и буду бить, пока не сознаешься и не скажешь, где епанечка.

Опять положили Василия и стали сечь по спине, но от посыпанной соли стало так больно преступнику, что он не вытерпел и закричал:

— Виноват, все скажу!

— Говори! — сказал князь Владимир.

— Епанечку я продал в петровском кружале матросу,— сказал Василий Данилов.

— Как звать матроса? — спросил князь.

— Не могу знать! — отвечал Василий.

— Коли не можешь знать, опять бить, пока не скажешь,— промолвил князь Яков.

— Почем же мне знать! — говорил Василий.— Я пошел на толкучку. Кто встретился и сторговался, тот и купец мне был!

— Врешь, знаешь! Пороть, пока не скажет,— приказывал Владимир Петрович.

Начали сечь Василия Данилова. После двух ударов он крикнул:

— Матроса Егор Савич зовут. А как прозывается, ейбогу, не знаю!

— Врешь,— сказал князь Владимир.— Бить, пока не вспомнит и не скажет прозвища.

— Прозвищем он, кажись, Губкин,— произнес Василий Данилов.— Я его прежде встречал на рынке и ноне на толкучке он узнал меня и, увидевши, что я продаю епанечку, купил ее за один рубль.

— На цепь его посадить,— сказал тогда князь Владимир Петрович,— и держать до утра, а завтра он пойдет с другими выкупать оклад.

Окровавленному, посинелому от побоев Василию накинули на шею цепь и прикрепили эту цепь к толстой деревянной колоде. Князь Яков Петрович не утерпел, подошел к нему и залепил ему две тяжелых оплеухи.

Оба молодые княжича пошли к матери. Василий остался прицепленным к колоде. Княгиня напрасно опасалась, что холопы станут в минуты наказания жалеть своего собрата. Конюхи исправно секли Василия Данилова, а когда он был уже на цепи, то стали над ним издеваться.

— Ах ты, рыло ветошное! Воровать пустился, а не умеешь. Поделом тебе! Вишь ты, серебряный киот оставил, а золотой оклад продавать понес: за золото, вишь, больше дадут. Вот мы тебе и насыпали на спину хорошую цену чистым золотом!

— Нет,— сказал другой конюх,— это мы ему серебром отсыпали, а золото после будет, как не покается да снова провиноватится. Тогда уж велят господа отодрать так, чтобы недели две прокачался.

— И теперь, может быть, прокачаюсь,— с жалобным тоном произнес Василий Данилов.— Вы, братцы, не

глумитесь надо мною, несчастным, и вам, каждому, то ж статься может. Лучше смотрите на меня да смекайте, что значит, когда человека лукавый искусит да в грех введет!

— Лукавый! — заметил один конюх.— А ты, видно, стал с ним в большом приятельстве! То-то у тебя и крест выпал из сапога. Вестимо, такой, что с лукавым зазнается, крест потопчет и в сапоге его держит, а все православные христиане крест носят на шее.

— Точно, точно! — промолвил другой.— Такого дива еще мы не видали, чтоб у человека, вместо шеи, был крест в сапоге!

— Плохо, видно, лукавый помог ему,— сказал первый конюх,— подшутил над ним, и только!

X

Конюхи пошли убирать лошадей, а Василий Данилов молча размышлял о своей горькой участи. «Точно, правду они говорят,— думал он,— подсмеялся надо мною лукавый! Я его стал призывать к себе; он ко мне и явился во сне, велел украсть образ, чтоб с этого разбогатеть. Вот и разбогател я! Хотел в милость господскую войти — вот и вошел! По достоинству! Поделом вору мука! Я, кажись, грамотный и книжки читал божественные. Что ж? Научили они меня? Глупее всякого безграмотного стал я! Всякий безграмотный понимает: как можно крещеному человеку дьявола себе на помощь звать. О господи боже! Тяжело согрешил я, помилуй меня!»

Эти мысли осветили Василия Данилова, и ему стало на душе легче. Но телом он страдал сильно; сидеть ему было невозможно на избитых частях, лечь не допускала цепь, притом спина была иссечена так, что он бы и не мог опрокинуться навзничь. Он то приседал, то поднимался. Избили так, что, по народному выражению, ни сесть ни лечь! Есть ему приносили только хлеба и воды. Вечером от нечего делать приходили к нему дети из дворни; одни из них со страхом глазели на него, другие дразнили и глумились.

На другой день к несчастному Василию опять сошелся кружок холопов и начали произносить над ним свои суждения в таком роде:

— Хорошо, что господа сами его проучить приказали. А что, кабы в полицмейстерскую доставили, оттуда бы

его в каторгу в Рогервик на работы услали, отлупивши хуже, чем теперь.

— У нашего боярчонка бывает не хуже Рогервика,— сказал озлобленный Василий Данилов, для которого уже в тот час не казалось страшным, хотя бы о таком его отзыве доложили самому боярчонку.

— Ну, врешь, парень,— сказал один из холопов.— Там похуже было бы. Это говоришь ты оттого, что в Рогервике не бывал. Боярчонок даст тебе под горячий час затрещину, да и все тут. Свои господа накажут, да и помилуют.

— Помилуют, как же! — говорил Василий Данилов.— Помиловали они меня! Холопье житье наше таково, что хуже на свете нет. Самое лучшее нашему брату в могилу лечь.

— Пошел бы да кинулся в Неву; вытащат да в могилу отнесут,— сказал один холоп.

— Из Невы, пожалуй, не вытянут скоро,— заметил другой.—Против нашего двора сажен, почитай, двенадцать.

— Тем лучше,— возразил другой,— на глубоком месте топиться лучше, чем на мелком, потому что на мелком долго барахтаться будет.

— Послушай, Васька,— сказал один забавник,— как тебя с цепи спустят, ты бултых в Неву — и вся недолга!

— Душу загубить? Нельзя! — сказал другой.

— Какая душа! — возразил первый.— Намедни княгиня Анна Петровна, рассердившись на всех нас, холопов, сказала, что у холопа души нет!

— Как это можно! — возразил один резонер.— Холоп нешто не крещен? Холоп говеет и святых тайн причащается. У холопа есть душа, как у всякого христианина!

— Это пусть Васька нам расскажет,— сказал другой,— он у попа грамоте учился.

— Учился,— произнес третий,— а воровать начал. В книгах нигде не написано, чтоб красть было позволено.

— А может быть, написано? — заметил кто-то.— Мы люди темные, не знаем, что там написано, чего не написано!

— Васька все знает. Ума палата! Ха-ха-ха!

И все захохотали.

Наконец двое холопов сняли с Василия Данилова цепь и сказали:

— Нам приказано поплыть с тобою вместе к тому серебряку, что ты ему продал золотой оклад.

С трудом передвигая ноги, снятый с цепи холуй вышел из конюшни. Все трое сели в буер и поплыли вверх по Неве. Приставши у Литейной пристани, они пешком дошли на Воскресенский проспект и вошли к серебряку, попову сыну.

Увидавши входящую к нему ватагу людей и в числе их того, кто передавал ему золотой оклад, попович смекнул, что оклад был краденый; теперь пришли к нему отбирать похищенную вещь, и эти новые люди, что входили к нему, должны быть свидетелями. Поповичу представился розыск полиции о краденой вещи, а такого рода розыски в те поры возбуждали страх, особенно когда грозное имя Девиера у всех петербургских жителей беспрестанно переходило из уст в уста. Попович сразу порешил отречься от всяких показаний и указаний.

— Пришел за деньгами либо за окладом,— сказал Василий Данилов, наперед условившись с провожатыми, как ему говорить.

— За какими деньгами? — с видом притворного изумления спрашивал попович.

— Как за какими? За золотой оклад, что я тебе в понедельник продал,— сказал Василий Данилов.

— Оклад? Какой такой оклад?—говорил попов сын.— Я никакого оклада не покупал у тебя и не видал. Никаких денег я тебе не должен.

Василий Данилов обратился к своим товарищам и сказал:

— Он отрекается. Я ему отдал оклад, а он велел придти за деньгами в среду.

— Это ваше дело. Мы при этом не были и не знаем, как тут у вас было и точно ли ты привел нас куда следует: сюда ли затащил ты краденный с образа оклад,— сказали холопы.— Кто тебя знает?!

— Я не брал от него никакого оклада и в первый раз его вижу,— сказал им попов сын.

— Это впрямь мошенник! — болезненно говорил Василий Данилов.— Его надобно в полицию.

— Тебя я отправлю в полицию,— крикнул на него попов сын.— Ты обокрал своих господ, да на меня всклепываешь! Вот я сам в полицию пошлю, и ты мне ответишь за бесчестье! Тебе за это спину вычешут.

— Кто вас разберет! — сказал один из пришедших с Василием холопов.— Он точно обокрал своих господ: образ у своей госпожи со стены стянул, а потом, как в той краже попался, показал, будто оклад золотой с камнями, с того образа снявши, отнес к тебе на продажу. Господа отправили нас узнать об этом доподлинно, и коли точно так, как он говорит, то взять у тебя тот оклад, а его, вора, отпускать от себя ни на три шага не велели. Ты, мастер, прости, коли неистовно к тебе мы пришли!

— Говорю вам,— сказал решительным тоном серебряк,— никакого оклада мне он не давал; в первый раз этого бездельника вижу сегодня, как и вас. Вор мало ли на кого поклеплет? Ворам веры нять по закону не показано и честных людей беспокоить не годится.

— Господи боже! Что ж это такое? — вопиял Василий Данилов.— Теперь господа скажут, что я солгал, и опять меня бить велят!

— Верно, так будет,— сказали холопы.— Пойдем, нечего нам тут делать! Мы не посмеем взять и обыскивать не нашего человека, да еще вольного мастера. А над тобою, Василий, воля господская будет! Ты холоп боярский: с тебя сделают господа все, что им угодно будет. К тому же ты вор ведомый!

— Пропал! — сказал горьким голосом Василий Данилов и ввернул при этом непечатное словцо.

Вышли, сели на буер. Василий Данилов всю дорогу проклинал поповича за то, что не отдает оклада, напрасно хочет его вновь в беду ввести. Холопы, провожавшие его, твердили ему все одно и то же: «Воля господская! А ты — вор ведомый!»

Когда воротились во двор на Васильевском острове, один из провожавших Василия холопов пошел в дом докладывать, другой стерег на дворе преступника. Из дома выбежали оба молодые князя.

— Ты опять лгать! — кричал князь Яков.— Я тебя, я тебя!

Княжич махал кулаками над лицом Василия.

— Убейте сразу! — произнес Василий Данилов.

Князь Владимир Петрович не кричал, но, обратившись к холопам, сказал:

— Ведите его опять на конюшню! Стало быть, мало ему прежней бани. Еще попарить надобно.

Василий Данилов был так сильно озлоблен князем Яковом Петровичем, что не просил его уже о пощаде, а с ожесточением решимости отдавался на всякую муку. Но князь Владимир Петрович не мог против своей особы так озлобить Василия, как по своему более сдержанному нраву, так, главное, и потому, что не за ним, а за его братом ходил Василий Данилов. Теперь как бы у князя Владимира находилась судьба его, и это побудило Василия просить о пощаде. Он упал к ногам князя Владимира Петровича и вопил:

— Боярин, голубчик, отец родной! Сжальтесь, Христа ради! Богом присягаю, я оклад отдал попову сыну. Батюшка, голубчик, боярин! Поверьте! Не бейте, боярин, меня уж так избили, что на мне места живого нет!

— Где оклад? — спросил князь Владимир.— Где моя епанча?

— Оклад у попова сына,— сказал Василий Данилов,— а епанча продана матросу.

— Неправда,— сказал князь Владимир,— наводили справку. Такого матроса в Морской слободе нет. Ты солгал. Вот точно так и на попова сына, верно, солгал; за это надобно бить!

И повели Василия Данилова, плачущего и вопиющего повели в роковую конюшню, где и повторили истязание несчастного по прежнему способу.

Василий крикнул несколько раз и более уже не кричал. Слышен был только его жалобный, ослабевающий стон. Батоги разберединли на его теле струпья, образовавшиеся от прежних побоев. Кровь и сукровица лились из них. Князь Владимир Петрович спокойно стоял, заложивши руку в карман. Вдруг ходатаем за несчастного Василия явился тогда князь Яков Петрович.

— Брат! Прикажем перестать. Он не снесет!

— Не снесет, так черту баран будет! — сказал Владимир Петрович.— Не бойся, брат! У этих холопьев воловья шкура. Все вынесут.

— Так бить вола — не вынесет! Брат! Прошу тебя, прикажи перестать! — говорил Яков Петрович.

— У кого оклад? Говори, Васька! — сказал князь Владимир, обращая речь к лежащему преступнику.

Но Василий Данилов не отвечал. Он был в обмороке.

— Он мертв! — в испуге произнес князь Яков.— Что ты наделал, Володя! Я говорил: надобно перестать!

— Не бойся,— спокойно сказал Владимир Петрович.— Жив будет! Облейте его холодной водой! Он очнется!

Облили Василия Данилова. Он пришёл в чувство и начал стонать от сильной боли.

— Пойду скажу маменьке,— сказал Владимир Петрович.— Пусть, что ей угодно, делает с этим мерзавцем. Не хочет сказать по правде, где задел золотой оклад и мою епанечку,— хоть ты его убей — не сказывает!

Князь Владимир Петрович рассказал матери об упорстве холуя. Княгиня сказала:

— Отослать этого мерзавца в Москву; да кстати написать управляющему, чтобы как поспеют ягоды, так прислать нам сюда.

— Не сослать ли этого негодяя в Сибирь? — заметил князь Владимир.— Какая польза держать в дворне вора и обманщика!

— Зачем терять его,— отвечала княгиня.— Каков он ни есть, все-таки с него чернорабочий быть может. Не годится в дворне городской — в деревню его отправить! Написать управляющему в Москву, тот поступит с ним, как лучше найдет. Ему там виднее будет, как с ним поступить.

Но через несколько часов, когда день склонялся к вечеру, доложили княгине, что Василий Данилов в горячке, бредит!

— Отправить его в госпиталь,— сказала княгиня.— Я напишу от себя записку. А как полегчает ему, тогда отправить его в Москву.

В то время при устроенном царем Петром госпитале в Петербурге принимали холопов знатных бояр по запискам их господ, и для этой цели устроено было в самом госпитале особое отделение. Туда отвезли жестоко избитого холуя.

XI

После ухода калмычки княгиня, по ее обещанию, дожидалась всю пятницу ее прихода и не дождалась. Ждала она всю субботу и воскресенье, ждала еще несколько дней, спрашивала дворню, не приходила ли какая-нибудь неизвестная женщина и не добивалась ли видеть княгиню. Ей отвечали, что никого не бывало. Княгиня принялась беспокоиться о корешке. Минуло уже

более недели с того дня, когда колдунья должна была принесть ожидаемую вещь. Княгиня отправила Мавру Тимофеевну к калмычке позвать ее к себе или, по крайней мере, узнать, что случилось и отчего до сих пор калмычка не исполнила своего обещания.

Воротившись из Татарской слободы, боярская боярыня сказала княгине:

— Заартачилась старая карга! Говорит, боюсь ходить. Коли, говорит, угодно будет ее княжеской милости, пусть пришлет тебя; я дам тебе корешок и через тебя научу княгиню, как с ним поступать. А сама не пойду. Как-нибудь увидят, что я приходила, разнесется,— мне в приводе быть! Только пусть княгиня через тебя мне пришлет вперед десять червонцев; после, когда увидит сама, что корешок мой в пользу ее княжеской милости послужил, сама тогда, без моей просьбы, наградит меня, нищую, по-боярски, как обещала. А теперь, говорит, наперед пусть беспременно пожалует — десять червонцев пришлет. Я, было, так и этак,— нет: «Ты мне,— сказала,— и не говори! Коли десяти червонцев не принесешь, так и корешка ее сиятельство не получит. Так,— говорит,— и скажи княгине».

— Ах она старая! — воскликнула в негодовании княгиня.— Что ж она это нам, Долгоруковым, не верит? На десять червонцев я ее обманывать стану, что ли? Тут не в деньгах сила. Не то что десяти червонцев,— и ста, и тысячи не пожалею, когда нужно; досадно, как смеет нам не доверять: вот что не добро! Холопка она этакая!

Княгиня хотя и говорила, будто ей не денег жалко и не о них идет речь, а о родовой чести, но то была неправда. Княгиня таки была скупа и жадна к деньгам. Самое желание, чтобы за ее сына долги заплатил кто-то другой, происходило от этого свойства. И теперь ей жалко стало десяти червонцев; ей не хотелось отдавать их, как вообще скупым неприятно бывает выпускать из своих рук деньги. Просердилась княгиня три дня, не решаясь посылать колдунье требуемые червонцы; несколько раз доставала она из своего комода деньги с тем, чтобы посылать их,— и всякий раз прятала их в комод снова. Но желание во что бы то ни стало достигнуть предназначенной цели и вера во всемогущество калмычки взяли верх. Княгиня позвала свою боярскую боярыню, дала ей завернутые в бумажку десять угорских золотых и сказала со вздохом:

— Нечего делать. Неси, Мавра Тимофеевна!

Ушла Мавра Тимофеевна. Княгиня с нетерпением ожидала возвращения боярской боярыни и вместе с нею желанного корешка. Почти целый день прошел в таком ожидании. Наконец уже вечером появилась Мавра Тимофеевна перед своей госпожой.

— Принесла? — нетерпеливо спросила ее княгиня.

— Нет, боярыня,— отвечала Мавра Тимофеевна.— Калмычки дома не было, как я к ней в избу вошла, прождала я, почитай, часа три. Приходит. «Бабушка,— говорю,— княгиня велела передать тебе гостинец, что ты просила, десять золотых». А калмычка как всплеснет руками и говорит. «Ах она милая, ах она добрая, матушка моя, лебедушка! Уж и как-то и чем возблагодарить ее княжескую милость, что про меня, нищую такую, бесталанную, вспомнить изволила и мною не побрезговала! Ангел она, настоящий ангел, моя голубушка сизая, княгиня!» И пошла, и пошла величать да хвалить вашу княжескую милость. Я выслушала все это и говорю: «Пожалуй, бабушка, корешок!» А она говорит: «Как же, моя ненаглядная, сейчас, сейчас!» И стала она отпирать сундук, что у ней стоит в избе, большущий такой, скрыня эдакая! Отпирала, отпирала, никак не отопрет. «Тьфу ты, пропасть!— говорит.—Тут что-то неладно». Отдохнула да опять принялась отпирать, возилась-возилась, наконец таки отперла. «Это, матушка моя, кем-то поделано»,— говорит. А я ей: «Как это, бабушка, поделано?» — «Лихим наговором,— говорит,— да против моей ведьбы никакой наговор не устоит!» Начала шарить; шарила-шарила, потом остановилась, утомилась, знать, ищучи, и говорит: «Не найду, родимая! Истинно так: лихим наговором поделано! Вот не найду да и не найду! Сама, помню, положила сюда, а теперь нет как нет!» — «Как же это? — спрашиваю я.— Как так, бабушка? Кто тебе это поделал?» А она мне на это: «Ты, голубушка, не ведома нашей науке, так тебе это невдомек. Я не одна здесь: есть другие бабы, тоже тем занимаются, чем я, и те мне всякую пакость норовят сделать. Они вот проведали, злодейки, что у меня теперь припасен приворотный корешок; это они по своей науке про то узнали да по той же нашей науке и поделали мне, что вот я никак не найду того корешка. Он вот где-нибудь здесь, да они поделали так, что я его никак не найду! Только я, матушка, позубастее

их, паскудниц! Они думают, что куда как хитры, ну а я их хитрее! Моя наука познатнее и посильнее ихней науки. Теперь вот я никак не могу найти своего корешка через их чары; надобно будет их отчаровать, тогда все опять ясно мне станет, и я таки найду корешок. Завтра, значит, в субботу, беспременно сама принесу его к твоей боярыне. А я ей говорю: «Бабушка, как же я теперь ворочусь к своей боярыне без корешка? Княгиня будет на меня сердиться». А она говорит: «Скажи княгине, пусть меня простит: завтра беспременно приду и корешок принесу». А я ей: «Ну, а коли и завтра не сыщешь?» А она мне на это: «Коли не найду, другой принесу. Да уж коли по грехам сталось так, что меня обошли враги мои, так вот что: пусть милостива будет княгиня, подождет до воскресенья; найду прежний, что для нее припасла, а коли так сделано, что и до завтрашнего дня я его не найду, новый припасу и в воскресенье беспременно доставлю. С тем,— говорит,— иди к княгине. Пусть не сумневается; уж коли изволила по своей боярской милости прислать мне гостинец, так теперь этот корешок все равно что у ней в шкатулке. Оно, почитай, и лучше, что так сталось. То нужно было бы тебя наставлять, как поводиться с этим корешком, а ты бы что-нибудь пересказала своей боярыне совсем не так, а теперь я сама пойду к княгине и своим языком все ей сама скажу и наставлю. Вот так-то мои враги думали мне пакость учинить, а учинили еще лучше!» Так вот она говорила, и нечего мне было делать, я с тем и пошла от ней.

Задумалась княгиня Анна Петровна и после минутного молчания произнесла:

— Мавра Тимофеевна! Мне сдается, что выходит не совсем хорошее дело. Как же это? Деньги за товар отдали, а товара в свои руки не взяли!

Боярская боярыня отвечала:

— От вашей княжеской милости не было на этот счет никакого приказа. Изволили приказать отнести десять червонцев калмычке, а насчет того, если бы она, взявши деньги, не отдавала корешка, ничего не приказывали, как поступить. Конечно, вашей княжеской милости никак не могло придти в голову, что так оно станется; да и я, боярыня, не могла домекнуть, что она сочинит такое.

— Да оно и бесчестно было бы, если б назад брать червонцы от нее,— сказала, подумавши, княгиня.—

Скажут, пожалуй, что это за бояре такие, подлой женщине гостинец посылают, а вслед затем назад отнимают. Так у хороших бояр не ведется. Да и угорских десять золотых, скажут, велики ли деньги для князей Долгоруковых? Мне паче денег то, что кто ее знает, принесет ли она корешок? Ну как надует? Как думаешь? А, Мавра Тимофеевна, что скажешь?

— Кто ее знает, ваше сиятельство! — сказала Мавра Тимофеевна.— Не должно бы, сдается, по виду она такая душевная старуха! Ну, а в середину, в душу ей не заглянешь! Подождемте до воскресенья, а коли в воскресенье не принесет, тогда я опять к ней пойду.

— Меня вот что больше в сумнительство приводит,— сказала княгиня,— прежде она тебе сказывала, что не хочет сама идти ко мне, а через тебя корешок пришлет, а после, видишь, говорит, что сама принесет. Не значит ли это: путается и виляет?

Мавра Тимофеевна покачала головою в знак согласия с княгинею относительно сомнений насчет колдуньи.

— Как ты думаешь,— продолжала княгиня,— не надует нас она?

— Не думаю, ваше сиятельство! — отвечала боярская боярыня.— Кажись, нет. А впрочем, кто ее знает? Говорят люди, что надобно съесть с человеком два пуда соли, пока его распознаешь, что у него на уме, а с этой калмычкой я и щепотки соли не съела. Подождем!

В тревожном ожидании встретила княгиня воскресенье и в совершенной досаде простилась с этим днем. Калмычка не пришла. В понедельник опять отправила княгиня Анна Петровна свою боярскую боярыню к волшебнице в Татарскую слободу.

Боярская боярыня вернулась домой к вечеру. По ее физиономии княгиня с первого раза подметила, что она ей несет что-то неутешительное. Когда же княгиня обратилась к ней с расспросами, Мавра Тимофеевна сказала смущенным голосом:

— Плохо дело, ваше сиятельство!

— Что такое? — спросила тревожно княгиня.

— Попались мы, боярыня, в руки такой шельме, что хоть весь свет исходить, другой такой не найдешь. Настоящая мошенница,— говорила Мавра Тимофеевна.

— Что? Как? — дрожащим голосом говорила княгиня.

— Вот извольте выслушать, ваше сиятельство! — ска-

зала боярская боярыня.— Все расскажу по ряду, как было. Вхожу я в избу, вижу, сидит старая ведьма на своем большом сундуке и что-то шьет или зашивает, не распознала, вижу только, что иголкой ковыряет в ситец или полотно. Я к ней. «Здравствуй, бабушка!» — говорю. Она сидит, не встает и не глядит. Прежде как я войду, так она вскочит, кланяется, сама щебетать начинает; а теперь сидит словно воды в рот набрала и головы не поднимает, будто не видит и не слышит, что к ней в избу вошли и заводят с нею речи. Молчит, и только! Я к ней опять. «Здравствуй, бабушка!» — говорю ей. «Здравствуй!» — проговорила она, а сама все сидит и головы ко мне не поднимает. «Пришла,— говорю,— от княгини. Обещалась ты, бабушка, принести корешок в воскресенье, и воскресенье прошло вчера, а ты не пришла и корешка не доставила. Княгиня беспокоится, думает, не случилось ли чего нехорошего, не захворала ли ты, бабушка, не дай бог!» — «Нет! — она говорит.— Ничего не случилось худого».— «Так отчего ж ты не пришла? — спрашиваю я ее. — Княгиня целый день до вечера все тебя дожидала, надеялась, что принесешь корешок, как обещала». А она на это: «Ходить незачем было, оттого не пришла».— «Как,— говорю,— незачем? А корешок принести обещала?» Тут она, ведьма, в первый раз подняла голову и говорит: «Какой корешок?» — «А тот,— говорю ей,— что княгиня тебя просила и ты обещала ей принесть в воскресенье». Она мне на это: «Княгиня,— говорит,— у меня такого корешка допытывалась, что за него можно попасть в такую беду, что и не выпутаешься и животу своему не рад будешь! Статочное ли дело? Замыслила приворотить к себе в любовь государыню, чтоб за ее сына долги заплатила! Что это княгиня затевает? На кого это она замышляет? И еще меня хочет затянуть на такой умысел! Ну я не таковская! Мне еще мила своя шкура!» — «Как же это, бабушка!— говорю я.— Ты ж сама вот на этом самом месте в пятницу сказала, что принесешь корешок в воскресенье и десять золотых княгининого гостинца взяла из моих рук, а теперь отпираешься». А она мне на это: «Десять золотых я взяла от княгини в гостинец, за то благодарствую, а чтоб доставать ей приворотный корешок на такую персону — я и за сто золотых не возьмусь! Я княгине сказала, как только она со мною в первый раз об этом заговорила,— опасное дело, нельзя взяться мне за такое дело!

Вот кабы это было на кого иного,— куда бы ни шло! А то против такой важной персоны, что важнее ее и на свете нет; ни за что не возьмусь, я и помыслить об этом боюсь».— «Да почем же,— сказала я,— ты, бабушка, знаешь, что княгиня у тебя просила приворотного корешка на государыню? Разве ее сиятельство так тебе про нее прямо и сказала?» А она мне на это: «Княгиня сказала на такую важную персону, чтоб могла заплатить долги ее сына, а зовут ту важную персону Екатериною. Тут и дура поймет, на какую это важную персону княгиня метит. Вестимо, эта важная персона Екатерина — не кто иной, как наша государыня царица Екатерина Алексеевна! Нет, я ворожить на ее величество не смею! Я думала-таки после пойти к генерал-полицмейстеру да объявить, а потом передумала и сказала сама себе: «Бог с нею, с княгинею! Зачем буду я ей неприятство чинить? Я женщина простая, бедная, мне ли в такие великие дела влезать!» И не пошла я тогда ни к княгине, ни к генерал-полицеймейстеру, и только. А тут приходишь ты и приносишь от княгини десять золотых. Что ж — за гостинец я благодарствую, чаю, это мне за то и гостинец, что не пошла к генерал-полицмейстеру докладывать ему про княгиню. Только уж доставлять ей приворотный корешок на государыню — ни за какие золотые горы я не возьмусь. Так и скажи княгине. Пусть ее княжеская милость это знает и больше ко мне пусть об этом деле не посылает! Таков мой последний ответ княгине будет».

Во все продолжение рассказа боярской боярыни княгиню что-то передергивало; она то краснела, то бледнела, а по окончании речи Мавры Тимофеевны начала ругать калмычку, примешивая такие слова, которые не употребляются ни в разговорном языке благовоспитанного общества, ни в печатном слоге. Это было в духе времени, когда русские знатные боярыни, одетые Петром Великим в европейские робы и насильно выведенные в ассамблеи, всегда, как только им приходилось выражаться по душе, являлись истинно русскими бабами, мало отличными от своих холопок. Сорвавши свое сердце заглазною бранью против калмычки, княгиня Анна Петровна напустилась на Мавру Тимофеевну.

— И ты-то хороша! — говорила княгиня.—Хвалишься, что предана господам, пуще глаза бережёшь господское добро! Хорошо бережешь его! Десять угорских золотых

запроторила ни за что ни про что этой старой суке! Все вы, видно, одинаковы, все вы господ своих рады ограбить, разорить и нас самих, если бы можно, утопить. Вон там собачий сын Васька золотой оклад украл, а тут она десять золотых запропастила! Хороши слуги, нечего сказать! Берегут господское добро!

— Чем я так провинилась против вашей боярской княжеской милости,— говорила Мавра Тимофеевна,— что вы меня, верную слугу свою, изволите равнять с явленным вором? Сами извольте вспомнить, ваше сиятельство: призвали вы меня, дали десять золотых и приказали отнести калмычке. Я, по своей холопской службе, учинила то, что мне моя боярыня приказала.

— А ты,— говорила ей княгиня,— сказала ли мне хоть словечко, когда я тебя стала посылать к этой калмычке? Как бы ты была мне верная слуга, ты бы свою боярыню остерегла. А ты ничего... Как чурбан стояла, когда я посылала тебя; потом взяла от меня деньги и понесла, не спросивши меня, как тебе и что говорить, коли старая ведьма что-нибудь не так...

— Кто ж ее знал, ваше сиятельство,— говорила Мавра Тимофеевна.— И вы не знали, какова она есть, и я тоже не знала, что она такое. Кабы я ведала, что она такая плутовка, я бы вашу княжескую милость остерегла, а то вы, не знаючи, изволили дать золотые, а я, не знаючи, понесла их к этой шельме! В чем же тут провинилась я перед вашею княжескою милостью? Не извольте гневаться, соизвольте гнев свой на милость боярскую ко мне, верной своей холопке, переменить!

Произнося эти слова, боярская боярыня кланялась низко княгине.

— Поеду к княгине Федосье,— сказала раздраженным голосом княгиня Анна Петровна,— она, сорока, всему причиною! Наговорила мне про эту калмычку турусы на колесах: и чудеса-то она творит, и все угадывает, и хоть кого приворожить умеет, и в знатные дома-то ее возят, и чего не наплела! Я ее словам поверила и позвала к себе старую, проклятую ведьму. Поеду разругаю княгиню Федосью вот как!

И, приказав запрягать в коляску лошадей, поехала к княгине Федосье.

Княгиня Федосья Владимировна Голицына, урожденная княжна Долгорукова, жила на Васильевском острове

в мужнином доме, построенном на набережной Малой Невы, куда с семейством перебралась почти в то же время, как и Анна Петровна. Княгиня Федосья оставила свой прежний дом близ Гагаринской пристани. Обе княгини подружились между собою еще будучи девицами; они вместе почти и выростали. Княгиня Федосья Владимировна вышла замуж раньше княгини Анны Петровны; дружба двух боярышень содействовала тому, что, после замужества Федосьи, вышла вскоре за родственника ее княжна Анна, остававшаяся еще незамужнею. Много лет прошло с тех пор, как обе княжны повыходили замуж; обе успели нажить детей, обе уже постарели, обе овдовели, но между ними не только не охладевала, но еще крепла дружба, завязавшаяся в годы их девичества.

— Ну, удружила ты мне, Феня! — говорила княгиня Анна Петровна, усевшись в светлице княгини Федосьи Владимировны.— Наговорила мне про калмычку-колдунью, нахвалила ее, а она оказалась злодейка, шельма, грабительница!

И рассказала княгиня Анна Петровна княгине Федосье Владимировне все, что произошло у ней с калмычкою.

— Сама виновата! — сказала княгиня Федосья Владимировна.— Я тебя знаю давно, Анюта. Ты все такою ж осталась и в старых годах, какою когда-то в девках была! Зачем сказала колдунье, кого ты приворожить задумала? Имя ей назвала зачем?

— Да когда она,— сказала княгиня Анна Петровна,— объявила, что надобно ей беспременно знать, как зовут ту персону, на которую будет ворожить!

— Ты б сказала: Катерина, и только, а не открывала, какая это Катерина,— заметила княгиня Федосья Владимировна.

— Я так и сделала,— сказала княгиня Анна Петровна,— а она сейчас догадалась, что это государыня!

— А ты бы,— заметила княгиня Федосья Владимировна,— тогда же растолковала б ей, что это совсем не государыня, а так, мол, знакомая твоя боярыня. И зачем было сказывать, что ты от важной персоны милости ищешь, чтоб долг за твоего сына заплатила? Ничего этого тебе ей говорить не надлежало. Сказала бы только: приворожить боярыню Катерину; со мной прежде в приятстве была, а теперь-де мы не поладили, так хочу, чтоб она по-прежнему сдружилась со мною!

— Правда, сказать было так! — говорила княгиня Анна Петровна.— Так вот не пришло мне вдомек так сказать. Вот и пропало десять золотых.

— Золотые-то — бог с ними,— заметила княгиня Федосья Владимировна,— а вот худо было бы, кабы эта змея да вправду Девиеру либо Ушакову на тебя донесла. Она, чаю, теперь этого учинить не посмеет: поопасается, чтоб ей не потерять своей доброй славы меж господами. Видишь, она точно побоялась наворожить на государыню. Это на самом деле страшно. А с нашей сестрой она не боится. Позовут эту колдунью да скажут — приворожи такую-то княгиню либо боярыню, так она сделает, как пообещает, и не выдаст! Это ее хлеб. Ее берут в дома, и она без опаски всюду ездит; и не болтушка: все говорят про нее, что не сплетничает! Ну, а как она вплетется хоть раз в слово и дело, да еще с собою впутает и тебя, так ее звать никуда не будут после того. По этой-то причине я не думаю, чтоб она сунулась донос подавать. Сорвала с тебя десять угорских золотых, ну и будет с ней. Тем и покончится! Только вот что, Анюта. Кроме нее, колдуньи, да твоей женщины, что ты к ней посылала, точно ли никто не знает, что ты кликала к себе эту ведьму?

— Никто,— отвечала княгиня Анна Петровна,— с одной тобою говорила я о ней, Феня.

— А эта твоя Мавра Тимофеевна? — заметила княгиня Голицына.— Верна ли она тебе? Ты что-то на нее много полагаешься. У них ведь холопское сердце у всех, доверять им всем не нужно!

— Мавру Тимофеевну,— сказала княгиня Долгорукова,— я знаю; уж вот одиннадцатый год при мне близко. Уж коли на нее нельзя положиться, так, значит, ни на кого.

— Да таки и ни на кого,— промолвила с резким выражением голоса княгиня Федосья Владимировна.— Ты, Анюта, очень доверчива и когда-нибудь через свою доверчивость попадешь в беду. Я вот так никому, как есть никому не доверяю. Детям родным — и тем не доверяюсь. Они зла родителям сделать не захотят, а могут сделать по недомыслию. Никому, никому, друг мой Анюта, не говори про то, что ты к себе колдунью и зачем кликала. Меня хоть бы к Ушакову либо Девиеру позвали по такому делу,— я б уперлась и крепко заперлась. Все бы только им одно твердила: слыхать не слыхала, видать не видала, ни со мной о том никто не заговаривал, ни я ни у кого не

расспрашивала, и только. Хоть бы в застенок вести меня грозили, я все бы одно им твердила, на одном бы как стала, так бы и стояла, оттого что в таких делах хоть малую поблажку дай своему языку, так и пиши пропало. И тебе, Анюта, советую то же, коли бы на тебя,— сохрани тебя господь от этого,— какой донос объявился.

— Разве ты, Феня, в самом деле боишься, что на меня донос последует? — говорила Анна Петровна.— Сама ты говоришь, что калмычка не пустится на это. Кроме нее, никто про то не знает, что она была у меня, только одна Мавра Тимофеевна, что звать ее ходила.

— А если,— сказала княгиня Федосья Владимировна,— твоя хваленая Мавра Тимофеевна инако объявится? Холопка она, и с холопьем ведется. Она сама не задумает тебе худого чинить, так проболтается, другие холопы узнают, и кто-нибудь захочет ради своей выгоды на свою боярыню донести. На всякий такой случай, Анюта, я говорю тебе: молчи! И если бы сделали на тебя донос, и призвали тебя, и стали бы стращать, ты не бойся, все одно да одно тверди: не делала того, не знаю, не ведаю. Мой муж на этот счет говорил так: «Постращать постращают, а как увидят, что страх не донимает, так и стращать перестанут». А хоть бы на самом деле взялись пытать? Что ж? Первая пытка — легкая, посекут немного. Коли тут не сболтаешь — тем и кончится, как увидят, что сечка не проняла! А не дай-то бог под первою пыткою хоть что-нибудь крошечное сказать, тут и пойдет беда за бедою! В другой раз станут пытать даже покрепче, не так, как первый раз, пожалуй, поджигать огнем станут либо на виску потянут, как там у них зовется,— наше дело женское, не знаю, что оно такое, говорят, какая-то виска, что-то очень страшное. За всякою новою мукою человек все больше да больше на себя насказывает и наплетает и нагородит такого, что ему прежде во сне не снилось. Не стерпя мук, всякую небылицу на себя наскажет! От этого-то лучше всего и безопаснее говорить все одно только: знать не знаю, ведать не ведаю, не слыхала, не видала, не делала, не говорила и ниже не помышляла про это.

— Не приведи бог до этого дожить!—говорила, вздрагивая, Анна Петровна.— Как бы меня привели к пытке, я бы, кажется, еще не ложась под батоги, от одного страха умерла. Ну, а как ты думаешь, Феня, стало быть,

насчет того, чтоб царицу приворожить, чтоб она за моего Сережу заплатила, надобно это дело совсем оставить?

— Да, Анюта,— отвечала княгиня Федосья Владимировна,— оставить. Сама виновата! Зачем так повела? Дала колдунье узнать, на кого ворожить хочешь. Теперь уж приходится тебе об этом больше не думать. А сколько долг твоего сына?

— Тридцать тысяч ефимков,— сказала княгиня Анна Петровна.

— Нешто у вас нечем заплатить? — спрашивала княгиня Федосья Владимировна.

— Издержалась я много вот с этим Васильевским островом,— сказала княгиня Анна Петровна.— Придется, верно, одну вотчину спустить.

XII

Недели три прокачался Василий Данилов в госпитале. Молодые врачи, все иноземцы, были поражены видом избитого, изуродованного боярского холопа и делали замечания насчет бесчеловечия и дикости московитских господ, но главный доктор, начальствовавший над ними, англичанин Бидльо, строго воспрещал им показывать какой-либо вид неодобрения таких явлений. «Мы,— поучал он их,— в чужой земле; нам платят деньги за наши труды, надобно быть благодарными, а осуждать обычаи края — какое право у нас? Кто нас уполномочил на то, чтобы русских по-нашему переучивать? Так у них исстари велось и теперь ведется. Их обычаями земля их крепко держится. Что нам не годится, то для них необходимо». Зато в своих попечениях о больных доктор Бидльо приказывал соблюдать между ними совершенное равенство: полковник ли, холоп ли — ко всем одинаковое вниманне, за всеми одинаковый уход, всем равно здоровая, потребная пища. Василий Данилов перенес горячку, и в бреду представилось ему: подходит к нему дьявол и говорит: «Я тебе совет подать пришел. Выздоровеешь — отомсти своим господам. Ты от них милости искал, а они с тебя всю кожу слупили. Они к тебе немилостивы — и ты с ними будь немилостив. Донеси на княгиню: ты слыхал, как она с княгинею Федосьею Голицыною сидела на балконе и говорила, как бы ей приворожить государыню в любовь к себе, чтоб государыня за ее сына долг выплатила. За-

тем-то она и колдунью призывала, ту, к которой ты ходил. Ты видал ее у княгини. Донеси на княгиню. Ее с детьми возьмут в Тайную, пытать станут, мучить, а ты в милость и ласку войдешь к самой государыне за то, что на свою боярыню донес». Когда Василий Данилов стал оправляться, все виденное им в бреду исчезло из его воспоминаний, кроме этого явления дьявола, которое до того живо запечатлелось в его мозгу, что он сам не в силах был дать себе отчета: во сне или наяву было ему это видение. По прошествии месяца Василий Данилов был выписан из госпиталя и возвратился к своей госпоже в ее двор на Васильевском острове.

Холопы донесли обоим боярчонкам о том, что Васька уже в людской, и оба, князь Яков и князь Владимир, потребовали его к себе.

Холуй поклонился господам своим в землю и, приблизившись поодиночке то к одному, то к другому, раболепно целовал им полы кафтанов. Князь Владимир спросил:

— Где ты оклад дел? Ты не отдавал его тому поповичу, на которого показал. Сознайся теперь добровольно.

Василий Данилов стал на колени и, подняв глаза к небу, крестился и клялся, что оклад остался у попова сына.

— Как же тебе верить,— говорил князь Владимир,— когда ты много раз облыгался? Ты под батогами уверял меня, что епанечки моей не брал, а как тебя прижали, так сознался, что продал ее, и все-таки назвал матроса, что будто у тебя купил, не тем именем, потому что такого Губкина не оказалось в морских слободах. И в окладе верить надо попову сыну, а не тебе.

— Ваше сиятельство,— говорил Василий Данилов,— не знаю, как вас уверить. Что б я ни говорил теперь, вы мне не изволите поверить, только насчет оклада я ничего иного сказать вам не могу; попову сыну отдал, он мне денег не отдал, что обещал.

— Врешь, врешь! — сказал князь Владимир.— Сознайся вправду, а то опять пороть велю.

— Воля вашего сиятельства,— отвечал Василий Данилов,— хоть и пороть прикажите, я ничего другого не скажу. Разве мне выдумать на кого-нибудь напрасно? Так все-таки тот, на кого я напрасно скажу, не возьмет вины на себя, а станет отпираться, и ему, конечно, вера будет, а не мне. Ваше сиятельство! Помилосердуйте! Из-

вольте меня услать кому-нибудь на работу, пока я выработаю деньги, что стоит сделанная покража.

— Рассказывай! — говорил князь Владимир Петрович.— Ты и в три года не выработаешь столько, сколько стоит оклад золотой. Сознайся-ка лучше, а то велю вести на конюшню.

— Извольте через полицию обыск сделать у поповича, ваше сиятельство,— говорил Василий,— а я бедный человек, как могу заставить его воротить либо сознаться, что он у него? Я его уговаривал, а он мне в глаза говорил: «Не брал-де у тебя и в первый раз вижу тебя». Что делать с таким плутом!

— А ты правый человек! Смеешь плутом называть другого. Холоп ты негодный! — сказал князь Владимир.— Вор ведомый!

— Глуп я был, ваше сиятельство, поддался дьявольскому искушению. Враг рода человеческого всегда нас, дураков, на худые дела настраивает. Теперь, ваше сиятельство, ей-богу, не буду и другу и недругу закажу.

— А все-таки скажи, где оклад! — еще раз спросил князь Владимир.

— У попова сына, ваше сиятельство! — промолвил Василий Данилов.

— На конюшню, пороть! — решительно сказал князь Владимир.

Повели Василия Данилова, раздели, положили и опять, как прежде, отсчитали по спине несколько ударов. Князь Владимир, стоявший над ним, приказал остановиться и спросил:

— Говори, где оклад?

— У попова сына, ей-богу, у него! Чтоб меня бог разразил сейчас, если не у него! — отвечал жалобно Василий Данилов.

— Переверните и бейте по животу! — скомандовал князь Владимир, и когда отсчитано было двадцать ударов по животу, снова спросил: — У кого оклад?

— У попова сына! — повторил лежащий на земле холуй, у которого на животе появились уже синие полосы.

— Ну оставь его, брат! Черт с ним! — сказал стоявший здесь же князь Яков Петрович.

Оба княжича пошли к матери советоваться, что делать с этим отъявленным негодяем.

— Держать его при нас не годится,— сказала княгиня.— Отправить его в Москву и написать управляющему, чтоб его повернули там во дворе на черную работу.

Приказание княгини передано было от сыновей дворне.

Василий Данилов собрал свою рухлядь, состоявшую из двух пар пестрядинного белья, двух кафтанов, пары сапогов, камзола и парика. Холопы объявили ему, что княгиня приказала сейчас же отправляться в другой двор на Воскресенском проспекте, чтобы оттуда ехать с провожатыми в Москву.

— Готов! — сказал холуй и пошел к княгине, сидевшей на балконе.

Василий Данилов упал к ее ногам и говорил:

— Матушка боярыня! Будьте милосерды! Простите меня, мерзавца этакого. Ей-ей, каюсь в своих худых делах и прошу милости как у бога, так и у вашей боярской милости.

— Если в Москве у нас во дворе, до отправки тебя в деревню, случится какая покража или какое другое худое дело, так первое за тебя примутся, оттого что ты вор явленный! Я так приказывала управляющему. И ты это знай, слышишь! — сказала княгиня.

— Слушаю, ваше сиятельство! — отвечал Василий Данилов.— На всяком месте и во всякой должности рад служить госпоже своей по вашей воле. За свои скверные дела достоин я пущего; только пожалуйте меня вашим господским милосердием, простите меня, бога ради!

Он кланялся в ноги. Княгиня ничего не отвечала и отвернулась, а князь Яков, стоявший близ матери, приказал Василию Данилову идти прочь.

Двое холопов обычным водяным путем провели преступника на другой княгинин двор и там сдали его двум другим холопам, а тем велено, по распоряжению княгини, везти Василия Данилова в Москву. Один из этих холопов был Семен Плошкарев, другой — Семен Кривцов, доставивший своей боярыне украденный серебряный киот. Вечером того же дня холопы сели в повозку с будкою, покрытою рогожею, и поехали на ямских под звуки неумолкавшего колокольчика, висевшего под дугою. У путешественников была подорожная, но они терпели беспрестанные задержки на ямах, потому что по дороге между Питером и Москвою сновали царские курьеры и, кроме

того, разные благородные особы, этим господам оказывали первенствующее внимание перед подлыми боярскими крепостными людьми, какими значились в подорожной холопы Долгоруковых. В продолжение пути Василий Данилов не изъявлял ни малейшего сожаления о перемене судьбы своей; напротив, он казался довольным случившеюся с ним переменою.

— От господ чем подальше, тем лучше,—говорил он,— пусть другие близко господ живут, такие, что умеют им угождать! А я, дурак, не умею! С той поры, как меня взяли в Питер да приставили ходить за князем Яковом Петровичем, я заслуживал чуть не всякий день оплеухи да кулаки, и более ничего не заслужил, а наконец совсем проворовался! Значит, неспособен и недостоин я близко господ находиться! Мое место — в деревне.

— Хорошо, как бы в деревню пустили! — сказал ему Семен Кривцов.

— Я того чаю, оттого что боярыня мне сегодня про то как бы сказала,— заметил Василий Данилов.

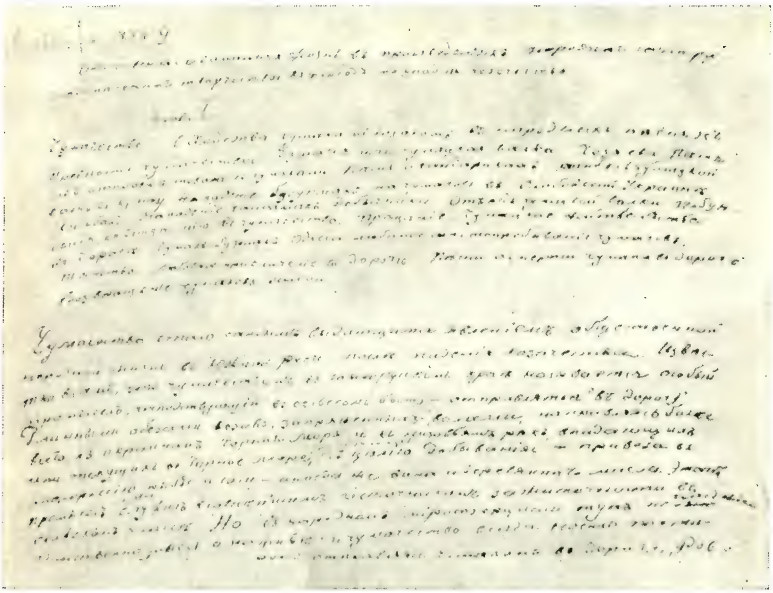
— Тебя,— сказал ему Семен Плошкарев,— приказано сдать управляющему двора ее сиятельства; ты в его воле будешь; куда он захочет, туда тебя и приставит; быть может, куда-нибудь и в деревню сошлет, а может быть, и в московском боярском дворе к какому-нибудь работному черному делу приставит.

На десятый день после выезда из Петербурга прибыли холопы в первопрестольную Москву и ехали по Тверской улице. В то время обе стороны этой улицы не были еще во всю длину ее застроены каменными домами, как теперь. Каменные строения были еще не часты и заметно виднелись в ряду деревянных. Зато церквей на этом пути было больше, чем теперь. Нашим путникам пришлось проехать два раза через ворота: одни деревянные, в земляном вале, покрытом с обоих боков бревенчатою стеною,— они вели в Земляной город; другие ворота, каменные, вели в Белый город, окруженный кирпичною побеленною стеною с башнями, и в некоторых из этих башен проделаны были ворота. Те ворота, через которые проехали холопы княгини Долгоруковой, назывались Тверскими и находились на месте, до сих пор удержавшем старое название, хотя никаких ворот уже там нет. По пути от Тверских ворот город носил название Белого, вплоть до самого Кремля, и здесь каменных зданий на

Тверской улице было гораздо больше, чем в том пространстве, которое путники проехали. Доезжая по Тверской до Охотного ряда, путники поворотили в угольный двор: тут-то было давнее гнездо князей Долгоруковых той ветви, к которой принадлежал покойный муж княгини Анны Петровны и их сыновья.

Боярский дом выходил углом на две улицы, Тверскую и Охотный ряд; был этот дом двухъярусный, кирпичный, крытый высокою черепичною зеленою крышею, оштукатуренный серою краскою, с изобилием окон разного формата и величины, вдававшихся глубоко в стену. Большие брусяные ворота с Тверской вели на широкий двор; во дворе с первого взгляда бросался в глаза каменный голубец с крестом, сложенный на том месте, куда в грязную кучу было выброшено тело убитого стрельцами владетеля этого дома и где ежегодно в день его смерти, 15 мая, служилась панихида. По двору располагались многие службы и людские покои. Приехавшие из Петербурга холопы вошли в людскую застольную, и Василий Данилов увидал тех своих товарищей по званию, которых знал когда-то прежде и не видал с того времени, когда по воле своей госпожи был отправлен из Москвы в Петербург. Прибывшие с ним Семены не замедлили тотчас объявить всей холопской компании, какого гуся привезли они теперь в Москву и за что боярыня его отправила от себя. Все присутствовавшие посмотрели на Василия Данилова с недоверием и опасливостью, и бедный наш холуй сразу сообразил, что его положение в московской дворне не очень будет хорошим: товарищи, знаючи, что он под боярскою опалою, станут сторониться от него. Тотчас Семены повели Василия Данилова к управляющему домом в Москве. Это был один из тех детей боярских, которые, за старостью или неспособностью к государевой службе, числились в отставке и, при удобном случае, нанимались в службу к родовитым боярам. Двором Долгоруковых управлял толстый приземистый человек по имени Фома Лукич Ходаков; при покровительстве князей Долгоруковых он устроил на службу царскую выгодно своих сыновей, был предан дому Долгоруковых, а потому княгиня дорожила им как строгим и точным исполнителем ее распоряжений. Прочитавши письмо княгини, написанное рукою ее сына князя Владимира, и узнавши из этого письма о воровских подвигах приве-

Кабінет М. Костомарова.



Сторінка рукопису М. Костомарова «Общественная и домашняя жизнь в произведениях народного южнорусского песенного творчества в период по упадке козачества».

зенного к нему холуя, Фома Лукич покачал головою и глянул на Василия Данилова с таким грозным выражением, какое совсем не шло к его добродушному лицу.

— Тебя государыня твоя, княгиня, отдает в мою волю,— сказал он,— знай наперед, коли здесь у меня вздумаешь воровать, быть твоей шкуре слупленной с головы до ног! Смотри у меня! Моли бога, чтоб не случилось у нас во дворе ничего худого; а коли, по грехам, что случится, еще не буду знать подлинно, кто учинил дурно, а с тебя начну розыск и пытать велю тебя! Оттого что ты вор ведомый!

Фома Лукич назначил Василия Данилова быть в чине дворовых чернорабочих, которые, по приказу дворника, чистили двор, вывозили грязь и всякие нечистоты и вообще были готовыми на самые «подлейшие» работы; но собственно ни один из них сам по себе не имел определенной и постоянной обязанности. И Василий Данилов, сделавши несколько пустых работ по приказанию дворника, был оставлен без занятий и мог болтаться куда хотел, лишь бы охоты стало.

С дозволения управляющего домом княгини, которое дошло к Василию не прямо от него, а через дворника, Василий Данилов собрался говеть.

На совести своей чувствовал несчастный холуй тягость накопившихся грехов и хотел поновиться, как продолжали еще выражаться в то время русские люди. Прежде всего Василий Данилов обратился к священнику Егорьевского женского монастыря отцу Андрею: у него он когда-то учился грамоте. Отец Андрей, увидя нежданно бывшего своего ученика, подумал было, что в Москву приехали князья Долгоруковы и с ними их прислуга; но Василий Данилов отвечал ему, что господ здесь нет и неизвестно-де ему, когда они изволят собраться в Москву; приехало-де сюда несколько людей из их петербургской дворни и он в числе приехавших. Настоящей причины, по какой он прибыл в Москву, Василий Данилов отцу Андрею не открыл, оставляя это до того времени, когда будет исповедаться. С благословения отца Андрея стал Василий ходить в церковь и сразу почувствовал, что ему в храме божьем ужасно неловко: он отрекался от бога, он призывал к себе дьявола на помощь, два раза дьявол ему являлся во сне. Василий Данилов усердно бил поклоны, а какой-то тайный голос шептал ему внутри:

«Что ты молишься? Думаешь, что бог помилует тебя? Нет, ты отрекся от бога! Такого грешника бог не принимает!» Несколько дней во время говенья испытывал Василий Данилов жестокое внутреннее мучение. Наконец настал последний день недели. Василий Данилов явился на исповедь к своему бывшему наставнику и сознался перед ним во всем. Отец Андрей за призывание дьявола наложил на Василия епитимию: каждый вечер класть по сто поклонов и каждый день ходить в церковь к заутрени, исключая такого времени, когда по своему холопскому званию не получит на то дозволения господ. Так должен был провести целый год каявшийся грешник, и тогда отец Андрей обещал причастить его. Василий Данилов просил управляющего домом княгини позволить ему каждый день ходить к заутрени, исполняя таким способом епитимию, наложенную, как он объяснял управляющему, духовным отцом за совершенную у своих бояр кражу. Управляющий не стал ему в том перечить. Прошло так несколько недель. Василий Данилов ходил исправно в церковь к заутрени, а целый день после того был в распоряжении дворника, но почти не имел за собою никаких работ, а более бил баклуши. Тут стала ему неотвязно приходить в голову мысль освободиться от холопской зависимости: вспомнил он то, что говорил ему когда-то в Петербурге матрос, можно-де этого добиться, определившись в государеву службу либо матросом, либо солдатом, а для того стоит подать просьбу о себе в канцелярию для свидетельства мужеска пола душ. Открыл Василий свой замысел своему духовному отцу, попу Андрею. То был единственный человек в Москве, с которым он позволял себе говорить откровенно. Поп Андрей не советовал ему, не отсоветовал, а отнесся к этому как к делу совершенно для него постороннему, однако сообщил холопу, где находится канцелярия, что он ищет. Поп объяснил ему, что для такого дела нужно сочинить по форме и подать прошение на гербовой бумаге, а сочинить такое прошение может только знающий всякую форму подьячий, и надобно будет заплатить ему за труд, да и на гербовую бумагу нужны будут деньги. У Василия Данилова денег не было ни полушки. Он попытался было попросить взаймы у отца Андрея, но поп отказал ему наотрез. Денег-то нужно было всего полтину. Но где взять их? Украсть? Неудавшиеся в Питере воров-

ские подвиги отбили у Василия охоту повторять их в Москве. В первопрестольном граде шаталось и валялось по улицам множество нищих; еще больше их было в те поры, чем можно встретить теперь. Василий Данилов на каждом шагу видел, как христолюбивые прохожие им подавали и как нередко нищие на выпрошенные деньги ходили пить в кабак и заводили там между собою ссоры и драки оттого, что одни считали себя обделенными другими. «Вот,— думал Василий Данилов,— этим дармоедам дают же! Почему и мне не попросить». И попробовал опальный холуй сделаться нищим: стал на Тверской и протягивал руку, выпрашивая у прохожих подаяния. Не повезло Василию Данилову с первого же раза. Прохожие, вместо того чтоб давать ему денежки и копейки, кричали на него: «Пошел вон! Экой срамник! Здоровый, молодой, а христарадничает! Работать еще горазд!» Нищая братья обошлась еще грубее со своим новым товарищем по ремеслу. «Проваливай, проваливай! — кричали они на него.— Не отбивай у нас хлеба!» Они толкали его с места на место и не допускали становиться там, где возможно было получить подаяние. У московских нищих было в обычае дорожить бойкими местами подобно тому, как дорожили такими же бойкими местами торгаши, когда приходилось становить лавки или шалаши. Василий Данилов оставил Тверскую улицу и перешел просить милостыню на Дмитровку, но и там с ним происходило то же, что на Тверской. Он перешел на Мясницкую — и там не удавалось. Прошло таким образом несколько дней; часов по пяти в сутки посвящал Василий Данилов этому ремеслу. Для других, как он замечал, оно доставляло средства пропитания, ему не везло: он не принес домой ни копейки.

XIII

Василий Данилов испытал, что не может путем нищенства добыть себе необходимое на издержки для написания прошения о поступлении в службу; он увидал, что нет ему иного пути к достижению желаемого, как только стянуть у кого-нибудь! А тут, как на зло, разошлась между дворнею весть, будто господа собираются переезжать в Москву; говорили, что княгиня уже перебралась с Васильевского острова в свой прежний двор

на Воскресенской перспективе и, чего доброго, захочет перенестись со всем гнездом в более старый двор своего рода в Москве. Государя Петра Великого на свете уже нет, и бояре, поневоле проживавшие в любимом им Петербурге, теперь не побоятся вернуться в белокаменную, где жили и умирали их деды и прадеды. Эти слухи встревожили Василия Данилова. Ему сейчас представился боярчонок Яков Петрович, что с таким удовольствием бил холуя по сусалам чуть не каждый день; представился и другой боярчонок, князь Владимир Петрович, который без шуму, без крику так нещадно приказал отодрать при своих глазах холуя, что несчастный после того с месяц пролежал в больнице. Страшно становилось Василию Данилову, как только он воображал себе, что приедут господа в Москву; если бы даже ни тот ни другой из боярчонков не захотели брать к себе в услужение опального холопа, то холоп все-таки ни в каком случае не мог быть охранен от опасности: случится какое-нибудь воровство или иного рода худое дело во дворе — и тогда примутся без разведки за Василия Данилова, как за ведомого вора. Куда ни кинь, все клин! Василию Данилову много дурного приходилось ждать, оставаясь в холопстве! Одно только средство избавиться от грозящих бед казалось ему — воспользоваться законом, предоставлявшим холопам вступать в царскую службу,— и за чем остановка? Только за какою-нибудь полтиною! Украсть полтину... непременно украсть!.. У кого бы лучше украсть, как не у управителя! Но Василий Данилов не вхож в дом, где помещается управляющий. Думал, думал Василий, у кого бы украсть, и остановился на двух Семенах; они привезли Василия Данилова в Москву и теперь по боярской воле оставались в Москве, обманувшись в своих надеждах войти в милость своей боярыни. Семен Кривцов спал в особой избе, построенной собственно для холостых. Василий Данилов в числе многих других парней помещался там же. Он подметил, что Семен Кривцов носит в кармане своего кафтана кошелек; из этого кошелька не раз вынимал Семен деньги, а когда ложился спать, вешал свой кафтан подле себя на колку. Это подметил Василий, но не видал, чтоб Семен, ложась, вынимал из кармана свой кошелек; и сообразил Василий, что Семен Кривцов ночью оставляет кошелек в кармане своего кафтана. И вот ночью, когда уснули все холопы, помещавшиеся в этой

избе, Василий Данилов вскочил, подошел без обуви к постели Семена, вынул из кармана кошелек, воротился с ним к своей кожаной подушке, потом тихонько вышел из избы. Раскрыв кошелек, при тусклом ночном полусвете увидал он там серебряный рубль и кучу мелких старинных денег и алтынников. Выпувши деньги, Василий вошел в избу: все спало мертвецким сном. Василий Данилов подошел босиком к постели Семена Кривцова и вложил в карман висячего кафтана опустошенный кошелек, а сам отправился на свое обычное место, как ни в чем не бывало. Совесть холуя в этот раз успокаивалась тем, что Семен Кривцов был ему враг и наделал много зла: он открыл похищение образа, он подвел Василия к такой дерке, что заставила его полежать месяц в больнице, он наконец вместе со своим товарищем Семеном Плошкаревым в Питере и в Москве ославил его перед всею боярскою дворнею ведомым явленным вором!

Утром Семен Кривцов, надевая свой кафтан, заметил, что кошелек его стал что-то пуст, посмотрел и крикнул: «Братцы! Тут ночью у меня в кармане гости были и деньги взяли». Холуи, услышавши эти слова, загалдели, и тотчас явилось подозрение на Василия Данилова, как на ведомого вора: он ведь недаром по боярынину приказу из Питера в Москву прислан за воровство. Василия Данилова в избе уже не было. Он поспешил выйти пораньше, как будто по дворовому боярскому делу, и принялся за какую-то работу. В избе толки о нем продолжались несколько минут, но так как Семен Кривцов не особенно был дорог для прочей холуйской компании, то скоро затихли. Семен Кривцов увидал, что эта честная компания не слишком горячо примется отстаивать его интересы и что ему самому придется обращаться к пособию управляющего домом, как главного начальника и распорядителя. Семен Плошкарев более всех других принял к сердцу дело своего товарища. Когда взошедшее солнце поднялось уже над горизонтом, Василий Данилов оставил свою дворовую работу, за которую принялся только для вида, и вышел со двора, чтобы приступить к давно задуманному им делу своего освобождения из-под холопской зависимости. Таскаясь в предшествовавшие дни с целью зашибить копейку нищенством, Василий Данилов узнал, что в Охотном ряду есть трактир, где всякое утро можно было встретить кого-нибудь из

площадных подьячих, готовых тут же скропать какую угодно бумагу за приличное вознаграждение, с добавкою приличного же угощения. Трактир этот находился на том самом месте, где в настоящее время находится трактир Егорова. И тогда, как теперь, славился стоявший там трактир жирными блинами, привлекавшими охотников поесть сытненько; и тогда, как теперь, изгонялось оттуда проклятое зелье — «богомерзкая трава табака». Василий Данилов сразу встретил там такого человека, какого ему нужно было. То был подьячий, которого все знали в околотке. Василий Данилов, узнавши, кто он, подошел к нему и объявил свое желание, чтобы для него написать просьбу.

— Отчего не написать? — отвечал ему подьячий.— Можно, только надобно прежде поднести чарочку и блинцами покормить.

Василий Данилов тотчас приказал подать водки и блинов, налил себе и собеседнику по чарке и объявил, чтобы ему было написано прошение в канцелярию для свидетельства мужеского пола.

— Понимаем! — сказал подьячий.— Это дело не легкое для тебя и не такое скорое, чтобы его можно так скоро сделать, как на словах сказать. Ты, чай, крепостной холоп, не так ли?

— Да,— отвечал Василий Данилов.

— Я сразу угадал,— сказал с хвастливым видом подьячий,— я тертый калач! Сейчас смекну, кто только подойдет ко мне. Ты хочешь от своих господ тайком в царскую службу уйти. Оно, точно, законом дозволяется, и никто за это в суд потянуть тебя не посмеет, и поэтому сочинять, и писать, и набело переписывать такие прошения запрета нет, и твоим господам как бы ни досадно было, а прицепиться ко мне за то они не могут, зачем-де написал!.. А вот что только: коли узнают они, что ты вот собираешься подавать такое прошение, так они могут поднять против тебя головное дело, объявить, что, примером, ты украл что-нибудь, либо что другое противозаконное, так тебя в канцелярию не примут. А коли уж ты успеешь такое прошение подать и у тебя его примут, тогда уж господа на тебя головного иска не властны подать: хоть и подадут, а уж тебя из службы назад в господское холопство не повернут. Так вот и смекай теперь, в чем тут осторожность великую иметь надлежит: чтобы господа не проведали про твой умысел, и тебя не

накрыли, и не заявили против тебя какого головного дела. Понимаешь?

— Понимаю,— отвечал холуй.

— А коли понимаешь,— продолжал подьячий,— так я тебе скажу, что такое прошение написать стоит три рубля, и коли не дашь, так я писать не стану.

— Дорого, почтенный,— говорит Василий Данилов.— Я человек бедный; у меня столько денег нет. Нельзя ли дешевле? Сделай милосердие, уступи: ей-богу, столько денег нет. Не могу!

— Ну, пожалуй, я тебе сделаю уступку,— сказал подьячий,— дай два рубля!

— Не могу и двух,— сказал Василий Данилов.— Дал бы с радостью, коли бы у меня столько денег было; а то, вот те крест, нету! Возьми четыре гривны!

— Что ты? Четыре гривны! — сказал подьячий.— Вишь какой дешевый! Словно нищему — четыре гривны сулит!

— Что ж,— сказал Василий Данилов,— коли так дорожишься, я и сам напишу, я грамоте учился!

— Учился, да мало, и, верно, недоучился! — возразил подьячий.— Ты думаешь, как склады выучил, так и все можешь читать и писать. Нет, брат, постой. Прошение написать не безделица! При покойном царе новые образцы настали везде, все на иной лад писаться начало. Не знаючи, десять листов орленой бумаги испортишь, а не напишешь; и выйдет, что жалеешь двух рублей, а потратишь больше, чем на четыре. Тут наука хитрая. Десять лет надобно учиться, пока руку набьешь; да и то еще пока ты напишешь, да подашь, а оно выйдет не так, тебя опять заставят писать; ты опять напишешь, а оно снова не так; а тут разнесется слух, дознаются господа твои да на тебя привод затеют. Вот труды твои пропали и дело твое не выгорело!

Вдруг за плечами Василия Данилова раздаются слова: «Ты в приводе. Ты украл деньги у Семена Кривцова!» Оглянулся Василий Данилов. Стоял управитель двора князей Долгоруковых, а с ним было четверо долгоруковских холопов; и два Семена были тут же. Подьячий сейчас встал со своего места и ушел, опасаясь, чтоб его не впутали в начинающееся дело и не поставили свидетелем. Василий Данилов, словно обваренный кипятком, не оправдывался, не защищался и безропотно отдался в руки

холопов, которые, по приказанию управителя, подхватили его под руки. Трактирщик потребовал уплаты за водку и за блины. Василий Данилов машинально совал ему рубль, но Семен Кривцов вырвал из его рук этот рубль и, показывая управителю, произнес: «Ей-богу, мой рубль. Был у меня в кошельке с мелочью. Прикажи, господин, обыскать его — найдешь и мою мелочь: алтынники, гривенники и деньги».

Управитель тотчас приказал холопам сунуть руки в карманы Василия Данилова. Из кармана вытащили мелкие монеты, украденные из кошелька Семена Кривцова.

Улики были достаточны для управителя. Василия Данилова повели двое Семенов за управителем по Охотному ряду к боярскому двору Долгоруковых. Толпы сновавших по Торговой улице с любопытством останавливались и приглядывались, как вели человека под руки. «Татишку, видно, поймали!» — говорили насчет Василия Данилова.

Привели Василия Данилова во двор и ввели в дом к управителю.

— Ты опять за прежнее взялся,— говорил ему управитель,— не покаялся! Мало, видно, тебе в Питере в шкуру задали. В Москве хотел еще прославиться! Да еще замыслил в царскую службу вступать, а от своих бояр отречись. Вот каков ты! Как будто воров в царской службе надобно! Теперь мы тебя уже не будем сечь, не станем ниже бранить, а пошлем на съезжий двор: там пусть с тобой за все расправятся — и за прежнее, и за нынешнее. Ведите его на съезжий двор к капитану Лазареву-Станищеву; отдадите ему мою записку, а в ней напишу я ему, что за гусь к нему присылается; он с ним что надобно учинит. Ты, Семен Кривцов, иди туда же.

Управляющий пошел в дом писать записку, а Василия Данилова оставил на крыльце вместе с холопами, что привели его из трактира. Преступник не говорил ни слова и стоял как вкопанный, повеся голову. Холопы только сторожили, чтоб он не дал тягу, но не озывались к нему. Так прошло несколько минут. Управитель вышел из комнат с написанной бумагой и отдал ее одному из холопов, примолвивши: «Идите!»

И теперь не промолвил ни слова Василий Данилов; повинуясь велению управляющего, он повернулся и сошел с крыльца. Семены вместе с ним пошли. Съезжий двор, куда следовало отвести преступника, находился на Твер-

ской улице, на том месте, где теперь городская часть. Входя на съезжий двор, холопы встретили капитана Лазарева-Станищева: он ходил по двору с коротким чубуком в зубах и пушил за что-то свою команду. Семен Плошкарев подал ему записку своего управителя. Капитан пробежал глазами записку, взглянул значительно на Василия Данилова, не сказал ни слова, махнул рукою, указывая на съезжий дом, а потом снова принялся распекать свою команду. Василия Данилова ввели в просторную избу, уставленную нарами. Она была битком набита народом. Спустя минут пять вошел туда капитан Лазарев-Станищев. Прежде всех обратился он к Василию Данилову. «Ты,— крикнул он, прибавя при этом обычное непечатное словцо,— ведомый неисправимый вор!» И с этими словами Лазарев-Станищев свиснул Василия Данилова кулаком по физиономии так сильно, что холуй не устоял на ногах и опустился на землю. «Ведите его в темную!» — скомандовал капитан своим подчиненным. Полицейские служители схватили преступника, вывели в сени и по лестнице, сходившей вниз, повели в подземелье.

Там, в коридоре, куда никогда не проникал солнечный свет, были устроены небольшие отделения или клетки с лежанками. Сюда сажали таких преступников, с которыми окончательная расправа не производилась на месте; съезжий двор только пересылал их в другое ведомство. Василий Данилов именно был из таких. Управитель дома князей Долгоруковых написал в записке капитану Лазареву-Станищеву, что отправляемый холоп — неисправимый вор, уже несколько раз попадался в татьбе и снова покусился на то же преступление. По приказанию своей госпожи, он предавал преступника государственной власти, как подлежавшего казни, определенной за уголовные преступления. Его следовало наказать кнутом, вырвать ноздри и сослать в Рогервик на каторжную работу. С ним поступили таким образом именно потому, что он замышлял добровольно поступить в солдаты, как дозволено было холопам, не состоящим ни в каком приводе: помещица ничего бы за него не получила и теряла свою собственность, и если уж так, то пусть же строптивый холуй по суду потерпит наказание, хоть хвастать не будет, что провел своих господ и стал от них волен по своему хотению.

XIV

Василия Данилова посадили в одну из клеток подземелья и заперли, оставив в совершенной тьме. Горько заплакал тогда несчастливец о своей горемычной судьбе; ничего ему не удавалось, за что только он ни принимался, что б только он ни затевал! Хотел он как-нибудь у господ в милость войти, к ворожее ходил, не удалось, господа его с той поры только бить пуще начали. Богу он молился, святой Екатерине-великомученице молебен служил, не подал ему бог помощи, не сжалилась над ним святая Екатерина. Хотел он с дьяволом сойтись — и дьявол его надул! Хотел на царскую службу поступить — и тут не удалось. Куда он ни кидался — нигде ему не везло! И горько порыдавши, он наконец растянулся на лежанке, где не было подушки и под голову приходилось подмостить кулак. В таком положении бедный холуй уснул. Тут снится ему: приходит опять дьявол и говорит: «Ты меня кликал, а потом забыл меня и надо мною как будто надругался! Опять стал богу молиться. А бог разве помог тебе? Коли так будешь поступать: то к богу станешь прибегать, то меня кликать начнешь, так выйдет для тебя самое худое. Бог от тебя отступит за то, что ты врага божия кликал, а я, враг божий, тебе не дам помочи за то, что ты богу молишься! А ты коли хочешь, чтоб я помогал тебе, так богу не молись, поклонись мне, меня одного почитай и на меня одного надейся. Так я найду тебе средствие избавить тебя. Я в больнице являлся тебе и говорил — напиши донос на свою госпожу. А ты меня не послушал, вот и опять в беду попался. Подай донос! Объяви здесь, что есть за тобою дело и слово!» Василий Данилов проснулся и под впечатлением ужаса, возбужденного сновидением, стал креститься и говорить молитву. Последние несчастья, постигшие его после призывания дьявола, отбили у него веру в то, что дьявол может ему помочь, а исповедь и епитимия, наложенная на него отцом Андреем, еще более внушили ему расположение к раскаянью пред богом. Он отплевывался и открещивался от мысли опять предаться наставлению дьявола, а такая мысль лезла ему в голову мимо собственной его воли. Он опять заплакал о своей горькой судьбе и, утомившись от плача, опять уснул. Тогда снова привиделось ему во сне: является дьявол и говорит ему: «Что ты бога боишься?

Что ты богу веришь и на бога надеешься? Разве ты ему не молился? Разве он помог тебе? Дурак ты, дурак! Попа Андрея слов испугался. А что тебе его слушать? Просил ты у него денег, разве он дал тебе? Ты не знаешь еще того, что этот поп тайно про тебя сказал управителю, что ты прошение хочешь подавать; это он, поп, тебе всю пакость учинил. Ты, дурак, ему по секрету сказал, а он твой секрет выдал через то, что управитель ему обещал давать подачки, если он станет ему объявлять про его дворню, что кто замышляет и что кто откроет попу на исповеди. У них, у попов, руки загребущие: везде возьмут, где взять удастся. Теперь вот ты через этого попа и в тюрьме сидишь. Не слушай же того, что там тебе этот поп врал, не делай так, как он тебе велел: не молись богу, забудь совсем про бога, что он на свете есть. Мне помолись, мне поклонись! Я тебя из беды выведу, я тебя в люди введу, и станет тебе на свете жить хорошо, только мне угождай. Закричи: «Слово и дело!» — тебя сейчас отсюда выведут, в Тайную поведут, там ты напишешь извет на свою госпожу: хотела, мол, околдовать царицу, приворотный корешок доставала: я, мол, сам слыхал, как она говорила про то с княгинею Федосьею Владимировною.

Опять проснулся Василий и в этот раз уже иначе отнесся к своему видению. «Вот два раза сряду является ко мне дьявол,— думал он,— это неспроста! Что же такое, что грех? Я боялся греха, богу молился, хотел богу угодить, бога о милости к себе просил, а бог мне не пособил. Теперь дьявол набивается. Пусть пособляет! Я сделаю так, как дьявол приказывает».

Василий Данилов долгое время лежал в раздумьи. Сон опять стал клонить его. Но едва только он погрузился в дремоту,— ему еще казалось, что он не спит,— а дьявол опять перед ним и, кажется ему, стоит в человеческом образе и говорит: «Закричи: «Слово и дело!» Эй,— говорю я тебе! — закричи, а как приведут тебя — на госпожу извет напиши. Чего их жалеть, господ этих! Они вашу братью, холопов, не жалеют, так и вы их не жалейте!»

Проснулся Василий Данилов. Троекратное сновидение совершенно перевернуло ему мозг. Теперь уже никто не мог бы убедить несчастного холуя, что явление дьявола было не более как сонная греза. Нет, он крепко верил,

что дьявол три раза приходил к нему и три раза приказывал одно и то же делать для избавления от постигшей его беды. Мрак, посреди которого находился бедный узник, распалял в нем воображение. Если бы Василий Данилов сидел при свете, окружавшие его предметы развлекали бы его думы; но тут, сколько ни открывал он глаза, сколько ни напрягал зрение,— ничего не встречало оно, кроме черной непроницаемой тьмы, и мысль неудержимо неслась туда, куда уже раз была натолкнута. Таким образом, в совершенной уверенности, что к нему приходил дьявол, Василий Данилов решился вполне отдаться под покровительство и руководство этого «господина дьявола»; не размышлял уже более Василий Данилов о том, что за существо этот господин дьявол: коварный ли это враг рода человеческого, как о нем говорят все люди, или это какой-то добрый друг, который хлопочет его, бедняка, вытащить из беды. После долгого раздумья решился Василий Данилов последовать наставлению и, вскочивши с лежанки, начал кричать изо всей силы, чтоб его услышали: «Гей! Ай! Гей!» На крик его, несколько раз повторенный, сторож, приставленный наблюдать над посаженными в подземелье, отпер дверь застенка, где сидел Василий Данилов, протянул вперед руку, державшую свечу в фонаре, и грубо спросил:

— Что орешь?

— Слово и дело! Я знаю слово и дело государево! — произнес Василий Данилов.

— Уже ночь! — сказал сторож.— Утром скажешь капитану, когда прикажет привести тебя к себе.— С этими словами сторож запер дверь.

Василий Данилов опять остался в непроницаемой тьме. Сколько прошло времени после того, он знать не мог, но ему показалось очень долго. Наконец двери его застенка отперлись, вошел сторож с фонарем в руке и сказал:

— Иди за мною!

Вышел Василий Данилов, и как только, повинуясь сторожу, он взошел из подземелья по лестнице в сени, явился капитан Лазарев-Станищев. Не обращаясь ни с одним словом к узнику, он приказал полицейским служителям надеть на узника холщовый мешок; этот мешок покрывал ему голову и весь корпус тела с руками; в мешке сделаны были отверстия для глаз и для дыха-

ния. Когда наряд был окончен, капитан сказал служителям:

— Ведите в Преображенский!

Василия Данилова вывели на улицу. Одевавшие его служители шли подле него так близко, что едва не касались его тела; поодаль от них шло по шести других полицейских солдат с ружьями. Далеко, через всю Москву пришлось вести Василия Данилова; нищие, толпами стоявшие и сидевшие по улицам, вскакивали и убегали от него, даже такие, что прикидывались слепыми, теперь забывали свою роль и бежали опрометью, без опасности на что-нибудь наткнуться и упасть; безногие кидали свои деревяшки и улепетывали так, как будто прежде они были боярскими скороходами; купцы затворялись в своих лавках и шалашах; кто случайно шел напротив него по своему делу, сворачивал и перебегал на другую сторону улицы, а извозчики, шедшие с обозом, завидя вдали белеющее пугало, завертывали свой обоз в другую улицу и делали бесполезный крюк, лишь бы не попасться навстречу страшилищу. Ужасным чудовищем для москвичей было такое явление, хотя не очень редкое в то время. Тот, кого вели по улицам в таком наряде, напоминавшем наряд, в какой облекают приговоренных к повешению, назывался в народе «язык». Все знали, что его ведут в Преображенский приказ, в «бедность», как прозвал народ это страшное судилище, а ведут затем, что он заявил за собою слово и дело государево. Все знали, что такого человека ожидает в приказе пытка, хотя бы он отнюдь не был обвиненный, а обвинял кого-то другого; такой человек на все был готов: уж коли сам полез в такое место, не убоявшись того, что с ним там станется, тому не страшно будет оговорить всякого другого, хоть бы встречного-поперечного, хоть и такого, что его никогда в глаза не видал. После разберут; а пока разберут, все-таки потащат всякого в приказ, на кого только «язык» покажет! Говорили, в приказе делалось так: всякого, кого только туда приводили, был ли он кем другим оговорен, или сам являлся доносчиком на других,— всякого прежде всего непременно секли, не спрашивая ни о чем, а потом уже, когда его высекут, начинали допрашивать; за допросом, если приведенный не показывал себя ни в чем виноватым или путался в своем показании,— предавали его пытке; а про разные роды пыток в Преображенском

приказе ходили такие страшные рассказы, что, слушая их, не только слабонервная женщина могла упасть в обморок, но и у крепкого мужчины поднимались дыбом волосы, когда только слушавший подумает, что с ним может статься то, о чем рассказывают. Эти рассказы были большею частью вымышлены, но иногда совпадали с действительностью, даже нередко случайно. Достоверных известий получить было трудно. Все дела в Преображенском приказе производились и сохранялись в глубочайшей тайне; кто имел счастье выходить оттуда целым, того при выходе обязывали соблюдать молчание насчет того, что с ним во время его пребывания в приказе говорили и делали; каждый, побывавши в этом приказе один раз, боялся попасть туда в другой: это равносильно было — попасть в ад, а нескромному рассказчику попасть в Преображенский приказ в другой раз было как нельзя легче, потому что разглашение государственных тайн считалось тяжелым преступлением, которое судилось в этом приказе. Поэтому слышать на самом деле кому-нибудь от очевидца про то, что делалось в приказе, почти никому не удавалось, хотя хвастливые рассказчики часто уверяли, будто слышали от очевидцев то, о чем сообщали приятелям по секрету.

Говорили даже, что оттуда никто на божий свет не ворочается: большая часть из тех, что туда попадутся, умирает от пыточных мучений или от дурного содержания, а уж коли найдется такой крепкий, что все вынесет и не за что будет приговорить его к смерти, того засаживают навеки в тюрьму. Внутри, в кремлевских башнях, устроены каменные мешки, где человеку невозможно ни прямо стоять, ни сидеть, ни лежать: кругло со всех сторон; вкинут человека в такой мешок и запрут: сиди себе там на корточках, перекачиваясь беспрестанно, выходу оттуда никогда не будет, а сверху будут кидать заключенному по куску хлеба в день, чтоб не пропал с голода. Такие рассказы возбуждали повсеместный ужас, а попасть в Преображенский приказ всякому было возможно, как бы он чист и праведен ни был. Стоило только такому «языку», что вели по улице в холщовом мешке, оговорить кого-нибудь без всякой причины, оговоренному сейчас же надевали такой же мешок и вели в «бедность». Вот оттого-то и бежали по улицам от Василия Данилова, когда его вели в Преображенский приказ.

XV

Привели Василия Данилова в Преображенскую слободу и остановились перед двумя деревянными большими домами, посреди которых были ворота. Полицейские со своим «языком» вошли в просторный двор. В глубине этого двора, за брусяною стеною, виднелись вершины больших деревьев.

Туда направили свой путь полицейские и вошли в калитку. Там был огород. В огороде росли липы, клены, березы; деревья эти были насажены так густо, что закрывали вид вперед. Пошли по этой роще и очутились перед каменным домом; он так неожиданно являлся приходящим, как будто с неба спускался или из-под земли выходил. Дом был в два яруса, оштукатурен белою краскою, покрыт зеленою черепицею. Снаружи он смотрел необыкновенно приветливо. Перед входом в него был разбит цветник, блиставший множеством прекрасных и пахучих цветов. Можно было бы ожидать здесь жилища какого-нибудь добрейшего и гостеприимнейшего хозяина, и никак нельзя было предположить, что здесь то именно страшное место, которого даже название боялись произносить русские люди. Недаром он был тайным судилищем: все в нем было укрыто от взоров толпы, и даже сам он скрывался так, что его никак нельзя было угадать посреди зелени и цветов. У главного входа над дверьми висел в деревянном большом киоте обложенный золотым окладом образ спасителя, при котором теплилась неугасаемая лампада.

Полицейские вошли с Василием Даниловым в большие сени; с первого раза видно было, что сени эти были проходные: прямо против входа, куда вошли полицейские с «языком», на противоположной стороне был другой вход, из полуотворенных дверей которого проникала в сени полоса солнечного света.

Мы не пойдем туда с нашим холуем, потому что его следует нам вести в другое место, но скажем для удовлетворения наших читателей, что там были построены погреба, или выхода, крытые сверху дерном с землею. Это были так называемые «сибирки»: туда засаживали преступников, судимых в Преображенском приказе. Перед сибирками было просторное место, где совершались казни. Так было во время стрелецкого розыска. Но

в описываемое нами время там ничто не говорило о каких-нибудь карах, произведенных недавно; все орудия мучений были убраны и спрятаны в деревянном сарае позади сибирок. Но как герой нашего рассказа сюда не пойдет, то мы не станем распространяться о таинствах этого двора.

Василия Данилова остановили в сенях. Сторож, постоянно находившийся в этих сенях в качестве привратника, подошел к узкой каменной лестнице, ведущей в верхний этаж, и, не входя на лестницу, крикнул: «Слово и дело!» На этот крик сошел с лестницы в сени комиссар в форменном кафтане и сказал: «Князя нет! Уехал к себе на Моховую! Надобно подождать до завтра». Он вынул из кармана связку ключей, отыскал между ними тот, какой ему был нужен в данное время, и отпер им одну из дверей, которых было несколько в сенях. «Сюда!» — сказал он Василию Данилову и впустил его в отпертую дверь, а сам немедленно запер ее на ключ, потом потребовал промеморию от полицейского комиссара, при которой препровождался Василий Данилов, и ушел с полученною бумагою наверх, а через короткое время прислал сверху сторожа: тот принес и отдал полицейским служителям квитанцию в доставлении арестанта. Полицейские ушли восвояси.

Василий Данилов очутился в небольшой комнате, освещенной двумя окнами, снабженными решетками. В этой комнате не на чем было ни сесть, ни лечь. Кирпичный пол комнаты был завален множеством разного сора: видно было сразу, что давно уже никто не подметал этого угла.

Уставший от долгой проходки, Василий Данилов улегся на полу, а когда пришла ночь, заснул с верою и надеждою, что господин дьявол поможет ему по своему обещанию. Утром на другой день, проснувшись, услышал Василий Данилов шаги в сенях. Несколько раз они смолкали, потом снова раздавались. То собирались в приказ служащие на исправление обычной своей должности. Спустя несколько времени отперлась и его комната. Вошло двое сторожей, сняли с него холщовый мешок, которого снять с себя он до сих пор не посмел, вывели в сени и повели по лестнице в верхний этаж.

За столами, покрытыми темно-зеленым сукном, сидели подьячие: канцелярист и копиисты. Тут была канце-

лярия Преображенского приказа. Против входной двери, куда вошел Василий Данилов, была другая дверь: верхняя половина ее состояла из стекол. Из этой двери вышел дьяк Преображенского приказа. Он подозвал к себе приведенного Василия Данилова и спросил:

— Ты человек княгини Анны Петровны Долгоруковой?

Получив утвердительный ответ, дьяк спросил:

— С каким словом и делом озвался ты? На кого?

— На мою госпожу! — отвечал Василий Данилов.

— В каком умысле? — спрашивал дьяк.— Что ты за нею знаешь?

— Намеревалась государыню извести дурным зельем,— отвечал Василий Данилов.

— Отрава? — спросил дьяк, делая серьезное лицо.

— Да,— отвечал Василий Данилов.

— Садись здесь,— сказал дьяк, указывая Василию место за столом.— Ты грамоте умеешь?

— Умею,— был ответ.

— И писать сможешь? — спросил дьяк.

— Смогу,— отвечал Василий Данилов.

— Вот тебе здесь бумага, перья и чернила. Пиши свой извет, в чем твое слово и дело государево. Все пиши, что знаешь, без утайки и без затеи, а лишнего, что к делу не идет, отнюдь не пиши. Слышишь? — прибавил дьяк тоном угрозы.

Дьяк ушел опять в ту дверь, откуда выходил, а Василий Данилов сел на указанное ему место, написал показание и, написавши, произнес: «Я окончил». Дали знать дьяку. Тот вошел снова в канцелярию, просмотрел написанное Василием и сказал:

— Припиши еще со слов моих так: «Сие все извещаю по истине, как перед самим всемогущим богом и страшным судом его, что все написанное здесь я не затеял по злобе или по мщению». Написал?

— Написал,— произнес Василий Данилов.

— Тебя господа часто и больно бивали? — спросил дьяк.

— Бивали часто и больно,— произнес жалобно Василий.

— То-то я вижу, что бивали. Оттого-то и написал ты про свою госпожу такое,— сказал дьяк таким же жалобным голосом, и в этом голосе слышалась насмешка. Дьяк

ушел в дверь со стеклами в покой, где сидел боярин приказа.

Боярином этим был знаменитый в свое время князь Иван Федорович Ромодановский. Это был сын еще более чем он знаменитого князя Федора Юрьевича, которому Петр Великий дал шутовской титул князя-кесаря. Федор Юрьевич представлял лицо государя со всеми наружными признаками царского величия в торжественных сценических действиях, которые так любил устраивать Петр Великий; ту же роль играл Ромодановский и в пиршествах, и в разных церемониях, нередко имевших смысл насмешки над русскою стариною. Где мог являться царь с пышною обстановкою, но без действительной власти, там играл роль царя князь Федор Юрьевич. Настоящий государь проходил государственную службу по всем установленным степеням, заслуживал трудными подвигами чины, а возводим в эти чины был призрачным государем, князем Федором Юрьевичем. Вместе с тем князь Федор Юрьевич в течение двадцати лет был начальником Преображенского приказа и за свою жестокость прозван был «зверем»; сам Петр давал ему это прозвище. При таком качестве князь Федор Юрьевич был большой хлебосол, любитель пиров и забав. После его кончины все права, должности и титулы, по воле государя, перешли к его сыну. Князь Иван Федорович был похож на отца, и Петр, как рассказывали, замечая такое сходство, говаривал: «Князь Федор Юрьевич как будто не умирал!» Но при многих сходствах с родителем князь Иван Федорович представлял и черты, не похожие на характер князя Федора Юрьевича. Князь Иван Федорович, как и отец его, был большой приверженец старых обычаев, и в то же время, подобно своему родителю, был верным и покорным слугою государя, ненавидевшего и разрушавшего строй старых обычаев,— в этом сын походил на отца; но у князя Ивана Федоровича не было, с одной стороны, того отвращения к европейским нововведениям, какое при всяком удобном случае выказывал князь Федор Юрьевич, а с другой — не было у него и той ретивости, с какою покойный родитель его старался охранять царскую особу и честь престола от всяких внутренних супостатов. Никакое царское повеление не заставило бы князя Федора Юрьевича ввести в свой домашний обиход что-нибудь такое, чего не бывало в боярском домостроительстве

с давнего времени; зато уж что бы ни приказал царь ему сделать со всяким другим за приверженность к старым обычаям,— князь Федор Юрьевич исполнит царскую волю без возражения, с усердием. Князь Иван Федорович, напротив, стал допускать в свой домашний обиход много европейского даже без особого царского приказания, единственно в силу повсеместно входивших обычаев: таким образом, князь Федор Юрьевич не пил никакой другой водки, кроме крепчайшей перцовки, которую в большом кубке каждому входящему к нему гостю подносил медведь, нарочно тому выученный; а князь Иван Федорович полюбил польскую старку, причем отцовский медведь не играл уже роли официанта. Князь Иван Федорович, начальствуя Преображенским приказом, хотя и поддерживал пытками и мучительствами страшную славу этого учреждения, но уже не с такою любовью относился к его судебной практике, как родитель. Князь Федор Юрьевич, бывало, с особенным своеобразным злорадством встречал каждого нового преступника; ему было как-то по душе допрашивать, подводить, путать и всячески мучить; когда он лично присутствовал при пытках, как великих, так и малых, всякая доставляла ему, сообразно своему значению, истинное наслаждение.

— Я,— говаривал он,— если какой день никого не помучу, так и не пообедаю со вкусом.

Его домашние и слуги замечали: коли князь весел, шутлив, ест и пьет с аппетитом,— это уж несомненный признак, что в Преображенском приказе был какой-нибудь необычный застенок, либо кого-нибудь долго и крепко пытали, либо разом многих пытали. Князь Иван Федорович такой любви к делам приказа не оказывал. Правда, он никому не давал спуска, когда приходилось пытать, но чаще сам лично не ходил в пыточную, а поручал надзор за работою заплечных мастеров своим подчиненным, да и приливу подсудимых в приказ он не радовался, как его родитель, напротив, был доволен, когда их какой-нибудь день не было. Впрочем, это происходило не оттого, чтоб ему было жалко людей, и не от сострадания к ним не любил он привода новых лиц. Он говорил обыкновенно так: «Черт бы их побрал! Коли б их меньше было, так отдохнуть бы можно было дома».

Князь Иван Федорович любил, подобно своему родителю, пиры, охоту с собаками и соколами и всякие иные

забавы и тратил на это денег больше, чем его покойный родитель, но не вдавался в забавы с таким жаром, как князь Федор Юрьевич. Больше всех пиршеств и забав любил князь Иван Федорович покой и сон. Поесть поплотнее, выпить пообильнее, да потом, после обеда, залечь часа на три спать, а вечером опять поужинать с выпивкою, и потом также улечься на мягких перинах, и спать непробудно до утра — вот для него был верх наслаждения! Он исполнял как возложенные на него царские дела, так и свои, боярские, с отцовскою аккуратностью, но без отцовской живости. На отца он был похож наружностью: такое же кругловидное лицо с выдавшимися вперед скулами, обросшими мясом, тот же средний рост, такая же перевалистая походка, но у него не было тех сверкающих маленьких глаз князя Федора Юрьевича, которые, казалось, прошивали человека насквозь. У князя Ивана Федоровича глаза были заплывшие, ленивые, полусонные.

Боярин, взяв от дьяка показание, посмотрел на него и, отдав снова дьяку, приказал читать перед собою вслух. Дьяк прочитал следующее:

«В нынешнем, 1725 г. в последних числах мая месяца, а которого числа подлинно не упомню, будучи я, Василий Данилов, в доме боярыни моей княгини Анны Петровны Долгоруковой, что в Питербурхе на Васильевском острове, был свидетелем: приехала к той боярыне моей княгине Анне Петровне княгиня Федосья Владимировна Голицына, и сели они на крыльце в красных креслах, а я стоял за дверью в комнате, и оные княгини вели меж себя разговоры, а о чем разговаривали, того не знаю, и в тех разговорах прислышал я, Василий. Говорила княгиня Анна Петровна: пришло-де ко мне из Голенд от сына моего, князя Сергея Петровича, письмо, чтоб я-де оплатила долги его все вдруг или бы дала письмо в долгех его, чтоб заплатить на срок, и тогда-де оттуда скоро выедет, нонешний год, а не заплачу, и ему выехать не пустят, а возьмут под арест. И теперь мне взять негде, только я намерилась, чтоб сыскать такого человека, чтоб достал мне такой корешок, чтоб тем корешком ее величество государыню царицу приворотить, чтоб она, государыня, за моего сына долги заплатила. И после тех слов спустя дни три или четыре,— не помню,— оные две княгини сошедшися, позвала меня моя боярыня принесть

квасу, и я принес квасу и слышал, как княгиня Анна говорила княгине Федосье: «Вот, что мы говорили с тобой про лекарство»,— и из сумочки вынула незнамо какой корешок красный с полвершка, отдала его той княгине Федосье, и княгиня Федосья, посмотревши корешка, отдала его по-прежнему княгине Анне и спросила ее: «Через кого будешь давать?» А княгиня Анна сказала: «Надежа-де у меня есть на одного человека». А на кого у нее надежа, того я не узнал, оттого что она хоть сказала про кого-то княгине Федосье, только я того не услыхал, затем что тихо сказала, и поставил кувшин с квасом, а сам вышел прочь из светлицы».

— Это дело, видимо, пустое!— сказал боярин.— Только и его совсем нельзя оставить. Посечь изветчика, а как после того не снимет с себя своего слова, то списать с его показания копию и послать в Питер к Девиеру; пусть сделает допрос обеим этим княгиням. Позови ко мне изветчика.

Дьяк высунулся из двери и объявил в канцелярии, что боярин зовет к себе на глаза изветчика.

Впустили Василия Данилова. Князь Иван Федорович, не приподнимаясь с своего места, поднял голову, взглянул на вошедшего холуя и снова потупил глаза.

— Ты на своем извете стоять хочешь твердо?

— Твердо,— сказал Василий Данилов.

— Да не по злобе ли ты это затеял? — сказал князь Иван Федорович, не глядя на Василия Данилова.— Подлые люди везде готовы лихое учинить особам знатного шляхетства. Говори по сущей истине: не затейное ли дело твое?

— По истине так было, как я написал,— произнес Василий Данилов.

— Ты из полицейской сюда прислан. Ты в полицейской заявил за собою слово и дело. Как ты попал в полицейскую? — спрашивал боярин.

— Управитель дома княжеского господ моих доставил меня в полицейскую,— отвечал Василий.

— За что? — спросил князь.

— За то, что я хотел подавать прошение в канцелярию для свидетельства мужеского пола душ. Хотел я в царскую службу поступить солдатом,— отвечал Василий Данилов.

— Комиссар полицейский пишет, что тебя за кражу прислали в полицейскую. В какой краже ты уличился? — спрашивал князь.

— Это на меня напрасно взвели. Я ничего не крал в своей жизни ни у своих господ, ни у чужих. Управитель услыхал, что я собираюсь на господ своих доложить. Оттого на меня разозлился. А я, думаючи довести умысел княгинин на государыню, по простоте своей боялся, чтоб меня после не били и затем хотел в солдаты, чтоб господа надо мной уже никакой воли не брали. Моя боярыня проведала, что я слыхал про ее разговоры, и затем напрасно меня в покраже обвинила, велела больно высечь и после того в Москву отправила в свой двор,— рассказывал Василий.

— Ох, не врешь ли ты? — заметил князь.— Сперва ты сказал, что твоя боярыня хочет отравить государыню, а в писанном твоем показании говоришь про какой-то корешок, чтобы государыню на милость к себе приворотить. Вот уж ты и порознился.

— Я,— произнес Василий,— так сказал, думаючи, что отрава с приворотным корнем в одной силе. А что я писал, то все по сущей истине: готов присягу дать.

— Ты дашь присягу,— сказал князь.— Иди сюда.

Он указал на дверь позади себя.

Василий Данилов пошел в эту дверь. Князь Иван Федорович сказал дьяку:

— Учинить ему допрос с невеликим пристрастием. Дать пять ударов кнутом. При допросе будет Шабаев.

Дьяк направился в канцелярию и вызвал оттуда одного канцеляриста.

— Князь велел тебя нарядить к розыску над изветчиком. Пять! И речи его пыточные запишешь ты! — сказал дьяк Шабаеву.

Канцелярист ушел в ту дверь, куда прежде приказано было войти Василию Данилову.

Рядом с комнатою, где обыкновенно сидел начальник Преображенского приказа с товарищами, была довольно просторная комната, где совершались первые пытки, так называемый розыск с невеликим пристрастием. Всяк, кто только приходил в приказ, по своей ли воле, как изветчик, или был туда призываем по начавшемуся делу, непременно должен был побывать в этой комнате. Всякий доносчик, написавши или продиктовавши свое показание,

подвергался там нескольким ударам кнута, после чего должен был или подтвердить прежнее показание, или чем-нибудь дополнить и изменить его. Без этого нельзя было начинать дела. Предполагалось, что донос мог быть ложен, и чтоб узнать, справедлив ли он, нужным считалось пристрастить доносителя. Обыкновенно род первой такой пытки был кнут, и отсюда составилась пословица: «Доносчику первый кнут!» Так буквально исполнялось почти всегда, особенно когда доносчик был из подлых людей; освобождались от этого лица шляхетные, да и то, если они почему-нибудь приобрели к себе доверие и внимание.

В комнате, куда вошел Василий Данилов и куда за ним последовал канцелярист Шабаев, на каменном полу вокруг стен стояли шкафы, там сохранялись разные орудия. Посредине сделана была виска с цепями и веревками вроде качелей. Заплечный мастер в красной рубахе и черном кафтане, надетом сверх этой рубахи, стоял уже там. Он жил в здании приказа и обязан был каждый день утром являться на свою службу в эту комнату и быть всегда готовым к исполнению своей обязанности. Он стоял у самой виски. Близ него на полу лежал кнут, его обычное орудие.

— Скидай кафтан и клади на землю! — сказал Шабаев Василию Данилову.

— Помилуйте! Бога ради, помилуйте! — завопил Василий Данилов.— За что же? Ей-богу, я истинную правду написал, ни в чем не солгал.

— Так вот и надобно узнать: правду ли ты сказал,— возразил ему Шабаев.— Скидай кафтан, говорю я тебе!

— Помилуйте! — вопил Василий Данилов.

— Палач! Сорви с него кафтан! Слушай ты, холоп. Скидай, а то, коли палач сорвет, так и кафтан пропадет: ему достанется! — произнес Шабаев.

— Боже мой! Боже мой! — рыдая говорил Василий.— Да что ж это такое? Били, били господа, и тут еще бить будут!

Он снял с себя кафтан.

— Били, верно, за то, чтоб не воровал,— говорил Шабаев,— да, видно, все мало били, коли нам приходится тебя учить!

Василий Данилов, по приказанию, снял за кафтаном и камзол.

— Спусти рубаху! — сказал ему канцелярист.

Василий Данилов спустил до половины рубаху. На спине открылись рубцы, оставшиеся следами от тех побоев, которые холуй вынес в конюшне княгини на Васильевском острове.

— О, тебя таки учили порядком! — заметил усмехнувшись канцелярист.

— Да еще как! — жалобно проговорил Василий Данилов.— С месяц после того в больнице пролежал!

— И еще, пожалуй, пролежишь,— сказал канцелярист.— Ну, да это твое дело, а не мое. Палач! Вдень ему руки в кольцо и прицепи!

Палач продел обе руки Василия Данилова в висячие медные кольца и прикрепил их крючком, вкидывавшимся в петельку.

— Начинай! — сказал палачу канцелярист.

Палач ударил холуя по спине кнутом, состоявшим из тонкого ремешка, обмазанного смолою.

Василий Данилов жалобно вскрикнул.

— Стоишь ли твердо на своем показании? — спросил его Шабаев.

— Стою! — пролепетал холуй.

— Палач! Еще удар! — сказал канцелярист и после удара спросил: — Стоишь ли на прежнем показании?

— Ох, стою! — вскрикнул Василий Данилов.

Кровь брызнула со спины.

— Палач! Третий удар! — сказал канцелярист.

После третьего удара он снова повторил прежний вопрос пытаемому.

— Батюшки! Помилуйте! — завопил Василий Данилов.— Всю правду скажу!

— Вот оно что! Правдиво говорится: «Кнут не ангел, души не вынет из тела, а правду выжмет!» Сними его, палач! — сказал Шабаев.

Палач освободил руки Василия. Здесь же близ виски стоял стол: на нем была чернильница и бумага. Шабаев сел и спросил Василия Данилова.

— Говори, что изменяешь в первом своем показании.

Василий Данилов, подведенный палачом к столу, сказал:

— Что я написал, будто слышал про разговор княгини Анны с княгинею Федосьею на крыльце, то было так, а что в светлице, то я забыл и теперь припомнил: там не кня-

гиня Федосья была, а колдунья-калмычка, что живет в Татарской слободе и ворожбою занимается. Боярыня моя посылала за нею свою боярскую боярыню Мавру Тимофеевну, и та привела ее в двор ко княгине, и я видал, как эта калмычка ей, княгине, тот корешок подала, а я в те поры приносил кувшин с квасом княгине.

Канцелярист, оставив Василия в пыточной, понес снятое с него показание князю Ивану Федоровичу.

Прочитавши это добавочное показание, князь Иван Федорович сказал:

— Еще три удара.

Канцелярист вошел в пыточную. Василий Данилов с окровавленною спиною стоял, еще не одевшись.

— Привязывай его снова, палач! — сказал Шабаев.

Василий Данилов завопил, зарыдал и упал к ногам канцеляриста.

— Батюшки, светы! Помилосердуйте!

— Что ж? Разве это моя воля? Дурак этакой! — произнес Шабаев и снова приказал палачу привязывать Василия Данилова.

Приказание было исполнено при раздирающих криках и воплях несчастного холуя.

— Начинай, палач! — произнес канцелярист.

Палач дал один удар. Канцелярист спрашивал:

— Стоишь ли на втором показании?

— Стою! — кричал Василий Данилов.

— Стоишь ли на втором показании? — произнес снова канцелярист после того, как, по его приказанию, палач отвесил еще удар.

— Стою на своем! Батюшки, помилосердуйте!

— Палач, стегни его теперь посильнее! — сказал канцелярист.

Палач ударил холуя в третий раз. Кровь полилась ручьем.

— Стоишь ли твердо на своем втором показании? — еще раз провозгласил канцелярист.

— Стою! Батюшки, отцы родные, сжальтесь! — вскрикнул Василий Данилов.

Канцелярист сказал палачу:

— Снимите его с колец. Довольно. А ты можешь теперь одеваться,— прибавил он Василию Данилову и пошел к князю Ивану Федоровичу.

— Остался при втором показании,— сказал Шабаев.

Князь Иван Федорович произнес:

— На поруки выпустить его нельзя, оттого что он в показаниях своих порознился, а в сибирку засадить тоже нельзя, потому что он в приводе по воровству какому-нибудь у нас не был. Заковать его, и послать в Панкратьевскую слободу к посадскому человеку Федьке Зюзе, и приставить к нему караульного, а с его показаний списать копию и послать в Питер с промемориею к Девиеру.

Канцелярист Шабаев ушел в пыточную, отпер один из шкафов, достал оттуда ручные и ножные кандалы и приказал палачу заковать Василия Данилова.

Тяжелые ручные и ножные кандалы запирались висячими замками. Палач исполнил приказание. Тогда Шабаев велел следовать Василию Данилову за собою и вывел его из пыточной другой дверью на внутренний двор приказа, где были построены сибирки. Там же была караульня. Шабаев вызвал двух солдат и приказал им отвести колодника по назначению боярина к Федору Зюзе.

XVI

— Имеете ли вы настолько доверия к вашему покорному и доброжелательному слуге,— начал Девиер, обращаясь к княгине,— что будете откровенно отвечать на вопросы, касающиеся близко к вашему вышереченному делу?

— Конечно,— сказала княгиня.

— Извините и простите,— сказал Девиер,— если я сделаю вам вопрос, который может показаться слишком смелым. Вы изволили сказывать, что говорили о вашем желании просить государыню об уплате долга вашего сына князю Василию Лукичу Долгорукову. Не изволили ли обращаться еще к кому-нибудь иному о том же деле, кроме князя Василия Лукича?

— Нет, граф, ни к кому не обращалась,— сказала княгиня, на которую втайне от такого вопроса находил невольно неопределенный страх.

— Решительно ни к кому? — допрашивал ее Девиер.

— Решительно ни к кому,— произнесла княгиня.

Тогда Девиер покачал головою и начал такую речь:

— Скажите, как люди склонны к выдумкам! Удивительно! Воображаю, как вы изумитесь, услышавши от меня то, что я сообщу вам сейчас под глубоким секретом. Я, впрочем, не стал бы говорить об этом, если бы наперед не испросил вашего разрешения и вы бы не дозволили мне быть с вами вполне откровенным. По этому дозволению, надеюсь, вы не рассердитесь на меня. Представьте, княгиня: говорят, будто ваше сиятельство обращались к какой-то женщине из подлого звания и хлопотали, как бы через нее достать какой-то приворотный корешок и силою того корешка приворожить к себе на милость государыню императрицу, чтобы она заплатила долг вашего сына! Я, разумеется, этой басне ни на минуту не поверил: как таки можно, чтобы такая известная умом и воспитанием госпожа знатного рода стала прибегать к подобным суевериям, свойственным подлому народу! Не изволили слыхать такой плетки про себя, ваше сиятельство?

Девиер, оканчивая свою речь, улыбался, а между тем внимательно всматривался в черты лица княгини, и от его проницательной наблюдательности не ускользнули выступавшие на лице княгини то краска, то бледность.

Но княгиня сдержалась. Теперь только пришла ей в голову мысль, что призыв ее к генерал-полицмейстеру возник по поводу ее сношений с калмычкою, но как Девиер, намекнувши о какой-то женщине из подлого звания, не показал вида, что ему было известно, что это за женщина, то княгиня сочла благоразумным притвориться, что не понимает слов, обращенных к ней, и показала вид, какой обыкновенно показывают люди, когда в первый раз слышат такое, в чем их хотят обличить.

Девиер сказал яснее:

— Говорят, будто ваше сиятельство призывали к себе в дом для этой цели женщину-калмычку, живущую в Татарской слободе и известную в подлом народе своим занятием по части гаданий, ворожбы и всяких волшебствований.

— Ах, граф, я теперь понимаю, что это значит! — сказала тогда княгиня Анна Петровна.— Изволите видеть: был у меня холоп, приставленный мною к моему сыну князю Якову. Он украл сорочку моего сына, а другие слуги донесли мне, что этот мерзавец вор собирался идти к колдунье-калмычке в Татарскую слободу. Я сооб-

разила, что сорочка украдена с той целью, чтобы нести ее к этой колдунье, и послала к ней свою женщину, приказывая позвать ее, эту колдунью, ко мне; я хотела узнать от ней, точно ли у ней сорочка моего сына. Калмычка у меня была и сказала, что холоп мой точно у ней был и приносил сорочку, просил на эту сорочку наколдовать и сделать так, чтобы господин его любил; только калмычка от него той сорочки, говорит, не приняла и от себя его прогнала. Вот за этим делом была у меня эта калмычка. А таких разговоров, чтобы доставать приворотный корешок да этим корешком привораживать к себе в милость государыню, у меня с этой калмычкой не было. Она рассказала мне про моего холопа да и пошла себе. Только я ее и видала. Больше того не видала ни разу и не звала ни за чем. А холопа этого, негодяя, тогда же наказали за то, что к колдунье ходил.

— Как уж там наказали! — произнес добродушно-насмешливым тоном Девиер.— По-дамски наказали. Вот как бы вы его к нам, в нашу канцелярию, прислали, так бы мы его так наказали, что пролежал бы в больнице дней десять.

— Негодяй не покаялся,— рассказывала княгиня,— снова стал воровать; украл у меня образ, да воровство его скоро за ним объявилось; он говорил, что образ этот задал какому-то поповичу-серебряку, а тот попович, когда мы посылали к нему людей, сказал, что никакого образа не брал и моего холопа в глаза не видывал; так я приказала высечь его посильнее и велела отправить его в Москву. А сегодня я получила от моего управляющего из Москвы известие, что этот негодный и там заворовался и управляющий отправил его наказать на съезжий двор, а негодяй, устрашась, видно, полицейских батогов, закричал «слово и дело» и его отвели в Преображенский приказ.

— Вы, княгиня,— говорил ей Девиер,— не извольте ни о чем о таковом беспокоиться. Никакому негодяю веры никакой не дадут. А я вашего сына дело приму к сердцу, как бы своего родного детища, и буду стараться, насколько сил у меня станет. По крайности успею ли я или не успею — то богу известно, но надеюсь, что ваше сиятельство оцените мои старания не по той мере, в какой они будут успешны, а по той, насколько моего благожелательства к вам есть и будет.

Княгиня сказала:

— У меня, граф, слов никак не хватает на благодарность за вашу милость ко мне, бедной вдове. Только я опасаюсь, граф, не повредят ли мне клеветы, которые про меня распустили какие-то шельмы? Я подозреваю, граф, что это все дело этого холопа, про которого я вам докладывала: по злобе на меня за то, что за его дурные дела я велела наказать его, он готов на меня такую небылицу наплесть...

— Я это все понимаю,— сказал Девиер.— Неужели вы думаете, у нас так ведется: коли какой вор затейно на кого-нибудь что выдумает, так по его словам начнут сейчас к честным людям прицепляться? Не первый год, кажется, полицейское дело ведем. Вас смутило то, что вы про себя клеветы услыхали? Понятно! Клеветы такое свойство и такой форс в себе замыкают, что весь свет облетят, а последний о них узнает тот, на кого они были направлены. Не удивительно, что и вы прежде о том ничего не слыхали, что про вас злодеи сочиняли ваши. Я говорю вам, не извольте нимало беспокоиться. Я вас спросил, чтобы знать, откуда все это пошло, а теперь с меня довольно, я знаю. Клеветы на вас не помешают мне вести ваше дело: с меня этого и довольно. А у вас, княгиня,— начал, помолчавши немного, Девиер,— кроме князя Сергея Петровича, что пребывает за границею, еще сколько сыновей?

— При мне живут двое,— отвечала княгиня,— князь Яков Петрович да князь Владимир Петрович. Князь Владимир служит в кавалергардской собственной ее величества государыни императрицы роте.

— А князь Яков Петрович также где-нибудь состоит на службе? — спросил Девиер.

— Нет, граф,— отвечала княгиня.— Этот сын, сама не знаю, как сказать, богом он обижен немного, что ли! Добродушный такой, как ангел, только памяти у него как-то немного. Учили его, учили... он вот, кажись, и прилежно учится и старается, да ничему выучиться не может. Ни к наукам, ни к иностранным диалектам у него нет ни способности, ни большой охоты. Немца и француза нанимали; денег много ухлопали, а все напрасно — никак не выучится! Так и думаю, пусть уж дома сидит, хозяином будет!

— Оно и это дело хорошее,— сказал Девиер.— Однако я так думаю: отчего не попробовать, может быть, к какой-нибудь службе он и пригодится? Много есть таких мест на службе, что большой науки не требуется и дела много не нужно, а все-таки чины получать можно. Теперь уж такой строгости не будет, как при покойнике государе было. Теперь все-таки милостивее и вольготнее станет благородным людям.

Поговоривши еще о том, о другом, об имениях покойного мужа княгини, о ее собственных имениях и о прочем, Девиер узнал вполне сидевшую перед ним госпожу и понял ее настолько, насколько ему нужным казалось понять ее в данное время. Он отпустил ее от себя с новыми увесистыми заверениями в неизменной, всегдашней своей готовности быть по первому ее желанию во всем и везде к ее услугам.

Княгиня, ехавшая к генерал-полицмейстеру с тайною боязнью, возвращалась совершенно очарованная его любезностью и добродушием. Приехавши в свой дом на Воскресенской перспективе, первым делом ее было позвать свою доверенную боярскую боярыню Мавру Тимофеевну и с нею поделиться приятными впечатлениями нового знакомства с человеком, так много обещавшим ей сделать добра. Но каково было удивление княгини Анны Петровны, когда она узнала, что Мавры Тимофеевны нет во дворе, что за несколько минут до возвращения княгини Мавру Тимофеевну увели неизвестно куда двое полицейских служителей. За что и как это произошло, никто из дворни не мог боярыне объяснить. Было дело так: дожидаясь возвращения своей боярыни, Мавра Тимофеевна побежала в людскую избу приказать что-то, и когда вышла из людской с тем, чтоб идти обратно в боярский дом, где постоянно находилась и днем и ночью, вдруг перерезывают ей путь к дому двое полицейских, говорят ей что-то, потом — она идет впереди их к воротам и все трое исчезают из глаз смотревших на эту сцену из окна людской холопов; только это и могли они теперь сообщить своей боярыне о Мавре Тимофеевне!

Княгиня Анна Петровна всплеснула руками, когда услышала такую нежданную весть. Только теперь стало в ее голове проясняться и она уразумевала, что Девиер не ради одной любезности приглашал ее к себе. Есть, конечно, какой-то донос на нее; затевается на ее голову

что-то недоброе, все из-за этого корешка, который хотела она иметь и которого никогда не держала в руках и даже не видала. Что ж это такое? Откуда это? От какого врага тайного? От Васьки? Да, управляющий писал, что Васька на съезжем дворе объявил за собою «слово и дело». Верно, он! Но если это от Васьки, то от кого мог Васька узнать о корешке? От калмычки? Но отчего калмычка не дала ей, боярыне, корешка: стало быть, побоялась? А коли побоялась, то как же не побоится она рассказывать холую? Для чего? Для того ли, чтоб этот холуй донес на боярыню? Так не лучше ли было калмычке донести самой? А может быть, это она и донесла, а на Ваську только подозрение! Может быть, «слово и дело», что объявил за собою Васька, совсем не касаются корешка? Да так, видно, оно и есть! Непременно это дело проклятой этой яги, калмычки! Оттого-то и Мавру Тимофеевну потащили полицейские! Верно, калмычка сказала, что к ней за корешком приходила Мавра Тимофеевна, и теперь Мавру Тимофеевну затем взяли в полицейскую, что там калмычка будет ее уличать. Однако как это калмычка прежде не донесла? Больше месяца тому прошло, ведь за это самой калмычке может достаться: зачем-де прежде не донесла? А Мавра Тимофеевна как-то будет вести себя перед полицейскою властью? Ох, она трусиха, большая трусиха! Верна-то она своей боярыне верна, да глуповата как холопка! Так раздумывала себе княгиня на все лады, силясь понять то, что происходило вокруг нее.

Тем временем Мавра Тимофеевна сидела уже в полицмейстерской канцелярии под замком, а перед вечером позвали ее к генерал-полицмейстеру, который так галантерейно беседовал с ее боярыней. Теперь настал черед и для боярской боярыни.

Когда ее ввели в ту комнату, где незадолго до того Девиер наговорил княгине Анне Петровне столько хороших обещаний, генерал-полицмейстер стоял посреди комнаты, обмерил входившую глазами с головы до ног, потом спросил:

— Тебя посылала твоя боярыня за корешком в Татарскую слободу к колдунье-калмычке?

Такой вопрос сразу ошеломил Мавру Тимофеевну. Он был как нельзя верен: Мавра Тимофеевна сейчас вспомнила, как происходило то, о чем ее спрашивали; ей показалось, что тот, кто ее спрашивает, уже знает,

как происходило дело: это представлялось ей вне всякого сомнения, и теперь запираться и бесполезно и страшно. Второпях, в испуге Мавра Тимофеевна почти против собственной воли произнесла:

— Меня!

Девиер понял, какого рода птичка попалась в его сетку. Он спросил:

— Ты принесла корешок, или калмычка с тобою пришла, или после калмычка принесла?

Тут Мавра Тимофеевна поняла, что генерал-полицмейстер не знает доподлинно, как дело происходило, и она напрасно испугалась и созналась, что ходила за корешком. Мавра Тимофеевна задумала теперь выпутываться из тенет, в которые нечаянно запуталась. Она говорила теперь:

— Ваше сиятельство, я ходила звать калмычку к моей боярыне ради того, что холоп наш Василий Данилов занес к ней сорочку нашего молодого боярина князя Якова Петровича. Я ходила узнать, правда ли это, и позвала ее к своей госпоже, чтоб она сама княгине объяснила; и калмычка со мною пришла к нам и сказала княгине, что Василий точно к ней приносил сорочку, только она той сорочки от него не взяла.

— А потом зачем в другой раз ты к ней ходила? — спрашивал Девиер, догадавшийся по соображениям, что если княгиня имела намерение добыть себе корешок, то не ограничилась одним разом свидания с калмычкою.— А! Зачем в другой раз ходила? Говори правду, я все знаю; сознавайся, а иначе будет худо.

Он так грозно посмотрел на Мавру Тимофеевну, что та обомлела и упала на колени.

— Помилосердуй, батюшка, отец родной, ваше сиятельство! — завопила она.— Мы люди подневольные, должны делать то, что нам господа велят! Разве можем знать мы, что у наших господ на мыслях? Что нам велят, то мы и делаем, куда посылают, мы туда идем!

— Правда, правда твоя, добрая женщина! — сказал Девиер, внезапно изменивши прежний грозный тон речи на ласковый и приветливый.— Вижу тебя с первого раза: ты умная и рассудительная женщина! Конечно, как вашему холопскому званию знать то, что ваши господа затевают? Куда вас посылают, вы туда идете. Скажи же мне без всякой утайки, все скажи! Госпоже своей ты верно

служила, и за это я тебя очень похвалю. Но как над тобой есть госпожа, что может сделать над тобою все, что захочет, так и над твоей госпожой есть такая же госпожа — государыня царица! Знаешь ли ты это?

— Как же, знаю, ваше сиятельство! — сказала Мавра Тимофеевна.

— А коли знаешь,— сказал Девиер,— так и смекни своим умом. Я от царицы приставлен и когда тебя спрашиваю, так не от себя, от ней самой: это все равно как бы сама государыня тебя спрашивала. Говори всю правду: зачем ходила ты от своей госпожи к этой калмычке?

— Я уже сказала, ваше сиятельство, что наш холоп украл у молодого боярина сорочку, говорили, будто он ту сорочку занес к этой колдунье...— начала было Мавра Тимофеевна, но генерал-полицмейстер перебил ее и сказал:

— Это ты первый раз ходила. Да. Я слыхал уже от тебя. Ты мне скажи: зачем в другой-то раз посылали тебя к колдунье?

Девиер с такою твердостью делал свой вопрос и при этом так сморщил брови, что Мавре Тимофеевне опять показалось, что генерал уже знает все и отлыгаться нельзя перед ним. Опять одолел ее страх, и, как всегда бывает с людьми трусливого десятка, она думала поскорее выгородить себя, не заботясь о других. Она произнесла:

— Я не знаю, зачем нужно было моей боярыне эту калмычку. Я, ваше сиятельство, не смела спрашивать свою госпожу об этом.

— Ты уже сказала, что за корешком ходила,— заметил Девиер.

— Я второпях не разобрала, о чем изволите спрашивать, ваше сиятельство,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Когда ты в другой раз ходила к калмычке, что приказывала твоя боярыня сказать ей? — спрашивал Девиер.

— Велела сказать калмычке, чтоб та пришла к ней,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— А больше ничего? — спрашивал Девиер.

— Больше ничего, ваше сиятельство,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— Не говорила разве тебе княгиня, чтоб калмычка принесла ей обещанный корешок? — был дан вопрос.

Мавру Тимофеевну словно кипятком облило. «Он все знает!» — подумала она в страхе и, совершенно смешавшись, говорила:

— Я не знаю, ваше сиятельство, мы люди простые, подневольные, почем нам знать... Может быть, и корешок... я не знаю, ваше сиятельство.

— Я тебя спрашиваю,—продолжал генерал-полицмейстер,— говорила твоя боярыня, чтоб ты сказала калмычке, чтоб она принесла к ней обещанный корешок? Я знаю, что ты женщина подневольная и могла не знать, зачем боярыне твоей нужен корешок, а ты скажи мне только: приказывала тебе княгиня потребовать от калмычки какой-то корешок?

— Я не знаю корешка и не видала,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— Верю, верю, матушка, что ты не видала и не знаешь, что это был за корешок,— сказал Девиер.— Да я тебя не о том спрашиваю: видала ли ты его или знаешь что про него; а я тебя спрашиваю: посылала ли тебя княгиня к калмычке за каким-то корешком?

— Нет, ваше сиятельство, я ходила за сорочкой,— говорила запинаясь Мавра Тимофеевна. И опять стала рассказывать уже прежде сообщенную историю о похищении сорочки Василием Даниловым. Девиер прервал ее:

— Это ты уже говорила. Первый раз ты ходила к калмычке за сорочкой. Это уж мы знаем. Ну, а второй раз зачем ты ходила к ней после того, как она побывала у твоей госпожи?

— Я не могу знать, зачем боярыне нужно ее было,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Ты звать ее ходила к княгине? — спросил Девиер.

— Точно так! — сказала Мавра Тимофеевна.— Я не могу знать господской воли!

— Что ж, колдунья по твоему зову приходила к твоей боярыне? — допрашивал Девиер.

— Нет, не приходила,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— Что она тебе сказала тогда? — говорил Девиер.

— Сказала, что придет,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— И приходила? — произнес допроситель.

— Нет, не приходила,— был ответ.

— Обманула? Сказала придет и не пришла? Так, что ли? — допрашивал Девиер.

— Да,— был ответ.

— А ты к ней снова ходила? — был дан вопрос.

— Ходила,— последовал ответ.

— Зачем? — спрашивал Девиер.

— Чтоб к моей боярыне пришла,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Этот раз она приходила?

— Нет, сказала — не придет!

— Почему сказала — не придет? — был вопрос.

— Не знаю,— последовал ответ.

— А про корешок будто не знаешь? Так-таки будто княгиня ничего тебе про него и не сказала? Говори-ко лучше правду,— спрашивал Девиер.

— Правду говорю вашему сиятельству. Я не знаю. Как мне, холопке, знать госпожи своей мысли, что у ней на уме! — твердила Мавра Тимофеевна.

— Как тебя зовут по имени, по отчеству? — спросил неожиданно Девиер.

— Мавра Тимофеевна,— отвечала женщина.

— Слушай, Мавра Тимофеевна,— сказал Девиер,— я ведь старый воробей — меня ты не проведешь. Я вижу, что ты хочешь от меня отбояриться и отолгаться. Напрасно. Я тебя, Мавра Тимофеевна, всю насквозь вижу. Говори правду, отвечай на мой вопрос прямо, не увертывайся. А не то я прикажу тебя огоньком поджарить!

— Ваше сиятельство! — завопила боярская боярыня.— Помилосердуйте! Чем я виновата! Мы люди подневольные. Разве можем знать мы, холопы, что думают делать наши господа!

— Обдумай, Мавра Тимофеевна,— сказал Девиер,— я даю тебе время. Спустя недолго я опять позову тебя и наперед говорю тебе решительно: если не станешь говорить прямо и давать искренние ответы на мои вопросы, прикажу пытать огнем. Уведите ее! — крикнул Девиер за дверь.

Явились двое полицейских служителей, стоявших наготове за дверьми. Они увели Мавру Тимофеевну и, проведя по коридорам полицейской канцелярии, неведомым никому, кроме тех, которые никогда бы не хотели их ведать, привели в небольшую комнату и оставили одну. Мавра Тимофеевна была как в чаду, вспомнила, что у ней спрашивали, с трудом припоминала, что она отвечала

и поверяла себя, не проговорилась ли она как-нибудь невольно. Ее схватили во дворе княгини совершенно неприготовленную: она не знала, зачем и к кому ведут ее, спрашивала у своих спутников, а те молчали как немые. Все вопросы Девиера посыпались на нее как снег на голову, по русской пословице. Теперь ей дали короткий срок подумать и обещали огненную муку, если она по-прежнему будет запираться и отлынивать от прямых ответов. Стала Мавра Тимофеевна придумывать, как бы ей сочинить такие ответы, чтоб и себя выгородить и госпожу свою не подвести,— и ничего не могла придумать. Страх ожидаемой и обещанной пытки огнем поражал ее и уничтожал в ней всякую способность мыслить и выискивать способы к защите. Ей, однако, не пришло в голову, что она уже сделала неисправимую ошибку, сказавши, что княгиня посылала ее к калмычке в другой и третий раз. По своей простоте она не видала здесь беды, считая долгом только не открыть ничего насчет корешка, которого княгиня добивалась от колдуньи. Неопытная в такого рода допросах, не могла она сообразить, что должно было быть известным Девиеру и что оставалось ему закрытым, и оттого попадалась впросак.

Между тем к Девиеру, тотчас после ухода Мавры Тимофеевны, привели калмычку, которая уже несколько часов сидела взаперти в полицейской канцелярии. Калмычка вошла в кабинет генерал-полицмейстера в страшном испуге. Смертная бледность покрывала ее лицо. Девиер всегда любил принимать искусственные постановки, чтоб сделать внушение на того, кого допрашивал, и всегда делал это, смотря по лицу, которое к нему приводили. На этот раз, когда калмычка входила, Девиер ходил большими шагами по комнате, заложа руки в карманы, как будто что-то обдумывая и показывая вид, будто не замечает никого в то мгновение, как входившая калмычка поклонилась ему. Потом, как будто неожиданно увидя ее, он остановился, прищурился и, направляя к ней шаги, грозно заговорил:

— Ты опять за свои прежние пакости, старая ведьма! Забыла, видно, ты мои слова! Зажили, видно, и следы полицейских батогов на твоей спине! Опять колдовать пустилась!

— Нет, батюшка, ваше сиятельство! — произносила дрожащим голосом колдунья.— Я чувствую и помню

ваши наставления. С той поры как вы запретили, я не занимаюсь этими скверными делами.

— Как не занимаешься,— говорил Девиер.— А к княгине Долгоруковой, Анне Петровне, зачем ходила?

— Ее холуй,— отвечала калмычка,— приходил ко мне и приносил сорочку своего боярина, просил наколдовать на нее, а я не взяла и сказала ему, что этими делами не занимаюсь. А там боярыня как-то узнала про него и прислала за мною спросить, точно ли было так. Я ей сказала, что приходил, мол, приносил сорочку, только я не взяла от него. Вот за этим делом я была у княгини. По ее приказу пришла к ней. Можно сказать, что поневоле. Она боярыня знатная, а я бедная баба, так что, почитай, нищая.

Девиер тогда спросил ее:

— А в другой раз княгиня зачем тебя звала?

Калмычка струсила. Ей показалось, что Девиер знает все; она бы сразу сказала ему теперь всю правду, не пожалела бы княгиню, но тут ей пришло на мысль, если она и скажет, ее не помилуют. Все-таки она будет виновна, зачем тогда не донесла. И калмычка, скоро сообразивши это, отвечала:

— Звали меня к княгине, но я не пошла. Сказала той женщине, что не пойду, незачем-де ходить.

— Смотри! — сказал грозно Девиер.— Если окажется, что ты лжешь, я с тобой так сделаю, что тебе и в голову никогда не приходило.

Он велел увести калмычку.

— Обе эти бабы,— сказал он вошедшему делопроизводителю,— говорят в одно. Видно, что княгиня звала колдунью не один раз, как она в разговоре со мною сказала, только не оказывается, зачем княгиня звала калмычку в другой раз. Обе заявляют они, что в самом деле не знают. Княгинина женщина подозрительно чтоб не знала, а калмычка могла не знать, зачем ее звали, когда не пошла по зову; не пойти же могла действительно, не забывши той порки, какую ей задали прошлого года. Нельзя пытать ни той, ни другой, но отпустить их тоже нельзя, потому что на княгине остается подозрение. Велите их поместить здесь до дальнейшего моего решения.

На другой день после того приехала к Девиеру княгиня Федосья Владимировна Голицына, получившая при-

глашение явиться к особе генерал-полицмейстера. Девиер принял ее в той парадной комнате, где он принимал княгиню Анну Петровну. Эта комната была специально назначена для приема дам и знатных лиц, когда случалось требовать их к генерал-полицмейстеру.

Княгиня Федосья Владимировна была женщина лет сорока, немного ниже ростом в сравнении с княгинею Анною Петровною и толще ее. Она была одета по тогдашней моде: в шелковую робу лилового цвета с фижмами; на груди у нее сияла жирная золотая цепь, на шее богатое жемчужное ожерелье, на голове высился огромный фонтанж. Вступая в комнату, она легко кивнула головою и перекашиваясь обращала голову к Девиеру, когда тот, изгибая свой корпус и расставляя коромыслом руки, подходил к ней с улыбкою.

— Ваше сиятельство! — говорил Девиер.— С природным вашим великодушием простите меня за то, что не приехал к вам, но возымел упование на снисходительность вашу. Я так занят, как вы, княгиня, представить себе затруднитесь. Между тем по делу, к вам, княгиня, лично не относящемуся, необходимым вышло обратиться к вашему сиятельству.

Княгиня отвечала:

— Вы, граф, исполняли и исполняете ваш долг. Я же исполняю свой, являясь по приказанию к генерал-полицмейстеру. Что угодно будет вам от меня?

— Я не смею приказывать не только такому значительному лицу, как вы, княгиня, но и вообще никакой особе шляхетного достоинства. Я могу только просить,— говорил Девиер.

— Вы очень учтивы, граф, паче моего достоинства,— сказала княгиня.— Что угодно? Я стою перед вами, генерал-полицмейстер.

Девиер, поворотившись влево, указал на диван и произнес:

— Я покорнейше прошу вас, княгиня, принять место.

Княгиня уселась. Девиер сел против нее на стул.

— Глубокое уважение как к вам, достопочтенная княгиня, так и к вашему высокоименитому брату, господину фельдмаршалу, а равно и к вашему господину супругу...

Так начал было Девиер, но княгиня перебила его и сказала отрывисто:

— Генерал! Супруга моего в живых нет. Брат мой фельдмаршал не может, надеюсь, быть причастен к тому делу, по которому вы меня вызвали. Я прошу вас, граф, приступите прямо к этому мне не известному делу.

Девиер понял, что княгиня умышленно хочет не допускать его до напрасной риторики и с своей стороны переменил тон. Он спросил ее:

— Вы изволите находиться в дружестве с княгинею Анною Петровною Долгоруковою. Не так ли?

— Не знаю, что вы разумеете под этим словом. Я знакома с нею,— произнесла княгиня.

— Давно ли? — спрашивал Девиер.

— Очень давно, с детства,— сказала княгиня.

— Часто видитесь с нею? — спрашивал Девиер.

— Состоим в хлебосольстве и в свойстве,— отвечала княгиня Федосья Владимировна.

— Говорила ли вам княгиня Анна Петровна о своем намерении приворотить посредством волшебного корешка государыню императрицу? — был вопрос.

— Не говорила,— был ответ.

— У ней, у княгини, есть сын в Голландии, князь Сергей Петрович. Вы его знаете? — сделан был вопрос.

— Знаю,— последовал ответ.

— Мать затруднялась заплатить наделанные им долги и хотела, чтоб государыня за него заплатила, а для этого обращалась к одной женщине из подлого звания, желая достать от ней такой приворотный корешок, чтоб им воздействовать,— говорил генерал-полицмейстер.

— Я этого не слыхала,— произнесла княгиня.

— Княгиня Анна Петровна,— говорил Девиер,— была у меня своею особою и просила меня ходатайствовать перед государынею императрицею, чтоб ее величество всемилостивейше соизволила выплатить долг ее сына из казны. Не говорила ли она вам об этом?

— Не говорила,— отвечала княгиня.

— Странно! — сказал Девиер.— Как это она вам не говорила, когда, по собственным словам вашим, вы друг с другом состоите в свойстве и хлебосольстве!

— Не знаю. Может быть, странно, только она мне о том не говорила,— был ответ.

Девиеру ясно стало, что таким путем он ничего не добьется. Он решился быть еще прямее. Он рассказал ей все, что знал о покраже рубашки князя Якова Петро-

вича, об обращении холопа к колдунье, о призыве княгинею колдуньи к себе и потом сказал:

— Этот холоп в Москве объявил за собою «слово и дело государево» и в Преображенском приказе показал, что княгиня с вышеизъясненною целью искала приворотного корешка. Он говорит, будто подслушал разговор своей боярыни княгини Анны Петровны с вашим сиятельством о таковой материи.

— Я не имела такого разговора с княгинею Анною Петровною,— сказала княгиня Федосья Владимировна.

— Стало быть, холоп сей составил свой донос затейным способом? — заметил Девиер.

— Должно быть, так,— сказала княгиня.

— Ваше сиятельство не слыхали прежде об этом доносе? — спросил генерал-полицмейстер.

— Не слыхала,— ответила княгиня.

— Итак, не смею более беспокоить ваш слух, княгиня, моими речами об этом деле,— сказал Девиер.— Позвольте вам предложить чашку кофе,— прибавил он.

Княгиня сдержанно сказала:

— Если, граф, вы находите, что я более не нужна вам по делу, по которому вы призывали меня, благоволите отпустить меня.

Девиер сказал:

— Не смею ни минуты вас удерживать, княгиня. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас. Я исполнял свой долг.

— А я свой,— сказала княгиня.

— Чтоб соблюсти установленную законом форму,— сказал Девиер,— позвольте на письме представить вам сделанные мною вопросы и написать под ними данные вами ответы, а наконец просить вас подписать оные.

— Исполню все, что считаете необходимым по закону,— отвечала княгиня.

Девиер отошел к другому столу, где лежала бумага и стояла чернильница. Он написал вопросы с ответами и поднес княгине. Она прочитала и подписала.

— Моя жена,— сказал Девиер,— давно горит желанием познакомиться с вашим сиятельством. Не откажите, княгиня, в вашем дозволении приехать к вам с пристойною визитою.

— Если графине то угодно будет, я сочту себе в приятность,— сказала княгиня.

— И мне, княгиня, дозвольте пользоваться честью быть с вами знакомым,— сказал Девиер.

— Как вам будет угодно,— отвечала княгиня.

Девиер проводил княгиню до дверей своей гостиной и, изгибаясь, по своему обычаю сказал:

— Княгиня! Препоручаю себя вашему благосклонному вниманию!

— Граф! Свидетельствую вам мое уважение,— произнесла княгиня и вышла в дверь.

Девиер из этой комнаты отправился в свой кабинет и позвонил, приказывая позвать к себе делопроизводителя.

— Потрудитесь,— сказал генерал-полицмейстер, подавая делопроизводителю бумагу,— списать набело вот эти два показания, списанные мною без вас со слов женщины, крепостной княгини Долгоруковой, и со слов калмычки, и подать им к подписи, если грамоте умеют, а коли не умеют, то подпишите за них сами, согласно их желанию. А вот показание княгини Голицыной, ею подписанное. Затем приобщите их к делу и самое дело при отношении отправьте в Тайную канцелярию к Андрею Ивановичу. И самих этих обеих баб препроводите к нему же в Тайную канцелярию. В отношении пропишите все, что я списал со слов княгини Долгоруковой. При сем сделайте замечание, что, по моему мнению, княгиня эта сильно подозревается в том, что имела замысел достать приворотный корешок с целью приворотить государыню и заставить ее заплатить за ее сына долги. Там, что делать с нею дальше по сему подозрению, то зависит от благоусмотрения Тайной канцелярии. Да сверх того припишите, что по миновении надобности в калмычке, по прикосновенности ее к делу княгини Долгоруковой, оная калмычка имеет быть препровождена паки в генерал-полицмейстерскую канцелярию по подозрению, возникшему о ней в занятиях волшебствами и гаданиями. Извольте еще приготовить отношение в Преображенский приказ, в коем изложите, что холопа Василия Данилова, там содержащегося, надлежит допросить под пристрастием насчет его обращения к колдунье-калмычке с украденною рубашкою своего господина. Все это изготовьте и завтра подайте мне к подписи.

— Слушаю, ваше сиятельство! — почтительно отвечал делопроизводитель.

XVII

Тайная канцелярия считалась тогда в Петропавловской крепости в так называемом тогда гарнизоне. Но собственно это страшное учреждение не имело ни постоянного местопребывания, ни определенных правил делопроизводства, ни руководящих его приговорами законов. Тайной канцелярии как будто не существовало: никто не смел говорить о ней, никто не смел знать ее. А между тем это безгласное, почти неизвестное учреждение было важнее всех коллегий и канцелярий. Тайная канцелярия была раздвоением Преображенского приказа; учреждена была она в Петербурге; Преображенский приказ оставался в Москве и не упразднялся, хотя одинакие дела производились и в этом приказе, и в означенной канцелярии, смотря по удобству, вызываемому местом жительства и положением подсудимых. Начальник Тайной канцелярии, генерал-майор Андрей Иванович Ушаков, жил на Петербургском острове в собственном доме, близ крепости, но проводил много своего времени в гарнизоне или в разъездах по тайным делам. В доме у него для таких тайных дел было два особых покоя, рядом с канцелярскою комнатою, наполненною обыкновенно приказными людьми. Так как дела, производившиеся здесь, были облечены строгим секретом, то попасть туда на службу было нелегко и надобно было для этого иметь сильную протекцию; зато попавшие туда сами были, так сказать, под стражею и под постоянным страхом. Впрочем, их было немного; кроме Андрея Ивановича, число всех не превышало десятка. Комната, служившая помещением Андрея Ивановича во время отправления им своих обязанностей, была снабжена столами, обитыми черною клеенкою, и стульями с красными сафьянными подушками и чрезвычайно широкими спинками. Кроме массивного шкафа с резьбою черного цвета, нескольких гравюр, висевших по стенам, и портретов Петра Великого да императрицы, там не было никаких украшений и мебели. В такой комнате сидели Андрей Иванович Ушаков и граф Антон Мануйлович Девиер. Теперь у них разговор шел о деле княгини Долгоруковой.

— Знаешь что, Антон Мануйлович,— говорил Ушаков,— я просмотрел это долгоруковское дело, что ты прислал ко мне. С твоим мнением я согласен. Скажу тебе

еще более. Я полагаю, оно важнее, чем тебе кажется. Тут, тут неспроста. Конечно, баба эта дурища, и только всего, да мне кажется, через нее мало-помалу можно зацепиться за такие ниточки, что поведут к чему-нибудь дорогому. Впрочем, быть может, я ошибаюсь, но как хорошенько потянуть, так и откроется, что́ оно: стоит ли оно чего или так себе — плевок! Я вот что задумал: попробую начать подкоп вести с дурака сына княгини, Якова: он еще глупее своей матери. Я послал позвать его. Ты мне пособишь, Антон Мануйлович.

— Чем, говори? — сказал Девиер.

— А не больше, как только тем, что посидишь тут со мною, как я заведу дружеские речи с этим дураком,— сказал Ушаков.— Я по твоим следам иду, Антон Мануйлович. Ты обещал его матери содействовать перед государынею, чтоб она получила от ней милость и уплату долга ее сына, а я задумал подобное с сынком ее.

— Как же это? — спросил Девиер.

— Сам увидишь, брат,— сказал Ушаков.— Ты сиди только да слушай.

Среди таких разговоров доложили Андрею Ивановичу, что доставлен по его приказанию сын княгини Долгоруковой.

Вошел князь Яков Петрович, бледный, трепещущий; он оглядывался вокруг себя с испуганным и вместе ужасно глупым видом. Андрей Иванович, переваливаясь своим кругловатым корпусом, шел к нему навстречу. Его толстые губы подернулись приветливою улыбкою; глаза засверкали чрезвычайным добродушием.

— Почтеннейший князь Яков Петрович,— начал Андрей Иванович,— не положи гнева, что я тебя сюда позвал. Ко мне ведь зовут людей по допросам, и потому наше место называется в народе — худое место. Каждый его боится, и отплевывается от него, и открещивается, а кого сюда зовут, тот часто трясется как осиновый лист. А тебя, князек, попросили сюда совсем не по таким материям. Эй! — крикнул Ушаков. Явился лакей. — Водки, вина и закуски. Прежде надобно выпить и червяка заморить, а потом и за дело взяться. Так, Антон Мануйлович? Рекомендую тебе, князек, это мой сердечный друг граф Девиер. Он, впрочем, маменьку твою, князь, хорошо знает и ей большой приятель и протектор. Маменька твоя, чай, говорила тебе о нем?

Подали водки, несколько бутылок вина и разных закусок. Андрей Иванович выпил сам водки, потом пригласил сделать то же гостя. Князь Яков Петрович смутился и остолбенел; он никак не ожидал такого дружелюбного, фамильярного обхождения от господина, которого не знал и не видал никогда близко и о котором не слыхал ничего, кроме страшного. Князь Яков не пил водки, да и не чувствовал никогда желания ее пить, но теперь не осмеливался отговариваться, думая, что это с его стороны будет неуважительно. Он человек еще очень молодой, а перед ним старики и важные сановники. Он выпил рюмку знатного размера и от непривычки поморщился. Андрей Иванович заметил это, засмеялся и сказал:

— Ты, братец, я вижу, еще зелен, неопытен собеседник, не горазд пить. Жаль, что покойник нащ батюшка государь Петр Алексеевич не завербовал тебя в свою веселую всепьянейшую компанию. А то вот ты хоть куда молодец, а для веселой беседы глядишь красной девицей. Пей ты, Антон Мануйлович, ты ведь старый воробей!

Девиер захохотал и выпил рюмку.

Андрей Иванович налил еще себе, выпил, потом налил снова, поднес князю Якову и сказал:

— Выпьем по паре! Знаешь, всякой животины бог сотворил по паре. И человека тоже, мужа и жену сотворил есть. Так пишется в слове божии. Пей, брат князек, не кобенься, пей!

Князь Яков уже опьянел от первой рюмки, не знал, что с ним делается, не понимал, куда и зачем он попал, и машинально пропустил в горло другую красоулю, такую же, как первая.

— Да он молодец! Ей-ей, молодец! Право, молодец! Смотри, Антон Мануйлович, наш, наш! — говорил Ушаков.

При этом он дружески трепал князя Якова по плечу. Осмелился князь Яков и стал закусывать. Андрей Иванович и Антон Мануйлович также закусывали.

— Ну, теперь приступим к делу. Сядемте, господа. Не знашь ты, конечно, князь Яков Петрович,— начал Андрей Иванович,— зачем я пригласил тебя сегодня. А я вот зачем пригласил тебя: хочу я предложить тебе службу у нас в Тайной канцелярии. Прежде, разумеется, надлежит твое желание знать и твое согласие иметь.

Тогда я войду с докладом к ее величеству о твоем определении.

— А согласись, Андрей Иванович,— говорил Девиер,— ведь это я тебя навел на сию благую мысль. Мне первому князь должен быть благодарен.

— Неправда, неправда! Не он! — говорил Ушаков.— Не хвастай, Антон Мануйлович. Ты и не знал про него путным способом. Начал ты говорить мне про его матушку, стал со мною советоваться, как бы дело ее довести до царицы, а я как услыхал, да говорю: «Э, да это та госпожа, у которой сын большой умница!» Ты спрашиваешь: «Какой?» А я говорю: «Как же! Князь Яков Петрович, всем известный». А ты, брат, видно-то мало и знал про него. А теперь на себя берешь! Не хвастай, не хвастай! Вот и видна сейчас иноземная натура, французская; или то бишь: ты ведь, кажется, испанец происхождением? Так, кажется?

— Какой я иноземец? — говорил Девиер.— Не испанец был мой отец, а португалец, только я с малых лет возраста говорил по-французски и на родине моего батюшки никогда не бывал. А потом, как увидал меня государь Петр Алексеевич, я поступил в русскую службу и так обрусел за тридцать лет, что теперь, чаю, никто не узнает, что я по роду не русский. Совсем как есть русский человек! Об заклад побьюсь с кем хочешь — никто не признает во мне теперь иноземца!

— Как же, как же! Держи карман пошире! — говорил Андрей Иванович.— Это тебе по твоему иноземству так показывается, а коренной русак сразу увидит, что ты заморская птица.

— Нет! Нет! Это меня ты нарочно дразнишь,— говорил Девиер.— У меня чисто русская душа: сам царь-покойник то мне говаривал не раз.

— Про то спорить я не стану,— сказал Ушаков.— А все-таки не ты мне подал мысль позвать к себе князя Якова Петровича, а я сам. Князь Яков Петрович! Будем, дружище, служить вместе. Я вот как тебя от души полюбил. Сам не знаю за что. Верно, оттого, что слыхал про тебя, что ты больно умный человек. Говори, согласен ли служить у нас в Тайной канцелярии.

— Я готов служить ее величеству государыне, где ей будет угодно приказать,— отвечал князь Яков.

— Так и следует истинно русскому человеку,— сказал

Андрей Иванович.— Ну что, Антон Мануйлович, не умный разве ответ? Я ж говорю, что это такой молодец: что ни слово скажет, словно рублем подарит. Умен, умен наш князь!

При этом Андрей Иванович, сидя против князя Якова, взял его за обе руки, а князь осклабился и представлял из себя преглупую фигуру.

— Я уверен, что из тебя, мой дорогой княжище, что-то необыкновенное выйдет,— продолжал Ушаков.— Я прочу тебя на свое место. Ты, брат, заменишь меня. С твоим необыкновенным умом дойти до того недолго. Сам поведу тебя к государыне и представлю. Ты ей очень понравишься своим умом. А дело скоро уразумеешь, на то я надеюсь.

— При ваших наставлениях...— говорил князь Яков. Он хотел еще что-то проговорить, да язык не повертывался, а мозг не шевелился, потому что был отуманен выпитою водкою.

— А вот наш общий друг Антон Мануйлович,— начал Ушаков,— старается пред государыней об деле вашей почтенной маменьки. Да маленькая неосторожность вашей маменьки его приостановила, а то бы дело уж и выгорело. Антон Мануйлович, говорить князю, что ли?

— Говори, он ведь свой,— сказал Девиер.

— Всем теперь нам свой! — произнес с видом торжества Ушаков.— Граф Антон Мануйлович хлопочет, как бы так устроить, чтоб государыня заплатила из казны долг вашего братца князя Сергея Петровича, что в текущее время находится в Голендерской земле. И вдруг что же? Что бы вы думали! Слышит граф отовсюду, что ваша маменька заранее наговорила всем про то, что надеется от государыни такой к себе милости. Ужасно неосторожно! Ну как не понимать, что про такие замыслы надобно секрет держать большой, а не публиковать преждевременно. Не можете ли вы, князь, догадаться, каким это путем всякая сволочь знает про такое желание вашей маменьки?

— Какое? — спрашивает князь Яков.— О чем?

— Да о том,— сказал Девиер,— что вашей матушке княгине Анне Петровне хотелось бы, когда б императрица заплатила долги ее старшего сына, братца вашего, князь Яков Петрович. Я узнал наверное, что она говорила про то князю Василию Лукичу Долгорукову. Это верно. Но, видно, и кроме него кому-нибудь она говорила и об-

ращалась либо у себя в доме как-нибудь невзначай проговорилась.

— Не знаю, граф,— сказал князь Яков Петрович.

— Не знаете? — подхватил Ушаков.— Кому ж знать больше вас то, что у вас в доме деется? Вы очень умны, князь, да ведь и я не дурак! Я вижу, вы, князь, осторожность соблюдаете, боитесь нас, я вижу. Только напрасно: поберегите эту осторожность на другие случаи. Мы свои. В целой России у вашей семьи нет таких друзей, как мы двое. Поверьте, князь, это так. Мы оба хотим пользы и вам, и вашей матушке, и всему роду вашему.

— Мне,— говорил Девиер,— сообщил сам князь Василий Лукич, будто матушка ваша приезжала к нему и просила, нельзя ли как-нибудь подействовать на императрицу, чтоб она изволила всемилостивейше выплатить долги князя Сергея Петровича. Да ему же сказала в разговоре: вот, говорит, как бы достать такой приворотный корешок, чтобы царицу на милость к себе и к своей семье приворожить. Слыхала-де, что есть такой корешок! Говорил про матушку вашу это князь Василий Лукич, а сам смеялся: эдакое, замечает, суеверие! Как бы только от одного князя слыхал я такие речи, так это бы еще ничего: он все-таки для вас для всех свой человек. А вот дурно, что то же почти я слыхал от других, болтают везде, что княгиня Анна Петровна Долгорукова волшебного корешка ищет, чтоб им околдовать государыню, так что я теперь и государыне представить об ее деле не решаюсь; боюсь, как бы до государыни не дошли эти толки. Оно, конечно, беды от того вашей матушке не будет, но она сделается смешною, и государыне, знаете, неловко будет говорить.

— Уж, верно,— сказал Ушаков,— у маменьки вашей со всяким только и разговоров, что о своем милом Сереже, как бы его высвободить от долгов. Ведь правда, князь?

— Она точно часто говорит об этом,— сказал князь Яков Петрович, который, опьянев, совершенно верил, что с ним сидят его вернейшие друзья, говорят с ним искренно и бояться их нечего.— И о том,— продолжал он,— часто матушка говорила, как бы денег достать от государыни.

— А с кем она толковала об этом? — спросил Ушаков.

— Да почти со всяким, кто к нам приедет,— отвечал князь Яков Петрович.

— И надеялась более всего на калмычку, что живет в Татарской слободе,— подхватил Девиер.

— Это какая же? — говорил князь Яков.— Уж не та ли, что к ней носил мою сорочку мой холоп Васька?

— Именно, именно! — говорил с живостью Девиер.— Та самая. После того, как сорочку вашу отыскивали, княгиня, ваша матушка, призывала ее опять к себе и просила у ней приворотного корешка на царицу, так везде рассказывают.

— Матушка точно говорила,— сказал, глупо улыбаясь, князь Яков,— у этой калмычки есть-де корешок такой, как бы им только дотронуться до государыни, так всякие милости можно бы было от государыни получить и денег много достать. Говорила маменька, обещала-де калмычка достать такой корешок, затребовала за него десять золотых венгерских; матушка деньги послала, калмычка от нее деньги взяла, а корешка, шельма, не принесла — побоялась. Это матушка рассказывала сама нам.

— Вы, князь Яков Петрович,— сказал Девиер, лукаво улыбаясь,— редкого ума человек, хоть и молоды. Я позволю себе вам пророчить в будущем высокое положение. Не правда ли, Андрей Иванович?

— А я разве того тебе не говорил сам прежде? — сказал Андрей Иванович.— Выпьемте еще, господа, по стакану вина. Вот рекомендую, превосходное бургонское — мне прислал в подарок два ведра французский посланник. Редкое, скажу вам, вино, старое. Еще 1700 года, двадцать пять лет стоит. А вот, когда угодно,— венгерское. Это немногим моложе, а все же довольно стоялое. Это 1709 года, ровесник Полтавской битве. Это наше, домашнее. Покойник батюшка выписал его в тот год, как шведа разбили под Полтавой, и не велел трогать пятнадцать лет. Не дождался старик сам попробовать его, а оставил нам в наследство. Кому какое по вкусу. Князь! Какое вы предпочитаете, бургонское или венгерское?

— Мне все равно,— сказал князь,— я не знаток в винах, пью, какое подадут.

— Рекомендую бургонское,— сказал Ушаков,— ну, а про тебя я знаю, что ты любишь то же вино.

Он налил обоим гостям по стакану бургонского, а себе третий стакан. Все трое чокнулись и выпили. Ушаков

вышел из комнаты и через несколько минут воротился опять.

— Завтрашний день,— говорил он,— я приготовлю о поступлении вашем в нашу Тайную канцелярию доклад государыне. Через два либо три дня, князь, вы вступите в исполнение ваших новых обязанностей.

— О, из вас, князь, выйдет отличный служака!— сказал Девиер.— Поверьте, придет время, когда вы станете первый человек в России. Именно такие и нужны нашему отечеству, как вы.

— И, может быть, кто знает,— прибавил Ушаков,— придется и нам, старикам, заискивать у тебя протекции. А?

— Как можно! — конфузливо произнес князь Яков Петрович.

— А вот у нас на первых порах есть казусное дело. И ты, князь, своим умом пособишь нам,— сказал Ушаков.

— О каком деле изволите говорить? — спросил князь Яков Петрович.

— Сегодня нельзя открыть,— отвечал Ушаков.— Когда станешь формально у нас на службе, сам все узнаешь. Наши дела ведь зело секретны. Никто про них не ведает; самые фельдмаршалы к нам в секрет не допускаются. Светлейший Меншиков, каков ни есть, а к нам своего носа всунуть не посмеет. Сильнее нашего места нет. Так-то! А ты вот, князь, хоть и молод и не служил еще, да начнешь свою службу в таком важнейшем месте. Что думаешь? Не станут тебе все сверстники твои завидовать?

Князь Яков Петрович, принимая за чистую монету все, что ему говорили, приходил в неописанный восторг от удовольствия скоро увидеть себя вознесенным на такую высоту. Он воображал радость матери своей, когда она от него услышит, каких друзей послал ему бог и в какой чести он будет находиться на служебном поприще. Неоднократно мать журила его за лень и беспечность, поставляла в пример многих, равных ему по летам и по происхождению, умевших занять видное положение в обществе, и жалела, что бог послал ей такого сына, с которым неловко показаться в люди: теперь-то он покажет, что маменька ошиблась в нем, теперь-то он составит славу своего рода и маменька станет перед всеми гордиться таким детищем.

— Покамест,— сказал Ушаков,— мы покажем тебе, наш дорогой князюшка, кое-какие любопытные тайны нашей канцелярии. Никому чужому они не показываются, а тебе все можно, потому что ты уже наш, хоть еще не совсем, да все уж не чужой нам! Пойдем, князюшка, с нами!

Ушаков взял князя Якова под руку. Князь, пьяный, с трудом волочил ноги. Они вышли из комнаты, в которой сидели за закускою, и пошли по коридору. Прошедши немного, Ушаков отворил двери. Они вошли в большую комнату, освещенную большим четвероугольным окном; за ними сзади следовал Девиер.

Сделавши несколько шагов вперед вместе со своим путеводителем, князь Яков очутился внезапно лицом к лицу перед своею матерью.

Княгиня стояла на возвышении, поднимавшемся на вершок от пола. Сзади ее стоял солдат, по-видимому, сопровождавший ее, а далее была дверь, возле которой стояла неизвестная женщина. Лицо княгини было бледно и носило выражение испуга; короткие волосы в беспорядке; на ней не было парика; платье на ней было утреннее; казалось, она была только что поднята с постели и не успела ни прилично одеться, ни причесаться.

Князь Яков Петрович, увидя так неожиданно мать свою, отшатнулся и стоял, разинув рот и выпуча глаза. Его собеседники вдруг изменили тон и уже были не те добродушные старички, что так отечески ласкали молодого человека и сулили ему новое неведомое счастье в служебном мире, в который намеревались по своему дружескому расположению ввести его. Ушаков принял величественную постать, на лице отпечатлелось что-то необыкновенно важное и суровое. Он говорил:

— Госпожа княгиня Анна Петровна Долгорукова! Собственный сын ваш князь Яков Петрович показывает, что вы просили калмычку, живущую в Татарской слободе и занимающуюся разными волшебствами и тому подобными суевериями, достать вам приворотный корешок, которым бы вы могли приворотить к себе в милость государыню императрицу с целью побудить ее заплатить долги за вашего сына, князя Сергея Долгорукова, находящегося в чужих краях. Он, сын ваш, князь Яков, утверждает, что вы для того послали означенной калмычке, по ее требованию, десять венгерских червонцев, но кал-

мычка, взявши ваши червонцы, желаемого вами корешка не доставила, и вы от того сильно досадовали. Признаете ли справедливость такого показания?

Княгиня выслушала такую речь с возрастающим смущением, закусывая губы, несколько раз отдергивала голову назад, бросала гневные взгляды на сына, оглядывалась вокруг, словно зверь, застигнутый псами, и по окончании речи Ушакова сказала, обращая слово свое к сыну.

— Неужели ты это все на меня насказал, Яков?

— Я ничего... Я только так...— отвечал князь Яков,— они меня спрашивали о калмычке, я только сказал насчет сорочки...

— Вы, князь,— сказал строгим тоном Ушаков,— говорили не мне наедине, говорили при свидетеле, при графе Антоне Мануйловиче, у меня в кабинете. Не извольте отнекиваться. Что говорили вы нам двоим, то извольте повторить здесь при вашей матери. Первое показание с вас снято. Теперь, на очной ставке с лицом, которое вы оговорили, должны вы подтвердить его. Не хитрите, извещайте прямо.

Князь Яков Петрович силился что-то произнести, но только мычал.

— Он дурак! — сказала гневно княгиня.— Он дураком родился, дураком вырос, дураком и в могилу пойдет! А вы, господа, рады тому, что поймали дурака да напоили его. Разве я не вижу, что он пьян? Он у меня под страхом жил, вина не то что не пил, даже и не видел. Не мудрено, что с одной рюмки одурел и занес чепуху на родную мать!

— Княгиня! — вскрикнул Ушаков, топнувши ногою.— Вы забываетесь; не знаете разве, где вы находитесь?

— Ваше превосходительство, генерал-майор! — сказала княгиня.— Извольте допрашивать меня по закону, а вы наводите на меня собственных моих детей, да еще подпаиваете!

— Княгиня! — отвечал Ушаков.— Я закон знаю лучше вас. Учить меня вам не приходится. Отвечайте на мои вопросы, а не учите меня. Вы слышали, я вам сообщил, что сын ваш показывает против вас. Извольте сказать: признаете ли справедливым его показание? Сознаетесь ли в том, в чем вас обвиняют?

— Я не слыхала, что сын мой говорил против меня, против своей матери,— сказала княгиня.— Я от сына

слышала только лепет какой-то, а не речи. Пусть твердым голосом скажет. Яков, слышишь меня? Ты доносишь на свою мать. Говори свой донос, коли у тебя нет стыда.

— Я ничего... я не говорю...— лепетал Яков, и, превозмогая самого себя, обернулся к Ушакову и сказал:

— Ваше превосходительство, не извольте верить тому, что от меня слышали в кабинете. Я выпил лишнее и наболтал вздор. Сам не знаю, что я говорил пьяный. От всего отрекаюсь. Не надобно мне и службы вашей, что вы обещали. Я на мать свою не доносчик.

— Ты,— сказал ему Ушаков,— уже все сказал, и назад нельзя поворачиваться. Хоть бы ты одному мне наедине открылся, и тогда речи твои силу имели бы, оттого что я доверенный человек моей государыни, и коли тебя спрашиваю, так это все едино, что государыня бы тебя спрашивала своею особою, а с высочайшим лицом нельзя так дурить, что сказал, а после отказался. За это с тебя со спины кожу снимут. Ты же вспомни, разве наедине мне говорил? Вот свидетель Антон Мануйлович, также другой доверенный от государыни.

— Помилуйте! — вопил князь Яков Петрович.— Господа! Пощадите! Я ничего не знаю; на мать свою я не доносчик!

— Я тебя сейчас велю кнутом вздуть! Ты у меня заговоришь и всю правду скажешь,— заревел Ушаков, топая ногами. Это он делал умышленно, чтоб внушать страх допрашиваемым. Княгиня, услыхавши такие угрозы, расточаемые ее сыну, пришла в ужас и вскрикнула. Ушаков принял спокойный вид и сказал князю Якову: — Пошел вон, дурак.

Несчастный князь Яков повиновался и оборотился к двери, откуда в это время выглянуло двое солдат.

— Уведите его под караул! — сказал Ушаков.

Князя Якова Петровича посадили в запертой комнате под стражею. Ушаков, выгнавши его, обратился к княгине:

— Извольте сказать мне положительно. Сознаетесь ли в том, что против вас свидетельствовано?

— Я подписала, что ко мне приносили от графа Девиера. Там были мои ответы на вопросы, что он делал мне у себя в генерал-полицмейстерской канцелярии,— отвечала княгиня.

— Но потом сын ваш показал на вас? — спрашивал Ушаков.

— Я не слыхала от него никакого показания,— отвечала княгиня.

— Он сконфузился, увидя вас. Но прежде все положительно изложил мне при свидетеле, при графе Девиере. Я вам передал его показание. Вы слышали; отвечайте же, правду ли он показал? Сознаетесь ли, что поручали калмычке доставить вам волшебный корешок и послали ей десять венгерских золотых? — спрашивал Ушаков.

— Нет, генерал! — отвечала решительным тоном княгиня Анна Петровна.— Это неправда. Этого не было.

— Княгиня! — сказал Ушаков.— Даю вам короткое время на размышление. Обдумайте свое положение. Если вы еще будете упорствовать и запираться, я прибегну ко внушительным средствам.

— Как угодно, генерал! — сказала княгиня.— Я твердо стою на одном. Никакого корешка не требовала, денег не посылала и колдунью к себе за этим делом не призывала.

— Княгиня! — сказал Ушаков.— Последний раз говорю вам. Объявите искренно и откровенно вашей государыне вашу вину и покайтесь в ней добровольно!

— Я ни в чем не виновата! — сказала княгиня.

— Это ваше последнее слово? — спросил Ушаков.

— Да, последнее,— отвечала княгиня.

Ушаков хлопнул ладонями. По этому сигналу помост возвышения, на котором стояла княгиня, опустился вниз. Княгиня очутилась под полом до половины корпуса. Ее руки не могли просунуться вниз и остались распростертыми на помосте. Под полом раздались удары розог. Княгиню секли. Она кричала и вопила:

— Генерал! Пощадите! Что это? Пощадите! Я государыне буду жаловаться. За что мне такое бесчестье? Генерал! Пощадите! Девиер! Заступитесь! Вы обещали... Вы говорили... Пощадите!..

XVIII

Девиер стоял позади Ушакова и смотрел на княгиню, умышленно принимая вид сожаления; он двигал плечами, как будто хотел тем произнести: не моя власть, княгиня, в этом месте. Ушаков подошел к ней как можно ближе и тихим голосом произнес:

— Сознайтесь! Вас сейчас перестанут сечь. А если не сознаетесь, прикажу огнем припекать.

— Сознаюсь! — закричала княгиня.

Ушаков хлопнул в ладоши. Удары перестали раздаваться. Помост возвышения приподнялся. Княгиня очутилась опять всем корпусом в комнате, но не могла устоять и упала на пол; на ногах ее из-под одежды струилась кровь. Силы оставляли княгиню. Лицо ее покрылось смертною бледностью. Она лишилась чувств. Ушаков крикнул женщину, что стояла у дверей; та подошла и поднесла к носу княгини склянку со спиртом. Княгиня пришла в себя. Ушаков сел у столика, стоявшего неподалеку особняком с бумагою и чернильницею. Он стал что-то писать. Княгиня села в кресло, которое придвинула к ней женщина, подававшая спирт. Княгиня всхлипывала и закрывала лицо руками. Девиер стоял неподвижно и продолжал смотреть на княгиню с видом грусти и соболезнования.

Ушаков, окончивши свое писание, подсунул столик к княгине и сказал:

— Подпишите!

Княгиня не полюбопытствовала взглянуть, что ей подавали и машинально подписала свое имя, потом снова начала рыдать и закрывать лицо руками.

— Введите Мавру! — закричал Ушаков.

Ввели Мавру Тимофеевну.

— Мавра! — сказал Ушаков.— Твоя боярыня во всем созналась; поэтому тебе нечего больше запираться и врать. Ты ходила к калмычке звать ее к княгине?

— Ходила,— отвечала Мавра.

— И требовала от ней приворотного корешка? — спросил Ушаков.

Мавра Тимофеевна запнулась, жалобно глянула на свою боярыню, а княгиня, продолжая по-прежнему рыдать, приподняла голову и сказала:

— Мавра Тимофеевна! Я во всем повинилась. Что они хотят, то по-ихнему пусть будет. Мы пропали.

— За приворотным корешком? — спрашивал снова Ушаков.— И принесла калмычке десять венгерских золотых? Так? Говори!

— Так! — сказала печально боярская боярыня.

— А она корешок тебе дала или сама принесла к княгине? — спросил Ушаков.

— Обманула. Обещала принести и не принесла,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— А ты знала, зачем твоей боярыне тот приворотный корешок? — спрашивал Ушаков.

— Нет, не знала. Как можем мы знать, что у наших господ на мыслях? Мы идем, куда нам прикажут. Мы люди подневольные,— говорила Мавра Тимофеевна.

— Надобно теперь эту шельму калмычку уличить,— сказал Девиер.

Ушаков хлопнул в ладоши. Вошел солдат.

— Введите калмычку! — сказал Ушаков.

Ввели калмычку.

— Ты мерзкая, гнусная баба! — сказал ей Ушаков, сморщив брови.— Ты хочешь от нас отделаться ложью и запирательством! Слушай, что на тебя говорят! Ты знаешь вот эту женщину?

Он указал на Мавру Тимофеевну.

— Знаю,— сказала калмычка.

— Она приносила тебе десять венгерских золотых. Ты их взяла. За что ты их брала? — спрашивал Ушаков.

— Мне принесла их эта женщина от княгини Анны Петровны Долгоруковой, от их княжеской милости.— Она при этих словах указала на княгиню, сидевшую в креслах.— Я женщина хворая, старая, бедная, работать уже нет силушки, только и живу, что милостями господ. Я думала, что княгиня, дай бог ей доброго здоровья, по моей бедности изволила прислать этих десять золотых на прокормление.

— Врешь! — говорил Ушаков.— Врешь! Тебе эти золотые принесены были за корешок, что ты прежде обещала княгине. Ты деньги взяла, а корешка не дала и не принесла сама. Так было, Мавра? — промолвил Ушаков, обратившись к Мавре Тимофеевне.

— Точно так,— отвечала Мавра Тимофеевна.

Калмычка сказала:

— Женщина, что приходила ко мне от княгини и принесла десять червонцев, точно говорила, как бы достать приворотный корешок, неведомо,— для княгини или для кого другого; только я корешка ей не дала оттого, что их сиятельство граф Девиер еще прежде мне суровый запрет положили, чтоб этими делами не заниматься. Извольте спросить эту самую женщину: дала ли я ей корешок, которого она у меня спросила?

— А зачем ты не донесла об этом по начальству? — спросил Ушаков.— Ты знала, на какой конец требуется от тебя корешок? Ты знала об умысле княгини Долгоруковой приворожить государыню? Зачем тотчас не донесла?

— Я не знала о таком умысле,— сказала калмычка.

— Ты врешь, подлая баба! — сказал Ушаков.— Первый раз ты соврала: сказала, что женщина за корешком к тебе не приходила, а как свели тебя с нею да уличили, ты созналась, что она у тебя корешка просила. Знатно и тут, будто не знаешь, на какой конец нужен был корешок, и то все врешь, надеючись, что некому-де уличить тебя. Но мы найдем такие способы, что ты хочешь ли, не хочешь, а правду нам скажешь. Мы тебя сперва попробуем кнутом по спине погладить, а коли этим тебя не доймем, так и огоньком подогреем.

— Ваша воля надо мною, генерал,— сказала калмычка.— Я не знаю, на какой конец хотела достать приворотный корешок эта женщина.

— Позвать заплечных мастеров,— крикнул Ушаков.

Солдат побежал. Ушаков, обращаясь к калмычке, говорил:

— Слушай, глупая ты баба! Ты ведь стара. Который тебе год от рождения?

— Без трех годов семьдесят лет будет,— отвечала калмычка.

— Не выдержишь! Издохнешь! — говорил Ушаков.— Лучше повинись добровольно.

— Во всем воля ваша. Делайте со мной что угодно,— сказала калмычка.

Вошло двое палачей. У одного в руке был кнут, у другого веревка.

— Делайте с этой бабой ваше дело по обычаю!— сказал палачам Ушаков.

Один из палачей стащил с калмычки верхнее платье, потом схватил ее за руки, связал их веревками и втащил калмычку к себе на спину, держа в руках веревку, обвязывавшую ее обе руки. Калмычка, находясь уже на спине палача, закричала:

— Батюшка генерал! Во всем винюсь, что велите, все на себя скажу.

— Лга! Хрупка на расправу,— сказал Ушаков.— Ну что, сознаешься? Знала, зачем княгине нужен был корешок?

— Как приказываете говорить, так и буду! — сказала калмычка.— Знала. Я по совести сказала, как перед богом истинным, что не знала, а ваша милость требуете, чтоб я сказала, что знала, так нечего делать, скажу — знала; все равно как сказала бы, выдержавши пытку.

— Ты писать умеешь? — спросил Ушаков калмычку.

— Не умею,— отвечала та.

— А ты? — спросил Ушаков, обратясь к Мавре Тимофеевне.

— Нет, не умею, батюшка, ваше превосходительство,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— Уведите подсудимых! — сказал Ушаков.

Солдаты увели из залы всех — и княгиню, и Мавру Тимофеевну, и калмычку.

— Ну что? — говорил Ушаков Девиеру.— Похвалишь нас, Антон Мануйлович, али, может быть, за что-нибудь укоришь?

Девиер с видом размышляющего человека сказал:

— С неделю тому назад герцога голштинского министр говорил мне: какой-то философ написал — осуждает пытки, не надобно-де людей пытать, муками-де правды от них не дознаешься: убоясь мучений либо не выдержавши их, иной наплетет на себя невесть что, чего не токмо что не делал, а и в помышлениях у него того не было, а он под пыткою все на себя наговорит. Я вот смотрю сегодня, и слушаю, да и думаю: прав ли, не прав ли тот француз, что так размышляет.

— И как же ты рассуждаешь, Антон Мануйлович, прав он али не прав? — спросил его Ушаков.

— Думаю,— отвечал Девиер,— что частью прав, а частью не прав. Я думаю, что эта княгиня точно замышляла приворотный корешок достать и свою бабу посылала к колдунье; если б не высекли, она бы ни за что не повинилась. А вот что калмычка, так мне сдается, она и впрямь не знала, зачем княгине тот корешок нужен; но, испугавшись моего запрета, корешка не дала; так я думаю — она могла в самом деле не знать об умысле княгини против государыни, а теперь как увидала заплечных мастеров, так испугалась и наговорила на себя, как тебе угодно будет.

— Может быть! — заметил Ушаков.— Да это все равно. Ну, положим, она и не знала и сама на себя наговорила. Что ж за беда? Пропадет она — туда и дорога!

Что жалеть ее — она ведь подлого звания, мало ли таких баб случаем пропадает? Зато самая сущность дела открыта. А без пристрастия и пыток как ты открыл бы ее? Вестимо, никто на себя сам не скажет, коли его не припугнуть. Эти модники, что пишут там в своих книжках, только напрасно духи смущают людские. По старине живали наши деды и прадеды, и пытки у них при розыске бывали. Не без того, что и безвинных замучивали, слова нет, всего бывало; зато и правду узнавали, а без пристрастия, говорю, правды не узнаешь! А этих умников, что выдумывают такое, что пытать ненадобно,— их бы ко мне, так я бы как позвал моих заплечных мастеров, запели бы эти сочинители совсем иные песенки!

XIX

По окончании первого допроса с невеликим пристрастием Василия Данилова отвели, как мы выше сказали, к посадскому человеку Федору Зюзе. Василий Данилов был из таких подсудимых, которых нельзя было ни посадить в сибирку, ни отдать на поруку; таких помещали на время у какого-нибудь слободского домохозяина, и это составляло такую же постойную повинность, как содержание нижних воинских чинов. Хозяин, которому выпадал на долю такой жребий, обязан был поместить у себя в доме колодника и с ним вместе караульного солдата, приставленного беречь колодника. Караульный солдат отдавал хозяину свой солдатский паек на свое прокормление, а приварок полагался хозяйский; приварком назывался труд приготовления кушанья и все принадлежности, как, например, всякие огородные овощи; в скоромные дни хозяева давали солдату и мясо — и оно считалось приварком. На арестанта от казны ничего не выдавалось хозяину. Колодники в России издавна питались мирским подаянием. Хозяева могли давать колоднику есть, но могли и не давать, как и всякий посторонний мог подать колоднику милостыню, но мог и не подать. Колодников, содержавшихся по всякому суду, водили на цепи просить милостыню. Петр Великий запретил было такие вождения, но потом разрешил снова, когда увидал, что прокормление их делается отяготительным для казны. Подсудимых в Преображенском приказе никогда не водили, так как дела, по которым они находились под стражею,

были секретные дела; тех, что сидели в сибирках, кормили на казенное иждивение, но очень скудно и плохо; а те, которым отводилось временное помещение у хозяев слободских, оставались на произвол судьбы, и состояние их было самое плачевное, если они сами не имели настолько средств, чтоб содержать себя, или же их родные и близкие не приносили к ним необходимого. У Василия Данилова не было в Москве ни родни, ни дружбы. Если хозяева из сострадания не дадут ему либо караульный солдат не кинет ему какого-нибудь куска, то хоть с голоду пропадай! И пришлось Василию Данилову пить зело горькую, хоть и последнюю чашу. Посадский человек Федор Зюзя поместил его у себя в чуланчике, устроенном в сенях, отделявших две избы его жилища: черную и светлую. Чуланчик был длиною в две сажени, а шириною в сажень, отделялся от сеней перегородкою с дверью, которая замыкалась, а освещался полусветом, проникавшим из сеней через верх перегородки, не доходившей вплоть до потолка. Если внешняя дверь со двора в сени затворялась, то в чуланчике было совершенно темно. На одной стороне близ стены устроено было из досок место для лежания колоднику, покрытое рогожею; постелью для Василия Данилова служил его собственный зипун и кафтан; на противоположной стороне такое же место из досок назначалось для караульного солдата, который приходил туда только спать, а все остальное время дня проводил в сенях.

Последние кнуты, испробованные на допросе в Преображенском приказе, отозвались Василию Данилову тяжелее, чем та баня, какую с повторениями задавали ему молодые князья Долгоруковы. Битье в Петербурге довело его до болезни, но зато его отправили в госпиталь, где врачи иноземцы приложили ему свое попечение, давали лекарства, держали в чистоте и кормили как следует; теперь он отдан был на попечение Федора Зюзи, а тот, поместивши его в чулане, не обращал на него никакого внимания, да и не был к тому обязан. С первого дня колодник терпел ужасную боль от побоев на спине и от кандалов, которые томили и грызли ему руки и ноги. Целых два дня он ничего не ел и не пил; солдат, входивший к нему, не заговаривал с ним и не отвечал ему на вопросы. На третий день Василий Данилов, терпя возрастающую боль в теле, умолял дать ему воды, и насилу

сжалился над его просьбами караульный и принес ему ковш воды. Вдобавок наступил уже октябрь; в чуланчике было холодно, потому что там не было топки. Только на четвертый день сжалилась над ним хозяйка и послала щей и хлеба, и с тех пор начала давать ему есть каждый день, хотя в небольшом количестве, да и за то считала себя великою благодетельницею и думала, что милостыня ее будет принята богом все равно, как восковая свечка, поставленная перед образом. Но силы Василия Данилова упадали каждый день все более и более; раны, явившиеся на месте побоев, не только не заживали, но разгнивались от неопрятного содержания: их никто не промывал, из них выступала материя, наполнявшая весь чуланчик нестерпимым смрадом. Караульный солдат перестал ложиться в чулане, а постилал себе постель в сенях на полу, но когда входил в чуланчик, то не мог сдержаться и посылал колоднику самые отъявленные ругательства. Солдат не задавал себе такого вопроса: виноват ли этот несчастный, что испускает такой смрад? Сам хозяин Федор Зюзя досадовал, когда этот смрад проникал через перегородку в сени и беспокоил его нос во время проходов из светлицы в черную избу. В порыве досады он даже говорил: «Пойду в приказ, буду боярина молить, чтоб избавил мой дом от такого жильца». Но когда из-за перегородки раздавались болезненные стоны страдальца, жалость невольно заступала место досады в его сердце, и он, вздыхая, говорил: «Хоть бы уж бог сжалился над ним и прибрал его к себе!» Василий Данилов мысленно только и молил бога, чтобы окончил его страдания. Тогда в сердце бедняка зашевелилось глубокое, жгучее раскаяние в прежних содеянных им грехах, особенно в сношении с дьяволом, а он глубоко верил, что дьявол действительно к нему являлся своею особою и подводил его к гибели. Так прошло семнадцать мучительных суток. Страдалец ослабел до того, что не мог сдвинуться с места, и лежал весь в нечистотах, потому что караульный солдат не брал на себя заботы переворачивать его и убирать за ним. Уже Василий Данилов несколько суток ничего не ел, хотя солдат приносил в чулан посылаемую от хозяйки дома пищу и, затыкая нос, ставил ее близ Василия, а сам поскорее торопился выйти из чулана и запирал за собою дверь. Колодник не дотрагивался до этой пищи, потому что не в состоянии был приподняться. Уже и стонал он не так

громко, как прежде. Наконец 23 октября утром, когда караульный солдат вошел посмотреть на него, Василий Данилов слабым, чуть слышным голосом сказал: «Я умру, позовите священника».— «Умрешь, так черту баран будет,— сказал со своим обычным бессердечием солдат,— еще буду я для тебя искать священника!» Но, на счастье Василия Данилова, услыхала эту речь проходившая через сени хозяйка и, когда солдат вышел из чуланчика, сказала ему:

— Нельзя так оставлять колодника. Грешно! Исповедаться и причаститься ему надобно. Поди заяви о том своему начальству, служивый!

И солдату пришло в голову, как бы не отвечать в самом деле перед начальством, если колодник умрет без исповеди и причастия, а между тем откроется, что колодник заявлял желание, чтоб к нему позвали священника. Солдат под влиянием этого страха пошел к караульному дежурному офицеру, капитану Василию Ярыжкину, который, по своей трехдневной очереди, в тот день надзирал за содержимыми в слободе колодниками. Ярыжкин послал того же караульного солдата в приказ словесно довести до сведения князя Ивана Федоровича: не заблагорассудит ли что-нибудь учинить по возникшему казусу.

Князь Иван Федорович только что расположился за своим столиком в приказе, как дьяк известил его, что из Петербургской генерал-полицмейстерской канцелярии прислана промемория по делу о доносе человека князей Долгоруковых на свою госпожу. Оказывается, что этот холоп сам искал для себя и своей корысти помощи той самой колдуньи, в сношениях с коею обвинял свою боярыню княгиню, почему надлежит сделать ему о том допрос с пристрастием.

— Привести его в пыточную,— сказал князь Иван Федорович.— Назначить к допросу Шабаева.

— Ваше сиятельство! — сказал дьяк. — Сие нам уже невозможно. Только что пришел от караульного офицера из слободы солдат, что поставлен на карауле у этого колодника. Он извещает, что колодник заболел опасно и просит священника для исповеди и причащения. И тот же колодник просит для своего недуга снять с него кандалы.

— Нельзя в том отказать никакому злодею,— сказал князь,— самых последних грешников господь призывает к покаянию. Послать к нему отца Петра из Преображенского дворца. И кандалы с колодника снять можно. Только усугубить над ним внимание.

Тотчас в канцелярии был написан ордер попу, отцу Петру, чтобы шел исповедовать колодника. Князь подписал этот ордер.

Пока отец Петр, получив ордер, успел дойти до Панкратьевской слободы, капитан Ярыжкин отправился лично взглянуть на колодника, потребовавшего духовного отца, и когда капитан подходил ко двору Зюзи, его догнал солдат, карауливший Василия Данилова и ворочавшийся тогда из приказа. Он сообщил капитану, что князь дозволил расковать колодника; так, по крайней мере, передано было ему от имени князя. Отперли чуланчик. Ярыжкин был поражен как смрадом, исходившим от разлагавшегося заживо колодника, так и жалким зрелищем, способным растрогать самое жесткое человеческое чувство. Бледный, опухший лежал несчастный с закрытыми глазами; на его грязном белье, превратившемся в кору от засохшей на нем сукровицы, кишели насекомые, терзавшие страдальца. Ноги и руки страшно опухли от кандалов. Близ него стояла пища, еще вчера принесенная и оставшаяся без употребления. За Ярыжкиным вошли хозяева, муж с женою. Караульный офицер приказал немедленно снять с колодника оковы. Федор Зюзя смотрел, насупивши брови, а жена его невольно расплакалась и сказала мужу тихонько:

— Дадим ему, Христа ради, чистое белье, а то у него не в чем и святых тайн принять!

— Что ж, дай! — сказал Зюзя.— Это будет христова милостыня.

И, получивши от мужа разрешение, хозяйка побежала в избу, а оттуда принесла и подала солдату чистое, хотя и дырявое белье.

Не без труда сволокли с колодника его прежнее белье, прилипшее к телу в тех местах, где раны разгноились. Это увеличивало боль, и Василий Данилов стонал и охал. По приказанию хозяйки, солдат обтер колодника намоченною в воде мочалкою и потом надел на него чистое белье.

— К тебе сейчас священник придет,— сказал Ярыжкин.— Можешь ли говорить?

– Могу,— сказал Василий Данилов, которому прикосновение холодной воды как будто поддержало жизненную силу.

Через несколько минут вошел священник, и Ярыжкин приказал всем выйти, оставив в чулане с колодником наедине отца Петра.

XX

Отец Петр был один из так называемых ученых попов: он воспитывался в Славяно-греко-латинской академии и находился уже около двадцати лет в церкви Преображенского дворца. Его нередко посылали исповедовать приговоренных к смерти или измученных пытками, когда от таких пыток угрожал конец. Отец Петр приобрел ту славу, что никакой священник не умел так тронуть преступника и утешить его в последние минуты. Отец Петр был вдовец и бездетен, а потому, не отвлекаясь ничем мирским, как большая часть попов, совершенно предался своему долгу. Многолетняя опытность научила его умению с первого взгляда распознавать, с кем приходится иметь дело и как с кем следует говорить. Таким образом и в этот раз отец Петр, приходя к колоднику, помещенному в доме Федора Зюзи, смекнул, что этот колодник, вероятно, попал в Преображенский приказ с доносом, потому что только таких до поры, до времени помещают у посадских.

— Мир тебе! — сказал отец Петр, входя в чулан и тотчас сел на скамейке, поставленной подле места, на котором лежал больной.— Больно побили? — с тоном соболезнования произнес он потом.

— Больно, батюшка, мне не привыкать быть битому,— проговорил тихо Василий Данилов,— как бы смиловался бог надо мною, чтоб уже больше не били, принял бы меня!

— Все в его святой воле! — сказал священник.— Надобно только сделать так, чтобы хуже не было, когда здесь бить уж не будут. Во грехах покаяться надобно.

— Я великий грешник! — сказал Василий Данилов.— Такой грешник, что никакой милости от бога чаять недостоин.

— Это хорошо, что ты так говоришь, только мало того, чтоб так только сказать; надобно духовному отцу свои

грехи поведать, потом посоветоваться, нельзя ли чем их замолить.

— Ох батюшка,— говорил тоном отчаяния колодник,— мои грехи таковы, что и вымолвить страшно. Я от бога отрекался и дьяволу душу свою предавал.

— Пока еще ты жив — дьявол еще не взял тебя! — сказал священник.— Расскажи все, что с тобой было, только покороче рассказывай: тебе говорить тяжело.

Василий Данилов изложил все, что с ним происходило, начиная с того, как он ходил с рубашкою своего господина к колдунье, чтоб она приворожила господина и стал бы тот к нему милостивее. Он кончил всеми его воображаемыми сношениями с дьяволом. Все рассказал Василий искренно и выказывал при этом полную уверенность, что дьявол являлся ему не только в сонном мечтании, но в человеческом образе наяву.

— А донос на госпожу, что дьявол тебя научил подать, был затейный? — спросил священник.

— Нет, батюшка,— сказал колодник,— моя боярыня точно говорила своей приятельнице, как бы такой корешок добыть, чтоб государыню к себе приворожить. Это подлинно.

— Однако ты не знаешь, чтоб такой корешок у ней был? — спросил священник.— Истинно говори, как перед богом!

— Не знаю,— был ответ.

— А показал, что его видел? — спрашивал священник.

— Да, показал,— отвечал Василий.

— Стало быть, неправду показал,— говорил священник.— Ты слыхал только про корешок, а сказал, будто видел его. И это все по злобе. Ну скажи мне, мой друг, истинную правду, как перед самим грозным судьею, перед богом: если б тебя господа не били, подал ли бы ты на свою госпожу донос сей? Подумай и скажи. Если бы господа тебя любили, ласкали, жаловали, ты бы не решился делать им такое зло и подавать на них донос. Я думаю так. Коли б твоя боярыня была к тебе милостива и во всем тебе доверяла, и ты б невзначай услыхал, что она со своею приятельницею такие речи ведет про корешок, ты б не токмо не извещал на нее, а скорее, может быть, сказал бы ей: «Боярыня! Не извольте, мол, говорить таких речей, а то, боже сохрани, как-нибудь

Портрет М. Костомарова. *Фото. 70-і роки XIX ст.*

Chewtchenko, Kostomarow, Koulich et quelques autres furent exilés dans les provinces éloignées de Kiew.

Notre poète devait souffrir plus que ses amis ; il fut condamné au service comme soldat dans un des bataillons qui campaient sur les bords de la mer d'Aral et en vertu d'un ordre spécial on défendit au poète *d'écrire et de dessiner* !

Après neuf ans de cet insupportable exil, Chewtchenko, en même temps que Kostomarow fut amnistié en 1857.

L'époque de 1857-1862 fut celle du libéralisme par lequel l'empereur actuel inaugurait son règne. Les amis de la Restauration de l'Oukraine en profitèrent pour organiser leur travail. On voit paraître à cette époque les ouvrages de poètes oukraïniens ; M. Koulich fait de nouvelles éditions des auteurs nationaux, enfin parait la revue mensuelle « Osnowa». On voit surgir de nouveaux talents, parmi lesquels Mme Markewitch (Marco-Wowtchok) prend la première place. Ses récits respirent une grande affection pour les paysans. Le public russe leur a fait du reste un accueil chaleureux, et on peut dire qu'à la veille de l'émancipation des paysans, cet ouvrage de Mme Markewitch jouait le rôle de « l'Oncle Tom. »

Dans une série de monographies, Kostomarow raconte les épisodes les plus intéressants de l'histoire de l'Oukraine des XVIe et XVIIe siècles. D'autres travaux sont consacrés par cet historien à l'histoire populaire des Nationalités Russes et M. Kostomarow démontre les liens qui existent entre l'histoire de la Russie méridionale et celle des villes et des pays libres de l'ancienne Russie avant la création du centralisme moscovite.

Tous les patriotes oukraïniens, jeunes et vieux, se mettent au travail, on recueille les chants et les dits populaires, on commence les travaux lexiques. Mais cette fois ils dépassent les limites d'un dilettantisme littéraire. Dans ce moment, l'école populaire, les livres scientifiques et populaires font

Сторінка з брошури М. Драгоманова з відкресленнями Карла Маркса про М. Костомарова.

попадетесь!» Ведь так бы ты поступил, если б господа твои были тебе как отцы родные. Уж никак бы не показывал, что сам видел корешок? Так? Говори правду!

— Да,— отвечал болезненно Василий Данилов.

— Стало быть, и выходит, что ты по злобе тот донос учинил, да еще и ложно! — сказал священник.

— Ах, батюшка! — говорил болезненно Василий Данилов.— Если бы вы знали, как они, господа мои, меня били, мучили, как ругались надо мной!

— Ну слушай же,— говорил священник,— ты сознаешься, что грех твой зело велик, что ты от бога отрекался и дьявола призывал на помощь? Сознаешься, говори, как думаешь, велик твой грех али не велик?!

— Ах, как велик, батюшка! — говорил жалобно Василий Данилов.

— Дьяволу ты предавался, дьявол над тобой на этом свете посмеялся! Вот до какой последней гибели довел тебя! Вот что значит духа злобы звать на помощь! — говорил священник.

— Ах, батюшка, батюшка! Велик грех мой, не простит меня бог! Пропащая душа моя! — вопил Василий Данилов.

— Сам отдался дьяволу,— произнес священник,— и будешь ты его, дьявола, достояние после смерти, а смерть от тебя не за горами.

— Что же мне делать, батюшка? Как умилосердить господа? — говорил Василий Данилов.

— Велик твой грех, но божие милосердие еще больше его! Велик твой грех, но велико должно быть и покаяние, которым ты этот грех замолить можешь. Ты прежде каялся духовнику? — спрашивал отец Петр.

— Каялся,— отвечал Василий Данилов.— Мне священник епитимию наложил: целый год в церковь к заутрени ходить. А я не покаялся да стал воровать, а как попался, опять являлся мне дьявол, и я его послушался и донос подал на госпожу. Значит, моя епитимия ни во что!

— Я тебе наложу другую,— сказал отец Петр.— Такой епитимии, чтоб на долгое время нести ее тебе, накладывать невозможно. Я думаю, тебе, может быть, на свете жить недолго. Я наложу на тебя иного рода епитимию. Ты сознался мне, что не видал корешка у своей боярыни и, стало быть, донос твой ложный: отрекись от своего

доноса, объяви, что ты на госпожу свою извещал по единой злобе, неправдою.

— Тогда разве будет мне прощение от бога? — спросил Василий Данилов.

— Будет, полное,— сказал священник.— Ты грамотен?

— Да,— был ответ.

— «Отче наш» знаешь? — спросил отец Петр.

— Знаю,— отвечал Василий.

— Читай,— сказал священник.

Василий Данилов читал:

— «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша...»

— Стой! — сказал отец Петр.— Какие это долги наши перед богом, что в молитве помянул? Чем и как мы это задолжали ему?

— Это наши грехи,— сказал Василий Данилов.— Так объяснял отец Андрей Егорьевского монастыря, у кого я учился.

— Правильно,— сказал отец Петр.— Далее как? «Якоже и мы...»

— «Якоже и мы оставляем должником нашим»,— произнес Василий.

— Видишь! — сказал отец Петр.— Молитву «Отче наш» сам господь бог сложил и велел нам вот так ему молиться. Оставь нам долги наши так, как и мы оставляем долги тем, что нам задолжали. Значит: прости нам, боже, в чем перед тобою согрешили,— за то нам прости, что мы прощаем тех, что против нас согрешили. Вот против тебя согрешили твои господа тем, что немилостиво обходились с тобою, а ты против бога согрешил, что от него отрекался и дьявола, духа злобы, к себе на помощь звал. Он, господь, в святом своем евангелии сказал: коли будете отпускать согрешения людям, так и вам отпустит ваши согрешения отец небесный; а не будете отпускать согрешения людям, так и вам не отпустит согрешений ваших отец небесный. Прости же господам своим все, что они тебе делали, и не чини им зла, а сотвори добро. Господь велит добро творить за сделанное нам зло. Отрекись от своего доноса — и ты сделаешь господам твоим добро. И тогда господь простит тебя за твой тяжкий грех. А коли не сделаешь этого — так не будет тебе милости:

предался ты дьяволу и пойдешь к нему в ад кромешный.

— Батюшка! Батюшка! Я согласен. Я прощаю... я отрекусь! — произнес растроганный страдалец.

— Я позову сюда офицера. При нем скажешь, а он запишет твое показание.

Отец Петр, сказавши эти слова, вышел и потом вошел снова в чуланчик вместе с капитаном Ярыжкиным, а караульный солдат внес в чулан и поставил небольшой столик с чернильницею, пером и листом бумаги.

Ярыжкин сел и со слов колодника, при пояснительном участии отца Петра, написал такое показание:

«Аз дворовый человек княгини Долгоруковой, Василий Данилов, видя смертный час свой и помня страшный суд божий, ради очищения души своей от грехов в том винюсь, что о непристойных словах показал я в Преображенском приказе на помещицу свою княгиню Анну Долгорукову неправду и затейно, никаких непристойных слов от помещицы своей княгини Анны Долгоруковой я, Василий, нигде не слыхал и никакого кореня у ней не видал, также и от княгини вдовы Федосьи Владимировой Голицыной показанных слов будто к словам оной княгини Долгоруковой о лекарстве я, Василий, не слыхал; тем всем оных княгинь поклепал напрасно, также про дворовую женку ее, княгини помещицы моей, Мавру Тимофееву и про калмычку из Татарской слободы вымыслил затейно, а то все затеял я по злобе, понеже была мне от тое помещицы моей, княгини Анны Долгоруковой, изгоня и от сыновей ее Якова и Владимира терпел я большие побои, и будучи я, Василий, в Москве, усмыслил в канцелярию для свидетельства мужеска пола душ подать доношение, чтоб меня, Василия, определили в матросы или солдаты, и как для подачи доношения хотел я нанимать подьячего, и свидевшись с ним в трактире в Охотном ряду, и там взял меня, Василия, человек княгини Анны Долгоруковой, Степан Плошкарев, с товарищи и привел на цепи во двор моей помещицы, а из двора отправили меня на съезжий двор, и я, убоясь над собою розыска, сказал за собою «ее императорского величества слово и дело», и меня повели в Преображенский приказ, и по присылке в тот приказ оные слова на помещицу свою княгиню Анну я, Василий, затеял по дьявольскому на-

ущению, а от человек никто меня к тому не научал ни по засылке и ни по скупу с другими».

Написавши эти слова, Ярыжкин поднес колоднику бумагу и перо. Василий Данилов, приподнятый с своего ложа, дрожащим почерком подписал свое прозвище.

— Теперь,— сказал отец Петр,— оставьте нас.

Ярыжкин и солдат вышли.

— Твой грех прощен от бога! — сказал отец Петр.— Это тебе глаголет моими недостойными устами сам господь! Небо и земля прейдут, но словеса его не прейдут. Он обещает прощение тем, кто прощает своим врагам. Ты простил своим, и бог тебе простил твой тяжкий грех.

Отец Петр прочитал ему разрешительную молитву и причастил святых таин.

— Что ты мне говорил про твои сношения с дьяволом,— сказал поп,— тот страшный грех тебе уже прощен, и я никому про него не скажу, а если бы написал про это в показании, так тебе такая беда пришла бы, что... ну да это... прошло! Господь с тобою!

Священник оставил больного. Караульный офицер представил показание колодника в Преображенский приказ.

Прочитавши поданное, князь Иван Федорович сказал своему дьяку:

— Освободить от ареста колодника и отослать в боярский двор Долгоруковой. А что он там у них в какой-то краже объявился, так пусть о том ведаются сами либо отсылают его куда хотят. Их человек, так пусть с ним делают что им угодно. А в генерал-полицмейстерскую канцелярию послать промеморию с копией его последнего показания.

На следующий день дьяк доложил своему боярину: «Промемория в генерал-полицмейстерскую канцелярию готова. Извольте подписать. А караульный офицер из Панкратьевской слободы сейчас пришел в приказ: извещает, что колодник, что помещен был у Федора Зюзи, сегодня на заре скончался».

— Выдать на покупку гроба и на саван два рубля. Попу отцу Петру сообщить,— приказал князь Иван Федорович.

Тело Василия Данилова, обернутое в саван, было положено в сосновый гроб и опущено в землю на Преображенском кладбище. Отец Петр совершил над ним обряд

в доме Федора Зюзи. Покойника везли на телеге; никто не провожал его, кроме солдата, который должен был следовать за ним по обязанности. Никто не проронил о нем ни слезинки. У него в Москве не было ни родных, ни близких; не было их у него нигде на широкой земле. Грустно прошла его двадцатидвухлетняя жизнь; грустно постигла его кончина. Не могли помянуть его добром все, знавшие его: кража, обманы, побои — вот все, что составляло признаки его земного бытия! А между тем он сделал доброе дело перед смертью — он простил за все пинки и побои, которые приходилось ему переносить, и простил не только пустыми словами, а поступком, которым спасал свою боярыню, не сознававшую в нем никакого человеческого достоинства, спасал и того боярчонка, который безжалостно поругался над ним.

XXI

В доме князей Долгоруковых, находившемся на Воскресенской перспективе, в комнате, которой стены были обиты сафьянными обоями с позолоченными узорами, в высоком кресле белого цвета с золотыми полосками сидела княгиня Анна Петровна. Не более трех часов прошло с того времени, как она, отпущенная на свободу Ушаковым, прибыла в свой дом. Перед ней стоял князь Яков Петрович, повесивши голову, с очень скорбным видом; поодаль от него, у столика с стеклянною доскою, из-под которой выглядывал вышивной рисунок цветного букета, стоял князь Владимир и с выражением досады смотрел на брата.

— Я виноват, маменька,— говорил князь Яков,— простите меня. Сам я не знаю, что говорил, не помню. Они меня поят да поят, а я думаю: «Как не пить? Может, это им в афронт будет». А они мне подливают да меня хвалят — говорят, будто я очень умен, Ушаков обещает определить меня в Тайную канцелярию на службу, уверяет, что с моими способностями я далеко пойду; займешь, говорит, со временем мое место. В милость к царице тебя введу. Я спрашиваю: «За что-де ко мне такая аттенция?» А он отвечает: «За то-де, что ты очень умный человек и на все способный». Я и в самом деле подумал, что он вправду так ко мне говорит и хочет мне добра. А он все подливает да подливает. Тут сам я не знаю, как опьянел,

а что после того говорил, ей-богу, не помню. Убей меня бог, если помню!

— Негодный ты сын! — сказала княгиня.— Да как это язык поворотился у тебя на родную мать свою такое наговорить?

— Да я не помню, говорил ли я им или не говорил,— сказал Яков.

— Как же не говорил? — возражала княгиня.— Когда они знают, что у меня с детьми в семье какие речи держались. Откуда же они узнали про это?

— Маменька! — говорил князь Владимир.— Не сердись на Яшу. Может быть, он и в самом деле вовсе ничего такого не открывал. Его подпоили; он что-нибудь проболтал, а они уж после из его слов выцедили. Так они всегда поступают. Яша прост и добр. Его хитрец всегда проведет; по своей доброте он скажет такое, что другой увидит его насквозь и сам узнает такое, что Яша и не сказывал ему. Поверьте, маменька, так было. Сердиться на него не надобно.

— Ох дети, дети!—говорила княгиня.—Беда мне с вами!

— Беда, слава богу, миновала,— сказал князь Владимир.

— Хорошо, что так случилось,— сказала княгиня.— Нас спасло только то, что этот шельма Васька, подавши донос в Москве, пришел в чувствие и отрекся от своего доноса. Не случись этого, мне пропадать бы неминуемо, да и вам, детям моим, было бы худо! А через что? Через глупость Яшину. Меня княгиня Федосья давно уже учила, как говорить, коли, не дай бог, что станется. Я так и стала, сделала по ее совету. Уперлась-таки да уперлась. Мало того, что обвинить меня не мочно было, еще и милость хотели показать. Девиер горячо взялся было хлопотать у государыни, чтоб изволила заплатить долг Сережин; отпустил он меня так вежливо, так любезно... И дело пошло бы на лад. Как вот, на беду, Ушаков вздумал Яшу кликать к себе. Пронюхали, значит: мать-де умна, ее не проведешь, а сын глуповат; позовем сынка, он выболтается!

— Что об этом толковать? От чего ни случилось, да случилось, а слава тебе господи, что окончилось счастливо,— говорил князь Владимир.

— Да, счастливо! — говорила княгиня.— А срама-то, срама! Разве мало его? Теперь поехать куда-нибудь

в гости, так пальцами указывать станут. А не дай бог узнают еще, что высекли! И боже сохрани!

— А что делать, маменька! Что ж, что высекли? — говорил князь Владимир.— Мало ли кого секли? И на спине светлейшего сколько палок походило! Воля царская. Тут афронта нет никакого.

— Ну, Яша, бог с тобой! Прощаю тебя, ты мой сын, мое дитя, моя кровь!

Яша с чувством поцеловал руку матери.

— Княгиня Федосья Владимировна приехали! — сказал вошедший холоп, и вслед за ним вошла в комнату из зала княгиня Голицына.

— Анюта, ты, слава богу, жива и здорова! — воскликнула княгиня Федосья. Княгиня Анна вскочила, и обе сжимали одна другую крепко в объятиях.

— Вот,— сказала княгиня Федосья,— еще не помню такого радостного дня в своей жизни, как сегодня! Как ты прислала за мною, я так и полетела, и пока доехала до тебя, так показалось ужасть как долго. Ну, голубушка моя, Анюта, рассказывай, что с тобой было, что делалось.

XXII

Княгиня Федосья уселась на диване, окрашенном в такую же белую краску, как и кресло, на котором прежде сидела княгиня Анна, с золотыми полосками и с золотыми барельефами посредине спинки, изображавшими Аполлона и девять муз. Княгиня Анна, как предупредительная хозяйка, подмостила ей под спину бархатную подушку с золотыми вышивками малинового цвета, такого же, каким обит был диван и вся мебель светлицы. Хозяйка села возле нее и начала свою повесть. Когда ее рассказ дошел до того, как ее взяли из дома и привезли в Тайную к Ушакову и там она увидела доносителя на себя, Яшу, княгиня Федосья с видом укора посмотрела на князя Якова и покачала головою. Княгиня Анна говорила:

— Подпоили его, Феня, подпоили! Он вина у меня совсем никогда не пил. А тут, знаешь, видит, важные люди просят его, лебезят около него, он по своей простоте не посмел отказываться, пьет, коли велят, а потом повели его, пьяного, и говорят, что ты, дескать, на мать свою

наговорил! Бедный туда-сюда: «Я не говорил, с чего вы это взяли?» — «Нет,— твердят ему,— ты говорил, нас двое, свидетель есть — отпираться не смей». Он, бедный, и руками и ногами от них отмахивается. Тогда они его прогнали, а я осталась — и вдруг подо мною пол опускается, как будто в какие-то тартарары... руки не идут под пол, а ноги под полом!

— Ай! — воскликнула невольно княгиня Федосья.

— А Ушаков стоит передо мною да говорит: «Сознайтесь, княгиня! Тогда вас сечь не станут». Что ж будешь тут делать? «Я сознаюсь,— говорю,— в чем хотите, сознаюсь, когда бить станут!» Тут привели мою Мавру Тимофеевну. Та, было, стала запираться, а я вижу, что из того ничего не выйдет, говорю ей: «Нечего делать! Сознавайся во всем. Пропали мы все, видно!» Она созналась. Потом меня повели куда-то, я сама не знаю куда, посадили в карету, и отвезли в крепость, и там посадили в комнату с толстыми-толстыми стенами, и заперли. Одно окно, да и то вполовину замазано снаружи, а за окном с наружной стороны железные решетки. Сижу я там и плачу горькими слезами. И вот, Феня, пошли для меня страшные-престрашные дни! Одна, ни души человеческой не вижу и не слышу, только часовой, слышно, топает в коридоре да часы на колокольне выбивают, когда приходит им время. А придут раз в сутки, есть принесут, одно кушанье в оловянной миске поставят да уйдут, что спрошу — не отвечают. А утром женщина придет постель убрать, и та ничего не говорит, знать, запрещено им разговоры вести. И не чаяла я, Феня, никакой льготы себе. Думаю: «Верно, в Сибирь зашлют, а может быть, тут, в крепости, навек оставят сидеть!» И так прошло девять дней! Господи ты боже мой! Врагу лютому не пожелала бы такой муки, какую я за эти дни перенесла! Вдруг на девятый день отпирают мою комнату. Вошел смотритель и говорит: «Пожалуйте, княгиня, карету за вами прислали: требует к себе генерал Ушаков».— «Ну,— думаю,— пришел конец мой теперь. Что бог даст, пусть то и будет. Уж лучше, кабы голову отсекли!» Вышла я, а там, на крепостном дворе, карета, а возле нее, вижу я, стоят мой Яша и моя Мавра Тимофеевна. «Извольте садиться в карету. Всех вас повезут к Ушакову». Вот поехали и приехали. Ведут нас по лестнице к Ушакову. У меня так

ноги и подламываются. Чуть-чуть иду. Вошли в залу, вижу, стоит Ушаков, возле него какой-то ихний приказный человек с бумагами. Ушаков видит меня, кланяется и говорит: «Княгиня, вы теперь свободны! Тот холоп ваш, что на вас доносил, заболевши, перед смертью пришел в раскаяние и показал, все-де, что он прежде на вас доносил, все это неправда, сделал он на вас по злобе, за то, что от вас, а паче от вашего сына была ему жесточь. Теперь извольте в той карете, в которой приехали из гарнизона, отправляться к себе домой или куда вам будет угодно. Больше вас по этому делу никто не смеет беспокоить». Тут я ему сказала: «Генерал! За что же вы меня изволили высечь и за что я потерпела заключение? Теперь вот вы сами говорите, что я ни в чем не виновна!» «Это,— говорит он,— не моя вина, княгиня. Не я вас высек и держал в крепости, а закон! Я только закон исполнял». Я ему на это: «Если так,— говорю,— так попросите государыню императрицу, не изволит ли она показать ко мне какую-нибудь милость за то, что я невинно потерпела от закона!» На это Ушаков сказал: «Княгиня! Рад бы сделать вам угодное, только это не мое дело. Я не имею права по своей обязанности беспокоить государыню такими просьбами. Обратитесь насчет этого к Девиеру. Он, Девиер, мне говорил, что обещал ходатайствовать за вас, чтоб государыня изволила заплатить долг за вашего сына, и уже собирался ехать за этим делом к государыне. Да тут неожиданно ваше дело возникло и помешало. Теперь кстати будет — съездите к нему, попросите его. Он человек добрый и к вам очень расположен. Съездите непременно». А мой Яша простачок-добрячок, стоит тут же возле меня и говорит ему: «Вы, генерал, призывали меня к себе и предлагали определить меня на службу в вашу канцелярию. Теперь вот маменька моя невиновата, и я прав; не будет ли вам угодно оказать мне милость и по вашему обещанию определить меня?» Молодо-зелено, видишь! Нашел время и место! Ушаков только засмеялся и говорит: «Я, князь, подумаю об этом; когда можно будет, пришлю за вами». Да после этих слов и отвернулся от нас. Нечего было больше делать. Мы сели в его карету, все трое, и приехали домой. Спустя немного времени я послала известить тебя, Феня.

— Спасибо тебе, душа моя,— сказала княгиня Федосья.— А ведь и меня звал к себе Девиер, только

я помню, что говорил мне про такие случаи покойный мой муж, да и братья тоже научали. Оно мне тут и пригодилось. Начал было он, Девиер, подпускать ко мне свои турусы на колесах, а я не поддалась на его подходы да с первого раза обошлась с ним так, что ни с какой стороны не подойдет ко мне: стал спрашивать насчет твоего дела, а я ему все одно да одно: ничего-де не видала, ничего не слыхала. Он с тем и отпустил меня, и более меня уж никуда не звали.

— Как ты думаешь, Феня,— спросила княгиня Анна Петровна,— ехать мне к Девиеру?

— Зачем ты к нему поедешь?— спрашивала княгиня Федосья Владимировна.

— Припомнить ему, что он сам обещал, и просить походатайствовать у государыни, чтоб оказала мне милость за то, что я невинно потерпела,— сказала княгиня Анна Петровна.— Ушаков же сказал мне: «Поезжайте к Девиеру. Он к вам расположен».

— Разве ты, Анюта, и теперь еще не понимаешь, что тебе это говорили, только выпытуючи тебя; пробовали, с какой стороны к тебе можно подъехать! — говорила княгиня Федосья Владимировна.

— Уж если к кому ехать просить, так лучше к князю Василию Лукичу,— сказал князь Яков.

— Да я к нему ездила! — сказала княгиня Анна Петровна.

— Сынок твой говорит правду,— сказала княгиня Федосья Владимировна.— Князь Василий Лукич тогда тебе отказал, потому что он точно бережет царскую казну. Но князь большой заступник за честь своего рода. Он пошел по покойнике Якове Федоровиче. Тот ведь как отстоял у царя Петра моего брата Василия по царевичеву делу! Брата моего только сослали, а потом вернули снова, а если б князь Яков Федорович не заступался за него, так брат потерял бы и голову. И теперь я думаю про князя Василия Лукича; его попросить, что вот, дескать, его роду долгоруковскому чинится какое бесчестье: берут в Тайную вдову с сыном, секут, запирают в крепость, а потом оказывается, что все понапрасну, что они невинны и душою и телом, да и сам доносчик снимает с них прочь свой извет. Он, пожалуй, как про все это узнает, примет это к сердцу и не откажет тебе, как прежде. Положим, не сделает для тебя так много, чтоб царица долг

заплатила, а все же выпросит для тебя и для твоей семьи какой-нибудь особой царской милости и льготы.

— А я думаю так,— сказал князь Владимир,— пойти к Меншикову. Я без того пойду просить: за что меня, по случаю извета на мать, из кавалергардов выписали? Да и попрошу его за маменьку.

— Меншиков,— сказала княгиня Федосья,— Долгоруковых роду неприятствен. Он издавна к нему злобствует. Вся Россия знает, что Долгоруковых род древний, знатный; он с прежними царями в родстве и свойстве. А Меншикова род откуда? Сам он пирогами торговал, сказывают, когда мал был! Подбился в милость покойному царю не какими ратными и государственными делами, а через то, что потехам царским был потаковник, таким потехам, что и сказать-то стыдно, и только через то вошел в такую славу, что выше родовитых особ стоит, светлейшим называется; такого титула не дали кому-нибудь почестнее родом, а дали ему! Поэтому вот зазнался он, а все-таки ему мозолит то, что кругом него есть люди знатные. Хотел бы он, чтоб все кругом его было подлого происхождения, как он сам. От этого он и нас, Долгоруковых, не терпит.

После этого разговора завели княгини другую беседу. Княгиня Федосья рассказывала приятельнице о разных слухах и событиях, случившихся с той поры, как княгиня Анна была в заключении. Когда после того княгиня Федосья уехала домой, княгиня Анна Петровна начала интимную беседу со своей Маврой Тимофеевной, которая была самою близкою особою, знавшею все ее тайны. Нельзя сказать, чтобы между боярынею и ее слугою, состоявшею у ней в крепостной зависимости, образовалась тесная, искренняя дружба, какая возможна между равными. Но у княгини была потребность сказать кому-нибудь, что у ней на уме. Княгиню Федосью княгиня Анна любила, но сознавала, что княгиня Федосья умнее ее, а потому часто княгиня Анна совестилась говорить ей так, как в данное время сама думала. Княгиня Федосья не одобряла мысли ехать к Девиеру и просить его; княгиня Анна соглашалась с нею и не могла оспорить ее, а все-таки от ней не отходила мысль попытаться: ведь советовал же ей сделать это Ушаков, когда отпустил ее на свободу! И вот она заговорила об этом с Маврой Тимофеевной. Княгиня знала, что Мавра—слуга верная,

не изменит; почему же с ней не поговорить? Она и не посмеет, не дерзнет слова неприятного промолвить; с ней можно вслух думать, и раздумывать, и передумывать.

— Мавра Тимофеевна,— сказала Анна Петровна,— не знаю сама, ехать ли к Девиеру? Княгиня Федосья не советует, думает, что он обманом обещания давал, а помнишь, Ушаков при тебе как говорил: «Поезжайте, поезжайте к Девиеру, он к вам расположен».

— По моему глупому холопскому рассуждению,— отвечала боярская боярыня,— вам, матушка княгиня, беспременно следует поехать, а коли он не сделает, так и к князю Василию Лукичу поехать, как советовала княгиня Федосья Владимировна. Все средствия перепробовать, а то и к самой государыне съездить, сказать, что вот, мол, ваше величество, такое мне бесчестье напрасное, помилосердуйте, явите царскую милость, мы ведь не какие-нибудь, мы ведь князья Долгорукие!

— Да,— подумавши, сказала княгиня,— поеду к Девиеру. Только ты смотри, Мавра Тимофеевна, никому, никому про это. Чтоб княгиня Федосья не уведала, а то засмеет меня. Да и дети мои пусть про то не знают пока...

На другой день княгиня Анна Петровна, принарядившись и причесавшись галантным способом, отправилась к генерал-полицмейстеру. Во время прежнего свидания с княгинею Девиер так много показал ей любезности, что в голову княгине приходила даже мысль: не влюбился ли в нее Девиер? Женская суетность поддерживала в ней эту мысль, вопреки голосу рассудка.

У подъезда в сенях привратник впустил ее, сказавши, что генерал-полицмейстер дома и в этот час принимает всех, кому до него нужда. Княгиня смело и весело пошла по уставленной кадками с деревьями лестнице, но когда вошла в переднюю, в которую так вежливо провожал ее некогда хозяин из своей гостиной, теперь, в этой передней, какой-то неизвестный ей господин, выходя из внутренних покоев дома с портфелью под мышкою, сказал ей:

— Граф не принимает. Он занят.

— Меня примет,— сказала княгиня.— Он мне позволил обращаться к нему.

И после этого ответа она сказала стоявшему здесь же служителю:

— Доложи, братец, графу Антону Мануйловичу, что княгиня Анна Петровна Долгорукова имеет крайнюю нужду видеться с его сиятельством.

Служитель пошел в комнаты и через несколько секунд, возвратившись в переднюю, сказал княгине:

— Граф приказал просить ваше сиятельство извинить их. Они не могут вас принять.

— Не может быть,— сказала княгиня,— ты, верно, как-нибудь переврал. Поди скажи: княгиня Анна Петровна Долгорукова просит графа уделить ей хоть минуту, а если граф теперь так занят, то пусть назначит время, когда мне приехать к нему.

Отправился снова по поручению княгини служитель во внутренние покои дома и, вернувшись в переднюю, сказал княгине:

— Граф приказал вам сказать, что он не имеет чести вести знакомство с княгинею Анною Петровною Долгоруковою и таковой чести отнюдь не ищет. Просит граф не беспокоить его напрасными и бездельными посещениями, понеже он во вся часы занят бывает разными важными делами.

Ничего после этого не оставалось княгине, как повернуть домой. Княгиня не открыла своей приближенной боярской боярыне подробностей приема, испытанного в передней генерал-полицмейстера; ей было стыдно не только говорить об этом, но и вспомнить, и она ограничилась тем, что сказала:

— Не принимает никого! Делами важными занят, так мне сказали. Я не хочу к нему более ездить. Ну его! Коли захочет, сам пусть ко мне приедет.

— Ах он длинноногий комар! — воскликнула Мавра Тимофеевна.— Вишь ты! Некогда ему! А тогда, небось, как сладко наобещал!

Вошел к матери князь Владимир Петрович и сказал:

— Маменька! Я был сейчас у светлейшего. Насчет своего зачисления вновь в кавалергардскую роту просил. Светлейший удостоил меня наимилостивейшего приятия, обещал, что меня снова зачислят немедля, а засим, выслушав от меня о том, что с вами случилось, пожелал видеться с вами лично и велел просить вас, маменька, пожаловать к нему. «Я,— говорит,— для этой почтенной особы все постараюсь сделать угодное за перенесенное

безвинно терпение от Девиера и Ушакова». Он, маменька, им обоим недруг и рад будет вам сделать добро, в досаду им.

— Ах ты, мой добрый Володя! — воскликнула мать.— Ты это без моей просьбы сам о маменьке своей постарался! Вот сынок так дорогой сынок! Ты не то, что Яшенька. Тот, по неразумию своему, маменьку в беду было впутал, а ты, душа моя, хочешь, чтоб все следы моего бесчестия были смыты. Спасибо, спасибо, Володя!

У княгини выступали невольно слезы. Она с глубоким чувством целовала князя Владимира, которому до того оказывала менее материнской ласки, чем князю Якову Петровичу.

XXIII

Спустя сутки княгиня, нарядившись в лучшую свою робу, сделанную по тогдашней последней моде, села в карету и отправилась на пристань, где стояла ее собственная гондола. В этой гондоле она поплыла вниз по Неве и причалила к пристани, стоявшей на Васильевском острове, прямо против подъезда меншиковского дворца. Разрисованные столбы поддерживали круглый балдахин, осенявший эту пристань, а над балдахином вверху красовалась фигура Нептуна с трезубцем.

Два холопа, провожавшие княгиню, высадили ее из гондолы и, поддерживая под руки, повели к подъезду, до которого от пристани надобно было сделать пятнадцать или двадцать шагов. Княгиня вошла в большие сени, где на толстых каменных столбах была устроена лестница, двумя путями ведущая вверх. Близ окна в сенях за столом сидел чиновник, принимавший посетителей и поступавший с ними по соображению с данною от светлейшего инструкциею. Когда княгиня объявила ему, что светлейший звал ее к себе, чиновник указал ей путь наверх по лестнице, которая в нескольких местах на загибах была уставлена статуями и большими позолоченными подсвечниками с несколькими свечами, вправленными в каждом из них. Княгине предшествовал служитель, побежавший вперед докладывать князю. Княгиня Анна Петровна вошла в большую переднюю, а оттуда в длинную залу, освещенную рядом окон с полукруглыми

перемычками и с верхним круглым оконцем над каждым из окон; на сводообразном потолке, расписанном фресками из мифологии, висел ряд хрустальных люстр с несколькими рядами вставленных свечей, а между окнами на стене красовались длинные зеркала в золоченых рамах, украшенных резною работою. Служитель, отправившись во внутренние покои, воротился в залу и объявил княгине, что светлейший приглашает ее к себе в кабинет. Вслед за тем он отворил одну из дверей и указал туда рукою. Княгиня вошла. Князь Меншиков сидел одетый во что-то среднее между халатом и кафтаном, сделанное из шелковой грубой ткани голубого цвета и усаженное по полам большими перламутровыми пуговицами. Князь был еще без парика, в утреннем одеянии; на голове у него была красная бархатная четвероугольная шапочка с золотою кистью. Он сидел в широком кресле, обитом красным сафьяном, с золочеными локотниками и спинкою, облокотясь одной рукой на длинный письменный стол красного дерева со шкафом на верхней доске, в котором вделано было множество маленьких ящичков. Против князя у окна в таком же кресле сидел старичок лет под шестьдесят, с добродушным выражением лица и с маленькими подвижными глазками; он был одет в серый кафтан, черные панталоны и черные шелковые чулки; по его приемам можно было признать в нем одного из умных и деловых людей, умеющих притом обращаться с людьми сообразно условиям, в какие они поставлены. Князь при входе княгини едва привстал со своего кресла и, слегка кивнув головою, указал ей место на коротком диванчике, поставленном у одной из стен кабинета.

— Твой сын, княгиня,— начал Меншиков,— был у меня, просил зачислить его снова в кавалергардскую роту: его исключили по ошибке. Он мне рассказал, что с тобой недавно произошла неприятность, и я пожелал видать тебя лично.

Говорил эти слова Меншиков таким тоном, как мог бы говорить державный государь: видно было, что он привык уже к роли властелина, хотя его толстое лицо, большие губы и грубый сиповатый голос не подали бы повода увидавшему его в первый раз счесть его человеком высшего происхождения, а пальцы на руках у него обличали человека, некогда не чуждого черных работ. Вид его был как-то угрюм.

— Расскажи, как это случилась неприятность с тобою,— продолжал он, обращаясь к княгине.— Не конфузься присутствием моего гостя. Это мой добрый друг, кабинет-секретарь ее величества, тайный советник и кавалер Алексей Иванович Макаров. Он не повредит тебе, а напротив, надеюсь, будет еще полезен.

Княгиня смутилась, увидя Макарова и вспомнив прежнее с ним свидание. Она привстала и поклонилась Макарову. Тот молча отплатил княгине легким поклоном головы. Князь Меншиков продолжал:

— Расскажите, княгиня, как это с вами все случилось, без утайки все расскажите, не бойтесь ничего.

Княгиня начала свой рассказ о бывших с нею приключениях в генерал-полицмейстерской канцелярии и у генерала Ушакова, и когда дошла до того, как Ушаков по данному знаку приказал опустить пол и княгиню под полом стали сечь, Макаров усмехнулся, а Меншиков, державший голову опущенною, приподнял ее, взглянул на княгиню и опустил снова голову. Княгиня, рассказывая свои несчастья, плакала и прерывала собственную речь, но Меншиков, приподнявши голову, серьезно сказал:

— Княгиня, я попрошу тебя, рассказывай скорее!

Княгиня стала говорить торопливо, и по окончании ее повествования Меншиков сказал:

— Ты, княгиня, находила затруднение заплатить долг твоего сына. И теперь в том же состоишь положении?

— Светлейший князь! — отвечала княгиня.— Перевозились на Васильевский, строились, это ресурсы наши подорвало... Не скрою, светлейший, что мне теперь нелегко выплатить эти долги, что на сыне моем считаются, изъян мне большой! Но что изъян! Тут важнее дело: честь моя родовая потерпела! Я не то что с рождения моего в приводе не бывала, а думала век прожить и в гроб лечь честноименно, а вот случилось такое — ни за что ни про что; вор, шпынь, подлый холоп, озлившись за то, что за воровство его били, сочинил на меня такую затею, потом сам же, пришедши в чувствие, в своей неправде повинился, а я-то через его затеи что вынесла!

Княгиня при этом плакала. Меншиков спросил ее:

— Как велик долг, что считается на твоем сыне?

— Тридцать тысяч ефимков,— сказала княгиня.

— Долг сей будет выплачен,— сказал Меншиков.—

Это тебе, княгиня, в вознаграждение за то, что понапрасну потерпела. Мимо такового казуса сей уплаты не последовало бы на твоего сына никоими меры, понеже с какого повода платить казне долги князей Долгоруковых, которые довольно свои маетности имеют. Но ваше терпение, невинно перенесенное, дает повод на партикулярную к вашей персоне аттенцию. Изволь внушить своему сыну, князю Сергею Петровичу, когда он воротится из чужих краев, что выручил его из долга и возвращению в родной край содействовал князь Александр Меншиков. Без его милости и протекции тому бы не бывать! А князь Меншиков, коли кого полюбит, тому на свете будет жить тепло! У меня много врагов; они не только всяческими способами мне вред учинить хотят, но к тому и добрых людей против меня наставляют. Я по чувству христовой любви врагам своим прощаю и воздавать им злом за зло не хочу, а если б захотел, то многие уже теперь были бы в Сибири, они же доселе в чести и в чинах немалых благополучно живут да про меня худое плетут. Разносят, будто я в царской милости не твердо обретаюсь и в силе своей упадаю, а я все тот же, и бог меня хранит. Я злобе их не внимаю: они меня съесть хотят, да не могут, и оттого что не могут ничего мне сделать, я их не боюсь и не трогаю. Пусть злобствуют! Я еще им же добро сделать готов, и неоднократно то бывало: под Меншикова яму роют, да в ту же яму сами попадают, а Меншиков их из ямы вытаскивает. Не раз бывало, что Меншикова думали погубить, да сами себя губили, а Меншиков, зная их против него умыслы, за них же печаловался. Оттого это все делается, что Меншиков в помощи божьей живет. Господь — просвещение мое и спаситель мой! Ничего не сделает мне против божьей воли человек лихой. Вот вы, княгиня, и знайте — коли станут говорить: «Да что Меншиков? Он теперь уж не тот Меншиков, что прежде был! Теперь нет за ним прежней царской милости»,— а ты, княгиня, слушаючи это, не верь, государыня моя, и сыновей своих учи, чтоб таким речам не верили.

— Пока жива буду, ваших милостей не забуду!—сказала княгиня и стала целовать руку Меншикова, а Меншиков, не препятствуя ей делать это, в то же время обратился к Макарову и сказал:

— Алексей Иванович! Напиши доклад о выдаче княгине Анне Петровне Долгоруковой тридцати тысяч ефим-

ков в уплату долга сына ее, князя Сергея Петровича, находящегося в Голландии, и поясни, что сие учиняется в видах вознаграждения ей, княгине Анне, за претерпенное заключение и поклеп в дурном умысле на государыню, что все княгиня испытала по ошибке и неосмотрительности господина генерал-полицмейстера Девиера и начальствующего Тайною канцеляриею генерал-майора Ушакова.

Потом, обратившись к княгине, Меншиков прибавил:

— Ты, княгиня, получишь свои деньги завтра. Доклад подастся в свое время, а я имею от царицы полномочие выдавать в штатс-контору предписания на выдачи денег по своему усмотрению.

— Доклад,— сказал Макаров,— будет иметь то действие, что Девиеру и Ушакову сделано будет строгое внушение за то, что неосмотрительно поступают, оскорбляют неповинно шляхетных персон и через то подвергают казну утратам, понеже долг есть верховной власти вознаграждать оскорбленных по достоинству.

— Итак, государыня моя княгиня,— произнес Меншиков, вставши с своего места, чтоб отпустить княгиню Анну Петровну,— препоручаю себя вашему вниманию!

Княгиня, простившись с светлейшим князем, вышла из его дворца тем же путем, как и вошла. Села она в свою гондолу, дожидавшую ее у пристани, вместе с провожавшими свою боярыню холопами, и поплыла вверх по Неве. День был осенний, холодный, но ясный, каких немного бывает осенью в Петербурге. На душе у княгини было так легко, так весело, что все кругом ее смотрело как будто большим праздником. Казалось ей, как будто все сочувствуют ее радости, её счастью, как будто все, навстречу ей плывущие по Неве, уже знают о том, что случилось с нею у князя Меншикова: одни завидуют ей, другие, по добродушию, довольны, что ей привалило такое благополучие. Наконец княгиня причалила к пристани у Литейной; там ждали ее лошади с коляскою; приехала она в свой дом и первая личность, встретившая ее, была Мавра Тимофеевна.

Боярская боярыня, выпроводивши княгиню в путь к светлейшему, беспрестанно выбегала смотреть на крыльцо, не возвращается ли ее боярыня, стояла на крыльце по несколько минут, уходила в комнаты и снова на крыльцо выходила. Мавра Тимофеевна искренно была

привязана к своей боярыне и, правду сказать, несравненно сильнее, чем боярыня к ней. Это была истинно холопская привязанность, такая, какая возможна была только при существовании крепостного права, когда холопы, не имея значения по собственной личности, так прилеплялись к личности господ своих, что происходившее с последними напечатлевалось в сердце их холопов так же, как и то, что бы с самими холопами происходило. Господские радости и печали были их собственными радостями и печалями; терял ли господин что-нибудь или приобретал — для верного холопа было все равно, как бы он сам что-нибудь терял или приобретал; у холопа ничего своего не было, он и сам был не свой, зато все, что имел его боярин, холоп считал как бы своим собственным. Обо всем, что касалось его боярина, он выражался не иначе, как словами «наше, мы». Но такая сердечная привязанность была только со стороны холопов к господам, а не обратно — господ к холопам. У господ было свое, поэтому господин не нуждался и не мог нуждаться ни в чем холопском. Только ничего не имущий может быть проникнут беззаветною любовью к другим. Когда у человека заведется своя копейка, он поневоле становится эгоистом, по крайней мере, настолько, что для него во всем существует смысл пословицы: «Своя рубашка к телу ближе!»

Мавра Тимофеевна была в этом отношении совершенным типом холопки, беззаветно преданной своей госпоже. Никакие выгоды и обещания не в силах были поколебать ее сердечной привязанности; она могла изменить боярыне разве только в виду угрожающих ей мук, да и то разве под невольным влиянием испуга, когда человек не дает себе отчета, почему он такой, а не иной шаг сделал, почему он сказал так, а не иначе. И теперь Мавра Тимофеевна, дождавшись княгини, по сияющему лицу своей боярыни догадалась, что с тою случилось что-то очень приятное, и сама Мавра Тимофеевна, не зная еще, в чем дело, уже просияла радостью.

— Ну слава богу, Мавра Тимофеевна,— сказала княгиня.— Все кончилось как нельзя лучше. Светлейший пришлет завтра тридцать тысяч ефимков в уплату долга Сережина!

Мавра Тимофеевна в умилении перекрестилась.

Повидавшись с сыновьями, княгиня Анна Петровна и

перед ними излила чувства радости и довольства. Она обнимала, целовала и благодарила Владимира, совершенно простила Якова и в знак полного примирения поцеловала его в лоб и осенила крестным знамением.

Между тем Мавра Тимофеевна не утерпела и побежала в людскую сообщить холопской компании, какую там застала, о неожиданном благополучии, ниспосланном их боярыне. Там застала она приехавших из Москвы дворовых боярских людей. Они рассказывали дворне, что Василий Данилов умер. Мавра Тимофеевна сказала:

— Наделал было беды своей боярыне, да покаялся и повернул так, что из беды вышло добро. У светлейшего были: светлейший поступился от государыни заплатить долг князя Сергея Петровича. А все-таки негде правды деть, посекли немного ее сиятельство! — прибавила Мавра Тимофеевна шепотом и оглядываясь, не услышит ли кто ею сказанного.

— Их, господ, хоть и посекут, зато деньгами заплатят, коли найдут, что посекли неповинно, либо чем другим воздадут, а нашему брату хоть испишут спину ни за что ни про что, а денег не дадут ни копейки. «Засохнет, как на собаке!» — говорил один старый холоп. А отчего? Оттого, что господская шкура совсем иная, чем наша. Господ иначе создал бог, чем нашего брата.

— А все ведь это сталось через Ваську Данилова, сякого сына,— заметила одна женщина.— Не угоразди его лукавый донос затеять, не получила бы наша боярыня таких денег от казны.

— Что ж! Он хоть донос подал, да зато после опять снял его. Через это он и учинил добро своей боярыне, что снял свой донос с нее,— заметил один холуй.— Значит, в чувствие пришел, покаялся, не совсем, значит, лукавому отдался на лихие дела.

— Пусть господь простит ему и помилует его грешную душу! — сказал другой.

Позади произносившего эти слова стояла Груша, та самая, из-за которой князь Яков озлился когда-то на Василия Данилова. Она перекрестилась; на ресницах у ней показалась слеза. Она вышла из людской. Эта девушка успела уже побывать в руках князя Якова Петровича, успела и надоесть ему, поневоле уступив место другой сенной девушке. Вспомнила Груша про Василия, и стало

ей больно и грустно. Этот парень любил ее, а она от него руками и ногами отбивалась. «Может быть, оттого с горя и задурова́л!— подумала она.— А что ж было делать? Мы ведь подневольные люди».

На другой день Груша выпросила у своей боярыни медных денег — свечку поставить у обедни. Княгиня была тогда очень ласкова под влиянием своего благополучия. Пришедши перед началом обедни в церковь Воскресенья Христова, что на Воскресенской перспективе, Груша купила копеечную свечку, поставила ее перед местным образом спасителя и, отошедши, крестилась, тихонько приговаривая: «Господи! Помяни во царствии твоем усопшего раба твоего Василия!»

СОРОК ЛЕТ

Народная малороссийская легенда

Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла божия на них... Проводят дни свои в счастии и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих! Что вседержатель, чтобы нам служить ему? И что пользы прибегать к нему?..» Но бога ли учить мудрости, когда он судит и горних!

(Кн. Иова, гл. XXI, стихи 7—9, 13—14, 22).

В крае, где великорусская и малорусская народности сходятся между собою рубежами, есть слобода, называемая Мандрики. В последних годах прошлого столетия она принадлежала отставному гвардии поручику Мотылину, проживавшему там безвыездно с женою.

Крестьяне в тех краях не были тогда слишком обременены. Требования степных помещиков были умеренны и не представляли владельцам необходимости выжимать сок из подданных, а лень, одолевавшая провинциалов, не дозволяла им вымышлять новых средств к житейским удобствам. Мотылины были из неприхотливых и некорыстолюбивых владельцев. Барщины у них не было вовсе, кроме двух недель сенокоса. Земля раздавалась крестьянам с оброка, и хотя размер оброка для каждого крестьянина зависел от воли господина, но Мотылин не накладывал на крестьян своих больших оброков, и потому крестьяне в слободе Мандриках жили довольно зажиточно.

Одним из зажиточнейших обитателей слободы Мандрики был Денис Савельич Шпак. Двор у него был просторен. Ко двору прилегал плодовитый сад, а за садом был огород и гумно. Во дворе Шпака было две хаты. Одна, передняя, носила название светлицы и была внутри помощена дощатым полом; к ней примыкал другой покой, меньше светлицы, называемый комнатою. Ряд икон под потолком, увешанных барвинком и васильками, перед иконами — две лампадки и полдюжины маленьких под-

свечников для восковых свечек, несколько раскрашенных гравюр, прибитых гвоздиками к стенам, четыре немалых окна с растворчатыми рамами, зеленая муравленая печь и пестрый ковер, застилавший липовый стол,— все это придавало светлице веселый вид, а несколько книг в массивных переплетах, лежавших на лавке в углу под образами, обличали в хозяине грамотного человека. Ребром к светлице стояла во дворе другая хата, носившая название черной, но она была цвета белого, так же, как светлица, будучи и снаружи, и внутри обмазана раствором мела с молоком: то была рабочая изба с большою печью у входных дверей и с пристроенными к ней чуланчиками для хранения домашней рухляди. Кроме этих двух изб, во дворе Шпака были амбар, конюшня и плетеный сарай для скота и повитка (навес), под которою стояли плуг, телеги и сани. Шпак был настолько зажиточен, что мог держать наймита и наймичку, и это было для него тем удобнее, что вся семья его, кроме его самого, состояла из одной дочери, которую он очень любил и баловал.

В прежние годы Шпак чумаковал и этим промыслом успел себе зашибить копейку. Когда он начинал стареться, перестал ходить в дорогу и в это время попал в милость к своему барину. Мотылин держал с ним советы по хозяйственным делам и давал ему кой-какие поручения. Шпак был от природы умен и понял, что в таких случаях, когда дело шло о господском интересе, выгодно быть честным. Шпак очень понравился Мотылину. Желая сделать ему благодеяние, барин дал ему взаймы денег. Шпак накупил хлебного зерна. Через два года после того сделался неурожай, хлеб поднялся в цене, и Шпак продал свое зерно в шесть раз дороже той цены, по какой сам покупал. Шпак обогатился пуще других односельцев и стал возбуждать к себе зависть. Его вообще недолюбливали в слободе: был он мужик суровый, постоянно ходил с потупленною головою, на всех глядел как будто исподлобья, ни с кем не веселился, не ходил в шинок, не посещал пирушек и сам их у себя не заводил, не пел песен, не балагурил, хоть не прочь был при случае отпустить на других колкость, особенно, когда ему приходилось щегольнуть своим превосходством грамотного человека, а в слободе Мандриках, кроме церковников, из крестьян было только двое грамотных. Скупцом Шпак не был, но никто не называл его и щедрым; не был он

злым, но никто не находил, чтоб он был добросердечен. «Себе на уме, крутой мужик!»— говорили про него все, кто только знал его. После своей наживы Шпак стал побаиваться, чтоб его не обокрали, и, отдавая своему помещику занятые на торговлю деньги, просил взять на сохранение свои семь тысяч ассигнациями. Мотылин, принявши от Шпака эту сумму, дал ему собственноручную расписку и тогда же, сообразно желанию Шпака, написал в оставляемом сыну, на случай своей кончины, завещании, чтоб тот отпустил на волю дочь Шпака вместе с ее будущим мужем, если этот муж будет из крепостных слободы Мандрик. О себе не просил Шпак.

Не много времени прошло после того; сперва умерла госпожа Мотылина, а за нею, месяцев через пять, последовал и Мотылин.

Единственный сын и наследник Мотылиных учился в московском благородном пансионе, не показывая ни способностей, ни охоты к ученью. Молодой Мотылин чувствовал и знал, что он столбовой дворянин и наследник шестисот ревизских душ и 12 864 десятин земли, в количестве которой числилось до двух тысяч десятин леса. В те времена в дворянском сословии господствовало такое убеждение, что столбовому дворянину, да еще богатому, учиться незачем, и с таким убеждением молодой Мотылин, получив известие о кончине родителя, приехал в Мандрики. Он объявил назначенному над ним опекуну, что учиться не хочет, а желает служить. Молодец вступил в гусары. Через три года после того он вышел в отставку с чином корнета, по расстроенным домашним обстоятельствам. Прибывши в Мандрики весною 1820 года и поживши месяца три в родительском гнезде, молодой барин задумал жениться на дочери соседа, человека богатого, занимавшегося откупами и летом проживавшего в своем имении в слободе Лубках, в трех верстах от Мандрик.

Событие, составляющее начало нашего повествования, происходило именно в ту пору, когда молодой Мотылин вознамерился жениться.

Выше было сказано, что у Шпака была единственная дочь. Звали ее Вассою. Ей был уже восемнадцатый год. Это была девица рослая, белокурая, немного курносень-

кая, что составляет признак красоты у малоруссов. Одевалась она пестро и, по сельскому обиходу, богато: зеленый корсет с красными кисточками, нашитыми по всему корсету, желтая запаска, клетчатая плахта, красные сапожки, на голове двухцветный шелковый платок в виде повязки, из-под которого спадало на спину несколько кос со вплетенными в них лентами разных цветов; на шее нитки кораллов, на груди серебряные крестики и сердечки, в ушах коралловые серьги, а пальцы у ней на руках были словно окованы золотыми перстнями и кольцами. В ее походке, в каждом повороте ее тела виднелось сознание достоинства дочки богатого крестьянина. Васса никогда не ходила на сборища сельской молодежи, ни даже с девушками в хороводы, ни в дружках на свадьбы; и это не потому, чтоб отец ее не пускал: сама она ничего подобного не любила, а с молодыми ребятами не только не вела бесед, но как только какой-нибудь вздумает подъезжать к ней с двусмысленными выходками, Васса, не говоря ему ни слова, повернется спиною и уйдет, а молодец останется в дураках. Во всей слободе находили ее неприступною, гордою, называли даже недоброю, и никто не знал, что в сердце этой чванной дочки богатого мужика уже зародилось чувство любви.

Был у Шпака наймит, по имени Трохим, по прозвищу Яшник, круглый сирота. Родителей потерял он так рано, что и не помнил их. Вскормила его тетка солдатка, женщина очень бедная. Нерадостно прошло детство Трохима. Тетка была баба ворчливая, вечно хныкавшая о своем горе. Да и было отчего. Земли за нею не было. Во дворе с обваленным плетнем стояла хата, близ которой находился погреб: в этом погребе ничего не сберегалось, потому что сберегать было нечего. За двором был небольшой огород, где садились только лук, картофель да подсолнечники, без которых обойтись не может ни одна малороссиянка, ни богатая, ни бедная. Хлеба солдатке не за что было купить, приходилось его выпрашивать, и ходила она со двора на двор, произнося имя Христово: в одном дворе дадут ей хлебный недоедок, в другом щепотку соли. Если же кто, расщедрившись, даст ей кусок сала, тогда у солдатки — праздник: топилась печь, варились галушки. Трохим по следам тетки ходил также за подаянием с грязным мешком за плечами. Хлеб и вода составляли его обычную пищу. Вкуса в молоке он не

знал, а яйца и мясо отведывал разве только на пасху, когда в виде христовой милостыни дадут ему где-нибудь красное яичко или кусок освященной поросятины. В тринадцать лет от роду приставила Трохима громада пасти свиней, и за это занятие он получал три рубля в год да, кроме того, два раза в год, весною и осенью, обходил дворы хозяев тех свиней, что пас, и получал подачки. Носил он рубаху с заплатами, а сверху надевал серую ветхую свиту, впрочем, какой-то мужик сжалился над Трохимом и осенью подарил ему изношенный тулупчик своего сына, Трохимова однолетка. Спал Трохим где попало; в поле со своими свиньями, а у тетки в хате ложился на голой земле, подостлавши тулуп и свитку под голову,— постели он не знал, как и тетка не знала. Лет пять исполнял Трохим таким образом должность свинопаса, а тем временем вырастал и становился красавцем: его карие глаза и черные брови заставляли засматриваться на него слободских девушек. Только большая худоба лица тотчас показывала, что детство его протекало неприветливо.

Увидал его однажды Шпак, когда молодец гнал с поля свиней, и подумал про себя богатый мужик: «Какой славный хлопец! Ему бы дать другое дело, а пасти свиней мог бы кто иной, похуже его!» Шпак взял Трохима к себе в наймиты.

Нельзя сказать, чтобы у Шпака положение наймита было бог знает какое хорошее. Крутой мужик-хозяин часто ворчал на него и упрекал то в лени, то в непослушании, хотя Трохим был не ленив и послушен. Да и сам Шпак был им внутренне доволен, только так уже считал нужным держать наймита в строгости, чтоб тот не зазнавался и ни на минуту не забывал разницы между собой и своим хозяином. Но Шпак Трохима кормил и одевал, и то ему после того житья, какое переносил Трохим у своей тетки, житье у Шпака показалось очень сносным.

Дочь Шпака не так отнеслась к бедному наймиту, как ее родитель. Статность и красота наймита защемили ей сердце. Трохим от природы был сметлив, и умен, и менее чем всякий другой способен был на смелую выходку к дочери своего хозяина. Девушка предупредила его и сама первая сказала ему, что полюбила его. Трохим предался ей всею душою. Они видались по ночам в саду

и любезничали. Васса надеялась, что отец, любя ее без ума, согласится отдать ее за Трохима, если только хорошенько упросить-умолить старика. Долго стыдилась Васса и не решалась заговорить с отцом о своей любви. Наконец пришел к Шпаку один раз сосед односелец, и после ухода гостя Шпак говорил дочери:

— Приходил ко мне Павло Дрижак и молвил: «Как бы нам спаровать своих детей? У тебя,— говорит,— дочь, а у меня сын». А я ему в ответ: «Жить с моей дочерью не тебе, а твоему сыну, и с твоим сыном жить не мне, а моей дочери. Спрошу у дочери, как она скажет, так пусть и будет. Коли скажет, что пойдет за твоего сына, так присылай сватов, а скажет, что сын твой ей не по сердцу, тогда не взыщи».

— Я не пойду за Дрижаченка. Я не люблю его,— отрывисто и решительно произнесла Васса.

— Не любишь,— сказал Шпак,— так и разговора больше не будет об этом. Я так и скажу Дрижаку. Я своей дочери силовать не буду, да и мешать ей не стану. За кого она захочет выходить, за того пусть и выходит.

— Так вы, тату, не станете мешать вашей дочери выходить замуж за того, за кого она сама захочет? — сказала Васса.

— Боже сохрани! Большой это грех! — произнес Шпак.

— А если,— сказала Васса,— я захочу идти за нищего, безродного?

— Хм! Как это может статься, чтоб ты пошла за нищего, безродного! Как таки нищий и безродный посмеет приступить к тебе? Знаю тебя я, дочка! Не то что нищий и безродный — и любой отецкий сын в нашей слободе без опаски не подойдет к тебе. Ты вся в своего батька,— так говорил Шпак.

— Тату! — робко произнесла Васса.— Я полюбила всею душою нашего наймита Трохима и ни за кого не хочу выходить, только за него.

— Дочко! — сказал Шпак.— Что ты шалишь, что батька дразнишь? Не повторяй этого больше. А то, чего доброго, подслушает твои речи наймит и заберет себе в голову не знать что!

— Нет, тату, я не дразню батька, я говорю правду. Люблю Трохима: отдай меня за него; ни за кого другого идти не хочу,— сказала решительно девушка.

Шпак, сидевший до того времени на лавке с палкою в руке, вскочил, стал ходить по светлице, потом остановился и судорожно ударил палкою о помост.

Васса стояла у печки молча, ожидая своей судьбы. У отца сверкнули глаза гневом. Он как будто готовился что-то произнести, но удержался. Постоявши немного времени на одном месте, он опять прошелся по светлице, потом сел на скамью и стал водить концом палки по помосту. Васса все молчала, глядя на отца. Наконец Шпак, силясь казаться спокойным, сказал:

— Что сказано, так тому и быть. Я сказал: за кого сама захочешь, за того и выходи. И опять скажу: силовать тебя, дочка, я не стану. Только теперь я тебя за Трохима не отдам, а отдам, коли бог даст, после. Пусть твой Трохим наживет себе жупан из синего панского сукна да приедет ко мне со сватами на своем собственном возе, своею собственною лошадью. Тогда я отдам тебя за него. А до той поры пусть не порывается: сегодня же сгоню его со двора. Пусть сюда своего носа не сует!

— Это загадка! — сказала Васса.— Куда какие вы, тату, добрые на словах, а как до дела дойдет, так и вы, я вижу, такие же, как и другие батьки, а может быть, и злее!

— Не тебе наставлять меня,— сказал Шпак рассерженным голосом,— яйца курицу не учат. Ты моя, за кого захочу, за того иди, а против моей воли ты не смеешь!

— Так что же, что я ваша,— сказала Васса с горячностию.— Разве, коли я ваша, так вы меня съесть можете? Ай, тату, тату! Я против воли вашей не пойду, да и как идти: попы венчать не станут без вашего согласия. Только я вам, тату, говорю: не пойду ни за кого, только за одного Трохима. А когда вы за него меня не отдадите, то своей дочери свет завяжете.

— Иди прочь! Не дразни меня! — сказал Шпак.— Отдам тебя за Трохима тогда, когда Трохим приедет ко мне в синем жупане, на своем возе, своею лошадью. Я ж тебе сказал. Чего ж тебе еще? Слово мое непременно. Любишь отца и почитаешь — жди, а не любишь и не почитаешь — иди себе, куда хочешь, с своим Трохимом. Живите себе у его тетки, нищей солдатки вдовы Орины.

Говоря это, Шпак стучал палкою о помост.

Васса завопила и вышла из светлицы. Ее рыдания раздавались в сенях. Минуты через три за нею вслед вышел и отец. Он прошел мимо нее, умышленно показывая вид, что не замечает ее слез и не обращает на них внимания. Шпак пошел по двору и встретил Трохима, который нес в рабочую хату наколотые щепки.

— Трохим! — сказал хозяин.— Приходи сейчас ко мне в светлицу.

И с этими словами Шпак повернул назад в светлицу и опять прошел мимо плакавшей Вассы, все-таки показывая вид, что не замечает ее.

Сделавши свое дело со щепками, наймит по зову хозяина шел в светлицу, но, встретивши в сенях Вассу, стал расспрашивать, о чем она плачет, как вдруг из дверей светлицы высунул голову Шпак и сурово произнес:

— Трохим, иди сюда!

Вошел Трохим в светлицу. Шпак сказал сухо и отрывисто:

— Ты мне неугоден. Вот тебе твое жалованье за два года с месяцем. Возьми и ступай со двора.

— Куда мне идти? — начал было Трохим.— У меня ни роду, ни племени!..

— А я что же, безродных, бесплеменных содержать должен? — сказал Шпак.— В царскую службу ступай, коли у тебя нет ни роду, ни племени. Там таких и нужно.

— Я не хочу в солдаты,— произнес Трохим.

— Так займись ремеслом каким-нибудь либо торговать начни. Расторгуешься, разживешься, купишь себе лошадь, справишь себе синий жупан из панского сукна, тогда, нарядившись пристойно, ко мне приедешь. Тогда иной почет будет тебе, тогда и за будущего зятя приму. А то рано задумал. У тебя, вижу, губа-то не дура.

Так говорил ему Шпак.

— Как я начну торговать! — заметил Трохим.— Кто даст мне денег на торговлю?

— Не знаю,— сказал Шпак,— это не мое дело, а твое.

Пытался Трохим еще заводить речь с хозяином, но тот перебил его и сказал:

— Ступай себе, разговаривать нечего; когда приедешь в синем жупане, на собственной лошади, тогда поговорим. Теперь что мне с тобой, сермяжником, толковать? Иди отсюда.

Трохим вышел. Васса, стоявшая за дверью в сенях, все слышала. Она бросилась к Трохиму на шею, но грозный отец выглянул из-за дверей и сурово крикнул:

— Васса, иди сюда. Скорее иди. Слушайся отца!

Повиновалась Васса, вошла в светлицу и порывисто промолвила:

— За что вы нас мучите?

— Кого это нас? — злобно усмехаясь, сказал Шпак.— Тебя да еще кого?

— Моего жениха! — твердо произнесла дочь.

— А кто,— спрашивал отец,— кто вас пожаловал в женихи с невестою? Женихом с невестою называется такая пара, что ее родители благословили. А вас какие родители благословляли? Говорил я тебе и Трохиму тоже говорил: когда он разживется, разбогатеет, справит себе синий жупан, лошадь себе купит и приедет ко мне со сватами — вот тогда вы будете жених с невестою.

Завернул Трохим в узел свои две пары рубашек да серяк, подарок Шпака, и отправился к нищей тетке. Узнавши, что сталося с племянником, солдатка разразилась проклятиями Шпаку и его дочери, потом начала корить и бранить племянника за то, что не ужился во дворе богатого хозяина, а напоследок принялась за свои обычные жалобы на нищету и беспомощность.

Наслушавшись теткиного ворчанья, Трохим вышел из хаты, не зная, что с собой делать и куда идти. Стал он бродить под забором двора, около двух кузниц, построенных на обрывистом берегу речного плеса, поросшего тростником. Солнце отражалось в воде и в окнах барского дома, чванно глядевшего сквозь зелень лип, посаженных во дворе вдоль заборной стены. Стало Трохиму как-то и больно, и досадно. «Вот как свет стоит,— размышлял он,— одним роскошь, другим нищета и горе». Озлобился Трохим на все, что было богаче и сильнее его. И мгновенно сверкнула в голове у него мысль: «Зачем мне жить на этом свете? Счастья-доли нет мне и, видно, не будет. Я молод. Много лет придется горевать. Лучше теперь порешить с собой, чем долго терпеть». И поддался Трохим такой роковой думе и бросился к плесу с намерением утопиться. Вдруг его ухватил кто-то сзади за плечо. Оглянулся Трохим — перед ним

был невысокий, кругленький человек, одетый в светло-серую бекешу, подпоясанную ременным поясом с серебряною пряжкою. На голове у него был черный бархатный картуз.

— Куда ты лезешь, дурень! — сказал человек.

Трохим опамятовался, ничего не ответил и торопливыми шагами повернул от воды. Незнакомец зашел ему вперед и, глянувши в лицо Трохиму, сказал:

— Пойдем в шинок. Выпьешь — полегчает!

Он дернул Трохима за рукав и почти насильно потянул в шинок.

— Ты, может быть,— говорил он Трохиму дорогою,— слыхал про меня что-нибудь недоброе? Не верь ничему. Я человек хороший, всем радетельный.

Вошли в шинок, который содержал великороссиянин. Жидов в этом крае не держали. Угостил незнакомец Трохима, потом пригласил его выйти и повел к барским кузницам.

— Ну-ка,— произнес он,— что у тебя за горе, что ты себя хотел живота лишить? Расскажи!

Трохим рассказал ему про все.

— Только то! — сказал незнакомец.— Не знаю я этого Шпака, но слыхал: про него говорят — крут мужик! Но уж коли сказал, что отдаст за тебя дочь, так отдаст. Не посмеет не отдать, когда приедешь к нему так, как сам он велел: на своей лошади, в синем жупане из панского сукна!

— А где мне взять жупан и лошадь? — говорил Трохим.— Я не то что человек бедный, совсем как есть нищий, без роду, без племени. Тетка есть, и та нищая: Христовым именем кормится. Старик Шпак сказал нарочно на смех: ему поругаться бы над моею бедностью, знал он, что не достать мне лошади и жупана, оттого так и сказал.

— Ты жалуешься,— сказал незнакомец,— что у тебя ни роду, ни племени. А я тебе скажу: были бы деньги, а при деньгах будут и род, и племя. При доброй године у человека браты и побратимы!

— А при лихой нет ни тех, ни других! — сказал Трохим.— А я, кроме лихой, никакой другой не знал.

— Бывает,— сказал неизвестный,— при лихой године явится друг-благодетель, что добру научит и к счастью

приведет. И с тобой так сталось. Я твой друг-благодетель!

Этот странный человек проживал в барском дворе, куда назад тому с год поступил главным садовником. Он помещался в саду в одной половине длинной садовничьей избы, в другой помещались его помощники из крепостных Мотылина, и они-то, собственно, были настоящими садовниками. Этот же, главный, получал от господ поручения, иногда вовсе не относящиеся к садоводству. С первых дней своего водворения во дворе он подделался к опекуну, управлявшему имением, а по возвращении из военной службы молодого Мотылина сошелся с последним еще теснее, чем с опекуном. Дворня, замечая, что он в милости у господ, уважала его и побаивалась; но в слободе смотрели на него искоса. Лицо его было непоказисто, все покрыто веснушками. Зеленоватые глаза бегали из стороны в сторону. Кругловидый облик лица с торчащими усами придавал его физиономии что-то кошачье. В слободе звали его Придыбалкою, выражая этою кличкою, что он неизвестно откуда приплелся (прыдыбав), а во дворе величали его Фетисом Борисовичем. Считали его иностранцем, хотя никто не мог сказать, какой он нации. Прозвище его было какое-то мудреное, так что никто этого прозвища не помнил. В церкви его никто никогда не видал, но в шинок он хаживал, хотя сам там не пил, только других угощал. Батюшка села Мандрик невзлюбил его чересчур и говорил, что этот Придыбалка — сам лукавый в человеческом образе. С голоса батюшки и другие то же про него говорили, старые, благочестивые люди.

— Приехал,— говорил Придыбалка Трохиму,— в наш барский двор кацап с товаром. Есть у него всякое сукно на жупан, и денег найдется еще в придачу на покупку тебе лошади и воза. Пробудет он у нас только до вечера, а к ночи выедет вдвоем с своим батраком и поедет по дороге, что пошла через слободу Лубки. За Лубками есть лес, а в лесу овраг очень глубокий, весь порос кустарником. Дорога идет по самому краю оврага. Ступай туда и засядь возле оврага за деревьями. Как поедет по дороге мимо оврага их повозка, ты выскочи и ударь дубиною в голову купца, потом батрака, только поскорее, чтобы, когда станешь бить одного, другой не успел повернуться. Заберешь себе из повозки, что тебе нужно,

а повозку с побитыми людьми и с их лошадьми перевернешь в овраг. Наедет земский суд. Увидят, что лошади не уведены и товар остался при мертвых. Судящие не знают, сколько у них товара было и сколько ты взял себе: присудят так, что купцы, едучи ночью, наехали на овраг, опрокинулись и убились до смерти.

— Как же я людям-то буду говорить, где достал жупан? Все знают, что у меня нет ни гроша за душою,— возразил Трохим, озадаченный таким неожиданным советом.

— Скажешь, что я тебе дал взаймы денег, а ты за них справил жупан,— отвечал Придыбалка.

— Да как же это? — говорил Трохим.— Побить людей! Неповинные души загубить? Как это можно! За такое дело бог накажет. Я не хочу быть злодеем.

— Так тебе не видать своей Шпакивны женою твоею, как не видать своих ушей,— говорил ему Придыбалка.— Коли хочешь быть праведником, не думай ни о женитьбе, ни о синем жупане, думай о царстве небесном, ступай в монастырь, поступи в тяжелую работу к чернецам. А коли хочешь весело на свете пожить, так не бойся греха: греши, только так, чтоб люди про твой грех не узнали да в Сибирь тебя не услали!

— Бог накажет пуще Сибири! — со вздохом произнес Трохим.

— А ты видал этого бога? — засмеявшись, сказал Придыбалка.

— Не видал, да люди говорят,— отвечал Трохим,— и батюшка говорил, что бог все знает, ничто от него не укроется и он за всякое дурное дело накажет.

— Кабы все боялись, что бог накажет, так все бы думали, чтоб им сделаться старцами, что милостыни просят, а не бились бы, как рыба об лед, чтоб разбогатеть. Ты, дурень, думаешь, все это богатеют — это они от трудов праведных, без греха богатеют? Сами-то они так про себя говорят, только верят им в том одни дурни. А умные знают, что коли кто разбогател, так это значит, что других по миру пустил, а то еще и хуже бывает: иные через них и живот свой порешили. Хочешь себе счастья: первое дело — не бойся греха, делай все, что тебе корысть приносит!

— Говорят,— сказал Трохим с задумчивым видом,— кровь христианская рано ли, поздно ли не пропадает даром. Люди узнают и в Сибирь сошлют!

— Не узнают! — говорил искуситель.— Делай только так, как я тебя научу. Главное, никому про то ни гугу! Тетке своей ничего не скажи; невесте своей еще пуще того не подай никакого вида. Никто не узнает. Я тебе ручаюсь. Смотри, вон солнышко уже закатывается. Скорее отправляйся. Вот тебе суковатая дубина. Время. Скорее. До того места, где овраг, верст пять добрых будет. Купец уже собирается выезжать. Их двое: сладишь. Смотри только: не шуми, не кричи, присядь за деревьями, и тихо жди, и сразу, молча, бросся на них. Лупи их прямо по головам. На твое счастье купец, может быть, заснет в своей повозке.

Трохим, увлекаемый какою-то непонятною для него силою, не нашел более ничего возражать, не отважился и звать с собою неведомого искусителя в товарищи, хотя внутренне был недоволен, зачем тот, давши ему такой совет, сам не предложил помогать Трохиму. Принявши из рук Придыбалки суковатую палку, он пошел в путь.

Дорога шла из Мандрик через плотину на другой берег заросшей камышом реки и поднималась на гору, покрытую лесом. Взошедши на гору, Трохим шел версты две мимо убранных нив: был тогда август, ночь с 12 числа на 13-е. Дошел Трохим до слободы Лубки, проминул помещичью усадьбу, прошел мимо деревянной церкви, обсаженной березами, и вступил в лес. Страх начал подступать ему к сердцу. Затревожила его мысль о божеском наказании, но он спешил прогнать от себя эту мысль приятными образами синего жупана, Вассы и старого Шпака, который, увидя его в таком виде, в каком сам велел ему явиться, отдаст за него дочь по данному обещанию. Известно, что голос совести у человека слаб до совершения преступления: иначе бы их так много не совершалось. Трохим ускорил шаги свои, вдаваясь в лесную густоту. Наконец дорога поворотила влево и подходила к оврагу не далее, как шага на три. Здесь Трохим остановился и сел за деревьями ожидать свою добычу.

Недолго пришлось ему ждать. Через какие-нибудь четверть часа он послышал стук колес и лошадиный топот. Купец ехал по дороге почти вслед за Трохимом. Как только повозка поравнялась с оврагом, бросился Трохим и сперва огрел дубиною по голове правившего лошадьми батрака, потом спавшего в своей повозке купца. Пробужденный ударом купец произнес крик, но Тро-

хим повторил удар, и купец не испустил более никакого звука. Трохим вынул у мертвого из кармана бумажник, а потом стал выбрасывать товарные тюки, как вдруг перед ним нежданно явился Придыбалка. Удивленный Трохим хотел было расспрашивать его, как он здесь, но Придыбалка, взявши один из тюков, сказал Трохиму:

— Вот это с собой бери, а прочее все бросай! Земский суд наедет, пусть увидит, что с мертвыми их товар остался, и подозрения в разбое ни на кого не будет!

Опрокинули в овраг повозку с трупами побитых людей, с их товаром и с лошадьми.

— Оно так лучше будет! — говорил Придыбалка.— Я еще в барском дворе подсмотрел, что у него в этом тюке есть. Тут все найдешь, что тебе теперь нужно. Две штуки сукна, одна синего: из этой будет тебе жупан, другая — черного, из той сделаешь себе штаны и шапку; есть еще здесь и бархат на жилет и штука тонкого холста на рубашки.

Трохим показал ему бумажник. Придыбалка сосчитал и нашел, что в нем было до восьми тысяч рублей.

Оба воротились в Мандрики. Придыбалка ушел в барский двор, а Трохим к своей тетке, которая уже спала. Трохим, не тревожа ее, улегся в сенях, осаждаемый попеременно то сладкими мечтаниями о могущем ему быть счастии, то уколом нечистой совести.

На другой день по совершении убийства мужики слободы Лубки увидали опрокинутую в овраг повозку с мертвыми телами людей и лошадей. Дано было знать земской полиции. На месте приключения земская полиция произвела следствие и удостоверилась, что с мертвыми остался их товар. В кармане у купца нашли еще бумажник с деньгами. Трохим не заметил этого бумажника, когда вынимал другой, потому что он находился в другом кармане кафтана на противоположном боку. Это обстоятельство более всего утвердило земскую полицию в том решении, что найденные мертвыми погибли от собственной неосторожности. И врач, свидетельствовавший их трупы, также заявил, что смерть постигла этих людей от сильного удара головами о древесные пни во время падения в овраг. Во избежание подобных несчастных случаев на будущее

время земская полиция обязала владельца дачи, приписанной к слободе Лубкам, устроить около оврага со стороны дороги кирпичную загородь.

Обо всем этом узнал Трохим от Придыбалки. По распоряжению последнего, дворовый портной взялся шить Трохиму длиннополый сюртук, который тогда малоруссы называли жупаном, черные штаны, бархатный жилет и шапку; дворовый сапожник принялся шить ему сапоги, а барские белошвеи кроили и шили Трохиму белье. Всем во дворе Придыбалка рассказывал, что дал Трохиму денег на одежду и на покупку лошади и воза. «Шпак,— говорил он,— посмеялся над бедняком; задал ему такую хитрую загадку, что тот хотел наложить на себя руку. Теперь я в свою очередь насмеюсь над богачом». Это всем слушавшим нравилось, потому что малоруссы вообще охотники подтрунить над чванством своего брата разбогатевшего мужика. Придыбалка приговорил двух человек в сваты Трохиму: один был тот дворовый сапожник, что шил Трохиму сапоги, другой — зажиточный крестьянин из слободы, Негляд.

Дожидаясь приготовления одежи, Трохим отправился повидаться с Вассою. Он решился открыть ей про себя всю правду. Трохим слишком горячо любил Вассу, чтобы решиться лгать перед нею, сочинять и притворяться. Стал Трохим ходить около Шпакова сада и, заглянувши в щель частокола, увидал Вассу. Она была, как казалось, одна в саду и рвала яблоки. Трохим через щель сказал ей, что нужно с нею поговорить, и Васса вышла из сада во двор, из двора в ворота и, обогнув двор и сад, очутилась за оградою сада перед Трохимом.

— Станется все точно так, как твой батько велел,— сказал Трохим Вассе.— Я приеду со сватами на своем собственном возе, своею лошадью, одет буду в синий жупан из панского сукна.

— Где ж ты достал все это? — спрашивала его Васса с выражением неожиданной радости и вместе испуга.

— Чужим людям никому про то не скажу, а тебе все открою,— отвечал Трохим.— Воля твоя будет: хочешь — выходи за меня, хочешь — плюнь на меня, как на самое последнее ледащо!

Трохим рассказал ей все подробно, сообщил и о том, что земская полиция присудила после произведенного следствия.

Слушая страшную повесть, Васса бледнела, потом отскочила от Трохима с каким-то диким взглядом, потом подняла руки и закрыла ими лицо себе. Трохим дрожал, как Каин. Боязнь божеской кары, уже до того времени тревожившая его, охватила в нем душу с неудержимою силою. Несколько минут он молчал. Молчала и Васса, продолжая закрывать себе лицо руками и всхлипывая.

— Ах Васса, Васса! — начал снова Трохим.— Ты думаешь, мне не страшно того, что я наделал? А как же было делать? Я хотел утопиться и утопился бы, когда бы этот Придыбалка меня не оттащил от реки. Легче ли было бы тебе, если б я сам себя смерти предал? Коли ты меня больше не любишь, скажи одно слово, и я пойду брошусь в воду!

Васса стала смотреть на него с выражением скорби, потом задумчиво опустила голову и немного погодя, как бы что-то вспоминая, промолвила:

— Говорят, когда кто убьет человека, тот пусть идет в самую глухую полночь на то место, где похоронили убитого: там ему привидится такое, что он узнает, как его бог покарает и скоро ли постигнет его кара. Так старые люди говорят. Батько в книге читал, что одному убийнику было такое видение на могиле убитого. Убийник после того стал спасаться, и бог его простил. И ты сделай так: иди в полночь в лес, где побитых зарыли в землю. Что там тебе станется — мне про то скажешь. Тогда подумаем, что делать.

В раздумье ушел от нее Трохим и в тот же день в сумерки направил путь свой туда, куда посылала его невеста.

Взошел Трохим на гору, дошел до Лубков, прошел слободу Лубки, стал входить в лес. Мимо собственной воли стало Трохиму очень-очень страшно. Совесть в нем заговорила. «Суд не узнает,— думал он,— правды; суд уже решил, что купцы сами убились и разбоя никакого не было; на меня никто не положил думки; всех обманули мы, но бога обмануть невозможно. Бог все видел, как делалось, бог все знает... Бог знает, что был разбой и разбойник — я. Бог и такое знает, чего еще не сделал человек, а только думал сделать. Бог — такой судья, что от него ничто, ничто не скроется. Бог справедлив. Не только

худое дело, и худая думка не останется у бога без кары».

Никак и ничем не мог Трохим отогнать от себя гнетущей мысли о божием наказании. Чем ближе подходил он к роковому месту, тем страшнее становилось ему. Ночь была безлунная; звезды на небе то закрывались тучами, то сверкали, выступая из-за туч. Была глубокая тишь; листья на деревьях не шевелились. Вот наконец Трохим дошел.

На левой стороне от дороги в ночном полумраке отличил Трохим новый деревянный крест, поставленный на могиле свежей, еще не утоптанной. Воображению преступника стали представляться мертвецы, вылезающие из-под земли: они грозно глядят на него и как будто призывают против него божеское правосудие. Скрепившись, подходит он к могиле; ноги у него подкашиваются. Трохим перекрестился, положил земной поклон и произнес:

— Господи, помилуй! А вы, души праведные, простите меня, вашего убийника.

Вдруг у него в глазах зарябило, сердце застучало. Он не в силах приподняться. Он не понимает, что с ним творится. Ему мерещится Придыбалка: вот он как будто стоит прямо против него и смотрит так насмешливо. Ему представляется синий жупан, представляется и лошадь, запряженная в новый воз; и приходит ему в голову: «Вот если б я не побил купцов, не имел бы ни синего жупана, ни лошади, ни воза, и не увидеть бы мне Вассы вовеки!» Но эту мысль быстро сменяет другая: «Не лучше ли было мне терпеть нищету, оставаться свинарем? Меня б не давило тогда такое горе, что теперь давит: оно тяжелее нищеты». Вслед за тем ему в голову как бы вскакивает опять мысль, противоположная: «Деньги у меня есть, а с деньгами еще деньги будут и прибудут. Люди не знают и не узнают, откуда я их добыл!» Но эту искусительную мысль тотчас сменила другая: «Да, люди не узнают, так бог узнает и бог накажет». Трохим напрасно силится приподняться с земли: глаза у него закрываются; его бросает то в холод, то в жар; на него как будто сон находит, он со сном напрасно борется. Порывается Трохим встать и не может: словно гвоздями прибит он к земле! И чудится ему: вот таки будто своими ушами он слышит — из-под земли голос выходит: «Гос-

поди, покарай того злодея, что нас побил!». А этому голосу отвечает другой, кто его знает откуда: «Покараю в сорок лет!»[1] И потом — нет ничего! Трохиму как будто стало легче, его члены раздвигаются, он открывает глаза; но его глаза приковываются к могиле, и Трохиму опять страшно. Кажется, вот-вот из-под земли два мертвеца вылезут. Вдруг Трохим будто не своею силою сорвался с места и бросился во всю прыть назад по дороге, а ему чудится, что за ним кто-то гонится, кто-то бежит такими тяжелыми шагами, что земля гудит, что этот кто-то бросает за ним вслед огромные деревья, хочет попасть в Трохима. Бежал Трохим без отдыха и без оглядки, пока не выбежал из леса в поле. Далее бежать он был не в силах и упал на землю.

В эту минуту никак нельзя было уверить Трохима, что с ним на самом деле не было того, что ему представилось. Спустя несколько минут он встал и пошел медленнее; вместо страха, ему под сердце подступила томительная тоска.

Прошедши слободу Лубки, Трохим наткнулся на человека, идущего насупротив его. Трохим пригляделся и узнал Придыбалку.

— Ты что тут шляешься? — спрашивает его Придыбалка.— Зачем сюда забрел в такую пору? Отвечай, да смотри: говори правду. Не думай обмануть меня. Не выдумывай ничего. Слышь: правду говори. Меня ты не обманешь.

Трохиму показалось, что этот загадочный человек спрашивает его о том, что уже знает, и спрашивает только для того, чтоб его выпытать: будет ли он ему лгать или откроет правду. Не мог Трохимов язык пошевелиться, чтобы лгать перед наставником и благодетелем. Трохим отвечал:

— Я ходил на могилу убитых.

— Зачем? — спросил Придыбалка.

— Хотел узнать: не привидится ли мне чего-нибудь, не откроется ли мне, будет ли мне кара от бога,— говорил Трохим.

---

[1] В народной редакции легенды: «Господи, господи! Побий того злочинця, що нас побив!» Ответ: «Поб'ю у сорок літ». *(Примітка автора).*

— Дурень ты великий! — сказал Придыбалка.— Не умеешь держать языка за зубами. Проболтался бабе или девке, а тебе наплели бабьих россказней, а ты, дурень, всему веришь и делаешь глупости. Так доболтаешься до беды. Ах ты, дурень, дурень! Недоволен ты, видно, что все так хорошо сложилось для твоей пользы. Ты своим дурацким языком все испортишь: и себя самого погубишь своею дуростью, и меня подведешь. Попадешься в беду да на меня всю главную вину сложишь: я тебя искусил, я тебя на злое научил, подбил! Вы все такие, ледачие, сами заплатить готовы злом за добро, что вам сделаешь. Ну, рассказывай, дурень, что там тебе на могиле привиделось.

Рассказал ему Трохим все, что ему представлялось.

— Дурень и еще дурень! — воскликнул Придыбалка и расхохотался.— Тебе со страху пригрезилось. Ты и в самом деле подумал, что мертвецы с богом разговаривали! Куда уж им разговаривать, когда ты хватил их по головам дубиною так, что и череп проломал и мозги вывернул.

— А душа? — сказал Трохим.— Недаром же говорят, что у человека не то, что у скотины или у какой-нибудь твари, душа есть. Когда человек умрет, его душа отлетит к богу, и бог будет судить ее за грехи.

— Бабы это все наплели! — сказал Придыбалка.— Никакой души у тебя нет и не было, и никуда она не отлетит. Что человек, что зверь, что птица, что рыба, что червяк — все одинаково поживет на свете, и умрет, и сгниет, и нет его больше.

— Как можно? — говорил Трохим.— Человек тварь крещеная: оттого у него и душа есть. Батюшка говорит, что все мы после нашей смерти будем жить на том свете; праведные души в рай пойдут, а грешные в пекле мучиться будут за худые дела. Батюшка так говорит, а он все знает, что и как написано.

— Ах простота, простота! — сказал Придыбалка.— Всему верит, что ему ни скажут. Да ведь батюшки нарочно так выдумывают, чтоб на вас туман напускать да вас обирать; вы боялись бы на том свете пекла, а батюшки за молебны да за панихиды с вас деньги станут брать.

Удивился Трохим таким речам. Подобного он еще не слыхал.

— Значит,— спрашивал он у Придыбалки,— по-твоему так: души у человека нет, и кто умер — тому уж не жить?

— Не будет тот больше жить, кто умрет! — объяснил ему Придыбалка.— Коли батюшки знают такое место, где живут те, что померли на этом свете,— пусть вам покажут такое место.

— Про то бог знает! — сказал Трохим.— А мне сдается: не может быть так, чтоб человек как умрет, так душа его не жила бы на том свете у бога. Нас всех будет судить бог; и меня он станет судить за мое лихое дело. Вот я и боюсь страшного суда его, и на муку вечную в пекло меня бог осудит.

— Почему ты знаешь, что есть на свете какой-то бог? Я об этом тебя уже раз спрашивал; и теперь опять спрашиваю. Видал ты этого бога? Покажи ты мне его, дай поглядеть на твоего бога,— смеясь, говорил Придыбалка.

— Люди умные говорят про него, а я что? — сказал Трохим.— Я прост человек. Попы — люди письменные, ученые; они про то знают и нас, дурней, учат, над попами есть архиереи, те еще умнее попов, а над архиереями, сказывают, есть старшой, папа Рим называется,— тот, говорят, бога видит и с самим богом разговаривает.

— Все вздор, все глупые бабы такое болтают,— сказал Придыбалка.— Никто бога не видал, никто с богом не разговаривал, потому что бога на свете нет и никогда не было. Нынче умные люди не верят ни в бога, ни в дьявола, ни рая по смерти не дожидают, ни муки в пекле не боятся, только говорить о том не смеют.

— Коли бога нет, как ты говоришь, так кто ж это сотворил свет весь? — спрашивал озадаченный Трохим.

— Само себя все сотворило! — отвечал Придыбалка.— Все, что ты видишь кругом себя: небо, солнце, звезды, всякая тварь на земле и в воде, всякая рослина в поле — все это называется природа, все это сталось само собою, безо всякого бога, так-таки само себе сложилось. Ты думаешь, все, что вам рассказывают про бога, думаешь, они и на самом деле верят, что есть бог? Нет, Трохим. Они знают правду, знают, что бога нет, да вам этой правды не сказывают для того, чтоб вы были все дурнями, ничего не ведали, ни об чем не

судили и верили бы всему, что вам скажут, и делали бы то, что вам велят. Вот они и закон такой написали, чтоб вам во вред был, и обдуривают вас: говорят вам, будто сам бог дал такой закон. Смекни, брат Трохим, откуда взялся этот бог, что ты его так боишься? Никто того бога не видал, никто не знал и не знает, хоть и говорят, будто он есть где-то.

— Стало быть, и суда от бога нам не будет за наши худые дела? — спрашивал Трохим.

— Конечно, не будет,— отвечал Придыбалка.— Кому судить, коли бога нет. Да и как тебя судить, когда тебя на свете не будет.

Трохим не нашелся, что на это сказать. Молча шли они оба вместе. Приближаясь к Мандрикам, Придыбалка возобновил беседу и говорил:

— Вы все боитесь суда за злые дела. А какие такие злые дела и почему они злы — того не знаете. Волк задерет овцу, кошка задерет птичку. Что, это разве не злые дела? А если злые, то, стало быть, и волков, и кошек, и всякого лютого зверя будет судить бог? Как ты скажешь?

— Не знаю,— отвечал Трохим,— наш дьячок как-то раз говорил, что на страшном суде волк принесет в зубах кость того барана, что когда-то задрал, и бог будет его судить.

Придыбалка сказал:

— Волк скажет богу: «Мне есть захотелось, оттого я задрал овцу. Зачем ты, боже, создал меня такого, что я не могу есть травы, а ем только мясо? Коли мне овец не драть, так с голода пропадать». И тебя если б стал бог спрашивать: «Зачем ты купцов побил?..» А ты бы тому богу в ответ сказал: «Зачем, боже, сотворил меня бедняком? Коли б я бедняком не был, я б и купцов не побивал. А то я вижу: другие люди женятся, и мне захотелось жениться; но другие люди живут в добре и холе, и за них девушки идут, а я живу в нищенстве, и за меня, через мою бедность, девушки не отдали. Вольно было тебе, господи боже, создавать меня бедняком! Мне тоже, как и всякому другому, хочется хорошо пожить. А чтоб хорошо пожить — нужны деньги, нужно платье, нужна лошадь и много чего еще нужно. У других людей все это есть, а у меня нет. Даром никто не дает, купить не за что, а жить хочется. Вот я пошел и побил купцов:

затем их побил, чтоб набрать себе такого, чего нужно для житья хорошего. Зачем, боже, сотворил меня таким, что я должен делать тебе неугодное? Когда меня ты сотворил, то знал, что я буду худое делать: ты бы лучше меня совсем не творил!». Это я тебе, Трохим, только для примера говорю, как бы ты отвечал перед богом, если бы тебя стал бог судить; но бога нет, и судить тебя некому будет, и говорить тебе так не придется. Поживешь, поживешь, потом умрешь и согниешь в земле. Вот и весь конец тебе. И всем тот же конец. Одни дурни думают о боге и боятся суда его. Умные люди о такой чепухе не помышляют и стараются только о том, как бы на этом свете повеселее пожить.

Не привык Трохим прежде размышлять, а слепо держался детских представлений; не в силах он был, однако, защищать их, когда Придыбалка принялся их разбивать. В Трохимовой голове возник какой-то туман.

Дошедши до Мандрик, собеседники расстались. Придыбалка пошел к себе в барский сад, Трохим к тетке. Он сообразил, что тетка уже спит, не вошел в хату, а уклался под повиткою. Утром, вошедши в хату, он дал тетке денег и поручил ей купить курицу, молока и водки и приготовить обедать по своему желанию, а сам отправился ко двору Шпака. С улицы, через окно светлицы, увидал он старика, возившегося около своих книг. С ним в светлице была и дочь его. Васса из светлицы через окно увидала своего возлюбленного, ходившего по улице. Трохим подмигнул Вассе. Васса кивнула головою. Через три минуты Васса была уже за воротами своего двора и пошла вслед за Трохимом, стараясь идти вдали от него, чтоб отец из светлицы не заметил их вместе. Они обогнули двор, пошли вдоль сада и сошлись. Трохим рассказал ей, что с ним было на могиле убитых купцов. Прослушавши рассказ с напряженным вниманием, Васса сказала:

— О, коли в сорок лет обещает бог побить тебя, так нам таки долго придется пожить! Приезжай со сватами к отцу моему и синий жупан надень на себя. Отец отдаст меня за тебя. За сорок лет успеем покаяться и отмолить твой грех; в церковь начнем усердствовать, нищим будем раздавать милостыню по нашему достатку. Бог нас

помилует. Бог без меры милосерд. Отец в книге читал, что такого греха нет, чтоб его нельзя отмолить перед богом.

Трохим под влиянием Вассы успокоился. Он отправился к тетке, пообедал с нею, потом пошел к Придыбалке.

Сошлись они на заветном месте под барскими кузницами, и стал Трохим держать совет, как ему жить на свете.

Придыбалка говорил:

— Первое, мой дорогой Трохим, покинь всякие бабьи россказни. Забудь про своего бога, совсем выбей себе из головы эту поповскую нисенитницу. Моих советов послушайся, и будет тебе хорошо на свете. Ты был совсем нищий, а я тебя своим советом разом из нищенства поднял; и в люди начинаешь ты выходить, и выйдешь, коли по моим наставлениям жить будешь; богатым сделаешься, люди знать и уважать тебя станут! Думай всегда о том, что тебе может принести корысть, и чтоб тебе убытку не было, а о том никогда не помышляй, за что грех, за что нет греха! Все это бабьи выдумки. Правду я тебе скажу: греха на свете за людьми нет вовсе, а, коли хочешь, есть у людей глупость, вот она-то и есть настоящий грех. Кто глуп, тот и грешен. Деньги наживать — не глупо, стало быть, и не грешно. Надобно только так делать, чтоб никто не знал, как ты их наживаешь, и никто бы не посмел тебя осудить. Сам теперь видишь, как умно поступил по моему совету: убил купца и добыл от него все, что тебе нужно было, а лишнего ничего не взял. Никто на тебя не положил подозрения. Никто не знает, что это сделал ты, никто этого и не узнает, пока сам не проболтаешься. Сделал бы ты иначе, погнался бы за большою выгодою, забрал бы себе весь товар, увел бы к себе лошадей — вот и пропал бы! Тогда суд смекнул бы, что тут было убийство, стал бы доискиваться и, наверное, доискался бы. А ты вот за лишним не погнался, взял только свое, что тебе необходимо было, и только. И теперь все шито-крыто. Вот по этому образу и всегда так поступай. Без самой последней крайности не пускайся на такое дело, что за него пришлось бы идти в Сибирь, коли б оно за тобой открылось. Этого мало. Без последней крайности никого не обмани, ни у кого чужого не зажиль, никого не огорчи, со всеми в согласии будь,

живи так, чтоб никто худого про тебя сказать не посмел; а уж коли пришла крайность последняя, тогда ничего не бойся, никого не жалей, нужно обмануть — обманывай, только так, чтоб люди не узнали, а хоть бы узнали, то чтоб не посмели попрекать; придется украсть — укради, но только так, чтоб люди никак не узнали, что ты украл; нужно человека убить — убей, да только так, чтоб все было шито-крыто, вот как теперь сталось. Не бойся греха,— суда божия на том свете себе не жди, а умей только от суда людского на этом свете укрыться. Вот что называется быть умным. Я тебе скажу: узнаю все, что с тобой наперед будет, и узнаю вернее того бога, что ты слыхал, как он на могиле в лесу с мертвецами разговаривал. Он обещал тебя в сорок лет покарать, а я тебе скажу: неправда; будешь ты жить в богатстве и благополучии; будь только умен и живи по моему совету.

Чрез несколько дней после того одежа, обувь и белье для Трохима было все готово. Придыбалка купил ему воз и лошадь. Запрягли лошадь в воз, сели на воз двое сватов, Негляд и сапожник; с ними сел Трохим, одевшись в свой новый длиннополый сюртук. Поехали к Шпаку. Трохим соскочил с воза и отворил ворота во двор. Цепная собака, завидя чужих, рвалась на длинной веревке, по которой скользило кольцо ее цепи. Васса с наймичкой стояла тогда на пороге рабочей хаты. Она ждала гостей, но отца не предупредила. После того как Шпак прогнал со двора Трохима, Васса ни разу не дала отцу повода заметить, что встречалась где-нибудь с ним, а сам Шпак не напоминал о нем дочери: он надеялся, что время все исцелит и Васса, без всяких усилий со стороны родителя, перестанет тосковать о Трохиме. И вот, когда Шпак, надевши очки, готовился читать в четьи минеях житие Саввы Дорофея, послышался стук колес въезжавшего на двор воза. Закрывши очки и положивши книгу, Шпак бросился отворять дверь светлицы, и вдруг перед ним является Негляд с хлебом в руках. Помолившись к образам, Негляд начал произносить речь, которую при сватаньи по обычаю произносят малоруссы: как молодой князь ездил на охоту, как гонялся за лисицею и потерял ее след, как потом след пропавшего

зверя нашелся и довел их до двора хозяина. Говоря о князе, Негляд указал пальцем на Трохима, но Шпак несколько секунд не мог узнать, кто таков был этот названный князь в синем жупане: до того Шпак был далек предполагать, чтоб его бывший наймит мог так скоро явиться к нему в качестве жениха и притом в таком одеянии. Только тогда, когда Негляд назвал жениха по имени, Шпак дрогнул и побледнел, а Трохим, поклонившись до земли, сказал:

— Вы обещали отдать за меня Вассу Денисовну, когда я приеду на своем возе, собственною лошадью, в синем жупане. Я так приехал, как велели.

— А где ты взял синий жупан? — спрашивал Шпак.— Украл или, может быть, купца на дороге убил да у него из товара сукна взял?

Невольно дрогнул Трохим. Такую речь в пору было бы Шпаку произнести, если б он сидел в лесу за Лубками, когда Трохим расправился с офенями. Шпак продолжал:

— Вот я покажу тебе свою дочь. Я тебя в земскую полицию отправлю; пусть доищутся, где ты достал жупан и лошадь.

— Не говорите так,— сказал Негляд.— Не кладите на свою душу греха, а на свою семью позору. Трохим беден, да честен. Мы знаем, откуда он добыл себе жупан, и воз, и лошадь. Нашлись добрые люди, дали ему взаймы денег, на эти деньги он себе все справил.

— Как это может статься? — сказал Шпак.— Какой дурак даст денег такому оборванцу?

— Не все такие, что дают деньги только ради своей наживы,— сказал Негляд.— Есть на свете и такие добрые люди, что бедному человеку помогают в нужде.

— Эти добрые люди,— сказал Шпак,— верно, дали ему денег, надеясь получить их от меня, когда успеют одурачить и сделать тестем этого голодранца. Скажите, какие это добрые люди в мой карман заглядывают?

— Не тревожься, Денис Савельевич,— сказал Негляд,— никто в твой карман не заглядывает. Ты прогнал Трохима от себя за то, что дочь твоя полюбила его; он, бедный, хотел с горя утопиться, но по божией воле спас его от смерти добрый человек, Фетис Борисович. Этот Фетис Борисович и денег ему дал. Не бойся, Денис Савельевич, он с тебя этих денег править не будет. Твой

зять, когда разживется, сам ему заплатит, а не то барин за него отдаст, а не изволит барин отдать и с твоего зятя получить нельзя будет, все-таки с тебя Фетис Борисович их не потребует. Бог наградит его за доброе дело, что человека от напрасной смерти спас!

— Кто такой этот Фетис Борисович? — спросил Шпак.

— Тот, что у барина в садовничьей живет,— сказал Негляд.— Кто он таков — бог его знает, а в слободе зовут его Придыбалкою.

— Я отлыгаться не стану,— сказал Шпак.— Говорил я этому голодранцу, что тогда не стану перечить своей дочери выходить за него, когда он приедет ко мне на своем возе, собственною лошадью, одетым в синем жупане. Не отпираюсь. Я так сказал. Только уж коли Фетис Борисович нашелся ему таким благодетелем, так подобало бы ему придти ко мне и со мной повести об этом деле разговор.

— Он приедет, как вы дадите согласие,— отвечал Негляд.

— Я спрошусь у барина,— сказал Шпак.— Покойный барин — царство ему небесное! — обещал вольную моей дочери вместе с тем, кто будет ее мужем, а моим зятем. Он велел тогда придти к его сыну. Нельзя мне не сходить к молодому барину.

— Хорошее дело, Денис Савельевич,— сказал Негляд,— барская воля всему голова. Только нам, сватам, вы должны сказать: согласны ли отдать дочь свою, и жениху тоже объявите, вот он перед вами!

— Позову дочку,— сказал Шпак.— Сама она пусть скажет. Я ее ни в чем не силую.

Он вышел и через две минуты опять вошел в светлицу вместе с Вассою.

— Васса,— сказал отец,— сватают тебя за Трохима... Господа сваты! Как бишь вы его величаете?

— Семеновича,— сказал сапожник.

— За Трохима Семеновича,— продолжал Шпак.— Желаешь ли идти за него замуж?

— Желаю, тато! — сказала Васса.

— Слышите, господа сваты,— сказал тогда Шпак.— Ее добрая воля: сама вам объявила. Я ей не перечу; спрошу только барина, потому что я из барской воли не выхожу.

Явились на стол водка, пироги, колбасы. Стал хозяин угощать гостей. В это время двери отворились и в светлицу вошел Придыбалка.

— Денису Савельевичу сто лет здравствовать,— сказал он входя.— Хлеб-соль добрым людям и горилка. У вас, вижу, на лад пошло.

Шпак пригласил нового гостя к беседе, хотя смотрел на него недоверчиво. Придыбалка не допустил Шпака делать подходы к делу, и сам первый завел речь о Трохиме, занес Шпаку турусы на колесах о том, как Трохим хотел утопиться, а он, случайно вышедши со двора, увидал это и остановил парня, как потом дал Трохиму денег взаймы, чтоб справил себе жупан, воз и лошадь.

— А тебе, Денис Савельевич,— прибавил он,— надобно непременно сходить к барину. И я буду при барине, когда ты придешь к нему.

Шпак, выпроводивши гостей, надел на себя новую свитку светло-синего сукна, которую надевал не более трех или четырех раз в год, и вышел из дома.

Придыбалка, подбившийся в расположение к молодому Мотылину, уже сообщил ему историю Трохима, выставивши себя спасителем. Барин в этот день знал, что делается у Шпака, и ожидал последнего к себе, когда Шпак, вышедши с своего двора, направился к барскому двору. Мотылин был человек добродушный и заранее потешался над тем, что богатый мужик зачванился, а потом запутался так, что теперь должен будет в самом деле делать то, что обещал только в насмешку над бедняком. Придыбалка был вместе с барином, когда Шпак входил во двор.

— Что, старый хрен, попался в тенета? — сказал ему отставной гусар.— Сам научил зятька. Видишь, он так и приехал к тебе, как ты ему велел.

— Я затем и к вашей барской милости осмелился придти, чтоб испросить вашего господского дозволения,— сказал Шпак, низко кланяясь.

— Ему,— сказал Мотылин,— ему, доброму Фетису Борисовичу, благодарен будь за все. Он твоего зятя из беды выручил, из воды вытянул! А ты, старик, я вижу, недобрый человек! Как тебе не жаль было бедного парня? До чего ты его довел? Сквалыга ты этакой! Вот за это

стоишь ты, право, того, чтоб тебя здесь разложить да взбучить. Я прощаю тебе ради моего покойного отца, что он тебя, старого хрена, любил и в завещании написал, чтоб тебе отдать семь тысяч, что ты отдал ему на сохранение.

Мотылин ушел и, возвратившись снова, держал в руке билет Сохранной казны воспитательного дома.

— Вот,— говорил он,— и твои деньги. Покойный отец отправил их в Опекунский совет, чтоб накопить тебе процентов. Тут их накопилось уже за четыре года. Из этих процентов, что наросли на твой капитал, заплати Фетису Борисовичу все, что он истратил на твоего зятя. Слышишь?

— Слушаю,— сказал Шпак.

— А ты, Фетис Борисович,— продолжал Мотылин, обращаясь к Придыбалке,— подай ему счет. После этого нечего медлить, старик: за свадьбу!

— Благодарим вашей барской милости,— сказал Шпак, кланяясь и касаясь пальцами до земли.

— После свадьбы,— сказал Мотылин,— пусть молодые придут ко мне получить отпускную.

Прошло после того не более как две недели, и двор Шпака огласился свадебными песнями дружек. Была первая половина сентября. Погода стояла ясная, теплая. Крестьяне покончили полевые работы и занимались возкою снопов на гумна: это самое подходящее время для веселостей в сельском быту. Свадьба у Шпака устроена была не хуже и не скупее, как у всякого зажиточного мужика, но там недоставало живой непринужденной веселости. Хозяин старался быть со всеми приветлив, всех просил есть, пить и веселиться, но всем было как-то неловко в близости с ним, и все дышали тем свободнее, чем меньше замечали внимательность к себе хозяина. Даже тетка Трохимова, после многих лет нищенской жизни, теперь, в качестве жениховой матери, посаженная на почетном месте, чувствовала себя так стеснительно, что хотела бы уйти в свою бедную хатку.

После свадьбы новобрачные ходили к барину, и Мотылин выдал им отпускную.

Пришел после того к Шпаку Придыбалка и при нем говорил его зятю:

— Я тебе, Трохим Семенович, дам вот какой совет: ты переселись в город и запишись в купцы. Только

прежде выучись читать и писать. Человек неграмотный все равно, что малый ребенок, которому всегда нужна нянька. Так неграмотному нужен всегда благоприятель, чтоб его во всем наставлять. А выучишься грамоте,— словно из слепого сделаешься зрячим: никто тебя не обманет, а всякий будет еще бояться, чтоб ты его не обманул!

— Истинно правда, Фетис Борисович,— сказал Шпак, лебезивший тогда перед Придыбалкою, панским любимцем, до унижения.— Настали такие времена, что, не знаючи грамоте, невозможно никуда сунуться!

Предложил Придыбалка сам учить Трохима гражданской печати, которую знал тверже, чем Шпак, более сведущий в церковной. Стал Трохим ходить к Придыбалке и учиться чтению и письму, гражданской печати, арифметике и уменью считать на счетах. Придыбалка хвалил понятливость ученика своего.

В следующую зиму перед масляницею молодой Мотылин женился на дочери своего соседа, владельца слободы Лубки, и, по окончании свадебных пиров, в барском дворе, в великий пост, Трохим, по обычаю пришедши к Придыбалке заниматься, услышал от него такое слово:

— Нам приходится расстаться и, верно, уж навсегда. Дай мне руку.

Трохим подал ему руку. Придыбалка внимательно посмотрел ему на ладонь и говорил:

— Я умею угадывать по рукам, что с человеком вперед станет. Ты богат будешь. Пойдешь в купцы — знай: все торговое дело на том построено, что один другому лжет, один другого обманщиком обзывает, а себя честным выставляет, а всех искуснее, умелее тот, кто успеет так прикинуться, что все его честным считают и никто его в обмане никак не поймает, а он-то самый первый обманщик и есть. Тот паче всех разбогатеет. Смотри, Трохим! Дойди до того, чтобы всех обманывать, а тебя никто обманщиком назвать бы не посмел и все бы трубили про твою честность. А чтоб до этого дойти, нужно с начальством ладить, нужно ему взятки давать. И ты, знавши это, не скупись, давай всем, кому нужно давать: лучше иногда и лишнее дать, и такому иногда дать, что

можно бы и не давать; все-таки лучше, нежели не дать или не отдать, кому следует. Давши начальству взятки, не бойся ничего и никого: уже тебя никто не посмеет чернить, боясь начальства, потому что начальство — сила, а ты себе эту силу закупил! Только над всяким начальством на свете есть еще начальство верхнее. Большому кораблю плавание большое, а малой лодке плавание малое. Вот ты начнешь торговать в небольшом городе; это тебе малое плавание будет. Тут городничие, исправники, заседатели и другие, всех их закупишь себе взятками. А расторгуешься — перейдешь в губернию, там тебе будет побольше плавание: там губернаторы и прочие важные лица, подлаживайся к ним и взятки давай. Они ведь тоже люди, и им своя польза дорога. Расторгуешься — перейдешь в столицу: там тебе будет самое большое плавание. Там начальство еще выше: там министры, генералы, всякие знатные особы. И они люди, и им хочется жить как можно лучше; и к ним подладиться можно. Зато уж как с ними в приятство войдешь, так широко и высоко пойдешь; всею Россиею повернешь! Тогда обманывай всех сколько хочешь, никто не посмеет обвинить тебя, ни даже попрекнуть.

— Куда мне так высоко залетать? — сказал Трохим.

— Не говори так! — сказал Придыбалка.— Сколько таких примеров, что смолоду ходит человек в изорванном серяке, а под старость ворочает миллионами. Мне, Трохим, сдается, что с тебя выйдет богатейший купец на всю Россию. У тебя смекалки-то много. Перечислишься в купцы, прислушаешься к их речам, присмотришься к их делам и многое поймешь. Не забывай только моих наставлений,— главное: о своем господе боге не думай, суда его не жди, чертей в пекле после смерти не бойся! Помышляй только о том, как бы себе на этом свете пользы больше получить.

— Вы куда ж уходите отсюда? — спросил Трохим.

— Наш барин женился. Молодая барыня невзлюбила меня. Я ухожу от них,— отвечал Придыбалка.

— Куда? — еще раз попытался спросить Трохим.

— На что тебе знать? — сказал Придыбалка.— У тебя своя дорога. И мы, верно, уж более не встретимся. Помни мои наставления.

И они попрощались. Через три дня Придыбалки не было в барском дворе. Никто не мог сказать, куда и в какое

время он уехал и даже уехал ли. Словно испарился или сквозь землю провалился. Не было об нем с той поры ни слуху. В Мандриках тогда сильнее подозревали: не бес ли то был в человеческом образе! А оно правдоподобно, судя по тому, как он отзывался о боге.

Того ж года после пасхи не было в Мандриках ни Трохима с Вассою, ни его тестя. Усадьба Шпака по продаже, с разрешения помещика, перешла к другому лицу.

Перебрался Трохим в город, записался в третью гильдию, принялся, по совету с тестем, торговать подсолнечным маслом, которое в то время было совершенною новостью и давало Трохиму большие барыши до тех пор, пока по примеру его другие торговцы не взялись за то же; тогда случайно на улице услыхал Трохим разговор двух прохожих, толковавших о том, что один торговец другого города разжился от торговли косами, которые тогда привозились из Австрии. Не сказавши никому о своем намерении, Трохим договорил одного немца, жившего в аптекарских гезелях переводчиком, съездил с ним за границу и привез оттуда транспорт кос. Обогатили Трохима косы пуще подсолнечного масла. Трохим был в состоянии купить себе двухэтажный дом с лавками внизу. Потом заметил Трохим, что люди ни от чего так быстро не разживаются, как от винных откупов, и вступил в компанию откупщиков, состоявшую из купцов и помещиков. В этом деле еще более посчастливилось Трохиму.

«Эка! Как ему деньги-то сыпятся! — говорили торговцы.— А кажись, никакой особой мудрости в нем нет». И в самом деле, никак не могли отыскать в Трохиме таких качеств, что помогали ему разживаться. С виду он казался так себе, простофилею, прикидывался незнайкою, когда его пытались о чем-нибудь выспросить, сам никогда прямо не спрашивал о том, что его в данное время занимало, а старался узнать об этом как-нибудь сбоку, слушая одним ухом и показывая вид, будто его не касается вовсе то, о чем идет речь, а потом уже извлекал как мог и умел свои выгоды. Из купцов своего города он один только читал газеты и в состоянии был говорить и по-своему судить о таких предметах, которые для других были совершенно чужды, и поэтому он пра-

вился дворянам, которые были с ним в одной откупной компании. «Какой умный мужик этот хохол, какой простой и честный!» — говорили они о Трохиме.

Васса оставалась безграмотною, но, одаренная природным умом, отличалась замечательным житейским тактом: она успела отстать от таких слободских привычек, которые слишком угловато выдавались в ее новом положении; со всеми приветлива, ни с кем не заносчива, ни с кем особенно не дружилась, ни с кем не ссорилась, никого в глаза не хвалила, никого за глаза не бранила и, несмотря на зависть, возбуждаемую скорым обогащением Трохима, находилась со всеми в добрых отношениях. В первый же год своего переселения в город Васса родила сына. В голову Трохиму вошла тогда зловещая мысль: что, если сын его, теперь невинный младенец, понесет кару от бога за тяжкие преступления родителей? Недаром Шпак рассказывал ему из какого-то прочитанного благочестивого рассказа, как невинный человек, не сделавши ничего дурного, пил горькую чашу бедствий за преступления своего родителя и, наконец, сам того не желая, погубил отца своего. Так бог покарал грешника. «Так, может быть,— думал Трохим,— и меня когда-то бог покарает чрез моего сына». Придыбалки не было; его искусительных наставлений подновить было некому, память о них теряла свежесть и силу. Детские грезы брали верх. Внутренний голос как будто шептал Трохиму: «Есть бог, и он тебя накажет!» Когда Васса оправилась от родильного недуга, муж напомнил ей о ее обещании молиться богу за грех его. Васса сказала:

— Будем молиться. Надобно! Каждый праздник в церковь станем ходить, посты будем соблюдать, милостыню раздавать начнем у церковных дверей, а я непременно исполню обещание — схожу пешком на богомолье в Киев.

И потекли месяцы, годы... Жила Васса, не помышляя о подвигах покаяний и о паломничестве в Киев.

На десятом году после своего переселения в город, похоронивши своего тестя, перебрался Трохим в губернский город.

Здесь счастье улыбнулось ему еще дружелюбнее. Наш Трохим — теперь уже Трофим Семенович Яшников — богатейший купец во всей губернии; уже он не примыкает к откупной компании, он самостоятельный деятель,

и к нему примыкают другие: ни у кого денег взаймы он не просит, своих у него вдоволь; зато другие его просят: «Сделай милость, батюшка Трофим Семенович, возьми, будь благодетель!» И Трофим Семенович многим благодетельствует — берет у кого сотни, у кого тысячи, а у некоторых и десятки тысяч, платит процентов по пятнадцати, а сам, пуская в оборот занятые деньги, наживает по два рубля на рубль и более. У него в откупу пять уездов и губернский город, а в последнем два каменных дома; в одном из них помещается его питейная контора. Губернатор, вице-губернатор, председатель и советники казенной палаты, все полицейские и земские чиновники — у него на определенном жалованье; а его питейная контора — источник богатых милостей. Служить по питейной части было так выгодно, что управляющий конторою Трофима Семеновича был статский советник, оставивший коронную службу и все сопряженные с нею надежды на чины и ордена за двадцать тысяч жалованья в год и удобную квартиру при конторе. За пределами своей питейной части Трофим Семенович пользовался таким весом и значением, что стоило только заручиться его покровительством, чтоб иметь успех во всяком тяжебном деле, где бы оно ни производилось. Показисто жил Трофим Семенович: давал обильные обеды и блестящие вечера, где бывали губернские властители, и каждому из них оказывалась подобающая честь по его рангу. И кто бы мог узнать оных времен бедного наймита в этом миллионере, перед которым так лебезили высокородные и превосходительные светочи губернского мира! Не забывал Трофим Семенович и долга христианского человеколюбия: каждый год жертвовал по триста рублей на городскую больницу и раздавал обильную милостыню нищенствующей братии у подъезда своего дома в день великого пятка.

На двадцать первом году своей коммерческой деятельности Трофим Семенович, отправившись в Петербург на сенатские торги, возвращался в свою губернию с намерением переселиться в столицу. Но как только он вступил в подъезд своего дома, услыхал печальную весть. Васса Денисовна скончалась за неделю до возвращения мужа из столицы. От доктора, лечившего г-жу Яшнико-

ву, он узнал, что смерть постигла ее скоропостижно, от разрыва артерии.

Сильно загрустил Трофим Семенович об утрате жены, с которою сжился в продолжение многих лет. Скорбел он, между прочим, о том, что Васса Денисовна все собиралась совершить путешествие в Киев на богомолье и уже теперь не могла никогда исполнить своего обета. До сих пор счастье неуклонно везло Трофиму Семеновичу, а в счастье, как всем известно, человек мало способен бывает к раскаянию и сердечному сокрушению; от этого как ни осаждало душу Яшникова воспоминание о содеянном им когда-то преступлении, но не могло надолго и всецело овладеть его существом. Бывало, когда такое чувство охватит его, он спешит поделиться им с своею женою, и Васса Денисовна так или иначе старается успокоить мужа. Теперь ее не стало, и в целом свете не было уже никого, с кем бы он мог заговорить о своей сердечной тайной боли. Преступник осужден теперь страдать один, без раздела. Священнику он ни разу не открывал своего греха на исповеди: жена постоянно просила его, чтоб он, ради своей безопасности и доброго имени, этого не делал, да и от других лиц Яшников слыхал, будто попы, узнавши на исповеди о совершенных преступлениях, открывали их. Трофим Семенович выбирал себе в духовные отцы таких попов, которые у исповедующихся не спрашивают о грехах по росписи, какая составлена и напечатана в требниках, а ограничиваются общими выражениями в роде таких: покайтесь, в чем чувствуете себя грешным, и тому подобное,— так что, исповедуясь у такого попа, можно и не открыть ему греха и не скрыть его, а совершить настоящее иезуитское restrictio mentalis [1]. Теперь, когда не было с Трофимом Семеновичем единственного друга, знавшего всю подноготную его прошедшей жизни, пробудившаяся с неукротимою силою нечистая совесть жестоко мучила его. Неудержимо хотелось ему поделиться своею тайною мукою. Он обратил мысль на местного архиерея, а этот архиерей пользовался всеобщим уважением в губернском городе, как муж святой жизни и мудрых словес. Преосвя-

---

[1] Духовна стриманість *(лат.)*.

щенный Агафодор был известен Яшникову и прежде. К нему отправился теперь он для тайной беседы.

— Ваше преосвященство,— сказал архиерею откупщик,— я тяжелый грешник, пришел к вам просить совета, утешения и наставления. Исповедуйте меня, духовный отец, по правилам.

Бог знает, как принял бы такую просьбу от кого-нибудь другого преосвященный владыка, но от богатого и всеми уважаемого в губернии откупщика он принял ее любезно, приказал подать себе мантию, поставить аналой, прочитал молитву и начал спрашивать.

— Я грешник великий!— сказал Яшников.— Тяжелый грех лежит на моей совести многие годы.

— Нет греха, который был бы оставлен богом без прощения, если только грешник принесет истинное покаяние,— сказал владыка.— Каялись ли вы пред духовным отцом?

— Я страшился,— сказал Трофим Семенович,— чтоб духовный отец, узнавши о моем преступлении, не предал меня в руки земного правосудия. И теперь, если я решаюсь исповедать мой грех перед вами, владыко, то поступаю так оттого, что питаю к вам особое, величайшее уважение, и притом открою перед вами свой грех только тогда, когда вы соизволите дать свое архипастырское слово, что...

Архиерей перебил его речь и сказал:

— По правилам святой отец, никакой священнослужитель не должен открывать никому чужих грехов, о которых он узнал от исповедующегося грешника. Если вам наговорили, будто священники могут повредить вам, узнавши от вас тайны ваши на исповеди, то вам не следовало этому верить. А что вы так беспокоитесь, то даю вам свое архипастырское слово: не смущайтесь, говорите смело; хоть бы вы родителей своих убили или собственную дочь изнасиловали,— все равно — будьте покойны! Я вам назначу, сообразно вашим винам, церковное наказание, но не предам вас ни мирскому суду, ни мирской молве.

Яшников, успокоенный такими словами, начал повесть своей жизни и рассказал о событии, случившемся в даче села Лубки, в лесу над оврагом.

— Другого тяжкого греха никакого за собой не сознаете?— спросил владыка.

— Нет,— отвечал Трофим Семенович.

— Я потому вас об этом спросил,— сказал архиерей,— что обыкновенно одно преступление влечет за собою ряд других преступлений; но если вы не совершили после того никаких порочных поступков, это значит, что содеянное вами преступление было плодом пылкой молодости, неопытности, крайней бедности и, главное, полнейшего невежества, в котором вы тогда пребывали, наравне со всем простонародием. Грех ваш велик, но вина ваша смягчается обстоятельствами вашей тогдашней жизни и вашего тогдашнего духовного состояния. Я не могу назвать вас испорченным, неисправимым грешником, когда вы, сделавши преступление в юности, потом, в течение более двадцати лет, прожили честно, принося пользу обществу, и притом, как мне посторонние сообщали, не оставляли дел благочестия и христианского милосердия. Если я особенно строго буду вас порицать, то за то, что вы так долго не открывали своего греха духовнику и не постарались заранее очистить свою совесть. За это я вам назначу епитимию. В память вашей добродетельной супруги, которую господу угодно было призвать к себе, и вместе с тем во искупление греха вашего, содеянного в те годы, когда волнуют человека страсти, извольте построить церковь, снабдить ее изящным иконостасом, изрядною утварью, нарочитым священнослужительским облачением и положить в ее пользу сумму, на каковую мог бы содержаться клир. Если свершите сие благое дело, примете сторицею благая и в сем житии, и в будущем, и отпустится вам грех ваш. Согласны ли исполнить назначаемую вам епитимию? Не выше ли средств ваших она будет? Откровенно скажите: тогда я вам иную назначу.

Яшников поклонился с видом смирения. Архиерей продолжал:

— Однако не подумайте, что, созидая храм богу, вы, так сказать, подкупаете его правосудие. Такое помышление да не внидет в душу вашу. Сущность покаяния — в сердечном сокрушении и в искреннем сожалении о том, что вы совершили грех пред богом! Но всякое содеянное человеком преступление требует возмездия, которое состоит в том, чтоб виновный потерпел нечто за свою вину. На сем основании и земный суд определяет кару по закону. И церковь, хотя чадолюбивая мать, но вместе с тем

и праведная судия, прощая кающемуся грешнику, требует, однако, чтоб он понес возмездие за свой грех. Вот на таком-то основании я налагаю на вас епитимию. Кроме сего, имею еще и то в виду. Если бы вы знали близких кровных убитых вами людей, то сочли бы своим долгом оказать им с своей стороны какое-нибудь благодеяние. Конечно?

Яшников утвердительно кивнул головою.

— Но вы их не знаете,—продолжал архипастырь.—Так вместо них совершите благодеяние для христианского общества. Вы сами говорите, что, желая умилостивления за свой грех, раздавали милостыню. Но что значит плотская милостыня? Вы из своих сокровищ давали неимущим только телесные блага. Выше всех телесных благ благо духовное. А такое благо дадите вы алчущим и жаждущим оного тем, что создадите храм, в котором будут всегда возноситься молитвы и куда будут притекать ожидающие от бога великия и богатыя милости. Тогда и многолетнее томление души вашей, яко раскаяние, вменится вам в искупление греха вашего.

— Обещаюсь исполнить все, что изволите наложить на меня,— сказал Яшников.

— Я вас лишаю причащения святых таин, дондеже не совершите налагаемого на вас дела,— сказал владыка.— Впрочем, если бы, сохрани вас от этого бог, вы заболели опасно, тогда можете причаститься.

Немедленно принялся Яшников за постройку храма. Денег откупщик не жалел, и потому дело это пошло живо. В марте, после беседы с владыкою, происходила закладка, осенью в тот же год все церковное здание было готово, поставлен иконостас, и преосвященный Агафодор совершил освящение нового храма с приделом, во имя святой мученицы Вассы. В день освящения владыка произнес слово о заслугах создателей и благотворителей святых божиих храмов, а « в своих палатах», оставаясь наедине с Трофимом Семеновичем, сказал ему:

— Ныне древний грех ваш отпущается вам всецело. Писано-бо: «Аще разрешите на земли, разрешено будет на небеси». Я, смиренный и недостойный, разрешаю грех ваш: верьте, что и господь разрешил его. Таковы слова Христа самого. Не помышляйте более о грехе своем и не страшитесь кар за него, иначе, показывая недоверие к словам господа, согрешите тяжко и оскорбите безмерное

милосердие божие. Теперь, после исповеди, можете причаститься святых таин!

Спустя немного времени преосвященный Агафодор был указом святейшего синода переведен в другую епархию, а потом Трофим Семенович, успокоившись и утешившись о потере супруги, вступил вторично в брак с дочерью помещика слободы Лубков, тестя Мотылина. Этот барин занимался откупным делом, и потому Трофим Семенович с ним сблизился.

Скоро после свадьбы Трофим Семенович перебрался в Петербург.

И начался еще новый период жизни Трофима Семеновича Яшникова. Годы пошли за годами: живет он в Петербурге в собственном доме на Невском проспекте. Не ограничиваясь откупным делом, он взял в Сибири золотые прииски и ведет дела через своих доверенных. В золотом деле везет ему счастье, пуще чем в откупном. Остряки, выражаясь о возрастании его богатства, говорят, что Яшников просто пухнет. Молва доводит его капитал до суммы многих миллионов. Он — коммерции советник и кавалер ордена св. Владимира, сообщившего ему потомственное дворянство. Весь нижний этаж его дома занят его конторою; она, по качеству его занятий,— в двух отделениях и представляет подобие министерского департамента. В бельэтаже помещается сам хозяин. Широкая, устланная коврами и уставленная экзотическими растениями лестница ведет в его покои, где все блестит серебром, золотом, фарфором, малахитом, яшмою... Дом Трофима Семеновича постоянно открыт для гостей: роскошные обеды, блестящие вечера, широкое хлебосольство хозяина и хозяйки! Лет через восемь после переселения Яшникова в столицу к нему в дом прибыла сестра жены его, Мотылина, которой муж, умирая, оставил в собственность свои Мандрики. Эта госпожа, поживши у Яшниковых года два членом семьи их, умерла, передавши полученное от мужа имение своей сестре, Яшниковой. После того Трофим Семенович, вместе с женою и дочерью от первого брака, отправился в доставшиеся жене его вотчины. Незадолго до того скончался ее отец, и ей теперь доставались и Лубки, и Мандрики.

Путь их с большой почтовой дороги направлялся проселочною дорогою к Лубкам. Приближаясь к этой слободе, Трофиму Семеновичу приходилось проехать через то место, где когда-то происходило событие, тяготившее его совесть. Крест, поставленный на могиле двух убитых, еще стоял на своем месте, но подгнил, почернел и покрылся зеленою плесенью. Со стороны дороги овраг был обнесен кирпичным парапетом: уже несколько кирпичей из него успело выпасть и обвалиться в овраг.

— Ah, quel abime! [1] — невольно воскликнула дочь Яшникова, отворачивая голову от оврага.

— Хорошо еще, что обгорожено!— заметила госпожа Яшникова.— А то не дай бог заехать сюда в глухую ночь! А вот и чей-то крест, может быть, здесь похоронен такой, что ночью опрокинулся в этот овраг!

Ямщик, услыхавши замечание барыни, сказал:

— Это так точно было, сударыня: ехал купец с товаром ночью и опрокинулся в овраг, и товар при нем остался, и лошадей с ним нашли в овраге. Так его-то вместе с батраком здесь похоронили.

— Давно это было?— спросила Яшникова.

— Годов, почитай, более тридцати будет. Не при нашей памяти. Старые люди сказывают,— отвечал ямщик.

Трофиму Семеновичу подперло дыхание, но он не произнес ни слова.

Приехали в Лубки. На другой день госпожа Яшникова, вместе с падчерицею, отправилась служить панихиду над могилою своих родителей. Трофим Семенович остался дома. Он был сильно взволнован после того, как увидел место, где когда-то совершил страшное преступление, и, в беспокойстве расхаживая по комнатам дома, в углу под образами нашел святцы киевской печати, принадлежавшие его давно уже умершей теще. Он машинально развернул их и наткнулся на следующее место во вседневной полунощнице: «День он страшный помышляющи, душе моя, побди, вжигающе свещу твою, елеем просвещающи; не веси-бо, когда приидет к тебе глас, глаголющий: се жених!» Трофим Семенович положил святцы и стал ходить по комнатам, но прочитанные в святцах слова не отставали от его души. Грозно воскресало перед ним прошедшее в страшных, знакомых образах: как он убивал

[1] Ах, яка безодня! *(Франц.)*

купцов, как вместе с Придыбалкою опрокидывал их тела в овраг, как потом, пришедши на их могилу, услышал неизвестно откуда исходивший голос: «Покараю в сорок лет!» Вот уже прошло тридцать четыре года, осталось шесть лет: и те пройдут, и сороковой год наступит, и тот год пройдет, и настанет день, тот самый день, о котором говорится в святцах, день, когда к душе его приидет глас, глаголющий: «Се жених!» Стал тогда пытаться Трофим Семенович утешать себя воспоминаниями о преосвященном Агафодоре; он ведь владыка, архипастырь, он в церкви носит на себе образ самого Христа-господа. Не сказал ли преосвященный, что грех его прощен, что ему не следует томить себя и пугать ожиданиями божия суда? Да, он сказал так. Что можно возразить против того, что он говорил? Не указал ли он на слова самого бога, давшего власть пастырям разрешать грехи людей? Не оставил ли господь обещание, что все, разрешенное на земли, будет им разрешено на небеси? Разве это не так? Да, а между тем совесть начала снова жечь сердце Трофима Семеновича. Разве разрешение архиерея бессильно? Или не значит ли, что со стороны грешника еще что-то осталось сделать? Что же? Каяться; но ведь архиерей не велел более ни скорбеть, ни думать о том, что уже разрешено и прощено! Да, архиерей разрешил, и бог, стало быть, разрешил; а Трофиму Семеновичу страшно, больно... Колена его тряслись, сердце задрожало. Он перестал ходить по комнатам дома, в изнеможении прилег на диван и невольно закрыл глаза.

Вернулись жена и дочь. Принялись завтракать. Напрасно Трофим Семенович думал залить бургонским вином и заесть честерским сыром расшевелившуюся совесть. Случайно раскрытая в святцах страница не выходила у него из воображения: ему все мерещился страшный день, свеча и глас, вопиющий: «Се жених!»

Пробывши с неделю в Лубках, Яшниковы отправились в Мандрики. Невыразимые ощущения охватили душу Трофима Семеновича, когда он увидал то село, где родился, проехал по тем улицам, где когда-то бродил с мешком за плечами, выпрашивая хлебные недоедки. Теперь вот он въезжает в барский двор, тот самый двор, куда он назад тому тридцать пять лет не смел войти, пугаясь грозного имени: барин; а барин в его детском воображении представлялся существом странным и вместе

ужасным, существом, не похожим на обыкновенных людей, таким существом, которое все только сердится и дерется! Теперь он сам барин, да еще владелец этого самого двора, которого в ребячестве так боялся.

В первый же день, когда Яшниковы расположились в барском доме слободы Мандрик, Трофима Семеновича что-то невольно потянуло в сад. Вот оранжерея, вот садовая изба: здесь, в отдельной половине этой садовой избы, жил Придыбалка, сюда приходил к нему учиться чтению, письму и цифири молодой крестьянин, только что женившийся на дочери богатого мужика. У дверей оранжереи стоял неведомый Трофиму Семеновичу рабочий; он почтительно снял шапку, сознавая, что перед ним новый барин.

— Кто у вас теперь главный садовник?— спросил его Трофим Семенович. Рабочий назвал его по имени.

— Не знаешь ли,— спросил Трофим Семенович,— где теперь Фетис Борисович, что был у покойного Мотылина главным садовником?

— Не могу знать,— отвечал рабочий.— Такого, сударь, кажись, у нас не было.

— Был,— сказал Трофим Семенович,— давно только, годов больше тридцати тому прошло.

— Этого мы помнить не можем,— отвечал рабочий,— я в те поры еще не родился.

Отошел от него Трофим Семенович, он пошел гулять по саду; везде замечал он отпечаток запустения. Видно было, что этот сад много лет уже оставался без хозяйской любви к нему. Вышедши из сада и проходя через двор, Трофим Семенович встретил служителя; волосы с проседью показывали, что он живет на свете около пятидесяти лет. Трофим Семенович остановил его и спрашивал:

— Не помнишь ли ты Фетиса Борисовича, что был когда-то главным садовником у Мотылина?

— Немного помню,— сказал служитель,— только я тогда жил еще на слободе, и во двор меня не брали. Помню. Его звали в слободе Придыбалкою.

— Да, да, Придыбалкою,— сказал Трофим Семенович.— Не знаешь ли, не слыхал ли, где он?

— Не знаю, сударь,— отвечал служитель.— Да навряд ли кто в слободе про то знает. Про него ходили в народе странные слухи,— ну да ведь глупый народ, мало ли чего болтает.

— Что такое? — спросил Трофим Семенович.

— Такое, барин,— сказал служитель,— такое, что и говорить про то не годилось бы. Известно, народ глуп, мало ли что мелет.

— Что такое? Скажи,— с любопытством допрашивал его Трофим Семенович.

— Что будто...— говорил таинственно служитель,— будто он только в образе человеческом ходил, а на самом деле не человек был.

— Кто же?— спрашивал барин.

— Известно,— сказал служитель,— народ глуп, сударь; необразованность, мало ли чего выдумает простонародие по своей простоте?

— За кого же считали в слободе этого Придыбалку, скажи,— допрашивал барин.

— За самого лукавого, сударь,— сказал служитель.— Говорили: кто только с этим Придыбалкою свяжется, того он сейчас на грех подведет. С покойным нашим барином, говорят, такое было в те поры, как они были молоды и приехали из полка. Совсем было обошел их этот Придыбалка, во всем на него барин положился и души в нем не слышал; только после, как они изволили остепениться и женились, молодая барыня первым долгом потребовала от барина, чтоб этого Придыбалки у них ни во дворе, ни в слободе не было. Барин послушались доброго совета барыни и согнали Придыбалку. Куда тот ушел, где делся, где жил после того, и живет ли он до сих пор на свете, про то я не знаю, и навряд ли у нас в слободе есть такой, кто про это знает. Еще про него в слободе ходила такая притча, что коли кто по наущению его пойдет и пообещает ему жить так, как он укажет, того он богатым сделает и в большую честь введет. Был у нас в слободе старик, лет ему за восемьдесят перевалило; недавно умер. Тот, помню, рассказывал: был, говорит, у нас в слободе парень, бедный такой, что совсем нищий, милостыни под окнами просил! Этот Придыбалка и говорит ему: «Дай мне клятву, что будешь делать все, что я тебе велю. Я тебя за то богачом произведу». Парень искусился и дал ему такую клятву. Что ж вы думаете? Этот парень как-то вышел на волю и ужасть как разбогател. Так старик этот сказывал, а бог его знает, правда ли это, или нет.

От этого рассказа побледнел Трофим Семенович. Он понял, что речь шла не о ком другом, а именно о нем. У народа про него сложилась сказка. «Вот что оно,—

думал Яшников, ушедши от рассказчика,— народ здесь не совсем забыл про меня, сплел про меня небылицу. Значит, надобно быть осторожным, чтоб крестьяне не узнали, кто теперь у них стал барином. А разве можно утаить шило в мешке? Пусть бы знали, что я когда-то по этой слободе ходил бедным оборвышем. Это не беда. Тем больше чести. А вот что дурно, когда станут болтать, что их барин разбогател при помощи черта, ходившего в человеческом образе. А что ж? Станут болтать. Что тут поделаешь? Всем не зажмешь рта. Всего хуже, как проведают, с какого повода я богатеть начал. Нет, нет! Этого проведать не могут. Суд уже давно решил, что убийства не было: купцы по собственной неосторожности опрокинулись в овраг. Так и в народе, как видно, осталось. Вот и ямщик, что нас вез, говорил: ехали какие-то купцы и упали с повозкою в овраг, и товар, и лошади при них найдены. Стало быть, их никто не убивал, иначе разбойники взяли бы себе товар. Нет, люди не узнают моей тайны; один бог знает ее. Но архиерей уверял меня, что бог простил уже меня. А вот умные люди говорят, что бога вовсе и нет. А кто его знает: однако все равно мне бояться нечего, коли есть бог, так он меня простил и наказывать больше не станет, а коли его нет, так и наказывать меня некому».

Прошедши через двор, Трофим Семенович не вошел в дом, а вышел чрез калитку и очутился в виду двух господских кузниц. И вспомнил он, как здесь, под этими кузницами, он видался с Придыбалкою и слушал его наставления; увидал он и то плесо, куда хотел броситься, когда Шпак прогнал его. Вспомнил он и речи Придыбалки, как тот указал ему путь найти себе синий жупан и лошадь, чтоб жениться на Вассе. Вспомнил он и про то, как Придыбалка предсказывал, что он будет богачом. Пророчество сбылось. Но с чего пошла его разжива? С того несчастного бумажника, что он вынул из кармана убитого им человека! Ах какой скверный начаток! Ах какое ужасное дело! Не с этого ли гнусного дела начал он богатеть, а мало-помалу дошел до того, что стал коммерции советником, дворянином, знатным барином. Какая необычная и вместе проклятая судьба! Всему начало положило преступление, за которое следовало его, по закону, сослать в каторгу. Что ж теперь делать? Каяться. Но кому каяться? Богу? Но бог простил его; так архипастырь ска-

Портрет М. Костомарова. *Фото. 80-і роки XIX ст.*

Могила М. Костомарова на Волковому кладовищі в Петербурзі. *Фото. 90-і роки XIX ст.*

зал, и то было уже давно. А вон другие умные люди, что все читали и много знают, говорят, будто и бога-то нет.

Так перевертывались мысли в голове Трофима Семеновича, когда он остановился перед кузницами, под которыми тридцать четыре года тому назад слушал наставления Придыбалки. И не на что было его уму опереться, снова начиналась и не кончалась в его душе обычная внутренняя борьба.

Воротившись с прогулки в дом, Трофим Семенович предложил жене и дочери проехаться по даче. Пообедавши, они сели в коляску покойных Мотылиных, оставшуюся в имении после господ. Проехали мимо того места, где жила когда-то солдатка Ирина, Трохимова тетка. Не было уже убогой солдатской хаты, где проводил когда-то теперешний петербургский богач свое грустное отрочество. Вместо нее в новом дворе стояли две нарядных избы, а позади, где был когда-то жалкий огород солдатки, зеленел густолистый садик. Яшниковы проехали мимо бывшего двора Шпака: и там увидал Трофим Семенович совсем не то, что напечатлевалось в его памяти от молодых лет. Ни следа прежней светлицы, ни рабочей избы; прежние ворота отнесены в другое место, а там, где у Шпака были ворота во двор, красовался домик в великорусском стиле, с пятью окнами, перед которыми не во дворе, а на улицу в палисаднике зеленели кусты сирени и бузины. Все переменилось в Мандриках за тридцать четыре года, заметил Трофим Семенович. Даже церковь, в которой его крестили и венчали, изменила свой наружный вид: прежде она была покрыта дранью, а теперь — листовым железом, покрашенным ярко-зеленою краскою, а посаженные вокруг церкви березки, которых знал Трофим Семенович маленькими деревцами, стали теперь большими, густолистыми деревьями. Только два надгробные памятника в церковной ограде гласили о прошедшем слободы Мандрик: первый — покрывал останки старого Мотылина и жены его, другой, рядом с первым,— поставлен был на могиле последнего из Мотылиных, оставившего имение жене своей, передавшей его, по завещанию, в род Яшниковых.

Пробывши около двух недель в Мандриках и сделавши хозяйственные распоряжения об управлении Мандриками и Лубками, Яшниковы возвращались в Петербург.

Яшниковы выехали на своих лошадях на почтовую дорогу. Путь их в Петербург лежал через Москву. На этом пути, в тридцати верстах от столбовой дороги, находился знаменитый во всей России монастырь: чудотворная икона богоматери привлекала туда богомольцев из близких и далеких сторон православного русского мира. Госпоже Яшниковой казалось предосудительным не посетить этого монастыря хоть раз в жизни, особенно когда случай приводил ее проезжать неподалеку от этой святыни. Трофим Семенович, угождавший жене, и теперь не отказал ей. Яшниковы свернули с почтовой дороги и прибыли в монастырскую гостиницу, где расположились в трех покоях. В большой монастырской церкви стояла в серебряном позолоченном окладе чудотворная икона богоматери; в другой церкви был колодец, называемый живоносным: народ признавал особую благодать в воде этого колодца. Когда Яшниковы побывали у архимандрита, тот сообщил им, что в монастыре есть схимник, отец Пафнутий, старик семидесяти пяти лет, имевший дар прозорливости и провидения будущего. Впрочем, преподобный отец, как счел нужным заметить архимандрит, не терпел, чтоб к нему приходили из любопытства; нередко посетителю, являвшемуся с таким побуждением, схимник говорил: «Что ты ко мне гадать пришел? Ступай лучше к бабе-ворожее, коли тебе охота заниматься суевериями!» Если же посетитель ему нравился, то схимник укорял его в наставительном тоне: «Будущее одному богу ведомо! Грешно желать знать о своей грядущей судьбе: полагайся во всем на волю божию». Хотя он был постник и отшельник, но никого не заманивал к прелестям монашеского жития. Пришел к нему однажды купчик, которому пришла охота странствовать из монастыря в монастырь, с намерением вступить со временем самому в монахи. «Тебе,— сказал ему отец Пафнутий,— не велит бог думать о монашестве. Не всякому иноком быть можно, а только тем, кого бог сам к тому избирает! Не думай, что в мире спастись нельзя. Ступай в свой город и занимайся торговлею. Бог пошлет тебе хорошую жену, и ты будешь добрый семьянин и честный торговец». Так поступил купчик, и так с ним сталось в жизни. Не всякого допускал к себе схимник; иным он не отвечал, когда, подходя к его дверям, они произносили молитву: «Господи Иисусе Хри-

сте, боже наш, помилуй нас!» Не дождавшись благосклонного «аминь!», они принуждены были уходить с прискорбием. Однажды пришла к нему какая-то барыня. Схимник допустил ее, но, не давая ей обычного благословения, спросил ее: «Какой ты веры?» — «Как какой? — сказала изумленная барыня,— православной, греко-российской!»—«Есть люди,— сказал отец Пафнутий,— именующие себя христианами, а они — сущие язычники и поклоняются многим идолам. И ты такая же. У тебя идолы — женские платья, шляпы, ленты, перчатки: все это идолы твои». И потом начал ее учить отец Пафнутий, что надобно паче всего любить бога, а к тленным земным вещам не прилепляться. Много подобного рассказывали об отце Пафнутии во свидетельство его мудрости и прозорливости.

Услыхавши от архимандрита об этом прозорливом старце, Трофим Семенович, остававшийся под влиянием впечатления, возбужденного посещением Мандрик, решился пойти к старцу и у него исповедоваться.

По указанию монаха, Трофим Семенович отправился на монастырское кладбище, отделенное невысокою каменною оградою от главного монастырского двора, на котором стояли церкви. На кладбище вела калитка, настолько широкая, что через нее можно было пронести гроб с покойником. Вправо от калитки вдоль стены, отделявшей кладбище от двора, стояла небольшая церковь; главный вход в эту церковь был со двора, а на кладбище выходила из церкви другая дверь, железная, отворявшаяся только в таком случае, когда нужно было нести покойника в могилу. Далее за церковью, вдоль той же стены, была келья схимника. Единственный вход в эту келью был со стороны кладбища. Близ ее двери проделано было маленькое оконце, а на противоположной стороне во двор было другое оконце, несколько шире первого; через это последнее затворнику подавали пищу. У самой кельи на кладбище были могилы, и один надмогильный крест, стоя у самой двери, как будто просился в келью к отшельнику. По наставлению, сообщенному монахом, Яшников, подошедши к оконцу, выходившему на кладбище, произнес:

— Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас!

Из кельи послышалось:

— Аминь.

Дверь отворилась.

Трофим Семенович вступил в келью. Это была маленькая комнатка, в ней не могло стать в ряд более трех человек. Каменная лежанка, без всякой постели, составляла ложе отшельника. Стол, с двумя лежавшими на нем книгами, и простая, некрашеная скамеечка составляли всю мебель комнаты. Над лежанкою висел образ спасителя в терновом венце. Перед Трофимом Семеновичем стоял мужчина в черной власянице, закрытый схимническим аналавом с изображением креста и адамовой головы под крестом. Трофим Семенович хотел поцеловать ему руку; схимник отдернул ее.

— Я...— начал было золотопромышленник.

— Ты,— перебил его отшельник,— грешник! Но всех грешников бог по своему бесконечному милосердию прощает, если они смиренно покаются пред богом. Есть грех паче всех грехов — то гордость духа. Рек-бо господь: «Блаженны нищии духом: тех-бо есть царствие божие!» Смиряйся и кайся!

Другой бы счел такие слова обычным иноческим нравоучением, применительным ко всем людям; но Трофим Семенович оставался под впечатлением воспоминания о своем преступлении; ему пришло в голову такое соображение: он сразу назвал меня грешником, он, стало быть, узнал, кто к нему пришел. Правду говорят про него, что он прозорлив. И Трофим Семенович рассказал отцу Пафнутию всю повесть жития своего, начиная с детства. Не утаил он и страшного дела, совершенного в лесу над оврагом.

— Окончил?— спросил отец Пафнутий строгим, но спокойным голосом.

— Окончил,— отвечал Трофим Семенович.— Меня смущает...

— Да не смущается сердце ваше,— сказал отшельник,— терпи наказание от бога и уповай на его беспредельное милосердие.

— Меня,— продолжал Трофим Семенович,— именно то смущает, что я не понес никакого наказания, и я думаю, что кара меня ожидает тогда, когда исполнится сорок лет, как мне обещано было на могиле. До сих пор все идет благополучно, деньги за деньгами сыпятся в карман, мне только и горя было, что потерял жену, но скоро

потом бог даровал мне другую, также достойную. И детьми своими я доволен.

— Этим тебя бог и наказывает,— сказал схимник,— что тебе во всем удача и благополучие; в этом тебе и почин кары божией. Никакой грех не останется у бога без кары, ни одна добрая мысль — без награды. Как бы ты, после совершенного тобою злого дела, перенес какое-нибудь несчастие, то счел бы его божиим наказанием, а ты вот говоришь, во всем тебе удача была, и денег у тебя много, и семьею ты доволен. Это значит: бог оставляет вперед кару над тобою. Хорошо было бы, когда бы на самом деле приключилось тебе какое-нибудь несчастье или болезнь тебя постигла, прежде чем исполнится сорок лет, а то хуже будет, когда и сорок лет пройдет, и с тобой ничего не случится, и денег у тебя много будет, и будешь ты здоров и благополучен, и во всех делах твоих будет удача. Тогда перестанешь ты страшиться кары, и тогда совсем потеряешь — не скажу веру в бога: у тебя ее нет,— потеряешь страх божий, который у тебя еще есть. Вот тогда последняя твоя будет кара на земле. Земные люди слухом внимают и не слышат, очима смотрят и не видят. Им нередко благополучием кажется то, что есть великое бедствие; добро видят они там, где настоящее зло. Со стороны глядя на тебя, люди подумают: «Вот над ним благословение божие! Оттого ему во всем удача и счастье!» Обманываются люди: не благословение тебе это, а кара! Вот как бы привел тебя господь потерпеть даже за то, в чем ты ни душой, ни телом не виноват! И тогда было бы тебе лучше. Пусть бы люди напрасно тебя обвиняли, а ты бы сам знал, что не за то, по божию смотрению несешь наказание. А если так до твоей смерти будет тебе во всем одно благополучие и люди будут тебя хвалить и прославлять, не зная, что ты был великий грешник и злодей, тогда горе тебе! Это значит, что зело прогневил ты бога: и бог соблюдает для тебя кару в твой последний день, рука страшного суда своего.

— Что мне делать, честный отец? Скажи, что мне делать? Я думал угодить богу и заслужить его милосердие, я на святые церкви жертвовал, храм построил, нищим благодетельствовал.

— А что сказано,— возразил отец Пафнутий,—«аще вся имения моя раздам нищим, любве же не имам, никая польза ми есть». Храм построил, нищим благодетель-

ствовал! Вы думаете бога подкупить вашею милостынею? Да ведь Иуда-предатель о нищих пекся,, когда укорил жену, пролившую драгоценное миро на господа. Что ему господь сказал: «Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». А он, господь, что такое? Он — любовь всесовершенная. Когда в наше сердце вступает любовь, значит, сам бог в него вступит. С нами тогда Христос. Пользуйся, человече, минутою, когда Христос с тобою. Пройдет сия драгоценная минута, отгонишь Христа от себя лукавыми своими помыслами и намерениями, тогда месяцы, годы пойдут обычною чредою, а Христа с тобою не будет; станешь звать его к себе, а он не придет! Тогда сколько ни раздавай милостыни, сколько ни строй церквей — все тщета, никая ти польза есть. Люди тебя хвалить будут — и только. От людей восприимешь мзду свою, а от бога ее не ожидай.

— Что же,— сказал Трофим Семенович,— что же делать, когда ни милостынею, ни богоугодными делами нельзя, как говоришь ты, загладить греха? А честный владыка, повелевший мне построить храм во искупление моего преступления, сказал мне, что как он разрешил мне грех здесь, так и на небе разрешен будет грех тот.

— По разрешению пастырскому,— сказал схимник,— грех разрешается на небеси богом только тогда, когда грешник сам кается с верою. А у тебя нет веры. Без собственной веры грешника бессильно всякое разрешение духовного лица. А чтоб иметь веру, надобно со смирением вымолить ее у бога.

— Как же это сделать? Научи,— сказал Трофим Семенович.

— Если я укажу тебе к тому средство, ты не поступишь по моему совету,— сказал отшельник.

— Поступлю, честнейший отец. Скажи твой совет,— произнес Трофим Семенович.

— Скажу тебе,— сказал отец Пафнутий,— только наперед знаю, что ты моего совета не примешь; скажу тебе для того, чтоб ты знал тот путь своего спасения, по которому пойти у тебя не хватит ни решимости, ни силы. Раздай все свои капиталы на добро своим ближним, а сам останься без гроша. С чего началось твое обогащение? С преступления, со злодеяния! Потеряй же добровольно все, нажитое тобою на этом нечистом пути: тогда получишь ты возможность испросить у бога полное про-

шение за свой тяжкий грех. Только все раздай, ничего у себя не оставь; не уподобись Анании и Сапфире. Так раздай, чтоб никто не узнал, что это роздано тобою. Не труби перед собою!

— Как же,— сказал Трофим Семенович,— я сделаю нищими собственных детей, неповинных в отцовском грехе?

— А ты,— сказал ему отец Пафнутий,— читаешь в повседневной молитве: хлеб наш насущный даждь нам днесь. Если так молишься, чего тебе страшиться за детей? Бог даст им хлеб насущный. Господь силен прокормить и одеть твоих детей. В евангелии сказано: «Имейте веру божию, и аще речете горе сей: «Верзися в море»,— будет по глаголу вашему». Это ведь словеса самого господа. У тебя нет веры; я это вижу, но без веры никакая щедрая милостыня не примирит тебя с богом; без твоей собственной веры никакое архипастырское разрешение не разрешит тебя на небеси. Веру надобно приобресть, а чтоб ее приобресть — я подаю тебе такой совет. Весь свой капитал потратишь, детям своим не оставишь, тогда детей своих предашь в волю божию. Вот тут и будет твоя вера в бога. Тут важно не то, что ты свои миллионы издержишь на богоугодные дела. Что миллионы? Прах, тлен, сор. Что такое богоугодные дела? От дел не оправдится никакая плоть пред ним. Тут именно то важно, что дети твои тебе милее и дороже всего, а ты им никаких богатств не оставишь и предашь их в волю божию. Этим ты благодать божию к себе привлечешь.

Трофим Семенович молчал, потупивши голову. На лице его изображалось смущение.

— Что, богач? Видно, жестоко слово сие! — сказал схимник.— Видно, ты уподобляешься тому богачу, ему же Христос предложил, если хочет совершен быти, раздать все свои имения нищим и идти за Христом! Не прошло мимо тебя слово господа, рекшего: «Удобее верблюду пройти сквозь уши иглиные, нежели богатому в царствие божие внити!» Пусть же бог сам вразумит тебя и наставит, а я более не скажу тебе ничего. Оставь меня.

Трофим Семенович поклонился и вышел из келии молча.

Ничего не сказал он ни жене, ни дочери, которые осматривали монастырскую ризницу в то время, как

Трофим Семенович посещал отшельника. После него мать и падчерица, по совету архимандрита, ходили к схимнику, но обе возвратились в гостиницу, не видавши схимника. Три раза, один вслед за другим, под дверьми келии его госпожа Яшникова произносила обычную молитву: «Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас!» Не последовало на эту молитву желанного: «Аминь!» Прозорливый старец не показал охоты вступать с ними в беседы.

Вернулись Яшниковы из монастыря на почтовую станцию, а оттуда покатили в столицу.

Дорогою Трофим Семенович был грустен и молчалив. Он солгал жене и дочери, сказавши, будто отшельник не принял его так же, как и их, но, углубясь в себя, размышлял о беседе со схимником. «Вишь ты,— думал он,— раздай другим ни за что ни про что весь свой капитал, а сам останься безо всего! Хорошо так говорить, когда у него ничего нет и, может быть, никогда не было, коли у него в келье даже постели нет! А мне как это сделать!» И стало Трофиму Семеновичу воображаться: все свои банковые билеты, все свои деньги раздает он на благотворительные учреждения, продает свой дом на Невском и вырученные с продажи деньги обращает туда же, и поступает так, как велел схимник; никто не знает, откуда жертвуются такие суммы. И ему за это ровно ничего. Шиш под нос. Ни ордена, ни монаршего благоволения, ни министерской благодарности, ни газетной похвалы! Никто не знает, что он совершил такой подвиг. Только дети узнают. Как им не узнать, когда они через этот отцовский подвиг станут бедняками? Что тогда они скажут? И стало Трофиму Семеновичу ужасно. «Ах я дурак! Пошел спрашивать совета у выжившего из ума чернеца! — говорил сам себе Трофим Семенович.— Я человек общественный, и уж коли спрашивать совета, так спрашивать его у такого, что живет сам с людьми, а не на кладбище с мертвецами. Да и в самом деле, разве я не загладил греха молодости и невежества честною и полезною для общества жизнью в течение многих лет? Разве ни за что меня и люди одобряли, и государь жаловал? Что, я был разве скуп для неимущих? Мало ли я благодетельствовал и нищим, и святым храмам? Архиереи поважнее этого схимника, и те меня в пример благочестия и всяких доб-

родетелей ставили, а преосвященный Агафодор давно уже разрешил мой тяжкий грех! Да еще как разрешил: вменил мне в новый грех, если я стану беспокоиться за свой прежний, им разрешенный! Помню я, как этот мудрый архипастырь насчет раздачи милостыни говорил: следует давать милостыню с рассуждением, с толком, и давать ее так, чтоб и себя самого, и детей своих не разорять. Вот истинно мудрое наставление! А этот чернец что говорил? Надели дармоедов, а собственных детей пусти по миру. Да почему это бедные так приятны богу, что другие должны трудиться и собирать состояние, чтоб его бедным раздавать? Гораздо больше благотворит тот, кто не даст никому даром ни гроша, а устраивает какое-нибудь дело и доставляет труд бедным людям, и им за труд платит. Хоть он и себе доставляет пользу, но и другим дает, и дает не даром, а за труд. Это похвальнее. И средства бедным доставляются, и к лености они не приучаются. Разве я не так поступал? Мало ли народа служит у меня и по откупам, и по золотым приискам? Все получают исправно за свой труд жалованье, никто не пожалуется, чтоб я кому-нибудь недоплатил, кого-нибудь обманул. Разве все это не благотворение общественное? Вот это-то и есть настоящая благотворительность, а вовсе не глупая раздача денег лентяям и бродягам, как нас учат монахи! Вишь, что выдумали! «Хочешь спастись,— говорят,— раздай нищим все свое состояние», это значит: сам трудись, ни днем, ни ночью покоя не знай, а что наживешь — все это раздай таким, что сами трудиться не хотят, приобретать не умеют, а охочи на чужой счет пожить! А отчего нищий стал нищим? Спросил бы их. Оттого, что работать не хотел. Конечно, так. Кто трудится и притом кто одарен умом, тот богатеет, а кто ленится и глуп, тот весь век остается бедняком. А у этих чернецов такое рассуждение: ты богач, у тебя всего много; раздай все тем, у кого ничего нет, а сам бедняком стань. Тогда в рай пойдешь. Богатому, говорят они, нельзя войти в царствие небесное: так сам бог сказал. Ох, видно, не совсем неправы те умные и ученые люди, что не очень-то верят в бога. В самом деле, какой премудрый бог, что такое сказал, чтоб не входить богатому в царствие небесное!»

И путем саморазмышления Трофим Семенович подходил опять к отрицанию божества.

Воротились Яшниковы в Петербург. Трофим Семенович опять погрузился в свои торговые и промышленные спекуляции. Дела его не только не упадали, но становились все лучше. Откупа он совсем покинул и ограничивался одною золотопромышленностию, и с этой целью он в летнее время съездил в Сибирь. Два семейных праздника огласили необычною веселостью дом золотопромышленника, и без того всегда людный и шумный. Первый — был выход замуж его дочери за князя знатной фамилии, избравшей Елену Трофимовну как ради ее красоты, так и ради богатого приданого. Второй праздник была женитьба сына его, служившего по дипломатической части. Отец достойно своему состоянию наделил и отделил обоих детей своих.

Но быстро, быстро с гор текут
В долину вешни воды,
И невозвратные бегут
Дни, месяцы и годы.

И вот настал роковой сороковой год со времени совершения преступления, тяготившего совесть Трофима Семеновича. В июне этого года жена Яшникова уехала в свои имения по делам. Трофим Семенович не поехал с нею, отозвавшись, что важные дела требуют его присутствия в столице.

Проводивши жену, Трофим Семенович проживал на собственной даче, близ Царского Села, и часто по делам езжал в город. Состояние духа его делалось день ото дня тревожнее. Преступление совершено было 13 августа, и Яшников ждал сорокового из прожитых им с тех пор августов с таким же ужасом, как Громобой — появления Асмодея. Трофиму Семеновичу представлялись разные виды божеской кары, долженствующей его постигнуть ровно через сорок лет: то думал он, что на него нашлется смертельная болезнь, и он пробовал узнать, нет ли признаков начинающейся водянки или рака и т. п. То приходила ему мысль, что он умрет от внезапного апоплексического удара, и он спрашивал врачей, не предрасположен ли он к апоплексии? То воображалось ему, что он погибнет от неожиданного случая: загорится дом, и он не успеет из него выскочить, либо обвалится свод здания, где он будет находиться, и убьет его. Иногда золотопромышленник опасался тайных врагов и завистников: они

затеют извести его и подкупят слуг или каким-нибудь способом найдут возможность отравить его. Все навязчивее становились пугающие его призраки. В начале августа он пригласил к себе на дачу сына, жившего от родителя отдельно, в подаренном ему отцом доме.

— Александр,— сказал ему отец,— хочу поговорить с тобою об очень важной материи. Ты у меня учен и учен, а мы, грешные, учились на медные деньги и то не доучились.

— Слушаю, батюшка! —отвечал сын.

— Я, мой друг,— сказал старик,— всегда был откровенен с своим семейством, а с тобой более всего. С тех пор как ты меня знаешь, не произошло со мною ничего сколько-нибудь важного, о чем бы ты не узнал от меня самого. Но ты не знаешь кое-чего такого, что со мною происходило в то время, когда тебя на свете не было. А было со мною такое, чего я до сих пор ни тебе, ни кому другому не открывал; не потому, чтоб я не доверял своей семье, но, видишь ли, бывает, у человека останется из прошлого на душе такое, что ему самому вспоминать неприятно; хотелось бы, чтоб этого не было в жизни, да ничего не поделаешь, когда знаешь, что оно было!

— Я думаю, батюшка,— сказал Александр Трофимович,— нет на свете человека, у которого на душе не оставалось бы неприятных воспоминаний. Если не ошибаюсь, мне кажется, тебя тревожит воспоминание о чем-нибудь таком, что легло бременем на твою совесть, воспоминание о каком-нибудь событии в твоей жизни, когда ты поступил не так, как бы хотел после поступить, и желал бы ты, когда бы этого события не случалось с тобою. Не так ли, дорогой батюшка?

— Истинно так, Александр! — сказал Трофим Семенович.— Ты угадал. Ну, ты знаешь меня, своего родителя; скажи, способен ли я нанести оскорбление моему ближнему?

— Ты, батюшка, выражаешься немного по-церковному,— сказал Александр Трофимович.— Слово «ближний» употребляется часто, но не всегда в одинаковом смысле. Послушаешь какого-нибудь монаха, так из его речей выйдет такой смысл, что ближний нам тот, кто молится с нами одинаково написанным иконам. А если принимать, что нам ближний тот, с кем мы постоянно в сношении, так выйдет, что мой ближний будет мой сеттер.

Ты, батюшка, верно, хотел спросить: считаю ли я тебя способным оскорбить человека? На это я тебе скажу: еще тот не родился на свет, чтобы мог угодить всем. Всегда найдутся такие, что будут недовольны твоими поступками и сыщут повод жаловаться, что ты их оскорбил. Не мудрено, что и против тебя найдутся такие, что скажут, будто ты оскорбил их. Но я думаю, что мой родитель не способен умышленно сделать кому-нибудь зло.

— И мне, мой друг, кажется,— сказал Трофим Семенович,— что с тех пор, как я посвятил себя торговой деятельности, я не сделал ни одного поступка, в котором бы совесть упрекала меня. Но было время, когда я был молод, неопытен и так беден, что не имел дневного пропитания. При своей крайней бедности, я находился в полнейшем невежестве, не в состоянии был отличать, что хорошо, что худо, и сам, ничего не зная, должен был во всем слушаться чужих советов. В это-то время, Александр, был случай, когда я нанес оскорбление человеку, не желавшему мне ни дурного, ни хорошего. Я не мог исправить нанесенного оскорбления, потому что оскорбленный сошел в могилу.

— Это со многими бывает,— сказал сын.— Но что было, то, говорят, былью поросло. Что прошло, то не вернется!

— В том-то и беда, что не вернется,— вздохнувши, произнес Трофим Семенович.— Та и беда человека вообще, что дурного дела поправить нельзя!

— Однако, батюшка, у тебя желание было его поправить! — сказал сын.— Это я вижу из твоих же слов. Разве ты виноват, что оскорбленный тобою сошел в могилу!

— А если виноват? — сказал Трофим Семенович.

Сын смутился и побледнел. Отец, заметивши это, продолжал:

— Сегодня не стану рассказывать, как это случилось. После когда-нибудь все расскажу. Теперь мне тяжело припоминать подробности.

— Я и не требую, — сказал сын.— Я понимаю суть дела. Нанесенное тобою оскорбление свело оскорбленного в могилу. Не так ли?

— Да, оно так! — ответил задумчиво отец.— Но уволь меня, Александр, от рассказа. После все тебе расскажу подробно. Теперь же скажу тебе, что оно меня сорок лет

беспокоило и до сих пор беспокоит. Тревожимый совестью, я ходил в полночь на могилу оскорбленного и там молился о прощении своего греха. Тогда из могилы послышался голос: «Господи! Накажи того, кто меня... кто меня оскорбил и привел к смерти!» На эти слова в ответ услышал я дрогнувший голос неизвестно откуда; он произнес: «Накажу через сорок лет!» С тех пор вот проходит сорок лет. Я ожидаю кары от бога. В ночь на 13 августа текущего года исполнится сорокалетний срок. Вот, Александр, что меня томит и мучит!

— Тебе представилось, не более,— сказал Александр Трофимович.— Ты был тогда взволнован, находился в неестественном положении, в забытьи, в дремоте, в полусне; вот и привиделось тебе такое, чего быть не может. Голоса, которые ты слышал, выходили не из могилы, не с неба, а из твоего собственного воображения: их создали твои возбужденные и расстроенные нервы!

— Так и мне часто казалось,— сказал Трофим Семенович.— А иногда мне думалось, что то был божий глас, и бог определил меня покарать через сорок лет. Александр! Ты человек умный и ученый: веришь ли ты в бога?

— Конечно, нет! — сказал Александр Трофимович.— В наш век сколько-нибудь образованный человек разве может верить в бога?

— Отчего же люди верят? — спрашивал Трофим Семенович.— Видишь, везде церкви поставлены, устраиваются храмы божии. Люди сходятся богу молиться. Не все же только дураки туда ходят. Бывают там и умные. Отчего же они верят?

— Оттого, что еще не додумались,— отвечал на это Александр Трофимович.— Те, что уже додумались, в церковь не ходят и богу не молятся. Ты хорошо понимаешь, что значит отвлеченное понятие?

— Это... Это... Понимаю,— говорил старик.

— Неясно, батюшка, понимаешь,— сказал Александр Трофимович.— Я тебе объясню. Вот, например, видишь ты: человек сердится; потом в ином деле видишь: другой человек сердится. Ты замечаешь, что тот и другой чем-то похожи между собою, когда сердятся. Вот то, чем они походят друг на друга, когда сердятся,— ты называешь: гнев. Это и есть отвлеченное понятие. Видишь ты, что муж с женою согласно живут, одно другому во всем уго-

ждает, одно для другого ничего не жалеет, и в другом месте видишь, что муж с женою так же живут, замечаешь сходство между теми и другими и то, чем одни на других походят, называешь: любовь. И это отвлеченное понятие. Пока люди своим размышлением не доискались, как у них складываются отвлеченные понятия, люди воображали себе, что эти понятия где-то существуют отдельно от человеческой головы и с ними можно говорить, как с живыми людьми. Верили, например, что гнев и любовь где-то существуют не в человеке, а особо; замечали, что люди делают добро и зло, и вообразили, что где-то есть существо, называемое добро, и есть другое существо, называемое зло. Но мало того, что человек из своих отвлеченных понятий выдумал себе существа небывалые на свете; он еще вообразил, что эти существа, хоть имеют человеческие свойства, но выше и сильнее человека, и назвал их божествами, или богами. В старину признавалось много богов; на каждое явление человеческой жизни было свое божество: были божества любви, гнева, драки, мира, торговли, плутовства, пьянства,— и каких-то богов не было! Детское воображение наделало у этих богов сыновей, дочерей, внуков. Воображали себе люди, что небеса населены такими богами и богинями, и эти боги и богини, хоть в кой-чем похожи на человека, но никогда не умирают. Когда же люди поумнели, то уразумели, что это совсем не боги и не живут на небесах, а есть только наши отвлеченные понятия, создались в наших головах и без них отдельно ни на небе, ни на земле, нигде не существуют. Однако не мог скоро человек освободиться от того, что у него вошло в привычку. Перестал верить человек в прежних богов, а с единым богом не мог расстаться. Вообразили себе люди, что есть единый бог, всесовершенный, преблагий, премудрый; устроили ему храмы, установили обряды служения ему и думают, что этот бог человека слушает, когда человек к нему заговорит, что этот бог может человека наделить счастьем или покарать его, если человек богу не угодит. Так думают и так верят до сих пор все люди, мало думавшие и мало образованные. Напротив, люди, вполне умные и просвещенные науками, богу не молятся и в бога не верят, оттого что понимают, что и этот бог такой же, как те боги, что им прежде когда-то люди верили и молились: и наш бог, которому строят церкви и служат обедни,

тоже не что иное, как наше собственное отвлеченное понятие о всемогуществе и добре, а не какое-то высшее, живое и мыслящее существо. Умные люди веруют только в могущество человеческого разума: этот разум создал бога; он же его и уничтожает, додумавшись, что бог не существо какое-нибудь, а собственное человеческое отвлеченное понятие.

— Стало быть,— сказал отец,— и страшного суда после нашей смерти не будет?

— После нас,— сказал сын,— будет над нами суд совершен теми людьми, что после нашей смерти будут на свете жить. Род человеческий не прекращается; вымирает одно поколение, живет после него другое, и это в свою очередь отживет, умрет, наступит третье, а за третьим четвертое и так далее. Новое поколение приобретает жизнью смысла и сведений более старого, и потому новое поколение совершает суд над старым, оценивает: что хорошего и что дурного сделало старое поколение. Вот тебе и страшный суд, батюшка! А чтобы каждый из нас после своей смерти жил где-то и подвергался суду от какого-то господа бога, так наука не представляет для этого никаких доводов, и вера в бессмертие души есть такое же суеверие, как и верование в мертвецов, выползающих из могил и бродящих в ночной темноте по миру, как воображает себе чернь.

— По-твоему,— заметил отец,— душа наша умирает с нашим телом.

— Вот, батюшка,— объяснял ему сын,— горящая свеча, догорит свеча, потухнет огонь; нет более свечи, нет и огня. Видал ли ты, батюшка, огонь без свечи или без того, что горит? Никто не видал. Вот так никто не видал души без тела. Что такое душа? Способность человека думать, чувствовать, желать, говорить. Когда говорится, что у человека душа есть, это значит, что у человека такие способности есть. Но у человека есть еще жизненные способности: есть, пить, спать, ходить, сидеть. Умрет человек — не будет он есть, пить, спать, ходить, сидеть, оттого что не станет уже того, что прежде ело, пило, спало, ходило, сидело. Точно так же: умрет человек — не будет он думать, чувствовать, желать, говорить, потому что не станет того, что прежде думало, чувствовало, желало, говорило. Не может быть живого человека без души, не может быть и души без живого тела.

— Вот,—сказал Трофим Семенович,—как ты начнешь мне объяснять, так мне кажется правдою все, что ты говоришь. А пройдет немного времени, опять меня страх забирает: опять боюсь суда божия и кары и сам не знаю, как от себя этот страх отогнать.

— Понятно,— сказал Александр,— ты, батюшка, очень умный человек от природы, да не учился и с ребячества набрался разных предрассудков. Известно, что́ с детских лет усвоишь, с тем нелегко расстаться в старости. Оттого так важно воспитание детей.

Наступило двенадцатое августа. Трофим Семенович проснулся так рано, что еще не всходило солнце, и вышел в свой сад. Лучи утренней зари играли жемчугом и бриллиантами на каплях росы, набегавшей на цветы. Глянул Трофим Семенович на восток и вспомнилась ему слышанная в театре ария из «Жизни за царя», где Сусанин прощается со своею последнею зарею. «И моя последняя заря, быть может, теперь светит; много раз будет она светить, да уж не мне; много раз будет восходить солнце, а меня уж не осветит и не согреет!» Невольно беспокоила его мысль, что в следующую ночь, когда исполнится сорокалетний срок, с ним последует конец; правда, он не чувствовал ни малейшего предвестия болезни, но припоминал себе много случаев, когда конец постигал человека так неожиданно, что за какой-нибудь час пред концом человек не был в состоянии предвидеть, что с ним случится. Жизнь стала особенно мила Трофиму Семеновичу, и все достояние его возвысило свою ценность в его помышлении, когда его тревожила мысль, что не пройдет суток, как ему, быть может, придется со всем расстаться.

В этот день сын Яшникова обедал с отцом, а после обеда, вечером, сказал отцу:

— Поедем к Марушкиным. Проведем там этот вечер. У них сегодня большое общество; и сестра с зятем там будут. Я, батюшка, не отойду от тебя до завтрашнего утра.

Марушкины были богатые помещики, проживавшие на собственной даче в Царском Селе, приятельски знакомые с Яшниковыми.

Заложили коляску. Отец и сын Яшниковы сели в коляску и покатили в Царское Село. Небо закрывалось тучами, на юге, сквозь тучи, мелькнула молния, раздались

раскаты грома. Когда коляска въезжала во двор Марушкиных, гром слышался сильнее. Невольно в голове Трофима Семеновича промелькнула мысль: «Меня здесь убьет гром!»

Когда уселись за чайным столом, Трофим Семенович против себя увидел фигуру, как две капли воды напоминавшую ему лицо Придыбалки. Фигура смотрела на него, и Трофим Семенович затрясся всем телом.

— Кто это сидит против нас? — спросил он сына.

— Не знаю,— отвечал Александр Трофимович,— я его в первый раз вижу. Спрошу у хозяина.

Фигура не сводила глаз с Трофима Семеновича. Старик беспрестанно опускал голову вниз, но как только приподнимал ее, глаза его невольно встречались с лицом, которое как будто уставилось прямо против него с испытующим взглядом.

Улучивши удобную минуту, Александр Трофимович встал, поговорил шепотом с хозяином дачи и, воротившись к отцу, сказал:

— Это какой-то иностранец, называет себя голландцем. Он садовник на соседней даче. Здесь он в первый раз и по-русски почти не знает.

— Какое странное сходство! — сказал отец.— Да еще и садовник! Он напомнил мне человека, которого я знал в молодости: и тот был также садовник.

— Сходства бывают поразительные! — сказал Александр Трофимович.

Гроза разыгрывалась. В окна дачного дома заглядывали ярко-синие полосы молнии. Удары грома сыпались за ударами. Дождь хлестал по крыше дачного дома и по оконным стеклам. Трофиму Семеновичу лезло в голову: «Вот грянет гром и убьет меня!»

Гром, однако, не убил Трофима Семеновича. Чай отпили. Гости расходились по комнатам. Гроза стала утихать. Но старик Яшников был до того потрясен, что едва держался на ногах и не отходил от сына. Кто только с ним ни заговаривал, всяк дивился: что с ним делается. Глядит дико; слова путаются у него на языке. В полночь Трофим Семенович хотел уехать, но Александр Трофимович убедил его подождать ужина.

За ужином Трофим Семенович искал глазами фигуру, испугавшую его, но в ряду сидевших за столом ее не было.

— Где тот господин, что за чаем сидел против нас? — спросил он сына.

— Он ушел тотчас после чая,— отвечал сын.— Я видел, как он взял свою шляпу и проскользнул, ни с кем не прощаясь.

Присутствие лица, похожего на Придыбалку, перестало тревожить Трофима Семеновича, но он чувствовал себя как бы выбившимся из колеи и не мог сам себе объяснить, что с ним происходило.

После ужина гости стали разъезжаться. Отец и сын Яшниковы возвращались к себе на дачу. Александр Трофимович спросил отца:

— Отчего ты, батюшка, так взволновался, увидевши этого господина?

— Он,— отвечал отец,— как две капли воды похож на одного моего знакомого, который сорок лет тому назад о боге и суде божием говорил такие речи, какие слыхал я от тебя.

— Этот человек был русский или иностранец? — спросил сын.

— Кто его знает! — отвечал отец.— Мне он казался не русским, и людям нашей слободы также. Он был садовником у владельца.

— Не дурак он был, как я вижу! — сказал Александр Трофимович.— В то время и в такой глуши! Однако, если он произносил такие речи перед вашими хохлами, они, верно, сочли его воплощенным дьяволом.

— Ты угадал, Александр,— сказал Трофим Семенович,— именно так было.

— Не трудно угадать! — сказал Александр Трофимович.— Так всегда бывало и бывает с теми, кто дерзнет невежественной толпе открывать истины и разбивать суеверия, которыми утешают себя темные люди, наталкиваясь на необъяснимые для них вопросы.

Приехали на дачу. Рассвело.

— Прошла зловещая ночь! —сказал Александр Трофимович.— Кончился сорокалетний срок, так долго тревоживший воображение моего дражайшего родителя.

— Ах, Александр, Александр! —сказал старик.— Теперь только я вижу, что напрасно тревожил себя целых сорок лет! Все оттого, что напугали меня, что я, как мне казалось, слышал в лесу. Теперь нет никакого сомнения, что это мне только представлялось. Ты, Александр, сущую

правду говорил: все, что люди рассказывают, будто мы после нашей смерти будем жить и отдавать богу отчет за наши грехи, все это выдумка, вздор, брехня, как говорят наши малороссияне.

— Жаль,— заметил Александр Трофимович,— что человечество столько веков не могло освободиться от этой брехни и теперь еще не освободилось!

Тут обрывается наша легенда. Сорок лет прожил преступник в полном довольстве и благополучии, и только временами тревожило его опасение кары, которая должна была постигнуть его в срок, указанный в видении. Дожил он, наконец, и до этого срока, а кара не пришла. Не знал он и не уразумел, что началом обещанной кары было его многолетнее земное благополучие, а ее завершением — потеря бога. Не понял этого и архиерей, отпустивший ему грех за построенную им церковь. Понял это один схимник, обитавший на земле единым телом, но голос его не был голосом земной мудрости. Эта же мудрость земная, говорящая рассудку, а не сердцу, внушающая уверенность, но не веру, не могла дать Трофиму Семеновичу иного утешения, кроме того, что преподал ему Александр Трофимович. Не удивительно, что грубая проповедь современного нам атеизма переворотила, так сказать, вверх дном все нравственное существо старого разжившегося мужика, умственно совершенно не развитого, когда подобные проповеди в наше время сбивали с толку людей, подготовленных воспитанием к более правильному мировоззрению. Материализм привлекает к себе людей небогатой духовной натуры своею легкостию и доступностию для каждого умника рассудочных доводов, годных в предметах житейского обихода, но вовсе не приложимых к высоким вопросам о божестве, о духе, о бессмертии. Сын заглушил в сердце родителя последние остатки того детского страха, который священное писание называет началом премудрости. Трофим Семенович разлучился с богом, и как свободно, как привольно ему тогда показалось! Не опасался он уже ни суда божия, ни кары за свое злодеяние; он мгновенно как бы забыл про страшное дело, им когда-то совершенное в лесу над оврагом, как будто оно происходило не с ним, а с кем-то другим, как будто он об этом деле слыхал или читал когда-то уже давно. Прежде

он не чуждался благотворительности: нищим раздавал милостыню, бедным помогал, в благотворительные заведения делал пожертвования; теперь все это было оставлено, не было побуждений к хлопотам и издержкам; и в церковь никогда Трофим Семенович не заглядывал; не нужно было ни подкупать, ни умаливать какого-то бога в чаянии снисхождения к своим грехам. Еда и питье во всех видах и обстановках: роскошные обеды и ужины, повара искуснейшие, вина лучшего достоинства, сервировка изящнейшая, при столе своя музыка! Жил Трофим Семенович во все свое удовольствие. Но не очень долго прожил он после окончания сорокалетнего срока: однажды после веселого ужина отправился он по обыкновению спать и утром уже не проснулся. Кончина внезапная и, конечно, легкая! Его богатый гроб повезли на кладбище Александро-Невской лавры, за гробом следовала толпа дармоедов, посещавших прежде обеды и ужины покойника. Один проповедник, славившийся тогда в Петербурге даром красноречия, произнес надгробное слово, в котором высоко превознес добродетель усопшего. Проповеднику верили, да и сам он был убежден, что говорит правду. Никто не имел причины сомневаться. О преступлении, совершенном Трофимом Семеновичем в юные годы, никто не знал, и до сих пор не знает о нем никто, кроме нас с вами, благосклонные читатели.

ЛІТЕРАТУРНО-
-КРИТИЧНІ

ОБЗОР СОЧИНЕНИЙ, ПИСАННЫХ НА МАЛОРОССИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Язык, называемый обыкновенно малороссийским, которым говорят в юго-западных губерниях России и в Галицком королевстве, не есть наречие языка русского, образовавшееся в последнее время; он существовал издавна и теперь существует как наречие славянского корня, занимающее по своему грамматикальному и лексикальному устройству средину между восточными и западными наречиями огромного славянского племени, наречие правильное, богатое, гармоническое и способное к развитию литературной образованности. Но едва ли доказательства на все это нужны в наше время, когда понятия о славянской филологии довольно ясны, чтоб избавить читателя от скуки слушать подтверждение известных истин, в которых никакой просвещенный человек сомневаться не будет.

Но, может быть, спросят: где же прежняя малороссийская литература? Ибо если существовал народ, то как можно, чтобы язык его оставался вовсе без письменности? Но спросим прежде: была ли в северной Руси великороссийская литература? А между тем язык этой половины нашего отечества так же древен, как и южной. Письменность к нам перешла вместе со святым писанием, и потому первые сочинения наши были духовные и, следовательно, на славяноцерковном языке, употреблявшемся при богослужении. Потом мало-помалу с развитием общественной и политической жизни явилась необходимость в других родах письменности, но так как только славяноцерковный язык был приготовлен к этому, то он послужил материалом и для светской общественной письменности, с тем различием, что в него начали входить слова, выражения и обороты языка народного. Но вот

Россия разделилась; западная и восточная часть ее начали жить особою друг от друга жизнию; образовалось два письменных языка; в одной из смешения славяно-церковного языка с великороссийским, а в другой из смешения того же языка с малороссийским, или южнорусским, наречием. В Малой, как и в Великой Руси, была своя литература, свой книжный язык, на котором почти все писали, но едва ли кто говорил; много сочинений, и политических, и деловых, и, наконец, ученых, было писано на этом языке, много переводилось на него из других языков, иное издано; большая часть покоится непробудным сном в библиотеках.

Этот язык, известный под именем руського, много имел влияния на образование нашего языка высшего общества и литературы: известно, что Ломоносов учился по грамматике Мелетия Смотрицкого и выучил наизусть «Псалтырь», переложенный в стихи, Семеона Полоцкого. Руський язык был гораздо обработаннее, нежели письменный язык великой России; на нем было писано много книг, в которых нуждались и в Москве; притом же лучшие проповедники нашей первой половины XVIII века были малороссияне и хотя старались писать по-русски, или по-словенски, но не могли не вносить в свои сочинения элементов родного слова. При сильнейшем наплыве иностранного просвещения язык наш изменялся, принимал другие формы, составились новые грамматики; старинные обороты греческие, латинские, польские уступали место французским и немецким; выступила литература новая, носившая на себе следы влияния европейской образованности; вкус утончался; публика возымела потребность в чтении легком, служащем к удовольствию; явились романы, повести, театральные сочинения. Вместе с европейским просвещением развивалась у нас столичная жизнь: в столицах сосредоточивались и просвещение, и науки, и литература, там было горнило языка. Руський язык ушел в западные губернии, бывшие еще под властью Польши, и, гонимый в обществе, доживал век в семинариях и училищах.

С возвращением России западных и южных ее областей, руський язык стал уже ненужным, был другой общий язык: основанием его взяты наречия славяноцерковное и великорусское, а образован он был по всем возможным иностранным формам: и латинским, и немецким,

и французским... Во всяком народном духе являлись у нас сочинения, исключая своего, так как и в высших обществах были в моде попеременно всякие языки, исключая русского.

Когда в Европе явилась идея народности, подражательность уступила оригинальности, а школьность — таланту; русские, хватая с жадностью все, что ни попадалось под руку, усвоили себе и эту идею и нашли у себя богатые силы для осуществления ее; мы начали стыдиться своего равнодушия к отечественному и безотчетной привязанности к чужестранному; мы увидели, что, несмотря на огромное количество книг, у нас нет литературы, и обратились к собственному источнику национальности и народности. Изменялся вкус, изменялся и язык. Чужестранные формы, которые наложены были на наше родное слово превратными понятиями об изящном, уступали родным формам народного языка великороссийского, облагороженного просвещением, науками и употреблением в высшем обществе. Изменялась и литература. Главное стремление ее было не к подражанию иностранному, но к своенародности. В таком преобразовании должны были, по-видимому, участвовать только одни великороссияне, а между тем вся Россия, богатая другими элементами, имела на него право: ближайшее принадлежало малороссиянам, как народу многочисленному и единому по вере и племени с великороссиянами. Но народность Малороссии есть особенная, отличная от народности великороссийской; малороссияне или вовсе не должны были касаться литературы, или же усвоить себе народность великороссийскую. Несправедливость того и другого мнения, если бы кто имел несчастие защищать их, очевидна сама собою. Благодаря самодержавию и единовластию, у нас не могут разные противные идеи управлять общественными мнениями, как бы оно ни было разнообразно, у нас необходимо должно быть одно стремление: если какая-нибудь идея в известном отделе нашей цивилизации брошена в одном углу государства, невозможно, чтоб она не проникла в самые отдаленные. Теперь идея народности оживила нашу литературу: и читающая публика, и писатели почитают народность главным достоинством всякого сочинения по изящной словесности. Но как мог явиться на поприще изящной литературы малороссиянин, получивший первые впечатления в Мало-

россии, лепетавший, может быть, первые слова на родном своем языке? Не иначе, как с своею малороссийскою народностью, с своим народным наречием. Многие из малороссиян чувствовали, что на русском языке нельзя того выразить, что можно на малороссийском, и потому начали употреблять свое родное слово. И в самом деле: они правы. Конечно, Гоголь в своих высоких созданиях много выразил из малороссийского быта на прекрасном русском языке, но надобно сознаться: знатоки говорят, что многое то же самое, будь оно на природном языке, было бы лучше. Притом, много найдется талантливых людей, которые, по обстоятельствам жизни, так сроднились с малороссийским языком, что если б они начали писать по-русски, то писали бы худо, а по-малороссийски сочинения их читались бы соотечественниками с большим удовольствием.

Итак, идея народности, подвинувшая вперед русскую литературу, произвела в ней особенный отдел — литературу малороссийскую, которая по направлению своему есть чисто русская, своенародная. Многие из современных рецензентов называют это стремление писать по-малороссийски непонятною прихотью, но думают неосновательно: оно есть потребность времени, потому что исходит из того начала, которое оживляет настоящее общество.

Малороссийский народный язык до того времени почти не имел письменных памятников, как и всякое народное слово до появления идеи народности, но зато этот язык тайно хранил в себе богатые сокровища поэзии — народные песни и сказки. Долго никому до них не было дела, только в последнее время обратили на них внимание. Сказок у нас никто не издавал, песен существует четыре собрания: князя Цертелева, первое и второе изд[ание] Максимовича, «Запорожская старина» Срезневского и «Малороссийские и червонорусские думы и песни», СПб., 1836 г. К этим надобно причислить собрания, являвшиеся в Галиции; из них известны мне собрания Вацлава из Олеска, Жеготы Паули и Лозинского «Свадьба русская» («Ruskoe wesile»). Галичане перещеголяли нас полнотою и точностью своих изданий. Из русских собраний только «Запорожская старина» имеет вид какой-нибудь полноты. Г. Срезневский имел целию собрать одни исторические песни и издал с замечаниями, очень цельными и ученными; собрание князя Цертелева ограничи-

вается только осемью думами; в первом изд[ании] Максимовича помещено только 130 песен, во втором есть замечательные бытовые, но прекрасное предприятие его остановилось; издатель «Мал[оросс]ийских] и червонорусских дум и песен» оказал услугу любителям народности сохранением многих важных исторических песен, из которых одна изумительна по своей величине и эстетическому достоинству. Вот и все. Тысячи драгоценных памятников народной поэзии еще не изданы и вовсе не известны. Ждут их издания от Бодянского, Метлинского и других.

Но малороссийские сочинения появились гораздо прежде, нежели издания песен. Уже в 1808 г. было второе издание «Енеїди,» перелицованной на малороссийский язык И. Котляревским. Он первый начал писать по-малороссийски[1].

Во время упадка классицизма и вторжения в европейские литературы романтических идей вкус общества портился и принял самое странное направление: не смели расстаться с верою в заветные предрассудки, не смели принять форм нового рода, казавшихся еще дикими, смеялись над тем и другим; плодом такой нерешительности явился особенный род сочинений — пародии. Писатель брал предметы классические, одевал их в романтическую одежду и таким нескладным нарядом смешил публику. Многие из бессмертных творений древности испытывали горькую чашу пародий: в числе их была «Энеида» Вергилия. Перелицованных «Энеид» везде было довольное количество. И к нам, на святую Русь, забрело это направление, забрело так, как обыкновенно и другие идеи заходили к нам. У нас начали писать пародии — не угодно ли прочесть Осипова? Но Котляревский насмешил лучше.

Умный, сметливый человек сейчас отгадал, чем можно позабавить публику, которая, если не пресытилась классицизмом, то по крайней мере дремала за толстыми пиимами в двенадцати песнях и драмами с тремя единствами. Котляревский взял «Энеиду» для пародии и выбрал для нее такую форму, которая в самом деле могла удовлетворить желанию позабавиться над книгою. Чего

---

[1] Кто писал до него и что написано, это пока остается нетронутым вопросом. *(Прим. автора).*

лучше? Малороссийский язык — самая романтическая форма, «Энеида» — самое классическое содержание. Вот и явилась «Енеїда» в малороссийской одежде: троянский герой стал «моторний парубок»; Юнона — «суча дочка, розкудкудакалась, як квочка»; Зевес — «лигав вишнівку, маківниками заїдав», и Нептун «сидів над водою, ізморщившись, старий шкарбун». Все читали «Енеїду», даже и те, которые не сознавались в том, вменяя в стыд читать на таком наречии, каким говорят их конюхи. Этому-то смешному обязана «Енеїда» своим успехом. Что ж такое «Енеїда» Котляревского сама по себе, безотносительно к тогдашнему обществу? Пародия выполнена прекрасно, но время пародий уже прошло: романтическая форма стала нам не чужда, а классическому содержанию мы возвратили должное уважение. Но истинный талант, в каком бы виде он ни явился, не может не показать своих достоинств, пусть сочинение его будет искажено, не докончено — все оно будет носить на себе отпечаток души творца, все-таки в нем найдете такую сторону, с которой если взглянете, то невольно скажете: сочинение хорошо. «Енеїда», как пародия, потеряла для нас свою цену, но та же самая «Енеїда», как верная картина малороссийского быта, как первое сочинение на малороссийском языке, в глазах наших — драгоценное творение: мы видим в нем такие достоинства, которые были скрыты от современных читателей.

«Енеїда», рассматриваемая с этой точки зрения, имеет для нас три неотъемлемые достоинства. Во-первых, мы видим в ней, как я сказал выше, верную картину малороссийской жизни. Автор знал хорошо Малороссию, жил в ней и с нею, пользовался всем, что было у него пред глазами. Характеры его богов и героев истинно малороссийские в малейших их приемах. Во-вторых, она драгоценна для нас по неподражаемому юмору, с которым автор изображает пороки и смешную сторону своего народа. Стоит только вспомнить описание ада — все грешники носят на себе черты малороссийские и даже осуждены на муки, которые только придут в голову малороссиянину. В-третьих, язык его, правильный, блестящий, народный в высочайшей степени, останется самым лучшим памятником. И надобно сознаться, что едва ли у кого он достигает такой игривости и непринужденности, хотя чуждый малороссийскому языку четы-

рехстопный ямб, в который он заковал свою пародию, очень мешал его легкости.

Что касается до тривиальностей, соблазнительных сцен и некоторых отвратительных описаний, которых, к сожалению, много у Котляревского, то они суть плод ложного понятия о смешном: тогда думали, что все отвратительное может забавлять.

Опера «Наталка Полтавка» есть опыт Котляревского в другом роде; сочинитель хотел представить здесь семейный быт малороссиян, нежное сердце малороссийской девушки: пиеса приобрела сочувствие у читателей. Наталка представляема была столько раз на сцене; все слушали ее с участием, и до сих пор она любимое сочинение малороссиян, несмотря на то, что содержание ее отзывается устарелою сентиментальностью прошлого века.

Стихотворения Артемовского-Гулака, приобретшие такую известность, написаны, исключая перевода Гетева «Рыбака», в пародическом духе, подобно «Енеїді» Котляревского. Необыкновенная легкость и правильность языка, свобода в выражениях и непринужденный комизм обличают в сочинителе высокий талант, от которого можно было бы ожидать драгоценных плодов... Лучшее из его творений — это «Пан та Собака», сказка, которая в ряду апологических творений русской литературы занимает почетное место.

Впрочем, для многих не столько было забавно содержание сочинений Котляревского и Артемовского, сколько слова, выговор, обороты малороссийского языка. Но пришла, наконец, пора получить вернейшее понятие о славянской филологии. Гребенка первый отошел от прежнего пародического направления: этот даровитый писатель, сознавая, что слово, которым потешали публику Котляревский и Артемовский, вовсе не искаженное наречие русского языка, а язык, данный судьбою в удел двенадцати миллионам народа, хотел в своих сочинениях показать способность его к развитию и богатству. Перевесть «Полтаву» Пушкина на малороссийский язык — идея смелая, приносящая честь тому, кто первый счел язык способным к этому. Как многие первые опыты даровитых писателей, перевод, правду сказать, не удался, но во всяком случае ценители малороссийского слова всегда будут благодарны писателю за то, что он показал его

достоинство и проложил дорогу другим. Но его «Приказки» всегда прочтутся с наслаждением: автор явился в них не пародистом, не насмешником над малороссийскою народностию и словом, но малороссийским баснописцем и превосходно показал способность малороссийского языка к апологическим сочинениям.

Без всякого сомнения, честь возведения родного слова на высшую степень развития, смею сказать, честь создания малороссийской литературы принадлежит писателю, скрывавшему себя под вымышленным именем Основьяненко. Далекий от того, чтоб принимать язык малороссийский за орудие к возбуждению смеха, этот талантливый писатель в многочисленных своих творениях имел задачею изобразить домашнюю жизнь малороссийского народа в известных ее проявлениях. Нравственная цель, обилие чувства без сентиментальности, непринужденный комизм без притязаний на искусство смешить и увлекательность рассказа поставили его в глазах образованной публики в числе отличных писателей, а верное изображение народного быта, живость и естественность характеров приобрели ему любовь соотечественников, увидевших в первый раз свое собственное в литературе, изображенное по-своему, своим тоном. Лучшая похвала Основьяненко с этой стороны состоит в том, что даже те, которые ничего не читают, принялись с удовольствием за его повести; но всем этим не ограничиваются его литературные заслуги; человек, имеющий высший взгляд на изящное, откроет в его сочинениях неотъемлемые достоинства: в основании почти каждого из них лежит идея глубокая, человеческая, прекрасно развитая в известной форме проявлений нравственного мира разумных существ. Такие сочинения, где бы они ни были, должны быть включимы в число отличных творений. Тем замечательнее они кажутся при малороссийском элементе, еще мало разработанном, на малороссийском языке, на котором не было ничего написано, кроме двух-трех пародий. Литература, считающая в себе такие творения, не может быть ничтожною: при малом количестве своих произведений она счастлива, если может похвалиться такими, в которых видно не какое-нибудь подражание чужому, не иностранные чуждые идеи, одетые в искаженную форму, не жалкая всеобщность, мысли, всем известные, выраженные образами, всем известными, но истинное изображение

своего, родного, со всем отпечатком национального характера.

Многие поставляли главнейшим достоинством сочинений Основьяненко комизм, но, по моему мнению, это второстепенные качества пред неисчерпаемым родником чувства. Обращаюсь к тем, которым известна малороссийская народная поэзия. Они знают, какое важное место занимает в ряду достоинств этой девственной поэзии глубокое чувство, в какой степени этот истинный источник всего благородного, изящного наполняет очаровательные создания украинской музы. Но это чувство является в песнях отдельно, отрывисто, кроме некоторых романсов, удивительных по своей художественности: оно все в лирических песнопениях, большею частию в рапсодах, отрывках, проявляется мгновенно, вспыхивает сильно, но не продолжительно. Это движение сердца, звуки, издаваемые струнами его, аккорды согласные, пленительные, не исчезающие в воздухе: отголосок их остается только в сердце, умом вы не поймете его, потому что в нем нет мыслей, в нем есть чувство, доступное единственно сердцу, хранилищу чувств. Оно не осязаемо, не видимо, не уловимо: облеките его в форму, соедините с мыслью, назначьте ему пространство и время, обставьте его теми картинами, при которых оно будет понятно, сообщите его тем характерам, которые могут вмещать его,— и неясное сделается ясным: вы его увидите в образах, вы поймете то, что прежде только чувствовали; доступное сердцу станет понятно ему; красота первобытной поэзии для вас не утеряется; вы тогда можете дать отчет себе в том, что вас занимает, к чему вы влечетесь: оно вполне ваше, потому что все ваше существо проникнуто им.

Писатель воспринимает переданное ему народом и возвращает ему от него взятое полным и сознательным; неправильным отрывистым частицам сообщает целость, собирает рассыпанные перлы и создает из них художественные ожерелья. С этой точки зрения мы должны смотреть на Основьяненко в его прекрасных повестях, где наиболее проявляется эта существенная жизнь Малороссии, вся полная чувства, дышащая ее девственным воздухом. По крайней мере, такое выражение имеют четыре лучшие его повести на малороссийском языке: «Маруся», «Козир-дівка», «Щира любов» и «Оксана»; изображения женского малороссийского сердца, представленного под

разными обстоятельствами жизни и в разных характерах. Отлагая в сторону все впечатления, какие эти повести могут произвести на читателя, который в них видит идиллический мир настоящего времени, мы взглянем, что выражают они как собственно малороссийские произведения.

Идея любви, общая и священная человечеству, основание истинно нравственного, а следовательно, и истинно изящного, является в различных видах, обусловливаемая, между прочим, степенью образованности и историческою жизнию народа. В народе юном, но просветленном религиею и стоящем на известной степени нравственного развития, она проста, наивна, не удаляется от чувственности, но облагораживает ее; чувство, обладающее существом, не подавляет его, но направляет к деятельности. Малороссия, по степени образования своего, страна девственная, юная, по жизни же исторической она испытала слишком много, выполнила назначенное ей от провидения и одряхлела... Древняя жизнь умирает в ней, а новая только начинает проявляться. Два характера отличают ее настоящее положение.

Малороссийская женщина, осужденная в течение двух веков на мгновенную радость, на минутные пламенные восторги, а потом на горькую, часто досмертную тоску, скованная в своих желаниях непреодолимою судьбою, получила себе в удел наклонность к мечтательности, оттеняющей ее даже в минуты полного наслаждения своим бытием. Чувства обладают ее существом, в страсти она не предается порывам необузданного восторга, но хочет чувствовать эту радость, печаль ее есть чувствительное созерцание, которое в области сердца то же, что в области ума ясное сознание. Этот характер переходил из рода в род, от матери к дочери, и до сих пор сохраняется. Но между тем эта мечтательность, плод тех несчастных часов, когда женщина, едва расцветшая, тосковала в горьком одиночестве, тщетно призывая милых сердцу из дальней могилы, теперь слилась уже с другим элементом, чувством семейным. Протекли буйные времена, исчезли бедствия, народ начал свыкаться с жизнью мирною, семейною, и женщина уже познала мир души, счастие тихой жизни. Но печать прежнего остается на ней, и потому, с одной стороны, любовь малороссиянки носит на себе отпечаток мечтательности, проникнута

глубоким чувством, часто убивающим нежное существо, не могущее преодолеть препятствий, которые завистливая судьба поставляет между ею и любимым предметом, с другой стороны, согласуясь с духом времени, она не в состоянии ограничиваться одною сферою внутреннего чувства; это чувство пробуждает все другие способности души и направляет их к деятельности. Типом первого характера может служить Маруся. Быть может, для некоторых она покажется просто идиллиею в роде Геснера; нет, основание повести истинно народное.

Маруся совершенно возможна в Малороссии. Скромная деревенская девушка, воспитанная под надзором простых, но благочестивых родителей, получившая с рождения томный и мечтательный нрав, развившийся, как видно, через отчуждение от подруг и любовь к домашним занятиям, увидела на чужой свадьбе парубка, который ей полюбился. Но так как у сердец мечтательных мгновенного чувства не бывает, то эта любовь превратилась скоро в тихую страсть. Вот они познакомились, сблизились, судьба поставила им препятствие; страсть сильнее развилась, сердце начало таять, опять сблизились, счастие им улыбнулось, но вот опять разлука; Маруся, в которой томное, снедающее чувство развилось до высокой степени, не устояла; воля ее была слишком слаба, мир, окружающий ее, уже давно стал ей чужд, хотя она, повидимому, жила для него. Маруся истлела медленным огнем, который при мечтательном настройстве духа сожигает свою жертву неприметно. Эта столь поэтическая Маруся ничуть не идеал: она обыкновенна в быте малороссийском; вы можете много увидеть таких Марусь и, может быть, ни одной не узнаете. Когда после разлуки с любезным вся душа ее тает в тихой страсти, когда вся жизнь ее сосредоточивается в воспоминаниях о незабвенных минутах, проведенных с ним, она занимается домашними работами: прядет, шьет еще прилежнее, чем прежде, и только из того, что чуждается брака и убегает веселости, вы можете заметить, что ее сердце не свободно; но до какой степени связывают ее узы страсти — этого вы не узнаете. Самая кончина ее для постороннего взора представляется обыкновенною — девушка простудилась, получила горячку и умерла. Но автор раскрыл перед вами ее душу, ввел вас в таинственный мир, и вы изумляетесь обилию неисчерпаемого чувства, которое было от вас

закрыто, и вы смотрите на нее с другой точки зрения. Что же это такое? Это чувство, наполнившее бедное сердце поселянки и убившее ее своим обилием: вот малороссийская поэзия! Маруся, будучи ежедневным явлением, типом обыкновенной малороссиянки, есть вместе существо прекрасное. Автор низвел вас в свой буколический мир для того, чтобы показать всю его прелесть и изящество. А откуда это изящество характера Маруси? Оно истекает из глубины характера малороссийской нации и, понятно, из ее исторической жизни. Маруся — это малороссиянка древнего века, живущая в новом.

Необходимые для обрисовки характеров действующих лиц описания и сцены того быта, в котором действуют они, выполнены очень удачно. Автор избрал лучшие поэтические моменты малороссийской жизни и представил их в привлекательном виде: трогательное описание погребения несчастной жертвы чувств прекрасно в высшей степени и поясняет самую душу Маруси, становит ее возможною в том роде, которого обряды и обычаи проникнуты до такой степени глубокою мечтательностью.

Но при всем превосходном изображении характера Маруси, при всех прекрасных описаниях, трогательных и увлекательных сценах, одним словом, при всех неотъемлемых ее достоинствах, мы должны заметить, что она имеет большие недостатки. Характер Василя не ясен и даже не естественен; в нем не видно такого простодушного чувства, как у Маруси, он сентиментален, и самое удаление его в монастырь не производит сильного эффекта. Характеры Наума, отца Маруси, и матери ее тоже не отличаются резкими чертами. В отделке нет художественности: иное растянуто, другое не досказано.

«Козир-дівка» знакомит вас с другою стороною женского малороссийского мира; здесь тоже народное чувство, но уже при других явлениях и в другом характере. Оно не исчезает в мечтательности, и душа, наполненная им, не делается преждевременной его жертвой, напротив, чем более оно объемлет ее, тем сильнее побуждает к деятельности и ведет не к смерти и разрушению, но к жизни. Ивга такая же чистая малороссиянка, совершенно противоположная Марусе. Она любит своего Левка, как Маруся своего Василя, а встречает гораздо бóльшие препятствия и лишения. Вместе с каждым из них усиливается ее чувство, но зато чем сильнее иску-

шает ее судьба, тем готовее она победит все эти искушения. Для достижения цели, указанной ей чувством, она бросается в другую сферу, совершенно ей не знакомую, и любовь, руководившая ею, остается навсегда в ее сердце, помирившись с жизнью. Вы видите здесь торжество воли,— не думайте искать источника в разуме, ищите его в сердце; Ивга предается его влечению, и оно-то окрыляет ее волю и доводит до края желаний. Если Маруся может служить типом малороссиянки под влиянием судьбы, то Ивга есть та же малороссиянка в нормальном состоянии, то есть такова, какою ей быть должно при ее характере, при свободном развитии ее способностей. Маруся представлена автором в болезненном состоянии, хотя и естественно, но это потому, что на той нации, в которой она живет, лежит отпечаток болезненной дряхлости,— это девушка доживающей Малороссии, Ивга — дитя свежей жизни, процветшей уже на обновленной почве, которую питали прежние стихии, но освещало солнце возрождения.

Повесть «Козир-дівка» по отделке гораздо лучше «Марусі»; здесь не страдает художественность, соблюдена соразмерность в частях и все на своем месте. Читатель увидит здесь верную картину нравов различных сословий Малороссии, начертанную с истинным юмором, и тем избавляется от монотонности, неизбежной там, где хотят заставить или плакать, или смеяться от начала до конца пиесы.

Представив в двух повестях характер малороссиянки в жизни созерцательной и практической, г. Основьяненко в своей повести «Щира любов» («Вот любовь») показывает вам свое высокое развитие малороссийского чувства. Если Маруся есть изображение древнего века, исчезающего в новом, если в Ивге глубокое чувство, овладевшее всем составом женщины, вводит ее в сферу практической жизни, то в Галочке оба эти элемента сливаются: мечтательность в ней развита еще живее, чем в Марусе, зато и воля в ней действует сильнее, чем в Ивге. Чувство, обладающее Ивгою, устремляет ее к борению с препятствиями, поставленными судьбою, к достижению цели посреди житейского волнения, в Галочке это чувство служит источником борьбы, происшедшей во внутреннем мире. И Маруся, и Ивга суть типы известных малороссийских лиц с их главными побуждениями. Маруся — женщина

обыкновенная, черты ее — томность, нежность и слабость — вы найдете повсюду, даже всю историю ее можете услышать везде; Ивга делается возможною по мере того, как новая жизнь заменяет старую: народ становится на высшую степень общественности, следовательно, деятельность будет плодом всех побуждений; Галочка всегда идеал, показывающий высокое нравственное совершенство, до какого может довести глубокое чувство при здравом состоянии других способностей. Но надобно сознаться, что для повести «Щира любов» недостает еще много, несмотря на прекрасные описания и трогательные сцены, показывающие в авторе высокий талант. Чувства доходят иногда до сентиментальности, напоминающей романы прошлого века; характер офицера не ясен, сама Галочка не везде понятна: в некоторых местах она говорит так, как будто бы слушала университетские лекции.

По моему мнению, эти три пьесы, вместе с «Оксаною», которая может служить как бы дополнением изображения малороссийской женщины, «Ложными понятиями» и «Панною сотниковною», писанными по-русски, суть лучшие произведения Основьяненко. Талант нигде не оставляет его. Повесть «От тобі й скарб» имеет большое достоинство как изображение народных верований и замечательна по своему юмору и богатому описанию. «Салдацький патрет» есть художественный эскиз из малороссийского быта. Не менее замечательна по своему комизму опера «Сватання на Гончарівці», доказывающая, что автор может быть и драматическим писателем. Не лишним считаем выставить здесь список сочинениям Г. Основьяненко.

Произведения Шевченко, изданные в отдельной книжке под названием «Кобзар», показывают в авторе необыкновенное дарование. Он не только напитан народною малороссийскою поэзиею, но совершенно овладел ею, подчинил ее себе и дает ей изящную, образованную форму. Черты в изображаемых им лицах — Катерине, кобзаре, Перебенде — суть те самые, которые нам представляет природа; но, вместе с тем, в них заключается поэзия общая, понятная всякому. Чувство поэта отличается характером томным, унылым; он принимает близко к сердцу прежнюю судьбу народа, но это тоска вовсе не изученная — это целый народ, говорящий устами своего поэта: душа его сознала сочувствие и сходство

между состоянием своим и общенародным чувством; вместе с движениями сердца, которые принадлежат поэту, живо слились движения, свойственные всякому, кто будет в состоянии ему сочувствовать. Оттого всякий — будь только у него хоть несколько тех побуждений, которые наполняют внутренний мир малороссиянина,— будет до того проникнут поэзией Шевченко, что забудет, чужое ли это, полученное извне, или свое собственное, которое явилось в области сердца с незапамятного времени, так, как первые идеи детства. Как, например, превосходно это описание:

Б'ють пороги, місяць сходить,
Як і перше сходив —
Нема Січі, пропав і той,
Хто всім верховодив;
Нема Січі — очерети
У Дніпра питають:
«Де-то наші діти ділись?
Де вони гуляють?»
Чайка скиглить, літаючи,
Мов за дітьми плаче,
Сонце гріє, вітер віє
На степі козачій.
На тій степі скрізь могили
Стоять та сумують —
Питаються у буйного:
«Де наші панують?
Де панують, бенкетують?
Де ви забарились?..
Вернітеся! — Дивітеся,
Жита похилились,—
Де паслися ваші коні,
Де тирса шуміла,
Де кров ляха, татарина
Морем червоніла —
Вернітеся!»

Язык Шевченко превосходен везде; надобно только пожелать его сочинениям большей художественности, недостаток этот виден не в «Кобзарі», но в последующих его сочинениях.

Основьяненко и Шевченко, без сомнения, суть лучшие малорусские писатели; особенно от последнего, при счастливом направлении, можно ждать плодов достойных; но малороссийская литература всегда будет гордиться и другими именами даровитых писателей, каковы, например, Тополя, Могила и др.

«Чари» г. Тополи, как всякое сочинение, выходящее

из обыкновенного круга, испытали две крайности в суждениях наших критиков. Полевой в «Б[иблиотеке] для ч[тения]» указывал на них, как на необыкновенное, замечательное явление; другие говорили, что в «Чарах» нет здравого смысла, ни тени народности. Читатель малороссиянин не увидит в «Чарах» отпечатка творчества, но он все-таки прочтет их с удовольствием, прочтет не один раз, и всегда с новым наслаждением. В самом деле, если вы будете смотреть на «Чари» как на нечто полное, оконченное, то они вам представятся с невыгодной стороны. Но сочинитель не заботился о целом, и сам признался в том: содержанием своей пиесы взял он народную песню «Не ходи, Грицю, на вечорниці», но если бы он взял для этого и другую песню, «Чари» б все остались «Чарами», нужно бы только изменить разговоры действующих лиц. Он сам их назвал «Чары, или Несколько сцен из народных былей и рассказов украинских»— и дал самое определенное название. Все сцены чрезвычайно верны, интересны сами по себе, все представлены без малейшей претензии на творчество. Г. Тополя изображает, что видел, слышал, что умел подметить. У него нет развитых характеров, но зато каждое лицо является со своим отпечатком; по некоторым чертам действующего лица вы можете представить себе в воображении его приемы, образ выражения, можете судить о его характере. В «Чарах» нет единства и оконченности в целом, но все окончено в сценах — каждая из них представляет целую, верную картину. Возьмите для примера ту сцену, где девушки спрятались за колодками, чтоб подслушать разговоры своих любовников. Как здесь все живо, как верно описано! Возьмите хоть фантастическую сцену из народных поверий: вы видите здесь всю народную фантазию, как она существует. Например, черт, начальник ведьм, изображен в виде жида, говорящего по-польски: это в самом деле малороссийский черт; понятие о нем вытекает из истории и прежней жизни! Или хоть ту сцену в шинку, где изображен разгул малороссийский. Сочинитель ничего не утрировал, не идеализировал; он вам представляет эту сторону народного быта, какова она в самом деле, и между тем как поэтически: дурная сторона не видна, хотя сцена списана прямо с натуры. Это не идеал, которого рассеянные черты вы должны искать везде, это простое описание того, что автор видел, и описание верное, мас-

терское, а потому так и занимательно. Как безыскусственны у г. Тополи песни, которые поют его герои! Они льются непринужденно, без всякой натяжки, совсем не по-оперному, без всякой перемены и переделки со стороны автора, с тою небрежностью, которая характеризует действительность. Вы встретите в песнях очень часто недомолвки, часто одна песня сбивается на другую, иногда не доканчивается; но это-то и достоинство в таком сочинении, как «Чари», где автор хочет познакомить вас с действительностью. Язык г. Тополи не может даже назваться его языком; это язык совершенно народный, чистый, простой, усеянный затейливыми пословицами и поговорками... Одним словом, если вы не знаете Малороссии, прочтите «Чари»,— и вы уже познакомились с известными частями ее многостороннего быта.

«Думки і пісні» Амвросия Могилы есть собрание оригинальных стихотворений и переводов, большею частью лирико-описательного рода. Поэт изливает свои чувства, возбуждаемые вследствие впечатлений малороссийского быта. Большая часть из его стихотворений запечатлена истинным дарованием и отличается особенною художественностью. У Могилы нет того саморазвития, как у Шевченко; он не создает идеалов народной поэзии, не выказывает чувств, которые бы невольно лились из неведомого источника: его чувство идет об руку с мыслию; он изучил сокровищницу поэтической стороны Малороссии и является везде как талант, сознающий свой предмет. Могила по форме поэт лирический, но субъективность в нем прорывается незаметно; вы узнаете его личность, когда будете проникнуты тем, что он вам объективно выражает. Возьмите, например, первое его стихотворение — «Бандура»:

Про гетьмана чи про гайдамаку
Дід заспіває, в бандуру заграє,—
Плаче бандура, мов оживає,
Жаль візьме дитину, візьме і бурлаку.
Його бандура, схоче він, завиє,
Мов та дитина жалібно плаче...
Сльози поллються, серденько ниє...

Собственные чувства поэта выказываются тогда уже, когда явление, пробудившее их, овладеет вами, и вы сталкиваетесь с его впечатлениями и признаете их за свои. Он как будто не хочет высказать всего, что у него

на душе, и делится вместе с вами, не сознаваясь. Это достоинство истинного художника, и нельзя не видеть здесь малороссийского характера. Кто следил за малороссиянином в минуты его сердечного восторга, в те минуты, когда он подымается из сферы обыкновенной жизни, тот может поверить, как скупо малороссийское сердце на дележ своих движений с другими; малороссиянин захочет вас наперед увлечь, вы невольно выскажетесь, а он в глубине души будет делиться с вами и все-таки покажет на лице улыбку равнодушия. Характер стихотворений Могилы отличается глубокою грустию и верными изображениями древнего быта. Он прекрасно понял поэзию степной козацкой жизни; у него козак везде является существом высоким, но вместе буйным и диким; сцена действия его покрыта туманом и слезами. Из лучших его произведений в этом роде: «Чарка», отличающаяся горькою иронией, «Козача смерть», где представлена страшно поэтическая картина смерти отца с сыном, «Козак та буря», где поэт изображает сходство человеческой природы с физическою, и «Смерть бандуриста», прекрасная по своим блестящим описаниям и звучным стихам. Два стихотворения «Старець» и «Дитина-сиротина»— изображения другой стороны жизни малороссийской: горького сиротства, безнадежной грусти, мирского несчастия. Язык в «Думках і піснях» правилен, благороден и особенно оригинален. Стихи истинно малороссийские; Могила пишет более силлабическим размером, который иногда подходит под метрический, часто переменяется в одной и той же пиесе: в каждой мысли своя форма. Поэт не стесняет себя определенною мерою, и оттого у него все так вольно и непринужденно, и мысль выражена вполне, и гармония стиха соответствует гармонии чувства.

В 1833 году напечатаны были «Наські українські казки запорожця Іська Материнки», маленькая книжечка, где помещены три малороссийские сказки в стихах: первая —«Сопілка», замечательная по своему поэтическому содержанию; вторая —«Про дурня та його коня», общая всем славянским племенам; третья «Про Івася, та змію, та дочку її Олену», одна из любимых малороссиянами. Все эти сказки достойны внимания и показывают в авторе знатока малороссийской народности и языка.

Кроме означенных нами писателей, из которых почти каждый явился с самобытным дарованием, есть еще и другие, которых сочинения имеют более или менее относительную цену в малороссийской литературе. Таковы: Боровиковский — переводчик Мицкевича «Фариса» и сочинитель нескольких баллад; неизвестный автор «Марусі», стихотворной повести, изданной в Одессе; Стецько Шереперя, написавший оперу «Купала на Івана», которая, несмотря на некоторые недостатки, заключает в себе довольно верные изображения народного быта; он же написал несколько песен, и в том числе известную «За Немань іду»; Петренко, которого лирические стихотворения проникнуты чувством; Корсун, передавший малороссийскими стихами любопытные украинские поверья; Писаревский, сочинитель повести «Стецько», и Кореницкий, явившийся в свет с названною им «сатирицькою» поэмою «Вечорниці», которая, несмотря на легкий стих, исполнена местами таких пошлостей, что, прочитавши ее, пожалеешь невольно об авторе.

Доказательством распространяющегося вкуса к чтению на малороссийском языке служат два сборника, вышедшие в прошлом 1841 году. Один из них издан в Петербурге Гребенкою и наполнен сочинениями Шевченко, Основьяненко, поместившего там свою прекрасную повесть «Оксана» и два малороссийские рассказа, Боровиковского, Писаревского, Кулиша и других. Сам собиратель приложил к нему прекрасное предисловие «Так собі до земляків», где изображены четыре времени года Малороссии. Сборник называется «Ластівка». Другой издал г. Корсун в Харькове из трудов здешних писателей под названием «Сніп». Там помещены: «Переяславська ніч»— трагедия, «Вечорниці» Кореницкого, «Стецько» Писаревского и стихотворения Петренко, Шереперы, самого издателя и других.

Вот, кажется, все, на что можно обратить внимание в малороссийской литературе, и едва ли не все, что было писано на малороссийском языке в России.

[«НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ» МАРКА ВОВЧКА]

«Народні оповідання» Марка Вовчка представляют собрание рассказов из простонародного быта, передаваемых народною речью, большею частью от лица женщин. Личность автора не видима. На каждом шагу читатель встречает картины, поражающие красотою, тем более ценные, что написаны без притязания на искусство. Нигде не видно старания изобразить предмет как можно шире и нагляднее: автор довольствуется характеристическими чертами, и на всех его рассказах лежит отпечаток сжатости и выпуклости образов. В этом отношении в них есть что-то античное: как в великих произведениях древнего мира, в немногих чертах представляется многое, и оконченное созерцание продолжает свою работу в душе читателя рядом возбужденных мыслей и чувствований. Эта же способность отыскивать главные поразительные черты, убегать многословия и в немногом выражать многое отличает и те места, где изображаются чувства: нет здесь сентиментальности, в которую иногда впадают и даровитые писатели, увлекаясь желанием представить полнее и живее деятельность человеческого сердца. Все непринужденно, все естественно: это речь народа, но не рассказчика-народа, не списанная со слов хотя народного человека, но призванного с целью рассказывать по-народному и через то поставленного в искусственное положение, а подмеченная и подслушанная в то время, когда она выражалась невольно, не напоказ. Притом «Народні оповідання» раскрывают перед нами движение малороссийского сердца в такой обстановке, в какой возникают они под условиями и влияниями настоящей общественной жизни народа. Пять из рассказов: «Козачка», «Одарка», «Панська воля», «Знай, ляше» и «Викуп» —

изображают случаи в жизни малороссийского поселянина, порождаемые неестественным и ненормальным отношением земледельцев к землевладельцам, превратившим последних, не столько вследствие административных распоряжений, сколько по злоупотреблениям, в душевладельцев. Шестой рассказ, под названием «Сестра», касается положения бедной работницы, зависящей от зажиточных хозяев. Таким образом, «Народні оповідання» выступают с голосом правды и человеколюбия за слабых и беззащитных. Обратим внимание читателей на рассказ «Одарка», как по мысли, так и по выражению достойный того вполне [...].

Это обыкновенное, каждодневное событие, рассказанное так просто, возбуждает много-много дум в голове и сердце читателя.

Столь же прекрасен рассказ о козачке, вышедшей замуж за барского человека. Сначала терпит она недостатки, суровость обращения, томится сердцем, как барские дети дурачатся с ее ребятишками и бьют их для забавы, потом ее разлучают с мужем, отправленным с барином в Москву. Когда она в простоте сердца вздумала спросить у своей барыни о судьбе его, то за такое неуместное и неприличное проявление чувства в холопке ее осмеяли и вытолкали. Муж ее умер на чужбине. Вся привязанность ее сосредоточилась на детях, но у ней взяли двоих сыновей и отправили с двумя господскими сыновьями в столицу. У матери оставался третий мальчик, но горести и лишения обессилили ее, она не в состоянии была более работать, и барыня прогнала ее с ребенком. Она нанялась у какого-то кузнеца, где не ужилась по причине вздорного характера хозяина, воротилась было в барский двор, оттуда ее выгнали, разбранив за то, что старший ее сын, отправленный с господскими детьми, проворовался! Олена — так звали ее — нанялась у одного доброго человека, но так как ей приходилось с ним ехать куда-то далеко, то она пришла к барыне за письменным видом. Барыня закапризничала и, узнав, что Олена получает два рубля в месяц, требовала давать ей эту сумму в оброк за отпуск. По желанию хозяина она согласилась, но барыня потребовала еще более, и женщина принуждена была остаться во дворе. Сообразно законам, как вольная по происхождению, она имела право отойти от барыни, но не знала своих прав, как не знают их по

большей части безграмотные мужики. Козачка умерла в барском дворе. Кончина ее изображена раздирающими сердце чертами. Заметим только: при всех достоинствах этого рассказа, полного мысли, чувства, при всем его художественном настроении, там есть неестественность; это — письмо, писанное по-малороссийски мужем ее из Москвы: так писать могут малороссийские писатели друг к другу, а не слуги к своим женам.

Короткий рассказ «Панська воля» описывает, как в имении одного господина, который приехал управлять полученным наследством с благими намерениями учить мужиков наукам и построить им новые хаты о трех окнах, у матери-крестьянки умирает младенец, оставленный ею без призрения, потому что надобно было идти на барщину. Этот удар был для нее так ужасен, что она сошла с ума; конец несколько натянутый: подобных примеров детской смерти чрезвычайное множество, и крестьянки не сходят от них с ума.

Вообще «Народні оповідання» хотя в первый раз в южнорусской литературе коснулись этого вопроса, но не исчерпали его и даже ограничиваются только описанием единичных явлений, а не представляют изображения народного быта в постоянных условиях означенного вопроса. Строго разбирая, спросим, что говорят нам эти превосходно рассказанные события? Только то, что подобное случается и, сверх того, как народ рассказывает о таких случаях. Но все эти случаи — не суть необходимые условия того состояния крестьян, о котором идет речь. Они могут и не быть при нем, и, конечно, есть очень много душевладельцев, которые со спокойной совестью могут сказать, что у них подобного не случалось. «Народні оповідання» не коснулись таких сторон этого предмета, которые бы вытекали из его сущности, были бы необходимыми и постоянными его признаками и тем показывали неприложимость самого принципа к потребностям настоящего времени и несовместимость его как с пользою владельцев, так и с благоденствием земледельческого класса. Равным образом, здесь нет ни народного взгляда на это положение дел, исторически усвоенного народом, ни тех типических особенностей, с какими малороссийский народ является по отношениям к этому предмету. А эти-то стороны вопроса в особенности желательно было бы увидеть в литературе. Замечается это вовсе не с целью обвинить автора.

Никто не вправе требовать от сочинителя, чтоб он изображал то, а не другое, когда он не показал сам притязания; но если автор народных рассказов Марка Вовчка подарил читателей такими прекрасными рассказами, то читатели вправе просить его не останавливаться на этих первоначальных опытах, а раскрыть важную сторону народной жизни в более общих и знаменательных ее явлениях. Все малороссияне разделят это желание. Если литературным созданиям в форме рассказов и повестей суждено не только служить развлечением для праздности, но художественным выражением задушевных мыслей современного общества возбуждать в нас плодоносные думы, чистые чувства и жажду деятельности на добро ближним, то признание благородного автора еще впереди: ибо он угадал требования читающей и мыслящей части своего народа, которая давно нуждается в пророках, которые бы раскрывали вековые раны, замазанные лицемерием и беспечностью, и указывали бы на животворную купель исцеления. Но, к сожалению, проходя мимо своих писателей и поэтов, и даровитых и бездарных, в этом отношении мы могли сказать с расслабленным: «Человека не имамы», а если и были такие призванные, то они умолкали слишком рано, может быть, не всегда по собственной воле, а по приговору судьбы.

[СЛОВО НАД ГРОБОМ Т. Г. ШЕВЧЕНКА]

Смертный одр усопшего поэта не окружали ни родные, ни жена, ни дети. Одинока была его смерть, напоминавшая украинскую песню:

Ой загинула козацька головонька
Без роду-родини,
Без вірної дружини.

Но гроб его теперь окружен не чужими. Поэт не остался чуждым и для великорусского племени, которое воспитало его, оценило и приютило в последние его дни, после долгих житейских страданий. На его закат блеснула прощальною улыбкою любовь — не женская любовь, часто изменчивая и лукавая, а бескорыстная, святая любовь душ, способных понимать изящное.

Такова сила поэзии! В какой бы исключительной форме ни проявлялась она, как бы тесно ни соединялась она с народностью и местностью,— ее общечеловеческий смысл не может укрыться и сделаться общим достоянием.

Шевченко не был только поэтом для Украины; он — поэт сельского народа, воспитавший в себе поэтическое вдохновение его существом и передавший его образованному миру в прекрасных безыскусственных образах, добытых им из сокровищницы своей богатой природы.

Простимся с дорогим поэтом словами украинской думы:

Слава твоя не вмре, не поляже!
Буде слава славна
Поміж козаками,
Поміж друзями,
Поміж рицарями,
Поміж добрими молодцями!
Утверди, боже, люду руського,
Народу християнського,
З черню дніпровою, низовою,
На многії літа,
До кінця віка!

ВОСПОМИНАНИЕ О ДВУХ МАЛЯРАХ

В одном селе восточного малороссийского края была, а может быть, и теперь существует, личность в высшей степени замечательная. Эта личность способна возбуждать в душе много дум и оставлять неизгладимые впечатления: то был крестьянин именем Грицько, ремеслом — маляр. Как известно, в малороссийском крестьянском быту маляр — явление частое. Малярство — одна из обычных первых ступеней, на которую всходит крестьянин, коль скоро собственное дарование выводит его из земледельческой колеи. Маляр обыкновенно вместе с тем и грамотный; искусство располагает его к любознательности; маляр рисует богородицу, святых мужей и жен,— надобно знать, как изобразить того или другую, является охота узнать, кто они были и что с ними творилось в жизни, и маляр читает священное писание, жития святых. Маляр имеет дело постоянно с церковью и потому интересуется церковными вопросами; таким образом, маляр входит в область книжного мира, которая у поселян начинается с религиозного круга, точно так, как начиналась она в истории русского народа. Но известно, что малороссиянин, как только сделается благочестивым человеком, сейчас начинает философствовать; у него религиозность ведет не к толкованиям обрядов и частностей богослужения, как это бывает с великороссиянином, а обращается либо к пиетизму, либо к размышлениям и — в первом случае — ведет к поэзии в жизни, во втором — к желанию знать природу, человека, одним словом — к науке. Это желание обыкновенно находит себе скоро предел по скудости материалов для питания... Не так, однако, было с нашим маляром Грицьком.

Он родился крепостным. В детстве потерял он родителей и остался на попечении родни. Его приставили пасти

господское стадо, не помню какое. В мальчике было что-то странное; крестьяне считали его придурковатым. Лишним будет рассказывать, как удалялся он от детских игр и как мальчики за это щипали и тормошили его. Иначе пришлось бы невольно повторять то, что так часто встречается в житиях святых при описании их детства. Когда безветрие не дозволяло работать мельникам, Грицько усаживался близ села под ветряной мельницей и рисовал углем или мелом на стене разные фигуры; так однажды он растерял своих животных, за что его высекли. То же повторилось и в другой раз. Помещик рассудил, что его дворовой мальчик недаром чертит изображения и, ради таких занятий, дурно проходит свою служебную карьеру: из него скорее выйдет живописец, чем свинарь или овчар,— подумал помещик и отдал его в науку к какому-то художнику в своем уездном городе. Так поступил помещик в тех видах, что мальчик может выучиться, станет ему платить оброк и принесет, со временем, барину больше пользы, чем сколько мог бы принесть в звании пастуха. И вот Грицько живет у хозяина, учится прилежно; хозяин не нахвалится его понятливостью; его не нужно понукать — приходится отрывать его от работы; ему не надобно десять раз одного и того же вбивать в голову — он сам спросит и не забудет того, что ему скажут. Захотелось самому Грицьку научиться грамоте: хозяин дал букварь, показал раз, другой — и Грицько в короткое время выучился складам и стал читать бегло. Впоследствии он сознавался, что когда рисовал на мельнице фигуры, то это были вымышляемые им буквы. Грицька занимала мысль: как это люди читают? «Я,— говорил он,— долго думал над этим и дошел до того, что, верно, какое говорится слово, такое и малюется; и начал в уме сам с собою говорить, да какое слово скажу, то и намалюю, а потом и помню, что вот так я его намалевал; после того пришло мне в голову, что, верно, не так: слов много,— как можно все их припомнить! Тут я начал примечать, что иное слово на другое походит, а иное разнится: так я, что похоже, то на одну стать и малюю». Сколько припоминаю, таким образом, кажется, он объяснял этот путь. Но как бы то ни было, наш Грицько самобытною дорогою шел к цели, которую давно нашло человечество. Он не дошел до нее под своей мельницей, а достиг ее обычным для всех путем за букварем у уездного художника.

Грицько начал читать что ни попало: читал и священную историю, читал и романы, читал «Библиотеку для чтения»: там, как говорил он, на него сделали впечатление особенно жизнеописание папы Гильдебранда и какая-то космографическая статья. Когда он вчитался более, его стали занимать помещенные в «Смеси» известия о разных открытиях в области естествознания. Беда только, что по причине множества научных терминов он понимал там с пятого на десятое. Более всего хотелось ему знать, как это свет стоит, как он держится и как всякие вещи сложились, как одно с другим вяжется. Грицьку представлялись бесчисленные вопросы; они мучили его потому, что он на них не находил ответа ни в тех книгах, какие ему попадались, ни у людей, с которыми приходилось ему говорить. Грицько чрезвычайно полюбил арифметику; он получил указания от других только в четырех правилах, а потом уже сам собою уразумел таинства дробей и сложность тройного правила.

Пробыв несколько лет у хозяина, Грицько стал платить помещику оброк и работать в разных селах своего околотка по церквам. Однажды на пасху — это было в 1837 году — он прибыл в свое село к родным. Здесь, в церкви, в ночь светлого воскресения, пред заутреней он читал «деяния»... Тогда я в первый раз его увидел. Он должен был, между прочим, провозгласить: «Трудно противу рожна прати...» Это было пророческое слово о судьбе его!

Грицько был невысокого роста, черноволосый, чрезвычайно худощавый, с необыкновенно выразительными и добрыми глазами и с слабою грудью, как показывал его прерывистый, хотя крикливый, но скоро упадающий голос. В характере его была удивительная кротость и мягкость. Он был молчалив и робок; не спешил сам ни с кем разговаривать, а если начинал разговор, то для того, чтоб спросить о чем-нибудь и научиться от других, и только тогда становился смелее, когда видел, что его любят. Он знал священное писание изумительно и мог потягаться в текстах библейских с любым поморским начетчиком. Но заметно было, что не чувство благочестия влекло его к такому чтению: он искал в нем того, что называется положительным знанием. Любознательность Грицька обращалась более всего на материальную природу, и странно было слышать, как он задавал себе вопросы,

давно уже решенные физикою или естественной историей, и искал ответа то в библии, то в «Иване Выжигине» Булгарина, то в повестях Марлинского. Один помещик, получивший образование в Харьковском университете, начал давать ему книги и расширил круг его чтения. Грицько читал их с жадностью. Ему подарили «Всеобщую историю» аббата Миллота, популярную «Астрономию» и курс математики, и он был вне себя от восторга. Несколько лет не видел я Грицька после этого, но случай привел меня увидеть его в том же селе в 1845 году. Грицько был уже женат на крестьянской девушке из своего села, имел свою собственную хату, платил оброк и занимался малярством, выручая насущный хлеб на иконах. Без постороннего руководства Грицько уразумевал свою книгу — курс математики и с изумительною правильностью и верностью решал трудные алгебраические и геометрические задачи. Он прочитал уже физику, знал изложенные в ней законы природы, любил толковать об опытах, которыми человеческий ум достигал до уразумения этих законов. Но библии он уже не читал, и вообще, его мало занимал священный круг. Он, по-видимому, лишен был поэтического чутья. Его не пленяла красота природы: он стремился к природе рассудочным анализом; он хотел исследования, а не восторга; чудесное не пленяло его — он отвращался от него; на первом плане у него стояла мысль: «Это невозможно; а что невозможно — о том и толковать нечего». Ему скучны казались Пушкин и Жуковский; даже стихи Шевченко не пробудили в нем сочувствия по родственности языка. Только Квиткины повести заняли его, но не по художественности, а по верности изображения крестьянского малороссийского быта, в котором он сам родился и взрос. Прежняя кротость и скромность остались в нем неизменны. Грицько, казалось, с покорностью и без ропота сносил свою долю, но когда ему заметили, как было бы хорошо, если б он родился вольным, он заплакал. Находились люди, хотевшие и тогда выкупить его у помещика и давали, по тогдашнему счету, пятьсот рублей ассигнациями; помещик не соглашался: по своим расчетам мог в несколько лет получить с него более оброком... И Грицько остался крепостным. «Больно то,— говорил Грицько,— что нас, бедных людей, держат в заблуждении и невежестве».

Быть может, неизбежная борьба внутреннего саморазвития с гнетущим положением уже свела его в могилу; быть может, он и теперь платит господам оброк и пишет какую-нибудь Иродиаду с кинжалом над головой Иоанна Крестителя... Во всяком случае, ему теперь под пятьдесят лет; он угас для всего будущего в этой жизни.

В тот же год, когда я видел в последний раз Грицька-маляра, на противоположном, западном краю Малороссии случай свел меня с другим маляром. Первоначальная судьба его была похожа на судьбу Грицька; но природа, щедрая для обоих, даровала этому маляру иные дарования и потому судила иной путь. Этот маляр назывался Тарас Григорьевич Шевченко. Нет нужды здесь излагать повесть о его детстве, о первоначальном его воспитании: он сам описал все это в своей автобиографии. Этот маляр не завяз в цепях, которые обвивали его при рождении, его талант прорвал их, вывел его из тесной сферы неизвестности для высоких дум, тяжелых страданий и бессмертия. «Той бе слава дней своих»,— скажет о нем некогда Малороссия, как это некогда сказано было об одном из ее гетманов.

С Тарасом Григорьевичем я познакомился в Киеве в 1845 году. На первый раз в нем не показывалось ничего привлекательного, ничего теплого; напротив, он был холоден, сух, хотя прост и нецеремонен. Он измерял мои слова и движения с недоверчивостью; он поступал, как часто поступает очень честный и добрый малороссиянин, встречая незнакомое лицо, и чем это лицо навязчивее старается вызвать его на откровенность и искренность, тем становится он осторожнее. Иначе и быть не может в народе, который слишком часто видит обман и двоедушие. Это качество изменилось у Шевченко в последние годы, когда мы с ним увиделись после долгой разлуки, оно даже перешло у него в другую крайность — излишнюю доверчивость. Но в те времена, в те поры его молодости он сохранял эту своенародную черту. Скоро, однако, мы сошлись и подружились. Тарас Григорьевич прочитал мне свои ненапечатанные стихотворения. Меня обдало страхом: впечатление, которое они производили, напомнило мне Шиллерову балладу «Занавешенный санский истукан». Я увидел, что муза Шевченко раздирала завесу народной жизни. И страшно, и сладко, и больно, и упоительно было заглянуть туда!!! Поэзия всегда идет вперед,

всегда решается на смелое дело; по ее следам идут история, наука и практический труд. Легче бывает последним, но тяжело первой. Сильное зрение, крепкие нервы нужно иметь, чтоб не ослепнуть или не упасть без чувств от внезапного света истины, дружелюбно сокрытой для спокойной толпы, идущей по торной колее мимо таинственного занавеса, не знающей, что скрывается за этим занавесом! Тарасова муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями, засыпанный землею, нарочно вспаханною и засеянною, чтобы скрыть для потомства даже память о месте, где находится подземная пустота. Тарасова муза смело вошла в эту пустоту со своим неугасимым светочем и открыла за собою путь и солнечным лучам, и свежему воздуху, и людской любознательности. Легко будет входить в это подземелье, когда воздух туда проникнет; но какая человеческая крепость может устоять против убивающего в мгновение все силы жизни, погашающего всякий земной огонь векового испарения! Горе дерзкому поэту! Он забывает, что он человек, и если первый решается вступить туда, то может пасть... Но поэзия не устрашится никакого губительного испарения, если только она истинная поэзия; и не погасит ее светоча никакая историческая или нравственная углекислота, ибо этот светоч горит нетленным огнем — огнем Прометея...

Не долго видел я Тараса-маляра в Киеве; обстоятельства нас разлучили... Не мне рассказывать его дальнейшую биографию... В 1858 году мы увиделись снова в стенах Академии художеств. Тарас не узнал меня. Целый час я не говорил ему своего имени, и он все-таки не назвал его, пока не услышал от меня самого. Тогда он заплакал и этим показал, что не оттого не узнал, что забыл обо мне. Но в нем все напоминало прежнего Тараса; его железная натура много выстояла и не пала физически; чист он остался в своих убеждениях, свежо еще было в нем поэтическое чутье; любовь к доброму и прекрасному прорывалась во внутренней борьбе со влиянием внешнего растления; но талант его великого творчества начинал ослабевать. Тарас чувствовал это, хотя от страха пред отверзающеюся пропастью хотел отвернуться и уверить самого себя, что нет того, что ему угрожало. Читанные им в Петербурге в последние годы его стихотворения были слабее

тех огненных произведений, которые некогда он читал мне в Киеве. Время возьмет свое над человеком, зане перстень есть.

Пострадавший всю жизнь, Шевченко пред концом дней своих был облечен заслуженною славою. Его родина — Малороссия — видела в нем своего народного поэта; великороссияне и поляки признавали в нем великое поэтическое дарование. Он не был поэтом тесной, исключительной народности: его поэзия приняла более высокий полет. Это был поэт общерусский, поэт народа не малорусского, а вообще русского народа, хотя и писал на одном из двух, искони существовавших, наречий этого народа, оставшемся внутри народной сферы, не испытавшем насильственных школьных изменений и потому-то более способном для того, чтоб дать России истинно народного поэта.

Некоторые близорукие судьи изящного меряли его с Кольцовым и даже находили последнего выше. Это происходило оттого, что они не понимали, что такое народный поэт, и не могли возвыситься до уразумения его достоинства и значения. По их понятию, народный поэт есть тот, кто может удачно изображать народ и заговорить в его тоне. Таков и был Кольцов; в некоторых своих произведениях он превосходно выполнил эту задачу, и достойно светлеется его имя в ряду знаменитостей русской литературы. Не таков был Шевченко, и не такова была его задача. Шевченко не подражал народным песням; Шевченко не имел целью ни описывать своего народа, ни подделываться к народному тону: ему незачем было подделываться, когда он по природе своей иначе не говорил. Шевченко как поэт — это был сам народ, продолжавший свое поэтическое творчество. Песня Шевченко была сама по себе народная песня, только новая, такая песня, какую мог бы запеть теперь целый народ, какая должна была вылиться из народной души в положении народной современной истории. С этой стороны, Шевченко был избранник народа в прямом значении этого слова; народ как бы избрал его петь вместо себя. Народные песенные формы переходили в стихи Шевченко не вследствие изучения, не по рассуждению, где что употребить, где какое выражение годится поставить, а по естественному развитию в его душе всей бесконечной нити народной поэзии; не потому, что Шевченко хотел их ввести

и поставить, а потому, что они, по существу народной поэзии, сами устанавливались так, а не иначе. Шевченко сказал то, что каждый народный человек сказал бы, если б его народное существо могло возвыситься до способности выразить то, что хранилось на дне его души. Святое сокровище, оно скрывалось там под тягостью житейской прозы и было для него самого невидимо, незаметно, пока животворные звуки гения не коснутся до сокровенных тайников души и не нарушат безмолвия мысли своею упоительною мелодиею и не покажут чувству того, что составляло его достояние и не было до сих пор им ощущаемо. Пробужденный от своей прозаической апатии голосом такой поэзии народный человек с трепетом и восторгом готов воскликнуть: «Это самое я только что готов был сказать точно так, как сказано поэтом!» Этого не дано было ни Кольцову, ни какому другому русскому поэту, кроме одного Пушкина (но не для простого народа, а для высшего русского класса). Кольцов заговаривает в народном тоне; Шевченко говорит так, как народ еще и не говорил, но как он готов был уже заговорить и только ожидал, чтобы из среды его нашелся творец, который бы овладел его языком и его тоном; и вслед за таким творцом точно так заговорит и весь народ и скажет единогласно: «Это — мое»,— и будет повторять долго-долго, пока не явится потребность нового видоизменения его поэтического языка. Поэзия Шевченко есть непосредственное продолжение народной поэзии; и недаром явилась она тогда, когда прежние народные песни стали забываться. Поэзия Шевченко — законная, милая дочь старой украинской поэзии, организованной в XVI и XVII веке, так как эта последняя была точно также дочерью древней южнорусской поэзии, той далекой от нас поэзии, о которой гадательно можем мы судить по произведениям Игорева певца.

Народная украинская поэзия видимо приближается к угасанию. Многие думы козацких времен, к счастию, записанные в тридцатых годах и сохраненные для литературы, теперь уже совершенно исчезли в народе. Уже и песни семейного быта исчезают мало-помалу или портятся: таков удел поэзии. Поэзия угасает не иначе, как упадая в своем достоинстве, растлеваясь; и потому-то новейшие переделки старых песен и новейшие плоды малороссийского народного творчества дышали таким

отсутствием изящного. Народ не может творить целою массою, ибо для этого нужно было бы, чтоб какое-нибудь сильное потрясение вызвало его к творению новой поэзии. Да притом и в такие эпохи потрясений везде бывают личности, обладающие талантом первоначального творчества; в сфере существующих народных песен эти творческие личности исчезли в массе: их запевы переформировались в течение долгого времени; к ним присоединялись новые мотивы; таким образом составлялись и пересоставлялись произведения, существующие в бесконечных отрывках, связуемых народом по призыву народного вкуса. Между тем потребность самооживления ощущается в народе; народ чувствует, мыслит; многое переполнилось в его душе, много страданий в ней накопилось, много желаний он готов заявить: он ищет выражения; он находит его в своих избранниках, поэтических личностях, живущих народной жизнью, стоящих выше каждого в отдельности по дарованию и потому способных выразить надлежащим образом то, что всеми чувствуется, думается, желается. Вот такою-то личностью был Шевченко.

Мы сказали, что, будучи малорусским поэтом по форме и языку, Шевченко в то же время и поэт общерусский. Это именно оттого, что он — возвеститель народных дум, представитель народной воли, истолкователь народного чувства.

Судьба связала малорусский народ с великорусским неразрывными узами. Только легкомысленное скольжение по поверхности политических событий может находить единственно государственную связь между этими народами, смотреть на Малороссию не более, как на страну, присоединенную к Российской империи; но, с другой стороны, только насилующая централизация, убивающая всякую человеческую свободу и всякое духовное саморазвитие мыслящего существа, может, закрывши глаза, утверждать совершенное тождество русского народа. Понятие, основанное на изучении истории и этнографии русской, всегда признает, что русский народ должен быть понимаем в смысле двух народностей; между этими народностями лежит кровная, глубокая, неразрывная духовная связь, которая никогда не допустит их до нарушения политического и общественного единства, та связь, которая не уничтожилась под влиянием прошлых

исторических обстоятельств, насильственно разрывавших эти народности, та связь, которую не разорвали ни внутренние неурядицы, ни татары, ни Литва, ни поляки, та связь, которая до сих пор обращает к нашему русскому горизонту Червоную Русь, уклонившуюся, уже несколько веков тому, к иной сфере. Ни великоруссы без малороссов, ни последние без первых не могут совершать своего развития. Одни другим необходимы; одна народность дополняет другую; и чем стройнее, уравнительнее, взаимодейственнее будет совершаться такое дополнение, тем нормальнее пойдет русская жизнь. Шевченко, как поэт народный, чувствовал это и уразумел, и оттого-то его понятия и чувства не были никогда, даже в самые тяжелые минуты жизни, осквернены ни узкою, грубою неприязнью к великорусской народности, ни донкихотскими мечтаниями о местной политической независимости: ни малейшей тени чего-нибудь подобного не проявилось в его поэтических произведениях. И это, между прочим, служит подтверждением высокого достоинства его таланта... Поэт истинно народный, он, естественно, должен был выражать то, что, будучи достоянием малорусского элемента, имело в то же время и общерусское значение. Оттого поэзия Шевченко понятна и родственна великоруссам. Для того, чтоб сочувствовать ему и уразуметь его достоинство, не нужно быть исключительно малороссом, не нужно даже глубоко в подробностях изучить малорусскую этнографию,—что можно сказать, например, о «Марусі» Квитки, превосходнейшей, вернейшей картине народных нравов, но дурно понятой некоторыми великорусскими критиками именно по недостаточному знакомству их с частностями малорусской народности. Шевченкову поэзию поймет и оценит всякий, кто только близок вообще к народу, кто способен понимать народные требования и способ народного выражения. Не поймет и не оценит его только тот, кто смотрит на народ в лорнет, кто, желая узнать его, не в состоянии принять другой методы, кроме той, чтоб изучать его жизнь и быт, как изучают энтомологический кабинет; заносить в дорожную книжку схваченные у ямщика фразы и составлять по ним систему народных понятий; записывать со слов барских горничных девушек песни, слышанные ими в детстве на селе, и по таким песням произносить суждения о сущности народного поэтического гения; кто, быть

может, и в самом деле любит народ и готов заботиться о народном благе, но не знает, чего хочет народ и как он этого хочет; кто думает дерзко воспитывать народ, забывая, что для этого прежде надобно самому поучиться от народа, быть им избранным и признанным для такого важного дела. Такой мудрец не поймет Шевченко, и естественно, что Кольцов покажется ему выше по своему поэтическому дарованию, ибо Кольцов поет, как народ уже пел, а Шевченко поет так, как народ еще не пел, но как он запоет за Шевченко. Естественно, для уразумения последнего нужно чего-то поболее, чем для Кольцова: мало изучения,— души народной нужно! К таким же незрелым суждениям мы должны отнести и то, которое брошено было недавно на свежую могилу поэта, суждение, признавшее его гражданином, а не поэтом. На деле выходит наоборот: Шевченко гражданином-то никогда не был и оставался поэтом и в литературе, и в жизни. Такие приговоры не более, как плод запоздалых узких теорий, признающих поэзию только при соблюдении известных, усвоенных привычками условий, имеющих силу для того, кто не способен чувствовать поэзию. Большинство великоруссов смотрит на Шевченко не так. Когда еще Шевченко был мало известен, были люди, не видавшие во всю жизнь Малороссии, с некоторым затруднением, по причине языка, прочитавшие «Кобзаря» (хотя самый язык Шевченко отличается пред сочинениями других малорусских писателей удобовразумительностью) и говорившие с первого раза: «Это великий поэт!» В сочинениях его так много общерусского, что великоруссы читают его даже в чрезвычайно плохих стихотворных переводах: как ни искажали его переводчики, все-таки не могли испортить до того, чтоб первородная поэзия не высказывалась наружу. По нашему мнению, переводить Шевченко отнюдь не следует: достаточно будет напечатать его с объяснениями слов, непонятных для великорусса, да и слов таких будет совсем немного.

В то время, когда в великорусской литературе находились критики, не понимавшие достоинства малорусского поэта, в польской хотя постоянно признавали его великий талант, но соблазнялись некоторыми его произведениями, где поэтически воспроизведены древние времена вражды малороссов с поляками: видели в этом какую-то неприязнь к польской нации. Между тем талан-

та у Шевченко отнять нельзя. Как тут поступить? Поэт великий, а поляков обличает. И вот в одном из периодических польских изданий в Червоной Руси явились презабавные сведения о жизни нашего поэта. Писали, что Шевченко поселился у какого-то Hrabiego Działynskiego, который по своему панскому великодушию оказал приют поэту, заявившему себя так непочтительно к бывшим господам своего народа — полякам, что Шевченко проникнулся чувством признательности за такое великодушие, живет у графа в качестве придворного поэта, пользуется его благосклонностями и, в порыве справедливой благодарности, wszystko, co napisał przeciwko polaków, powymazal i poprzerabial[1] в последнем издании своих сочинений. Клеветы на поэта хуже выдумать невозможно, но она до такой степени нелепа, что, вероятно, если бы Шевченко ее услышал, то скорее смеялся бы над ней, чем стал бы оскорбляться.

В настоящее время, когда совершается великая эпоха обновления народной жизни, с грустью обращаюсь я к воспоминанию о двух малороссийских малярах, которых я знал в своей жизни. Освобождение народа не принесет пользы моим бедным малярам. Грицько-маляр слишком рано родился и прожил лучшие годы под гнетом крепостного права, не давшего ему развить свой замечательный талант для собственного духовного наслаждения и для пользы других; Тарас-маляр рано умер, не доживши всего шести дней до дня, который был бы радостнейшим днем в его страдальческой жизни, ибо этот день положил начало исполнения того, что было душою Тарасовой поэзии.

Но стоит ли, скажете вы, жалеть о двух малярах, когда радуются миллионы за себя и за своих потомков? Стоит, потому что с воспоминанием о двух малярах теснятся в воображении тысячи, миллионы маляров, бондарей, столяров, пастухов, земледельцев, барской челяди — лакеев, кучеров, дворников, из которых многие также, может быть, рождены были природою с правом быть чем-то иным, а не тем, чем они были на самом деле; тогда как другие великие мужи слова и дела — книгописцы, художники, законники — сообразнее бы своим способно-

[1] Все, що написав проти поляків, викреслив і переробив *(польск.)*.

стям исполняли бы обязанности первых. Стоит, потому что со всевозможнейшими человеческими улучшениями не уничтожатся препятствия к исполнению на земле человеком его природного призвания. Стоит, наконец, потому, что при каждом воспоминании о человеке, который не достиг в жизни того, к чему стремился, невольно останавливаешься на убийственных безответных вопросах: зачем мы смертны? Зачем мы глупы? Зачем мы стареемся?..

СЛОВО О СКОВОРОДЕ

по поводу рецензии на его сочинения в «Русском слове».

В нашей текущей литературе случается, что писатель, особенно рецензент какой-нибудь выходящей книги, произносит решительным тоном знатока суждения и даже осуждения над предметами, которых не изучал, над которыми прежде не думал, которых вовсе не знает. Сверх того, у нас стало входить в обычай печатно бросать грязью в деятелей мысли и слова, оскорблять их личность, не считая необходимым даже сколько-нибудь объяснять, какой повод подали эти лица так презрительно обращаться с ними. Быть может, некоторые думают, что они этим творят поклонение призраку гласности? По нашему мнению, отозваться неуважительно, хотя бы и слегка, вскользь, о какой-либо личности в печати мы вправе или тогда, когда эта личность была прежде обличена достаточно и поражена невыгодным приговором общественного мнения или же когда мы сами представляем несомненные доказательства ее виновности перед судом общества. Иначе это будет оскорбление не только тем, на которых незаслуженно мы нападаем, но и обществу. Какое мы имеем право ожидать, чтоб общество, не требуя от нас доказательств и объяснений, одобряло оскорбления, которые мы наносим его членам? Эти мысли пришли нам, когда мы, перелистывая VII книгу «Русского слова», встретили в ней рецензию «Сочинений в стихах и прозе Григория Саввича Сковороды», подписанную буквами Вс. К-овский. Рецензент, приводя слова издателя сочинений Сковороды: «*которые* (сочинения) *считались народными*», ставит два вопросительных знака, приводит затем несколько стихов и потом произносит такие возгласы: «Но вот что за мысль терзала нас неотступно с начала книги до самого конца: для чего и кого неизве-

стный издатель Сковороды издавал в свет всю эту схоластическую ерунду, семинарскую мертвечину? Кому какое до нее было дело?»

Стихи Сковороды чрезвычайно плохи и уродливы и могут сравниться по художественности разве с бессмертными произведениями *Василия Кирилловича*, тем не менее рецензент напрасно поставил два вопросительных знака. Мало можно указать таких народных лиц, каким был Сковорода и которых бы так помнил и уважал народ. На всем пространстве от Строгожска (Воронежской губ.) до Киева во многих домах висят его портреты; всякий грамотный малороссиянин знает о нем; имя его известно очень многим из неграмотного народа; его странническая жизнь — предмет рассказов и анекдотов; в некоторых местах потомки от отцов и дедов знают о местах, которые он посещал, где любил пребывать, и указывают на них с почтением; доброе расположение Сковороды к некоторым из его современников составляет семейную гордость внуков; странствующие слепцы усвоили его песни; на храмов праздник на торжище нередко можно встретить толпу народа, окружающую группу этих рапсодов и со слезами умиления слушающих: «Всякому граду свой нрав и права». До какой степени песни Сковороды сделались народными во всей южнорусской стране, можно судить по тому, что некоторые вошли в собрание галицких песен Вацлава из Олеска и Жеготы Паули без сознания самих собирателей, что эти песни сочинены Сковородою.

Сочинения Сковороды не нравятся рецензенту; не нравятся они, быть может, и нам, но из того не следует, что они не имеют никакого достоинства и что не надобно их печатать. Значение писателя прошедшего времени измеряется или по эстетическому достоинству, или по его влиянию на свой век, по степени, в какой он выражает нравственное состояние окружающей его среды, по вместимости в нем умственных требований и вкуса современников. Рецензент полагает, что следует довольствоваться первым, а все, что нам не нравится, предавать забвению. Так у нас и делают: в архивах мыши и сырость поедали старые дела; ханжи замазывали древние фрески в храмах; губернаторы разбирали для лучшего вида в городе старинные здания; кухарки пекли оладьи на листах сборников XIV и XV веков. Благодаря всему этому мы так мало

знаем свою старину. И теперь еще много лежит под спудом: пусть себе лежит! По мнению рецензента нет никому дела до этой «ерунды и мертвечины». Но ведь и многое из древних памятников, драгоценных для нас по выражению своего века, само по себе — безотносительно к истории — может показаться, сообразно нашим эстетическим воззрениям, хуже виршей и посланий Сковороды... Зачем же издавать его?.. Так по-вашему?

Нашедши у Сковороды такие стихи:

Убий злую волю, брат,
Так упразднишь весь ад,—

рецензент говорит:

«Григорий Саввич особенно недолюбливает воли, каковое качество, впрочем, для такого мудреца весьма почтенно. «Но довольно! Бога ради, довольно!» — слышу я возгласы нетерпеливого читателя, которые имеют на меня действие холодного душа,— и я останавливаюсь».

Рецензент вообразил себе, что Сковорода преследовал умственную и гражданскую свободу, тогда как Сковорода говорил о *злой воле,* то есть о дурных и порочных наклонностях. Тут-то рецензент и попал впросак! Григорий Саввич Сковорода был поборником свободы в сфере религиозной, нравственной, гражданской, терпел за то гонение и, не уживаясь с деспотизмом окружающей его среды, обрек себя на скитальческую жизнь. Ханжество, низкопоклонничество, угнетение слабых, лень барства постоянно находили в нем смелого обличителя. Все народные рассказы о нем, переходящие из уст в уста, от поколения к поколению, изображают его таким. Даже в известной песне «Всякому граду нрав и права» он громит и того, «кто для чинов углы панские трет», и попа, без христианской добродетели исполняющего один внешний обряд, и ханжу-пана, который «на нищих раздал сто рублей, что содрал с подданных бедных людей», и всякого *вищого,* «що нижчого гне», и *дужчого,* «що недужчого давить і жме». Как проповедник правды и добра, Сковорода стал народным идеалом мудреца. Может быть, теперь уже надобно отличать Сковороду действительного от Сковороды идеального, народного, но нет сомнения, что последний образ возник из первого, а потому нельзя не поблагодарить за издание его сочинений. Мы надеемся погово-

рить подробнее об этом в высшей степени замечательном лице, когда будем владеть достаточным запасом сведений об умственном развитии южнорусского народа в XVIII веке: только в связи с ним можно оценить Сковороду.

В заключение рецензент «Русского слова», задав себе вопрос, для кого издаются такие сочинения, выбрал трех подписчиков и покрыл их своим презрением: первый из них — г. Аскоченский, второй — г. Данилевский, третий — г. Срезневский... Вот что говорит смелый критик: «Все понятно! Понятно и высокое достоинство произведений Сковороды, и сочувствие ему таких именитых людей, как гг. Данилевского, Срезневского и Аскоченского. Всем им предстоит равное бессмертие с Григорием Саввичем Сковородой. И по заслугам!»

И. И. Срезневский известен нам как труженик науки, оказавший важные, по нашему мнению, услуги языкознанию и истории своими сочинениями и изданиями. Ведь вы, г. рецензент, привели его имя наравне с издателем ханжеской газеты (предающей анафеме и издание в свет историко-литературных памятников, и всякий оттенок мысли, с нею не согласный) не потому, что г. Срезневский подписался на издание сочинений Сковороды: иначе зачем же вы пощадили библиотеку харьковских студентов, которая подписалась на десять экземпляров? Да притом, вы бы никак не решились поставить здесь на позор имени неизвестного вам какого-нибудь отставного полковника или вятского купца, подписавшегося на сочинения Сковороды? Очевидно, вам хотелось бросить комком грязи в И. И. Срезневского. Надеемся, что вы найдете совершенно уместным наш вопрос: *за что?* — потому что деятельность г. Срезневского как ученого, литератора, профессора, академика еще не была оценена печатно и не подверглась осуждению общественного мнения. После вашего неуважительного обращения с этим мы именно от вас имеем право этого требовать, если у вас достанет столько сведений в археологии, филологии, истории... Иначе вы сами не должны оскорблять, если мы скажем вот что: на вас, г. Вс. К-овский, возгласы какого-то читателя имеют действие холодной ду́ши, а на нас чтение вашей рецензии производит действие отвратительного запаха невежества и школьнического нахальства.

СПОМИНКИ ПРО ШЕВЧЕНКА

Милостивый государь!

Хотя многое соединяло меня в судьбе с Шевченко, но я не могу похвалиться особенною с ним близостью, так что в этом отношении мне известны были лица, более с ним связанные задушевными узами, чем я, и более меня знавшие особенности его жизни. От себя передам лишь следующие данные.

С Шевченко лично познакомился я в мае 1846 года в Киеве и видался с ним до января 1847 г., когда он выехал в Черниговскую область к своим знакомым. Тогда я читал в рукописи многие из его произведений, из которых иным суждено было явиться в печати поздно, как, например, «Наймичка», «Черниця Мар'яна» и пр., а другим не суждено было и до сих пор у нас показаться на свет. То было время самого крайнего развития поэтического таланта Шевченко, апогей его дарований и деятельности. Сам поэт был тогда в полном цвете лет (около 35), горячо любил он малорусскую народность, но более всего сочувствовал судьбе простого народа, и любимым его помышлением была свобода этого народа от помещичьего гнета. Все знали, что он сам происходил из этого порабощенного народа, но от Шевченко трудно было добиться воспоминаний о его детстве, проведенном среди поселян. Он ни пред кем не стыдился своего происхождения, но не любил много говорить о нем, и многое, что он высказывал, излагалось всегда с недомолвками; так, например, он рассказывал, как он был в Варшаве в эпоху восстания в 1830 году и как революционное правительство выпроводило его с другими русскими, давши ему денег тогдашними революционными ассигнациями; но по какому поводу он попал в Варшаву — этого он не сооб-

щал; равным образом не слыхал я от него подробностей, каким образом он очутился после того в Академии художеств. Обстоятельства его освобождения из крепостной зависимости также не передавались мне. Однажды я спросил у него, справедлив ли ходивший об нем анекдот, будто какой-то знатный барин нанял его нарисовать свой портрет, и когда после того нарисованный портрет ему не понравился, Шевченко переменил на портрете костюм и продал его в цирюльню на вывеску; что барин, узнавши об этом, обратился к владельцу Шевченко, находившемуся в то время в Петербурге, и купил Шевченко за большие деньги. Шевченко объявил мне, что ничего подобного не было и что это старый избитый анекдот, давно уже ходивший в публике и кем-то приноровленный к нему, Шевченко, совершенно произвольно. Он почему-то считал в деле своего освобождения своими благодетелями Брюллова и поэта Жуковского; последнего, однако, он не очень ценил за дух многих его произведений... Недостаток образования часто проглядывал в нем, но дополнялся всегда свежим и богатым природным умом, так что беседа с Шевченко никогда не могла навести скуки и была необыкновенно приятна: он умел кстати шутить, острить, потешать собеседников веселыми рассказами и никогда почти в обществе знакомых не проявлял того меланхолического свойства, которым проникнуты многие из его стихотворений. С отъезда его из Киева в январе 1847 г. я разлучился с ним надолго. Только мельком случилось мне увидеть его в Петербурге в том же году и услышать прощальное слово, полное вместе с тем надежд на лучшую долю: «Не журись, Миколо,— сказал он мне,— ще колись житимемо укупі». В тот же год его отправили в ссылку. С тех пор я не слыхал о нем ничего до 1857 года. В этот год осенью, воротившись из путешествия за границею, я узнал, что Шевченко заезжал ко мне в Саратове, возвращаясь по Волге на свободу из Петровского укрепления, в котором в последние перед тем годы служил рядовым. Потом услыхал я, что он не получил дозволения жить в Петербурге и потому прожил зиму в Нижнем Новгороде, где, как рассказывали, чуть было не женился на какой-то актрисе. Летом 1858 года, будучи в Петербурге, я отыскал Шевченко и увидел его первый раз после долговременной разлуки. Я нашел его в Академии художеств, где ему дали мастерскую. Тарас Григорьевич не

узнал меня и, оглядывая меня с головы до ног, пожимал плечами и решительно сказал, что не может догадаться и назвать по имени того, кого перед собою видит. Когда же я назвал свою фамилию, он бросился ко мне на шею и долго плакал.

С тех пор, в продолжение месяца, мы с ним виделись несколько раз, сходясь в ресторации, так как я тогда усиленно занимался в Публичной библиотеке и не имел времени ни на какие долговременные беседы и развлечения. И теперь Шевченко, как прежде, не любил рассказывать подробностей о своем заточении; я узнал от него только, что вначале ему было хорошо; потом какой-то начальник, дослужившийся до офицерских чинов из рядовых, начал его стеснять; но в конце судьба его снова облегчилась: он был переведен в Петровское укрепление, где комендант был к нему ласков, допускал его к себе в дом и вообще обращался с ним гуманно. Своим освобождением он считал себя обязанным ходатайству бывшего тогда вице-президентом Академии художеств графа Федора Петровича Толстого и отзывался о нем и его семействе с чрезвычайным уважением и любовью. Через месяц я разлучился с Шевченко, уехавши в Саратов, куда приглашен был в Комитет по устройству крестьян, а вернувшись в Петербург весною 1859 года, я не застал уже там Шевченко: он был отпущен временно на родину и вернулся в тот же год позднею осенью, когда я занял кафедру в Петербургском университете. Целый год квартировал я в гостинице Балабина, близ Публичной библиотеки. Шевченко изредка приходил ко мне; кроме того, мы часто встречались с ним в доме графа Толстого, его покровителя. Так прошла зима и весна 1860 года. Летом в этот год я перешел на квартиру на Васильевский остров и был почти соседом Шевченко, жившего постоянно в Академии художеств, в своей мастерской, где он занимался граверным искусством «eau forte». Своих стихов он почти никогда не читал мне и неохотно отвечал на мои вопросы о том, что он пишет. Так же точно разнеслась весть о том, что во время поездки его в Малороссию в последнее время с ним случилась какая-то неприятная история, приведшая его до щекотливых объяснений с властями. Я спрашивал его об этом и не получил от него никакого удовлетворительного ответа. Осенью 1860 года между знакомыми нашими разнесся слух, что Шевченко

собирается жениться на одной малороссиянке из простонародья, находившейся в услужении у барыни, жившей в Петербурге. На вопрос мой об этом Шевченко отвечал утвердительно, но, видимо, не хотел вдаваться в рассуждение об этом предмете, и я, заметивши его нежелание, не стал более толковать об этом. Спустя немного времени, встретивши его в театре, я спросил его: «Ну, Тарасе, коли ж твоє весілля?» Он отвечал: «Тоді, мабуть, коли твоє, не жениться нам з тобою: зостанемося до смерті бурлаками!» Через несколько дней я узнал, что Тарас не поладил со своею невестою, нашел в ней мало той поэзии, какую рисовало ему воображение, и натолкнулся на прозаичную действительность, показавшуюся ему пошлостью. Вскоре я услыхал, что Шевченко заболел... В последнее время мы с ним виделись не так часто, не более одного или двух раз в неделю, потому что я был слишком занят чтением и приготовлением университетских лекций. Узнавши, что Шевченко болеет, я посетил его два раза и во второй раз, в феврале, за несколько дней до его кончины, услышал от него, что он теперь совсем выздоровел; при этом он показывал мне купленные им на днях золотые часы, первые, какие он имел в своей жизни. Он обещал быть у меня вскоре. 25 февраля утром ко мне пришел не помню кто из знакомых с известием, что Шевченко утром внезапно умер. Он приказал служившему у него солдату поставить ему самовар и спускался по лестнице из своей спальни, находившейся над мастерскою; на последней ступени он упал головою вниз, солдат бросился к нему — Шевченко был без дыхания. В тот же вечер я прибыл в академическую церковь. Тело поэта лежало уже во гробе; над ним псаломщик читал псалтырь.

Его погребение происходило на Смоленском кладбище во вторник на масляницe. Над гробом его в церкви до выноса на кладбище говорились надгробные речи по-малорусски, по-русски и по-польски. Стечение публики было очень большое. Гроб усопшего поэта несли студенты. После погребения тотчас же земляки Шевченко, жившие в столице малороссы, учинили совет о том, чтобы ходатайствовать перед правительством о дозволении перевезти прах Шевченко в Малороссию и похоронить над Днепром на холме, как завещал сам поэт в одном из своих стихотворений.

Вот все, что я могу сказать, вспоминая о своем знакомстве с Шевченко. Как о поэте я не стану здесь распространяться, потому что по этому предмету я высказал свой взгляд в статье, напечатанной в книге г. Гербеля. Как о человеке могу сказать, что знаю его как личность безупречно честную, глубоко любившую свой народ и его язык, но без фанатической неприязни ко всему чужому.

5 декабря 1875 г. С.-Петербург.

ДОДАТОК

КОБЗАРЬ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО. 1860

Некогда появление малороссийской книжки возбуждало в нашей критике охоту к нравоучениям, имевшим целию вразумить пишущих и убедить их, чтоб они не тратили времени и способностей на переряживанье в мужицкую свитку и усвоение необразованной речи грубых плугатарей и свинопасов с грязными руками в заплатанных чоботах. При этом, разумеется, забывалось, что грязь на руках этой черни была земля, которую эти руки заставляли производить хлеб, упитывавший нравоучителей. Правда, в то время уже толковали о народности, говорили о важности изучения простого народа, его нравов, обычаев, верований, сообщали и издавали народные песни и вошло в моду в литературных произведениях подделываться под памятники народной поэзии; но все-таки мужик является в идеализированном виде, умытый, одетый хоть в свое, да в чистенькое платье, похожий на таких, какие в дивертисментах Александринского театра выходят утешать любителей народности; народные обычаи и верования имели важность более потому, что представляли материалы для мифологии и разных отраслей древности, и самые народные песни делились еще на хорошие, которые следовало печатать, и на дурные, которые не из чего было издавать в свет; того освистали бы, кто бы решился сказать, что дурные песни бывают очень часто дороже и важнее хороших, и никто не захотел бы понять, что такое издание песен, как, например, Сахарова, мало приносит пользы науке, когда в нем варианты одной и той же песни, записанные в разных губерниях, соединены в один и, вдобавок, местные отмены выражения сглажены и подведены под уровень одного правописания. Тогда слово «народность» никак не могло оторваться

от представления о стране, обведенной какой-нибудь цветной полоской на географической карте и означенной собственным именем государства или по крайней мере части его, написанной большими буквами. Тогда можно было найти очень много образованных и современных людей, которые никак не признали бы существования, например, хоть белорусской народности на том основании, что на карте не находили оправдывающего ее бытия названия. В те времена нам случалось не раз спорить против многих, которые никак не хотели и слышать, чтоб малороссийский язык мог быть языком, а называли его наречием или даже поднаречием, потому-то наименование языка признавали только за таким, на котором писались законы и административные распоряжения. Писать на провинциальном наречии! Это и смешно, и пошло. В примере показывали обыкновенно другие страны: разве во Франции не существует провансальского или бретонского наречий, а ведь все французы пишут на литературном французском языке. В швабских землях Германии разве нет своего наречия, которого не понимают другие немцы, и, однако ж, пишут и печатают на общедоступном литературном языке немецкого образованного общества. Нет ни одного государства, где бы, кроме народности господствующей, то есть такой, к которой принадлежат люди, стоящие на челе общества, не было также второстепенных народностей и, сообразно с ними, отдельных наречий, более или менее отличных от господствующего языка, и везде видим, что второстепенные уступают главным: таков неизбежный закон истории. Нам не представлять же исключения из общего закона!

Действительно, если в жизни человеческих обществ видеть одну абстрактную идею государства, господствующую над всем, что есть живого, самодействующего в человечестве, тогда необходимо признать, что во всяком обществе, имеющем форму государства, должна быть одна господствующая народность и, кроме нее, развитие другой не может быть допускаемо. Но государство есть внешняя форма, в которую облекается народная жизнь, но которой сущность является в движении народной мысли и народного чувства. Государство, повторяем, есть внешняя форма, но форма необходимая, без которой невозможна образованность, долженствующая составлять цель народного стремления. В круг государственности входят власть,

управление, законодательство, судоустройство, внешняя защита, но за пределами всех форм, в которых являются эти виды государственности, существует народная мысль, и согласие с нею внешних форм составляет нормальное состояние народа — это идеал, к которому должно стремиться общество. Уразумение духовной народной жизни, как в прошедшем, так и в настоящее время, должно быть важнейшим предметом, первой потребностью. А потому всякое ее выражение должно составлять драгоценность. С таким взглядом, который мы можем назвать современным, уже не может быть речи о том, можно или нельзя допустить писать на провинциальном наречии. Ответ готов заранее: не только можно, но следует считать особенно важным и полезным, коль скоро пишут на нем, значит, оно составляет существующую стихию народной жизни — она должна явиться и высказаться. Остается только судить писанное: насколько оно выражает ту стихию, которую хочет выразить. Это как нельзя более применимо к южнорусскому языку. Несмотря на то, что много лет ученые критики судили и пересуживали, нужно ли писать по-малороссийски, и наклонялись к отрицанию, один за другим являлись малороссийские писатели, стремление, называемое критиками непонятным капризом, возрастало, несмотря на всевозможные препятствия, и плодом его явились поэтические произведения Шевченко.

Талант Шевченко настолько признан читающею публикою, и его произведения настолько общеизвестны, что мы не надеемся заслужить порицания, если скажем, что, по мнению нашему, Шевченко принадлежит к первоклассным поэтам славянского мира. Его место рядом с Мицкевичем и Пушкиным. Какое сочувствие возбуждают его творения, можно видеть из того, что великороссияне, уроженцы центральных и восточных губерний, никогда не видавшие в глаза малороссиян, читают и выучивают их наизусть. Мы видели много таких примеров. С другой стороны, то же видели мы и между поляками. Откуда же это сочувствие в людях, не принадлежащих к тому народу, на языке которого Шевченко пишет? Над этим сто́ит задуматься... Что касается до его земляков, то едва ли найдется малороссиянин, читающий и не лишенный сочувствия к поэзии, для которого Шевченковы произведения не составляли бы святыни сердца. И между тем этой сла-

вой, этим сочувствием Шевченко уже никак не обязан ни критикам, ни журналам, ни ученым руководителям вкуса, ни даже сильным покровителям. При первом своем появлении в свет он был встречен холодно. Некоторые подозревали в нем дарованьице, но жалели, что оно тратится на обработку такого языка, на котором некому читать; другие же отзывались о нем с хладнокровием, граничившим с пренебрежением. Более десяти лет потом имя Шевченко не упоминалось в печати; его сочинений не было в продаже, а между тем его читали, учили наизусть, и теперь, когда наконец часть знакомых в печати стихотворений южнорусского поэта появляется снова в публике, конечно, его прочтут с восторгом и сочувствием даже и тогда, когда бы мы самым осязательным образом, по всем правилам эстетики доказали, что в нем недостает и того и другого, что он вовсе не заслуживает такого внимания.

Каким же духовным потребностям удовлетворяют произведения Шевченко? Независимо от всех эстетических достоинств его стихотворений, главное, что не только приковывает к нему читателя, но и ставит поэта выше уровня обычных писателей, это то, что явление Шевченко победоносно поражает старый предрассудок об удобо- и неудобописательстве на том или другом языке, в той или другой форме выражения, уничтожает предпочтение, оказываемое господствующим народностям, и унижение так называемых провинциальных и удерживает за последними право человеческого саморазвития в той форме, в какой указывает им внутреннее влечение, а не созданная наперед насильственно теория. Речь малороссийская, до того времени или служившая предметом насмешки и доставлявшая интерес для пародий Котляревского и Артемовского-Гулака, или впадавшая в чопорную книжность под пером других писателей, хотевших даровать ей литературное значение наравне с речью языков, получивших историческое и литературное развитие, у Шевченко приняла такое течение, которое, естественно, не отступает от усвоенного народом способа, но вместе с тем не чуждо современных идей образованного человека. Старинная пословица: я человек, и ничто человеческое не чуждо мне — вполне сбывается при чтении Шевченко. Он не принадлежит к тем поэтам, которые только усваивают себе существующий образ выражения, у него — не

подмеченное у народа, но и не выдуманное самим лично; у него то, чего, может быть, народ еще и не говорил, но что он способен сказать. Если вы начнете читать Шевченковы произведения малороссийским поселянам порознь каждому, очень может случиться, что один, другой, третий не поймут его сразу, но можно поручиться, что коль скоро поймут, то будут ему сочувствовать, и станет им поэзия Шевченко так мила, так свойственна, как будто бы не поэт, а они сами первые сказали то, что слышали и переняли от поэта. Между народными песнями и поэзиею Шевченко самое близкое сходство. Но Шевченко не подражает им; он продолжает их. Он явился чрезвычайно кстати, в пору в отношении того оборота, какой приняла народная муза. Старые песни, столь прекрасные, столь богатые чувством и выражением, стали забываться. Поэзия козачества и поэзия XVI и XVII века замирает, как замерла и исчезла в свое время более старая поэзия. Напрасно старались бы воскресить умирающего; совершившее свой жизненный круг не восстанет, но не умирают ее основы и облекаются в новые формы, более сообразные с текущею жизнью. Так в обычном ходе общественной жизни человечества угасающие поколения оставляют грядущим, молодым свои предания и свои свойства с отличными, если даже и со сходными условиями. Если бы сын и был похож на отца, то не мог быть совершенно тем же, чем был его отец, ни физически, ни нравственно. Поэзия Шевченко есть родная и законная дочь народной малорусской поэзии — поэзии песен, но сохраняет свою отдельность от последней и самобытность.

Старая песня, питавшая народный вкус, теперь уже теряет свою прелесть: все условия народной жизни таковы, что чувство народное нуждается в поэтическом выражении иного рода. В южнорусских деревнях редко можно услышать козацкую песню; заветная эпоха козацкой жизни удаляется для народа в глубину давно минувшего, в его воображении козак уже неясная тень, а не телесный образ. Но не угас этот мир поэзии, не оставив по себе наследства, — Шевченко доказывает это ясно. Его поэзия сменяет народные песни. Она побуждает признать, что выработанное народною думою не исчезнет, но должно облечься в иные образы и повести к другим явлениям в умственной и деятельной жизни народа. То, что услаждало безграмотных поселян, теперь

должно соделаться наслаждением образованного вкуса; то, что существовало в отрывках, должно облечься в стройные, художественные создания. То, что, по-видимому, бесплодно замирало, как остаток бесследной старины, выжившей из сил и вместе из ума, должно стать нравственною силою, побуждающею народ к дальнейшему саморазвитию.

Малороссийская стихия прозябала в тиши сельского быта, незаметно для взора, привыкшего обращаться только к тому, что блестит и само в глаза. Между тем она жила и работала недаром до сих пор. Она произвела уже много великих писателей — Квитку, Гоголя, Шевченко.

Чего не было писано о Гоголе? Но, сколько помнится, меньше всего обращено было внимания на то влияние, какое оказала на его талант родная ему южнорусская стихия. Это влияние видно не в тех сочинениях, которые заимствованы из украинского быта, сочинениях, которые слабее других. Если где Гоголь является вполне малороссиянином, то в тех произведениях, которые относятся к быту великорусского общества. Его народность напечатлевается на оригинальном обороте взгляда, проникающего его литературные творения. Слушая малороссийскую присказку от смышленого остряка малороссиянина, сохранившего старую манеру запорожца прежних времен, невольно поражаешься сходством такой манеры с тем тоном, который господствует в «Мертвых душах», «Ревизоре», «Шинели», «Невском проспекте». Этот комизм, из-под которого автор не изъемлет и себя наравне с другими, комизм, способный рассмешить задумчивую натуру и заставить задуматься и загрустить веселую. Смех над горем и печаль над весельем — это черты малорусского взгляда на жизнь. По поводу этого я считаю не лишним припомнить одну народную песню, слышанную мною очень давно; с первого взгляда эта песня легко может остаться незамеченною, и прежние составители могли, руководствуясь господствующим взглядом на свое занятие, отбросить ее, как неважную и пустую болтовню, несмотря на то, что она говорит мысли более сотни других, более ее щеголеватых. Нищий разговаривает со своею женою. Последняя плачевным голосом, похожим на причитанье над умершим, спрашивает его, когда он умрет. Муж веселым голосом отвечает ей: «У середу, бабусень-

ко, у середу». Жена прежним плаксивым тоном спрашивает его, в чем его хоронить, чтоб сказать о своей бедности, не позволяющей ей сделать приличного погребения. Муж отвечает опять плясовым голосом: «У ряднині, бабусенько, у ряднині».— «Чем тебя поминать?»— опять плачевно спрашивает женщина. «Хавтурками, бабусенько, хавтурками»,— опять веселым голосом отвечает ей муж. Жена спрашивает с тою же горестью, где ей жить без него. Муж отвечает: «Під вікнами, бабусенько, скачучи...» Эта песня часто мне приходила на память, когда я читал «Шинель». Акакий Акакиевич смешон в самую критическую минуту, как его превосходительство жалок не менее Акакия Акакиевича в самую сияющую величием минуту его жизни, когда он распекает несчастного чиновника в угодность своему тщеславию, желающему выказаться перед приезжим из провинции гостем. Как не жалеть, что есть такие люди! Но, всматриваясь в среду, среди которой живут эти лица, становится еще грустнее: нет ни одного лица, на котором можно было бы успокоиться, и станет свет мелок и смешон, и жить в нем не хочется. Ставили некогда Гоголю в вину, что он вводит нас в такую сферу бессмыслия, не представляя ничего противоположного, освежающего. Послушался, видно, таких толков Гоголь— и не удалось ему. Вторая часть «Мертвых душ» показала, что Гоголь со своими отрицательными натурами обходился удачнее, чем с положительными. Мудрено ли, что Гоголь, сознавая всю суету действительности, не умея ни в себе, ни в окружающем его сознать и почувствовать то, что удовлетворяло бы его своею положительностью, дошел до убеждения в совершенной тщете земного бытия и обратился к упованию будущей жизни? Так в старину запорожец, посмеявшись в жизни своей над чужим и своим горем, сознавал скоропреходимость и неудовлетворительность земных благ и, отпраздновав в Киеве посреди подольского рынка прощание с миром, запирался в Межигорском монастыре. Совсем иное представляет Шевченко. Если Гоголь напоминает собою запорожца, то Шевченко является олицетворенною душою малороссийского селянина. Он не увлекается прошедшим: оно его занимает только по отношению к настоящему и грядущему. Если Гоголь употребил малороссийскую натуру для того, чтоб показать русскому обществу безотрадную его пустоту, от которой приходится бежать в монастырь, то

Шевченко, вводя нас в свежий, неиспорченный мир простого народа, содержащего в себе начатки нравственно благородные и ожидающего лучших условий, чтоб проявить себя, Шевченко тем самым является после Гоголя поэтом-утешителем. Самое его горе отрадно, потому-то напоминает о существовании того, что заслуживает само по себе лучшей участи. И внутреннее содержание его произведений и внешняя форма говорят одну и ту же мысль. Под пером его язык, исключительно простонародный, принимает новое развитие и показывает нам в народе элемент саморазвития. Проникаясь поэзиею Шевченко, возникает и утверждается мысль и надежда возрождения массы, прежде осужденной на лишения под гнетом предрассудков, от которых мы еще вообще слишком несвободны, хотя и думаем, что освободились,— возрождения массы не только малороссийской, но вообще всякой... Вот отчего и великорусс, и поляк, и немец, и француз, если только у него есть поэтическое чутье и теплое, любящее сердце, не останется без влияния от поэзии Шевченко.

Примітки

ПОВІСТІ ТА ОПОВІДАННЯ

Сын

Рассказ из времени XVII в.

Про творчу історію повісті досить докладно розповідається в автобіографії М. Костомарова. Згадуючи в ній про своє повернення 1857 р. до Саратова із закордонної подорожі, письменник пише: «В городе Саранске я встретил на станции случайно проезжавшего жителя того края, который рассказал мне событие, случившееся в Саранском уезде во время Пугачева. Один барин заколотил свою жену для того, чтобы иметь возможность жениться на своей любовнице. В то время, когда жена лежала мертвая на столе, прибыл к отцу в гости сын, служивший где-то в полку, и, догадавшись, что мать его умерла насильственною смертию от руки отца, решился мстить отцу: ушел к разбойникам, сделался предводителем шайки и ночью напал на отцовский двор. Предуведомленный заранее отец успел убежать с новою женою, а сын в досаде сжег отцовскую усадьбу, но скоро был застигнут войском, взят в плен и казнен. Рассказчик объяснил мне, что двор, в котором все это происходило, находился за несколько верст от Саранска, и я, едучи туда, проминул это место. Рассказ этот внушил мне мысль изложить это событие в виде повести, но отнести его вместо XVIII века в XVII, к эпохе Стеньки Разина, для того чтоб иметь возможность изобразить быт и нравы XVII века, мне более знакомого по занятиям, чем XVIII» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 100).

Приїхавши 1858 р. до Петербурга, М. Костомаров поділився своїм задумом з археологом М. В. Калачовим. «Подстрекаемый Николаем Васильевичем (Калачовим.— *В. Б.*),— продовжує М. Костомаров,— я начал писать своего «Сына», обещавши поместить его в издаваемом Калачевым журнале...» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», стор. 107).

Вісім розділів повісті дійсно були вперше надруковані в журналі М. В. Калачова «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России», 1859, № 7—8; 1860, № 9—10. Дещо пізніше повість видано окремою книжкою: «Сын (Рассказ из времени XVII в.)», СПб., 1865.

Пояснюючи задум твору, М. Костомаров у післямові до цього видання писав: «Цель настоящего рассказа была представить в повествовательной форме черты нравов, понятий, обычаев и домашнего быта в XVII веке. Для этого избраны историческая эпоха и частное

событие такого рода, где бы удобно было связать поболее разных явлений старинной жизни».

За життя автора повість більше не видавалася. Друкується за текстом згаданого окремого видання.

Чуга — суконний або оксамитовий чоловічий одяг на зразок жупана.

Стамед — рід вовняної тканини.

«После Столбовского договора, когда Московское государство должно было купить спокойствие ценою Водской пятины и Карелы — древних волостей Великого Новгорода...» — Йдеться про мирний договір між Росією й Швецією, укладений 27 лютого 1617 р. у селі Столбово, біля Тихвина. За цим договором Швеція повертала Росії Новгород та інші захоплені нею міста, але утримувала за собою узбережжя Фінської затоки та Карельський перешийок.

«...не захотели служить свейскому государю...» — тобто шведському королеві Густаву-Адольфу (1594—1632).

Проторі — витрати, видатки.

Михайло Федорович (1596—1645) — російський цар, перший із династії Романових, обраний на престол Земським собором 21 лютого 1613 р. За його царювання роздавалися землі боярам і дворянам, посилилося гноблення селян.

Четь — старовинна міра землі, ділянка довжиною в 40 сажнів і шириною в 30 сажнів.

«...дали жеребьи его сверстникам...» — тут наділи землі, розподілені по жеребках.

Олексій Михайлович (1629—1676) — російський цар (з 1645 р.), син Михайла Федоровича (Романова). За його влади посилилося феодальне гноблення селянства. Провадилася активна зовнішня політика, найвидатнішим досягненням якої було возз'єднання України з Росією 1654 р.

«...отличился на Дрожиполе...» — Назву Дрожиполе одержала місцевість поблизу урочища Бави, де відбулася триденна битва загонів Богдана Хмельницького та В. Шереметєва з польсько-шляхетським військом.

«...когда Хмельницкий шел ко Львову...» — Похід війська Б. Хмельницького на Львів і облога міста відбулися у вересні—жовтні 1648 р. Похід викликав піднесення повстанського руху проти польської шляхти на західноукраїнських землях та в Білорусії.

«...поляки, пораженные со всех сторон, обманули царя Алексея обещанием возвести его на престол и устроили Виленский мир...» — 1651 р. у Вільно між Росією й Польщею укладено перемир'я. Основні питання переговорів — про кордони та про обрання царя Олексія Михайловича польським королем — лишилися нерозв'язаними. 1660 р. шляхетська Польща порушила Віленське перемир'я і відновила воєнні дії проти Росії.

«...при штурме Риги...» — Штурм Риги російськими військами відбувся 1656 р., на початку російсько-шведської війни 1656—1658 років.

«...Шереметов розбит под Чудновым и отдан татарам...»—Василь Борисович Шереметєв (1622—1682) — російський полководець. Йдеться про поразку очолюваного ним війська під час воєнних дій проти

польсько-татарських збройних сил 1660 р. під Любарою. Відступивши до Чуднова, В. Шереметєв підписав з поляками договір про вільний прохід свого війська. Проте, порушивши договір, поляки дозволили татарським загонам напасти на російське військо. Шереметєва було видано татарам, і він перебував у полоні двадцять років.

«Украина отпала от царского скипетра».— Йдеться про підписаний гетьманом Юрієм Хмельницьким під тиском козацької верхівки (після невдач російського та українського війська під Любарою, Чудновом і Слободищем) так званий Слободищенський трактат 1660 р., за яким Україна повністю втрачала політичну незалежність і перетворювалася на звичайну провінцію Польщі. Слободищенський трактат викликав обурення широких мас України і переважної більшості козацької старшини. Спроби польсько-шляхетських військ, загонів Ю. Хмельницького й татарських найманців захопити Київ та Лівобережну Україну було відбито. Зазнавши повної поразки, Ю. Хмельницький змушений був на початку 1663 р. зректися гетьманства.

«...Хвалынское море...» — давня назва Каспійського моря.

«Проявился у них какой-то батюшка Степан Тимофеевич...» — Йдеться про Степана Разіна, видатного керівника селянської війни 1670—1671 років, що охопила Дон, Поволжя та Підмосков'я.

Никон (1605—1681) — московський патріарх. Запроваджені ним у 1653—1656 роках церковні реформи викликали невдоволення частини духовенства та населення й стали однією з причин виникнення розколу.

«...царевич Алексей Алексеевич» — син царя Олексія Михайловича, помер у шістнадцятирічному віці (1670). Фактом його передчасної й несподіваної смерті скористався Степан Разін, поширюючи чутки, що царевич не помер, а втік до козаків, рятуючись від жорстокого батька та бояр.

«...против уложения...» — «Уложение» («Соборное уложение») — збірник законів Російської держави, затверджений Земським собором 1648—1649 років.

Губний староста — в XVI—XVII ст. ст. виборна особа (виключно з дворян та «дітей боярських»), представник земської влади. Губна грамота царя Івана Грозного надала місцевим громадам право самим переслідувати й карати розбійників та злодіїв. Поступово в руках губних старост зосередилися й усі інші кримінальні справи.

Долгоруков Юрій Олексійович (пом. 1682 р.) — князь, відомий московський боярин і воєвода, близький до царя Олексія Михайловича. Під час повстання Степана Разіна цар призначив його командувати царськими військами, що діяли в районі Арзамаса та Нижнього Новгорода.

Холоп

Эпизод из историческо-бытовой русской жизни первой половины XVIII столетия

Повість опубліковано 1878 року в газеті «Новое время» (№№ 662—734); уривки з неї були вміщені в «Газете Гатцука» (1883, №№ 50, 51). Окремим виданням вийшла в Петербурзі 1885 року під

заголовком «Холуй. Эпизод из историческо-бытовой русской жизни первой половины XVIII столетия». На звороті титулу зазначено: «Содержание этого рассказа взято из копии следственного дела, производившегося в Преображенском приказе, хранящейся в Московской публичной библиотеке».

Друкується за текстом видання 1885 року із збереженням заголовка першодруку.

Сорок лет

Народная малороссийская легенда

Вперше опубліковано окремою книжкою 1881 р.: Н. Костомаров, Сорок лет (Малороссийская легенда), М., издание редакции «Газеты А. Гатцука». Друкується за цим текстом.

Твір привернув увагу Л. Толстого. На основі костомаровського тексту, скоротивши виклад і додавши інше закінчення (розділ 14), він дав свою власну обробку народної легенди. Редакцію оповідання, створену Л. Толстим, опубліковано 1902 р. у лютневій книжці журналу «Образование».

У першодруку М. Костомаров зазначив, що оповідання написано 1840 р. українською мовою й перекладено на російську 1876 р Український текст оповідання був у О. О. Корсуна. Частина цього рукопису — перший розділ оповідання (чистова копія невідомою рукою) — зберігається у Відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (шифр: І, 1895). На копії рукою дружини М. Костомарова позначено олівцем: «Сорок лет». Начало малорус[ской] легенды, написано в молодых летах. Находилась у Александра Александровича Корсуна». Текст цього рукопису, значно відмінний від пізнішої російської редакції твору, подається нижче.

Сорок літ

Українська мирянська казка

I

Ой як тяжко убогому
Багату любити.

Пісня

Були собі парубок та дівка. Парубка звали Степанком, дівку Ганною. Ганна була дочка заможного мужика, Степанко був бідний сирота. Степанко жив у небагатого дядька і працював йому мість наймита, Ганна господарювала за матір'ю хатами й коморами. Ганна була дівка гарна, гожа станом, як тополя, вродою ладна, як рожа, брови у неї чорні, очі такі, що хоч скільки не цілуй, так же ще хочеться. І Степанко був хлопець не простий: бравий, чорноусий, білолиций, розумний, звичайний, голінний. Жили вони у одній слободі, а бачились дітьми рідко. Та от уже вони й не діти: не тим не діти, що Степанкові од роду двадцять літ, а Ганні шістнадцять, а тим, що раз, ідучи до церкви на літнього Миколу, Ганна подивилась на Степанка і почервоніла, а Степанко подивився на Ганну і увесь поблід. І з тій пори Степанкові часто на думку приходила Ганна, а Ганні — Степанко. Потім, ідучи з церкви на вшестя, Степанко моргнув на Ганну, а Ганна осміхнулась на Степанка. І з тій пори Степан-

кові так і лізла в вічі Ганна, а Ганні — Степанко. Напослідок раз Ганна гралась в танку з дівчатами, туда вбравсь і Степанко з хлопцями. Якось у гурбі, мов ненароком, Степанко поцілував Ганну, а Ганна ускубнула Степанка. І з тій пори Степанко полюбив Ганну, а Ганна Степанка.

Днів через три після того вийшли на улицю дівчата. Ганна преж ніколи не ходила, бо батько не пускав, хоч дівчата і прохали її, говорили: «Ганно, голубочко, сестричко, вийди до нас на улицю». А лучилось, бач, так, що Ганнин батько кудись поїхав (а він купцював), так мати й пустила її, говорячи: «Іди, Ганночко, донечко, погуляй собі легесенько». От Ганна й пішла. Там діялось звісно, що діється на улиці. Там був і Степанко. О саму північ, не знаю, якось так лучилось, що мість слободи, де збиралась улиця, Ганна з Степанком опинились за річкою, біля кузні, де Ганна, взявши рукою за плече Степанка, співала:

Ой місяцю-місяченьку, зайди за коморю,
Хай я з своїм милесеньким трошки поговорю!

А Степанко, положивши Ганні на колінки руку, цілував її в гарячі щоки, і його поцілунки були наче музика до Ганниної пісні. Там Степанко сказав, що довіку до суду не буде нікого любити, пріч Ганни, а Ганна сказала, що ні за кого не піде, пріч Степанка. Тут же сказала вона, щоб він прийшов до неї ввечері до саду, а вона тим часом поговорить з матір'ю, як Степанкові сватать її йти.

Андрій (так звали Ганниного батька) був чоловік, яких багато споткається по багатих селах. Нажив собі копійчину спершу тим, що од батька ще осталось йому удовіль, потім тим, що, торгуючи то хлібом, то сіллю, то скотиною, умів коли що придбати, коли спустити з рук, а більш усього розбагатів він тоді, як один рік був неурожай, а у його хліба було довіль, та ще прикупив та й продавав по дорогій ціні. Ходив він у синьому жупані, плисових штанях, шкапових чоботях. Страх не любив тих, що ходять у білих свитах. Не знавсь з мужиками, а все з купцями, та попами, та панками. Часто служив молебні божій матері, курив по неділях рясним ладаном, Мав срібні ложки, тарілки, самовар, чотирнадцять образів, дзеркало і поміст у хатах і кімнатах і часто, сидячи край віконця з яким-небудь письмоводителем і п'ючи чай, шкилював з людей, що ходили по вулиці, і поприкладував усім свої мена в слободі. Був він письменний і хвастався, що дуже зна службу святу, говорячи, що один раз диякон питав його десь у кумпанії: «Чи говорить коли на службі диякон «Во віки віков»?» Так усі сказали, що ні. «А я,— каже,— зараз і сказав: «Тоді говорить, як проспівають «Господи, спаси благочестивые и услыши ны». З жінкою і дочкою обходився як пан, хоч і давав волю по хазяйству, а при йому рота роззявить не сміли і сісти без його приказу; і ласкавого слова ніколи їм не скаже. Такий був Андрій.

Ганна знала натуру свого батька і не стала говорить об Степанкові, та й нічого було, бо він їй і речі докінчати не дав би. А сказала вона своїй матері, жінці простій, котра не дуже любила старого. Мати пішла раятися до ворожки. Ворожка веліла прийти самій Ганні і сказала їй так:

— Батько твій оддасть тебе за Степана, тільки треба, щоб Степанко явився до його у жупані, наче багатій.

— Як же можна,— питала Ганна,— де йому взяти жупана? Та хоч би де і взяв, батько зна, що він бідний.

— Хай скаже, що скарб знайшов, батько йому й повірить. Ну, та мені все рівно, я тільки що знаю, то й кажу. То як самі знаєте.

Говорила довго об сім Ганна матері, думала довго й сама і рішила сказати Степанкові. Наступила ніч. Степанко прийшов на те місце, куди йому веліла Ганна. Прийшла і коханка, обняла його, уздихнула і сказала:

— Ох, Степанку мій любий! Полюбила я тебе, а тепер і сама не рада.

— Як, моє серденько?

— Не знаю, що й діяти на світі! Батько у мене чоловік багатий та суровий: не тільки не захоче мене оддать за тебе — і пікнуть не дасть. Мене ж ще приб'е, а ти і в двір не ходи — ломакою прожене!

Степанко випустив із рук Ганнині руки, взявся за голову і сів на землі, а вона стала біля його.

— Ні, Ганно, а вже он що я бачу: ти з мене посміялась тільки. Бодай же тебе сей та той, а я тебе і люблю, і любитиму. Прощай! Піду світ за очима!

— Стривай, голубчику, не сердись, мій миленький, мій любий, не гнівися дурно на мене! Не утікай! Я над тобою ніколи й не думала сміятись. Се ти, мабуть, надо мною сміявсь, коли так кажеш!

І попрікали вони друг дружку. Напослідок Ганна сіла біля його і розказала, що казала ворожка.

— Де вже,— каже Степанко,— об тім і говорить, чого не можна зробити!.. Ні, Ганно, мабуть, не бути мені твоїм, а тобі моєю! Прийдеться розлучитись, як дві хмари, що на часинку зійдуться докупи, а вітер повіє і розжене їх. Пропали тепер літа мої зо світу! Ох, праведно кажеться, що трудно убогому багату любити!

— Серденько моє,— одказує йому Ганна,— що хочеш, роби, хоч украдь де-небудь, тільки зроби так, як ворожка сказала... З добрими людьми пора́йся, як знаєш, так і роби, тільки, крий боже... я сама собі смерті заподію, коли ти мене не озьмеш!

І зглянула вона на його наче страшно. Потім і каже:

— Мені й тобі не жити, коли не так!

І пішла з городу. Степанко ж довго сидів, не тямлячи себе, потім, як уже світати починало, встав, надів шапку і пішов.

Куди ж він пішов? Туди, де добрії люде від туги лічаться,— в шинок. Степанко не пив преж горілки, а хоч і пив, так мало, а тепер хтозна-що на його найшло. «Піду,— каже,— нап'юся п'яний та й спатиму абощо: хоч трохи сеє лихо позабуду!» От і пішов і прийшов. Сидять в шинку три чоловіка: один — Семен Швець, другий — Мосій Коваль, третій... Йменя християнського він не сто́їть, та ніхто у селі й не знав, як його піп хрестив, бо він був захожий, а звали його Придибалка. Перед їми вертілась якась молодиця. Придибалка був ватажок усіх ворів, злодіїв, розбійників і п'яниць на селі. Ума у його було до сукиного сина, а того, що зветься совістю,— ні на копійку. Добрі люде плювали, як зустрінуть його. І справді, що то була за мерзенна твар така!.. В церкву не ходить, в піст їсть м'ясо, зводить жінок та дівчат — не для себе, а для кумпанії, науча людей на всяке злее, і таку натуру мав, що хоч кого, так улестить та умовить, і вже хіба що його не послуха. Сам завсегда у стороні: підведе на худе кого-небудь, і той після постражда, а він собі регочеться. Скільки через його поробились старцями! Скільки жінок

і матерей по його підмовам покидали мужиків і дітвору і пішли на розрішеніе! Скільки хлопців, що були б хорошими людьми, зробились через його ледачими і опісля вже каялись, а його проклинали!.. І на вид гидкий був: пика йому червона з пістряками, ніс широкий, цвіту такого, як недоспіла слива, очі сірі і бігають, як два огонька на оболоні, сам рижий, сутуловатий, колінки наче підломлені,— такий був поганий, що і сказати не можна. Він не з села був родом, а відкілясь захожий, поселивсь тута років з п'ять, сам-один, без жінки, край слободи. До його в слободі жили чесно, примірно, приязно; як же він поселився — наче бог прокляв ту землю: кожен день люде лаються та деруться, дружка дружку обманюють, крадуть, в сім'ях нема ніде порядку, сини скубуться з батьками, матері з дочками та невістками, дівчата продають себе проїжджаючим... Уже й суд приїздив мертві тіла слідкувати, що нахóдили коло слободи, і об піджогах. До того ще й бог послав усякі лиха на людей: то неврожай, то болесті, так що преж слобода була хоч куди, а тепера звелась нінавіщо. А все з тої пори, як Придибалка в ній поселився.

Семен Швець був собі чоловік на одно око сліпий, лисий, товстовидий, з довгими усами; жінку свою звів зо світу отрутою — і жінка дуже добра була! Сам пив, волочився, кожен день у шинку гуляє, а ніччю кудись одлучається з слободи.

Мосій Коваль тридцять літ от роду, носив синій камзол з мідними гудзиками, тяжинні штани і проділене по-московськи волосся. Говорив, усе стараючись накидати по-московськи. Грав на скрипці пісню «Чем я тебя огорчила» і дуже бришкав тим, що знав хороше музику. У його була жінка молода, тільки його не любила, а пустилась *во вся тяжкая;* за те і він не дуже її кохав і сам розрішав. Нажив він собі копійчину, тільки не ковалюванням, а тим, що усе крутивсь коло постоялого (він же й шинок) і виглядував багатих панів, щоб підсусідитись до коляски, коли візниця поведе коней напувати, а лакей засне під повіткою, та що-небудь стягнути, та молодих купценків, щоб піддружитись до їх та почастувати чим-небудь таким, від чого б гроші йому перепадали. Із Семеном Швецем жив він гарно. Про молодицю і говорить нічого.

Тоді, як Степанко увійшов у шинок, Мосій грав на скрипці, прибиваючи ногою, молодиця плясала, співаючи пісню «Пішла мати до Киева», Семен підтягував, а Придибалка тягнув горілку. У таку кумпанію вбрався наш Степанко. Мовчки, ні на віщо не дивлячись, нічого не слухаючи, сів він в конець стола, налив собі чарку, покуштував, повісив голову і підперся об стіл локтями.

— Гей, здоров был, пан Степан,— гукнув на його Коваль,— ай ты хворый, што ля? Насилу ты прийшов к нам! А мы вот как хотели тебя побачить! Ну што ж! Гуляти да пісеньку співати!

Семен Швець погледів на його, хотів був щось сказати й замовк. Придибалка подивився на його кошачими очима. Степанко встав і давай усміхатись і вигадувать дещо... От хіба натура чоловіча, панове! У журбі хочеться здаватись веселим, а у радості насуплюєш брови. Степанко, для котрого цілий світ здавався з лушпин оріху, сміявся з Ковалем і Швецем (хоч Швець і неохочий був сміятись, а тільки за кумпанію), і ні Швець, ні Коваль не взяли догадки об його журбі. Один Придибалка взяв його стиха за руку і сказав:

— Жалко мені тебе, братику, ну, та ти ще не зусім пропав!

— Як не пропав,— закричав, як дубом пришиблений, Степанко,— брешеш, вражий сину.

Тоді і Швець, і Коваль обернулись до його з попитками.

— А нащо вам? — казав їм Степанко.— Ви мені не пособите!

— Душею поділимося,— кричав Коваль,— для такого приятеля останню сорочку здійму!

— Ану тебе! — сказав йому Придибалка.— Ідіть собі з Гапкою, а то вже пізно. Гапко, веди лиш своїх бахурів відсіль, а ми побалакаємо.

І Гапка, взявши Швеця одною рукою, другою взяла Коваля, і всі почали плясати й співати московської пісні:

А барыня пошла спаты,
За барыней два солдаты.

І поперлись із шинка. Оставсь один Степанко з Придибалкою. Придибалка почав його розпитувати, Степанко йому розказав усе горе. Придибалка взяв його за руку і каже:

— Не бійсь, усе буде по-нашому. Найдемо скарб справжній і жупанів готових, і ти озьмеш за себе свою коханку.

— Батько рідний! — сказав Степанко.

— Синку любий! — сказав Придибалка, і обнялись вони собі. Потім Придибалка каже:

— Ходім же тепер додому, та там я тобі скажу, як зробити.

І пішли вони до Придибалки.

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ

Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке

Огляд написано для харківського альманаху «Молодик», видавцем якого був І. Бецький. Українські матеріали альманаху готувалися за допомогою Г. Квітки-Основ'яненка та М. Костомарова. Зокрема, М. Костомаров брав активну участь у підготовці другого і третього випусків. У автобіографії він зазначав, що 1842 р. «готовил кое-что для Бецкого в предполагаемый сборник» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 39). Огляд опубліковано під псевдонімом Іеремія Галка в третьому випуску «Молодика», виданому на початку 1843 р. Дата в першодруку — «Харьков, 1842 г.». Це один із перших оглядів української літератури нового періоду — від появи «Енеїди» І. Котляревського до творів початку сорокових років XIX ст. Друкується за першодруком.

«*...Ломоносов учился по грамматике Мелетия Смотрицкого и выучил наизусть «Псалтырь», переложенный в стихи, Семеона Полоцкого*».— Згадувані тут «Грамматика словенская» М. Смотрицького (1578—1633) та складений силабічним віршем «Псалтир» С. Полоцького (1629—1680) поряд з «Арифметикою» Л. Магницького (1669—1739) належать до числа перших книжок, по яких навчався М. Ломоносов перед вступом до Слов'яно-греко-латинської академії (1731).

«*Многие из современных рецензентов называют это стремление писать по-малороссийски непонятною прихотью...*» — Становлення нової української літератури відбувалося в умовах досить гострої дискусії про можливості й межі літературного застосування української мови. М. Костомаров приєднав свій голос до голосу тих прогресивних кіл російської та української громадськості, що виступили на під-

тримку народних начал у кращих творах молодої української літератури, даючи відсіч твердженням реакційної критики (Ф. Булгарін, М. Греч, Й. Сенковський та ін.), нібито українська мова нездатна до літературного розвитку.

«...песен существует четыре собрания...» — Тут і далі йдеться про збірку М. Цертелева (Церетелі) «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (СПб., 1819), два перші видання збірки М. Максимовича — «Малороссийские песни» (М., 1827) і «Украинские народные песни» (М., 1834), видання І. Срезневського в трьох частинах (шести книжках) «Запорожская старина» (Х., 1833—1838) та збірку П. Лукашевича «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни» (СПб., 1836).

Про своє враження від першого знайомства із збірниками народних пісень під час навчання в Харківському університеті М. Костомаров писав згодом у автобіографії: «Первый раз в жизни добыл я малорусские песни издания Максимовича 1827 года, великорусские песни Сахарова и принялся читать их. Меня поразила и увлекла неподдельная прелесть малорусской народной поэзии; я никак и не подозревал, чтобы такое изящество, такая глубина и свежесть чувства были в произведениях народа, столь близкого ко мне и о котором я, как увидел, ничего не знал. Малорусские песни до того охватили все мое чувство и воображение, что в какой-нибудь месяц я уже знал наизусть сборник Максимовича, потом принялся за другой сборник его же, познакомился с историческими думами и еще более пристрастился к поэзии этого народа» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 28). Іншу, ніж на сторінках «Молодика», оцінку «Запорожской старины» дано в автобіографії: «Когда же я прочел «Запорожскую старину» Срезневского и наивно верил как подлинности помещенных там песнопений под именем народных, так и историческим объяснениям издателя этой книги, то книга эта ввела меня в заблуждения. Впрочем не меня одного она соблазнила: многие знатоки и любители народной поэзии верили в то, что в ней выдавалось за народное произведение и за историческую истину» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», стор. 28). Одначе думка про те, що поряд з народними переказами, історичними піснями й думами І. Срезневський вміщував у збірці й власні етилізації під фольклор, заперечується радянськими дослідниками.

«...собрания Вацлава из Олеска, Жеготы Паули и Лозинского «Свадьба русская»...» — Вацлав з Олеска — псевдонім польського фольклориста Вацлава Залеського (1798—1849). Жегота-Ігнаци Паулі (1814—1895) — польський етнограф та фольклорист. Михайло Іванович Лозинський (1807—1889) — український етнограф та мовознавець. Йдеться про збірку В. Залеського «Piesni poslkie i ruskie ludu galicyjskiego...» («Пісні польські і руські галицького люду...»), Львів, 1833; збірку Ж. Паулі «Piesni ludu ruskiego w Galicji» («Пісні руського люду в Галичині»), Львів, 1839; працю М. Лозинського «Руское весіле», Львів, 1835.

«Ждут их издания от Бодянского, Метлинского...»—Йосип Максимович Бодянський (1808—1877) — учений-славіст, професор Московського університету, з його передмовою та примітками опубліковано «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» Я. Головацького («Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при

Московском университете», 1863—1867, 1870—1872, 1876, 1877). Амвросій Лук'янович Метлинський (1814—1870) — поет-романтик, професор Харківського університету, видав збірку «Народные южнорусские песни», Х., 1854.

«...второе издание «Енеїди»...» — «Энеида на малороссийский язык перелицеванная И. Котляревским. Издание второе в СПб-ге, 1808». Друге видання поеми майже не відрізнялося від першого, здійсненого 1798 р. М. Парпурою без відома автора. У передмові 1809 р. до третього видання, яке було першим, здійсненим за участю автора, І. Котляревський висловив невдоволення з обох попередніх видань, обурюючись припущеними в них помилками та перекрученнями.

«...в числе их была «Энеида» Вергилия».— Вергілій Публій-Марон — римський поет І століття до н. е. (70—19). На сюжет його «Енеїди» в XVII—XIX ст. ст. написано цілий ряд пародійно-травестійних поем, найбільш відомі з яких — італійська «Перелицьована Енеїда» («Eneide travestita») Лаллі, французька «Перелицьований Вергілій» («Vergile travesti») Скаррона, німецька «Вергіліева Енеїда, або Пригоди благочестивого героя Енея» («Virgil's Aeneis, oder Abenteuer des frommen Helden Aeneas») Блюмауера, російська «Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку» М. Осипова (докінчена О. Котельницьким) та ін. Остання з них стала поштовхом, а до певної міри й зразком для створення «Енеїди» І. Котляревського, хоч у цілому своїм ідейно-художнім рівнем твір І. Котляревського стоїть набагато вище за поему М. Осипова — О. Котельницького й надовго її пережив.

«Стихотворения Артемовского-Гулака...» — Твори Петра Гулака-Артемовського (1790—1865) друкувалися за його життя в журналах «Украинский вестник» і «Вестник Европы». Окремою (неповною) збіркою їх видано лише 1877 р., після смерті поета. Згадувана далі в тексті поезія П. Гулака-Артемовського «Рибалка» (в першодруку— «Рибак (Из Гете)», вільний переклад балади Гете «Der Fischer») — один із перших зразків жанру балади в українській літературі.

В листі до видавця «Вестника Европы» М. Каченовського поет пояснював своє звернення до нової жанрової форми бажанням «попробовать, нельзя ли на малороссийском языке передать чувства нежные, благородные, возвышенные, не заставляя читателя или слушателя смеяться, как от «Енеїди» Котляревского и от других, с тою же целью написанных стихотворений» («Вестник Европы», 1827, № 20, стор. 287—288).

Високу оцінку творчості П. Гулака-Артемовського дано в автобіографії М. Костомарова: «Артемовский-Гулак... по правде считался лучшим знатоком малорусской народности, как это и доказывали его собственные малорусские сочинения. Он писал их еще в молодости, в конце 20-х годов, а потом совершенно оставил этот род занятий до глубокой старости, когда опять написал несколько малорусских стихотворений, но уже с меньшими признаками таланта. Одним из превосходнейших его малорусских произведений была басня «Пан та Собака», явно обличавшая темные стороны тогдашнего крепостного права. По поводу этого сочинения кто-то, желая посмеяться над ним, как бы в пародию того, что говорилось некогда о Хераскове по поводу его поэм, написал такое четверостишие:

Пускай в Зонле сердце ноет,
Но Гулаку оно вреда не нанесет,
Рябко его хвостом покроет
И в храм бессмертия введет.

Написанное в насмешку, мимо желания автора насмешки сделалось лучшею оценкою и похвалою поэтического таланта Гулака-Артемовского. Старавшись целый век играть какую-нибудь роль как профессор русской истории, как ректор университета и как попечитель двух женских институтов, он не достиг своей цели: он не приобрел ни знаменитости, ни памяти потомства на этом поприще, но остался бессмертен как народный малорусский поэт, никто не превзошел его в знании всех изгибов малорусской народности и в неподражаемом искусстве передавать их поэтическими образами и превосходным поэтическим языком. А между тем во всю свою жизнь он и не подозревал, в чем действительно мог быть он выше всех и приобрести знаменитость как литератор. Свои малорусские стихотворения писал он ради шутки и считал их не более как шуткою» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 41—42).

«Перевесть «Полтаву» Пушкина на малороссийский язык...» — Зроблений Євгеном Гребінкою (1812—1848) переклад другого та третього розділів «Полтави» О. Пушкіна опубліковано в альманасі «Утренняя звезда», кн. II, Х., 1833. Згадувані далі в тексті його *«Малороссийские приказки»* (байки) видано в Петербурзі 1834 р. (друге видання — 1836 р.).

«...честь создания малороссийской литературы принадлежит писателю, скрывавшему себя под вымышленным именем Основьяненко».— Грицько Основ'яненко — псевдонім Г. Ф. Квітки, повісті якого становили важливий етап у розвитку української літератури першої половини XIX ст. У час, коли М. Костомаров писав свій огляд, письменницька слава Г. Квітки-Основ'яненка стояла в зеніті, а Т. Шевченко виступив лише з першими творами (навіть поема «Гайдамаки» не була тоді ще відома критикові).

Геснер Соломон (1730—1787) — німецький поет, автор ідилій, художник. Російською мовою з його творів перекладено «Ламех и Цилла» (СПб., 1774), «Златой век Дафниса» (2-е вид., СПб., 1788), «Лаура» (М., 1794).

«Произведения Шевченко, изданные в отдельной книжке под чазванием «Кобзар»...» — У спогадах про М. Костомарова О. Корсун так розповідав про враження, справлене на них «Кобзарем» Т. Шевченка: «Раз идем мы с Николаем Ив[анови]чем (Костомаровим.— *В. Б.*) в собор на архиерейскую службу и заходим к Апарину в книжную лавку. Спрашиваем: нет ли чего новенького? Апарин подает тонкую книжечку — «Кобзарь». Мы присели на лавке, да и просидели не только обедню — и самый обед: всю книгу прочитали... Это было что-то совсем особенное, новое, оригинальное. «Кобзарь» поразил нас!» (А. Корсунов, Н. И. Костомаров, «Русский архив», 1890, № 11, стор. 207).

«...недостаток этот виден не в «Кобзарі», но в последующих его сочинениях...» — Як видно, це зауваження стосується поезій Т. Шевченка, вміщених у альманасі «Ластівка» (СПб., 1841). Опубліковані після «Кобзаря» і через те, очевидно, прийняті М. Костомаровим за пізніші, ці твори («Вітре буйний, вітре буйний...», «Причинна», «На

вічну пам'ять Котляревському», «Тече вода в синє море...»), крім уривка з поеми «Гайдамаки», були написані раніше і є раннімн віршами поета. Менш імовірно віднести зауваження критика до поеми «Гайдамаки», видрукуваної в грудні 1841 р., але дозволеної до випуску в світ лише 21 березня 1842 р. (див.: Центральний державний Історичний архів СРСР, ф. 777, оп. 27, спр. 274, арк. 14 звор.; ф. 772, оп. 1, спр. 1508, арк. 108 звор.). Можливо, статтю М. Костомарова написано раніше, ніж одержано в Харкові поему, і цим пояснюється відсутність в огляді згадки про неї.

«Чари» г. Тополи...» — Кирило Тополя — український драматург першої половини XIX ст., автор творів «Чары, или Несколько сцен из народных былей и рассказов украинских» (М., 1837) і «Чур-чепуха, или Несколько фактов из жизни украинского панства» (Казань, 1844).

«Полевой в «Б[иблиотеке] для ч[тения]»... — Рецензія М. Полевого (1796—1846) на «Чари...» К. Тополі вміщена в журналі «Библиотека для чтения», 1837, № 10, стор. 31—72 (без зазначення прізвища критика; незабаром її передруковано в кн.: Н. Полевой, Очерки русской литературы, ч. 2, СПб., 1839).

«...другие говорили, что в «Чарах» нет здравого смысла...» — Очевидно, мається на увазі негативна рецензія в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1837, № 52.

«Думки і пісні» Амвросия Могилы...» — Амвросій Могила—псевдонім А. Метлинського. Його збірка «Думки і пісні та ще дещо» видана 1839 р. у Харкові. Оцінка цієї збірки в автобіографії М. Костомарова значно стриманіша: «Прежде постоянно споривший со мною противу моих идей об украинской литературе, он (Метлинський.— *В. Б.*), наконец, поддался той же идее писать малорусские стихи и напечатал их под псевдонимом Амвросия Могилы, назвавши свой сборник «Думки і пісні та ще дещо». Стихи его казались хорошими, плавными, но творческого таланта за ним не признавали» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 38—39).

«...напечатаны были «Наські українські казки запорожця Іська Материнки»...» — Запорожець Іська Материнка — псевдонім Й. Бодянського. Його збірка «Наські українські казки» видана 1835 р. у Москві.

Боровиковський Левко Іванович (1806—1889) — один із перших представників романтичного напряму в українській поезії першої половини XIX ст., автор збірки «Байки й прибаютки» (К., 1852). Згадуваний М. Костомаровим його переклад «Фаріса» А. Міцкевича опубліковано в журналі «Вестник Европы», 1830, № 3.

Стецько Шереперя — псевдонім Степана Писаревського (пом. 1839), п'єса якого «Купала на Івана» видана 1840 р. у Харкові. Кілька його творів та записів пісень надруковано в альманахах «Сніп» (Х., 1841) та «Ластівка», пісня «За Немань іду...» — в кн.: Н. Закревский, Старосветский бандуриста, кн. I. Избранные малороссийские и галицкие песни и думы, М., 1860, стор. 28—29.

Петренко Михайло Миколайович (нар. 1817) — український поет-лірик. Про нього Костомаров згадує також в автобіографії: «Петренко, бедный студент, уроженец Изюмского уезда, молодой человек меланхолического характера, в своих стихах всегда почти обращав-

шийся к месту своей родины, к своим семейным отношениям» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 36). Вірші М. Петренка надруковано в альманахах «Сніп», «Молодик», згодом — в «Южном русском сборнике», Х., 1848.

Корсун Олександр Олексійович (1819—1891) — поет-романтик, видавець альманаху «Сніп», до участі в якому був залучений і М. Костомаров (див.: «Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 36—37).

«...Писаревский, сочинитель повести «Стецько», и Кореницкий...» — Доповненням до оцінки творів Петра Писаревського та Порфирія Кореницького (пом. 1854) можуть бути такі рядки в автобіографії М. Костомарова: «Кореницкий, сельский дьякон; в его стихотворной поэме «Вечерниці» заметна сильная склонность к сатире и влияние «Енеїди» Котляревского; самое его произведение написано тем же размером и складом, как «Енеїда»; наконец семинарист Писаревский, сын священника, уже писавшего по-малорусски и издавшего драму «Купала на Івана» (тобто С. Писаревського.— *В. Б.*); этот молодой человек владел хорошо языком, стих его был правилен и звучен, но большого творческого таланта он не показывал» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 37).

[«Народні оповідання» Марка Вовчка]

Рецензія викликана виходом у світ «Народних оповідань» Марка Вовчка (СПб., 1857). Опубліковано її в журналі «Современник», 1859, № 5, стор. 103—113, як відгук на російське видання оповідань Марка Вовчка в перекладі І. Тургенева. Рецензія має тут заголовок — «Украинские народные рассказы Марка Вовчка. Перевод И. С. Тургенева. СПб., 1859 г.», підпис — *К.*

Редакція «Современника» опублікувала рецензію з такою заміткою М. Добролюбова: «В начале прошлого года вышли «Народні оповідання» Марка Вовчка на малороссийском языке и имели необыкновенный успех в малороссийской публике. Успех этот, вполне заслуженный, во многих из не знающих по-малороссийски возбудил желание прочесть их в русском переводе. Несколько рассказов было переведено в наших журналах, но переводы эти не были удовлетворительны, потому что, как справедливо замечает И. С. Тургенев в предисловии к своему переводу, «носили на себе слишком ясный отпечаток малороссийской речи». Желая дать русской публике возможность сколько можно лучше и ближе познакомиться с прекрасными рассказами Марка Вовчка, их взялся перевести Тургенев. В предисловии он говорит, что задача его была — «соблюсти в переводе чистоту и правильность родного языка и в то же время сохранить по возможности ту особую, наивную прелесть и поэтическую грацию, которою исполнены «Народные рассказы». Насколько удалась ему его задача, в особенности ее вторая, труднейшая часть, он представляет судить благосклонному читателю. Конечно, решительное суждение об этом лучше всего могут дать малороссы, хорошо знающие по-русски. Но мы со своей стороны должны заметить, что если кто-нибудь из великороссов способен к совершенно удовлетворительному исполнению подобной задачи, так это именно Тургенев. В его собственном таланте столько поэтической грации и прелести,

его сочувствия так близки к народной жизни, что он мог приложить к этому делу свою душу, и это ручается нам, что русская публика получает теперь перевод «Украинских рассказов» Марка Вовчка, не уступающий оригиналу. Чтобы дать понятие о способе выражения, употребляемом в рассказах, и о характере перевода, мы решились привести ниже целый небольшой рассказ «Одарка» по переводу Тургенева, вставивши его в отзыв о «Народних оповіданнях», написанный одним из лучших знатоков малороссийского языка и письменности г-м К. еще при первом появлении их в малороссийском подлиннике. Вот что писал г. К.».

Про належність цієї замітки перу М. Добролюбова див.: В. Б о г р а д, Две заметки Добролюбова в «Современнике», «Литературное наследство», т. 67, 1952, стор. 264—266.

Друкується за текстом «Современника». Пропуск перекладу оповідання «Одарка» позначається крапками, взятими в квадратні дужки.

[Слово над гробом Шевченка]

Промова виголошена українською мовою на похороні Т. Шевченка 28 лютого (13 березня за новим стилем) 1861 р. й опублікована російською мовою в журналі «Основа», 1861, № 3, стор. 8, в статті Л. Жемчужникова «Воспоминание о Шевченке, его смерть и погребение». Друкується за цим текстом.

Про цю промову згадується в автобіографії М. Костомарова: «В день погребения (Шевченка.— *В. Б.)* явилось большое стечение публики. Над усопшим говорились речи по-русски, по-малорусски и по-польски. Я также произнес небольшое слово по-малорусски» («Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 123).

Воспоминание о двух малярах

Вперше опубліковано в журналі «Основа», 1861, № 4, стор. 44—56 (дата: «Апреля 14, 1861»). Друкується за цим текстом.

«Библиотека для чтения» — щомісячний журнал (1834—1865), що відверто орієнтувався на міщанські смаки. Особливого поширення набув у тридцяті роки, коли його видавав О. Смірдін і редагував Ф. Сенковський.

Гільдебрандт — прізвище папи Григорія VII (1073—1085).

«...то в «Иване Выжигине» Булгарина, то в повестях Марлинского».— Тадей Булгарін (1789—1859) — російський реакційний письменник і журналіст, його роман «Иван Выжигин» видано 1829 року. Марлинський — псевдонім Олександра Бестужева (1797—1837) — популярного белетриста, поета й літературного критика.

«...он сам описал все это в своей автобиографии».— Т. Шевченко написав автобіографію 1860 р. на прохання редактора журналу «Народное чтение», де її й опубліковано (1860, № 2, стор. 229—236) під заголовком «Письмо Т. Г. Шевченка к редактору «Народного чтения». Того ж року цей видатний публіцистичний твір великої громадсько-політичної ваги був передрукований у газеті «С.-Петербург-

ские ведомости» (№ 66), журналі «Современник» (№ 3, стор. 92—96), книжці «Кобзарь в переводе русских поэтов под ред. Н. В. Гербеля» (СПб., 1860).

«С Тарасом Григорьевичем я познакомился в Киеве в 1845 году».— Рік зазначено тут помилково. В усіх наступних спогадах М. Костомарова про Т. Шевченка час їхньої першої зустрічі й знайомства уточнено — весна 1846 р. (див.: «Литературное наследие Н. И. Костомарова», СПб., 1890, стор. 63; «Спогади про Шевченка», Держлітвидав України, К., 1958, стор. 157, 161—162, 174).

«...обстоятельства нас разлучили...» — У березні й квітні 1847 р. М. Костомарова й Т. Шевченка заарештовано й відправлено до III відділу, де велося слідство в справі Кирило-Мефодіївського братства. За вироком III відділу, конфірмованим Миколою I, М. Костомарова ув'язнено на рік у Петропавловській фортеці, а потім заслано в Саратовську губернію, Т. Шевченка віддано в солдати оренбурзьких лінійних батальйонів із «забороною писати й малювати».

«Читанные им в Петербурге в последние годы его стихотворения были слабее тех огненных произведений, которые некогда он читал мне в Киеве».— Це суто суб'єктивне й хибне твердження М. Костомарова. Твори Т. Шевченка періоду після заслання становлять новий щабель у розвитку революційної поезії великого Кобзаря в умовах та під впливом революційної ситуації в країні кінця п'ятдесятих — початку шістдесятих років XIX ст.

«Некоторые близорукие судьи изящного меряли его с Кольцовым и даже находили последнего выше».—Цей закид адресовано, очевидно, тим із авторів рецензій на «Кобзар» 1860 р. та «Кобзарь в переводе русских поэтов под ред. Н. В. Гербеля» (СПб., 1860), які, слушно відзначаючи споріднені риси поетики двох народних співців — О. Кольцова (1809—1842) і Т. Шевченка, не підносилися до розуміння того, що в зображенні самодержавно-поміщицького ладу, у висловленні визвольних прагнень народу поет-революціонер Т. Шевченко пішов значно далі за О. Кольцова. Погляд передової російської критики на поезію Т. Шевченка й О. Кольцова чудово висловив М. Добролюбов, який писав: «Он (Т. Шевченко.— *В. Б.*) — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов не идет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда отдаляется от народа. У Шевченко, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни» («Современник», 1860, № 3, стор. 100).

«...по произведениям Игорева певца» — тобто автора «Слова о полку Ігоревім».

Слово о Сковороде по поводу рецензии на его сочинения в «Русском слове».

Вперше надруковано в «Основі», 1861, № 7, стор. 176—179. Подається за цим текстом.

Стаття викликана рецензією В. Крестовського в журналі «Русское слово», 1861, № 7, на «Сочинения в стихах и прозе Григория Саввича Сковороды» (СПб., 1861). *Всеволод Крестовський* (1840—1895) — початкуючий у той час письменник; в 1864—1866 роках в

«Отечественных записках» надруковано його роман «Петербургские трущобы», позначений демократичними тенденціями. Згодом В. Крестовський виступив з реакційними романами «Пагутрово стадо» (1869) і «Две силы» (1874). На «Слово о Сковороде» М. Костомарова В. Крестовський відповів статтею «Ходатайство г. Костомарова по делам Сковороды и Срезневского» («Русское слово», 1861, № 8, стор. 79—87). Це викликало появу нової статті М. Костомарова: «Ответ на статью Всеволода Крестовского «Ходатайство Костомарова за Сковороду и Срезневского» («Основа», 1861, № 8, стор. 1—14).

«...произведениями Василия Кирилловича...» — Тредіаковського (1703—1769), професора елоквенції Академії наук і поета, важкий вірш та архаїчна лексика якого викликали насмішки сучасників.

Аскоченський Віктор Іпатійович (1820—1879) — реакційний журналіст, професор Київської духовної академії, видавець мракобісно-монархічного журналу «Домашняя беседа».

Данилевський Григорій Петрович (1829—1890) — російський письменник-романіст.

Споминки про Шевченка

Вперше надруковано в книзі: Т. Шевченко, Кобзар, з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина, Прага, 1876, стор. VI—XII. Спогади написано спеціально до цього видання. Подається за першодруком.

«...он выехал в Черниговскую область к своим знакомым».— Т. Шевченко виїхав з Києва на Чернігівщину 9 січня 1847 р., деякий час перебував на Борзенщині, 22 січня був на весіллі в П. Куліша, в лютому — березні жив у А. Лизогуба в Седневі.

«...рассказывал, как он был в Варшаве...» — Точних даних про це нема. Питання про перебування Т. Шевченка у Варшаві до кінця не з'ясовано й лишається відкритим.

«...считал в деле своего освобождения своими благодетелями Брюллова и поэта Жуковского...» — Т. Шевченка викуплено з кріпаччини на гроші, одержані за портрет В. Жуковського, написаний К. Брюлловим і розіграний у лотерею.

«...Шевченко заезжал ко мне в Саратове...» — Повертаючись із заслання пароплавом по Волзі, Т. Шевченко 31 серпня 1857 р. відвідав у Саратові матір М. Костомарова Тетяну Петрівну. Про це поет докладно розповів у своєму щоденнику. Див.: Тарас Шевченко, Твори в трьох томах, т. 3, К., Держлітвидав України, К., 1963, стор. 92.

«...из Петровского укрепления...» — точніше — із Новопетровського укріплення, де Т. Шевченко відбував заслання в 1850—1857 роках.

«...чуть было не женился на какой-то актрисе».— Йдеться про Катерину Борисівну Піунову (1841—1909), взаєминам з якою присвячено чимало записів у щоденнику Т. Шевченка.

«...вначале ему было хорошо; потом какой-то начальник, дослужившийся до офицерских чинов из рядовых, начал его стеснять...»— Мається на увазі те, що завдяки сприянню друзів та знайомих солдатська служба Т. Шевченка почалася в Орській фортеці в умовах дещо поблажливого ставлення з боку начальства, зокрема коменданта фортеці генерал-майора Ісаєва: поетові було дозволено жити не

в казармі, а на приватній квартирі, відвідувати знайомих, бувати на вечорах місцевої інтелігенції. Проте так тривало недовго. З кінця 1847 р. (після смерті Ісаєва) становище поета-засланця стало дуже тяжким: його перевели до солдатської казарми, посилено муштрували, новий комендант, яким став батальйонний командир Мешков (вислужився з рядових), поводився з поетом по-солдафонськи жорстоко й деспотично.

«Своим освобождением он считал себя обязанным ходатайству бывшего тогда вице-президентом Академии художеств графа Федора Петровича Толстого...» — Родина Толстих відіграла в житті Т. Шевченка велику роль: разом з іншими громадськими діячами домоглася перед царським урядом звільнення поета із заслання. 28 березня 1858 р. Т. Шевченко записав у щоденнику: «Сердечнее и радостнее не встречал меня никто и я никого, как встретились мы с моей святой заступницей (А. І. Толстою.— *В. Б.*) и с графом Федором Петровичем (Толстим.— *В. Б.*). Эта встреча была задушевнее всякой радостной встречи» (Т. Шевченко, Твори в трьох томах, т. 3, К., Держлітвидав України, 1963, стор. 176).

«...занимался граверным искусством еаи forte» — тобто гравіруванням у техніці офорта. За успіхи в цьому мистецтві Академія мистецтв надала Т. Шевченкові 2 вересня 1860 р. звання академіка.

«...собирается жениться на одной малороссиянке из простонародья...» — Йдеться про Ликеру Полусмак (1840—1917), кріпачку М. Макарова, яка наприкінці липня 1860 р. стала нареченою Т. Шевченка. Проте незабаром поет порвав стосунки з нею.

«...в статье, напечатанной в книге г. Гербеля» — тобто в антології «Поэзия славян» (СПб., 1871), де вміщено статтю М. Костомарова «Малорусская литература».

ДОДАТОК

Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860

Вперше надруковано в журналі «Отечественные записки», 1860, № 3, стор. 44—50; рецензію вміщено без підпису. Підставою вважати рецензію твором М. Костомарова є те, що в ній проводяться думки про поезію Т. Шевченка, характерні саме для М. Костомарова й неодноразово висловлювані ним у багатьох інших— попередніх і наступних — його виступах, присвячених українській літературі та творчості великого Кобзаря. Про це свідчать навіть збіги в окремих формулюваннях та суто костомаровська стилістична манера.

Дуже характерними для М. Костомарова є, наприклад, думка в рецензії про те, що в творах Т. Шевченка виявилося «то, чего, может быть, народ и не говорил, но что он способен сказать». Цю ж думку М. Костомаров повторив незабаром у статті «Воспоминание о двух малярах» («Шевченко говорит так, как народ еще не говорил, но как он готов был уже заговорить...»), а згодом у статті «Малорусская литература» («Шевченко в своих поэтических произведениях выводит на свет то, что лежало глубоко на дне души у народа, не смея под тягостью внешних условий показаться, то, что народ

только смутно чувствовал, но не умел еще облечь в ясное сознание. Поэзия Шевченко — поэзия целого народа, но не только та, которую сам народ уже пропел в своих безымянных творениях, называемых песнями и думами: это такая поэзия,' которую народ сам бы должен был запеть...» — зб. «Поэзия славян», СПб., 1871, стор. 160). Вперше цю тезу М. Костомаров висловив ще в «Обзоре сочинений, писанных на малороссийском языке» («...это целый народ, говорящий устами своего поэта...»), і відтоді вона червоною ниткою проходить через його статті про Т. Шевченка.

Типово костомаровськими є рядки рецензії: «Между народными песнями и поэзиею Шевченко самое близкое сходство. Но Шевченко не подражает им; он продолжает их» (пор. рядки в статті «Воспоминание о двух малярах»: «Шевченко не подражал народным песням... Поэзия Шевченко есть непосредственное продолжение народной поэзии»).

За словами М. Костомарова, «поэзия Шевченко — законная милая дочь старой украинской поэзии» («Воспоминание о двух малярах»). Цей же вислів знаходимо і в рецензії: «Поэзия Шевченко есть родная и законная дочь народной малорусской поэзии...»

Рецензія наскрізь пройнята подібними текстуально-змістовими аналогіями з літературно-критичними статтями М. Костомарова. Відзначимо, наприклад, рядки: «Шевченко принадлежит к первокласcным поэтам славянского мира. Его место рядом с Мицкевичем и Пушкиным». Цю ж думку висловлено М. Костомаровим у статті «Малорусская литература» («...Для Шевченко навсегда останется место в плеяде великих певцов славянского мира. В художественных приемах он уступает таким поэтам нашего племени, как Пушкин и Мицкевич... но по животворности его идей, по естественности и простоте Шевченко превосходит их» — «Поэзия славян», стор. 161), ще згодом — у передмові до повісті Т. Шевченка «Несчастный» («Шевченко... принадлежит к немногочисленной плеяде перворазрядных писателей славянского племени» — «Исторический вестник», 1881, № 1, стор. 1).

Отже, текст рецензії дає достатню підставу вважати автором її М. Костомарова. Оскільки ж авторство М. Костомарова визначено лише на підставі аналізу тексту (висновки з якого можуть вимагати й повної обережності), рецензія вміщується як додаток.

Друкується за першодруком.

«...издание песен, как, например, Сахарова...» — Йдеться про збірку в п'яти частинах «Песни русского народа», видану в 1838—1839 роках російським фольклористом І. П. Сахаровим (1807—1863), який дозволяв собі вносити до тексту народних пісень довільні зміни та контамінації.

«...Шевченко тем самым является... поэтом-утешителем».— Слова «поэт-утешитель» вжито тут у тому значенні, що поезія Т. Шевченка сприймалася в опозиційно настроєних суспільних колах як свідчення зрослої сили активного народного протесту проти кріпацького ладу й вселяла надії на його знищення.

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

Стор.

Портрет М. Костомарова. *Фото. 60-і роки XIX ст.* 64—65

Сторінка автографа статті М. Костомарова «Слово о Сковороде». 64—65

Будинок у Саратові, в якому жив М. Костомаров на засланні. 128—129

Сторінка автографа листа М. Костомарова до М. Чернишевського. 128—129

Кабінет М. Костомарова. 224—225

Сторінка рукопису М. Костомарова «Общественная и домашняя жизнь в произведениях народного южнорусского песенного творчества в период по упадке козачества». 224—225

Портрет М. Костомарова. *Фото. 70-і роки XIX ст.* 288—289

Сторінка з брошури М. Драгоманова з відкресленнями Карла Маркса про М. Костомарова. 288—289

Портрет М. Костомарова. *Фото. 80-і роки XIX ст.* 352—353

Могила М. Костомарова на Волковому кладовищі в Петербурзі. *Фото. 90-і роки XIX ст.* 352—353

ЗМІСТ

ПОВІСТІ ТА ОПОВІДАННЯ

Сын. *Рассказ из времени XVII века* . . . 7
Холоп. *Эпизод из историческо-бытовой русской жизни первой половины XVIII столетия* 127
Сорок лет. *Народная малороссийская легенда* 310

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ

Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке 375
[«Народні оповідання» Марка Вовчка] . 394
[Слово над гробом Т. Г. Шевченка] . . . 398
Воспоминание о двух малярах 399
Слово о Сковороде по поводу рецензии на его сочинения в «Русском слове» . . 412
Спомники про Шевченка 416

ДОДАТОК

Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860 421

Примітки 429
Список ілюстрацій 449

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОСТОМАРОВ

Сочинения в двух томах, т. 2
(На украинском и русском языках)

Видавництво «Дніпро»,
Київ, Володимирська, 42.

Редактор *Г. Т. Сингаївська*
Художній редактор *П. Т. Вишняк*
Технічний редактор *Є. Ю. Зеленкова*
Коректори *О. З. Пустовійт, О. Т. Супруненко*

Виготовлено на Харківській книжковій фабриці ім. Фрунзе Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, Харків, Донець-Захаржевська, 6/8.

Лінотиліст *Л. Масюкова*
Верстальник *А. Куксов*
Друкар *І. Майба*
Керівник палітурно-брошурувальних процесів *В. Лазаренко*

Здано на виробництво 29/VII 1966 р. Підписано до друку 16/I 1967 р. Папір № 1. Формат 84×108¹/₃₂. Фізичн. друк. арк. 14,125. Умовн. друк. арк. 23,73+5 вкл. Обліково-видавн. арк. 24,636. Ціна 1 крб. 07 коп. Замовлення 6-478. Тираж 15 000.

1 крь. 7 коп.

М. Н. КОСТОМАРОВ

2 ক